

# Павел II Пригоршня власти Часть 1

*Евгений Витковский*

I

– Я принял решение, – уведомил принц. – Я не знаю, кто виноват, но знаю, что делать.

Элоиза Мак-Гроу. Кар-Ру-Сель в Стране Оз

Культурному чернокожему, к тому же седому, русский язык знать полагается, это понятно, это естественно, но где все остальное? Где, спрашивается, почетный караул? Нет, в Датском королевстве не все в порядке, если даже на почетный караул для законной русской императрицы скупердяйничают. Сутки в психушке продержали, да еще про какие-то фунты яблок любви целый день спрашивали, все нервы истрепали! Слава Богу, негр вмешался и увез ее сюда, в особняк, – он считался собственностью Романовых, какая-то из незаконных императриц тут жила одно время при советской власти. То ли датчане у себя эту власть свергли давно, то ли на нее внимания не обращали, – Софья не поняла, но седой чернокожий был вежлив и сказал, что особняком она может пользоваться до тех пор, пока ей нужно. Тоже нахал. А откуда она, Софья, может знать, когда ей станет не нужно?

Нечего и вспоминать про мерзкий ритуал с прошением политического убежища. Ну, в принципе с монархами так иной раз бывает, но когда это убежища просили законные русские императоры? Софье объяснили, что императоры – нет, а вот императрицы иногда просили. И как раз в Дании. Софья попросила негра навести справки, оказалось, не враки. Ну, ладно. Попросила. Велели обожждать в особняке, никуда не ходить, местные короли, как узнала Софья – самые древние в Европе. Тысяча лет им. Ладно, пусть решают, им деваться некуда. Кнуд Седьмой, датский король, как сказали Софье, до вечера играет в гольф с каким-то другим королем, она не поняла, с каким. Ну, пусть играет.

Особняк, конечно, был так себе, но если рассматривать его как так себе, то – ничего себе, название у него оказалось забавное – «Ведёрное». Два этажа, башенка, парк приятный, только пустой по осеннему времени. Негр предложил Софье не стесняться себя в расходах, но тут же опять все испортил, добавил, что уведомит ее, если она превысит лимиты. Софья вообще-то понимала, что такое экономия, но и помыслить не могла о том, как это можно экономить чужие деньги. Она решила пока про лимиты не думать. Тоже, нашли дурочку, императрица для них, видите ли, лимитчица.

Софья узнала о том, что побывала в копенгагенской психушке уже тогда, когда ее оттуда забрали. Поначалу она решила, что попала в медпункт по приему лиц императорского, минимум королевского звания. С ней там вели долгие разговоры на неважном французском, потому что другого общего не нашлось, спрашивали – что она предпочитает, фунт стерлингов за фунт яблок любви, то

ли ей достаточно будет получить фунт за фунт; Софья вообще не поняла, про какие яблоки любви с ней беседуют, и очень пожалела, что так мало знает о геральдике и символике, – а ну как у Романовых любовное яблоко в гербе или еще где-то, потом вспомнила про суд Париса и объявила, что яблоко любви принадлежит ей по наследству, от какого заявления психиатры сильно приуныли. А Софья еще и заявила к тому же, что даже многие фунты долларов не заменят ей яблока любви. Тут как раз Софью затребовали какой-то американец с пожилым переводчиком, и беседы на французском кончились: американец, как все американцы, говорил только на английском, а переводчик был черный, и русский знал. Софья устала от вспоминания французских слов и про пом-д'амур пока решила не думать, хотя и могла бы припомнить, что это всего-то помидор.

Мэрчент любил давать инструкции, а не исполнять чужие, и для него приказ Форбса сопроводить Софью Романову «куда угодно», потому что с этого момента ван Леннеп вообще не советует уделять ей внимания, все само и так случится, был последней каплей. Он сухо поздравил Софью Романову с прибытием в свободный мир и предложил ей обычный набор минимальных благ: програму по защите свидетелей, возможность изменить имя, внешность и все остальное, уехать в Аризону, Аргентину, Арнемленд и дальше по алфавиту, если хочет, и жить там тихонько. Софья сказала, что ни в какой Арзамас не поедет, а законный ее престол в России, имя и фамилия у нее природные, императорские, менять их она еще с ума не сошла. Полковник осерчал – не ровен час, еще и вносить залог за эту мадам Романову? Он вздохнул, вспомнив, с какой охотой датские врачи спихнули ему Софью, оставил негра-переводчика присматривать за ней в Копенгагене и улетел в Колорадо, забыв даже записать личный номер негра.

Тот не очень переживал, в ЦРУ у него было не меньше десятка номеров, а само ЦРУ о нем знало ровно столько, сколько он того хотел, то есть вообще ничего. Слишком долго он прослужил на Истрии вышибалой в ресторане «Доминик» у Долметчера, чтобы кое-чему не научиться. Подлинное имя его было Марсель-Бертран Унион, был он тайным жрецом-вудуистом, и знал далеко не только русский язык. Его хозяин предпочитал давать подчиненным не инструкции, а свободу действий. К северу от столицы не по назначению использовался дворец одной особы русского императорского семейства, перепроданный лет пятьдесят назад. Дворец был рядом со столицей, у моря, километров за десять к северу – рвануть оттуда в город, не умея машину водить, будет не так-то просто. Негр воспользовался свободой действий и Софью в купленный ради такого случая этот самый особняк; Софье он объяснил, что в этом доме одно время жила вдова троюродного брата Софьиного деда.

– Седьмая вода на киселе, конечно, ваше императорское величество, но уж не погрябайте! – негр определенно бравировал знанием русских идиом; Софья их не знала, так что и оценить не могла, но в особняке решила обжиться. Прислуги там было маловато, но зато не имелось клопов и впервые, после долгих месяцев московских гостиниц, Софья хорошо отоспалась. При выключенном телефоне это было нетрудно, а Унион позаботился не только о том, чтобы телефон

возможной императрице не докучал. Кофе ей в постель подал очаровательный восточный мальчик в тюрбане, голый до пояса, в шароварах, босой.

– Я не вылутился, – произнес мальчик тоже по-русски, хотя Софья еще ничего не произнесла, а только подумала, – вот вам, во-первых, кофе. Во-вторых, вот вам словари, но вообще-то они вам не нужны, мэтр Унион, – он выговорил «Юньен» – сам вам все переведет, что нужно, я по-английски плохо говорю. А в-третьих... я к вашим услугам... – закончил мальчик, очаровательно покраснел и потупился.

Софья выглотнула кофе, но вкуса не ощутила – настолько отвлек восточный мальчик ее от будничных императорских мыслей. Мальчик был хоть и чурка, но такой красавчик, что просто сил никаких, красота его была того же сухопарого типа, что и красота некогда возлюбленного пасынка Всеволода, – Софья, впрочем, того уж и не помнила. Она что-то мысленно попробовала представить, даже толком и не подумала ни о чем конкретно, – а мальчик уже выскользнул из шаровар, под ними были черные трусы типа «советские семейные». Мальчик и трусы сбросил, чему Софья совсем не удивилась, – собственно, как еще иначе должен вести себя восточный паж у постели русской императрицы? – но вместо того, чтобы пасть к Софьиным ногам, стал снова напяливать трусы, только наизнанку. И – исчез, как не бывало. Только и остались от мальчика тюрбан да шаровары. В следующий миг со звоном рассыпалось стекло, через него в комнату стреляли.

Софья даже испугаться не успела, а за окном уже кого-то схватили, кто-то визжал не своим голосом, еще через мгновение в выбитое окно ввалился Унион, колотя длинноствольным револьвером кого-то по темени. Софья с интересом смотрела на происходящее, но ее больше занимало – куда делся мальчик, она уже считала его своим приближенным, уже наметила его «в случай». А негр потащил пойманного через всю спальню и исчез в дверях, только и пробормотал Софье какое-то «сорри», мог бы и «пардон» сказать, как культурный. Скоро негр вернулся и попросил прощения, объяснил, что Лига борьбы с Романовыми все еще сильна, но очередной агент обезврежен, а пресс-конференцию он предварительно назначил на восемнадцать тридцать.

– А паж?

Унион понял не сразу, но все-таки понял, понимающе улыбнулся.

– А паж после конференции, наша... э... Лига защиты Романовых пригласила его... э... лично для вас. Э... прекрасный паж, уверяю вас. Лучшие рекомендации. – Негр деликатно подвинул к Софье поднос с вырезками из газет и вышел. «Да, личная жизнь у царицы вся на виду, вся урывками...» – подумала Софья с грустью. Так вот теперь придется жить, увы. Титул велит.

На подносе лежали копии вырезок из русских зарубежных газет; никогда Софья не думала, что их так много. В Париже выходила газетенка «Русское слово», в Нью-Йорке – «Новая русская мысль», в Сан-Франциско – «Русские известия», а еще и в Австралии, в Парагвае, в Бразилии, и чуть ли не на Соломоновых островах – словно все сговорились позабыть остальные языки, кроме русского. И газеты болтали только на одну тему – они были против реставрации Дома Старших Романовых, хоть и по разным причинам. О чем только не было

наврано и наклеветано в этих статейках! В австралийской газетенке был помещен коллаж: внутри рыцарского щита смонтировали четыре портрета, один ее, Софья, снятый еще в аэропорту, она там была сфотографирована с оттопыренной нижней губой, а напротив нее – откуда они его только взяли? – портрет ее брата-недоумка, словно бы полудремлиющего. Внизу был намек, гнусная историческая параллель: под Павлом – голова «Медного Всадника» и его простертая рука, и черная эта лапища указывала на четвертую часть композиции, фрагмент репинской «Царевны Софьи» с людоедским взглядом и повешенными стрельцами за решетчатым окном. Софью взбесила не своя параллель, а братнина: Софью приравнивали к Софье, ладно, но почему Павла – к Петру? Почему не к Павлу, почему он тут не нарисован в гробу, с «апоплексическим» скарятинским шарфом на шее? А тут потупил свои поганые свинячьи глазки, дегенерат, и только и думает, как бы сестре-императрице подлянку подсунуть какую-нибудь, выродок! Рыло гадючье...

Заграничные монархисты начинали обычно с того, что не признавали никаких потомков Александра Первого, потому что тот был масоном, – «хотя в конце жизни он масонство и запретил, но не в этом дело», подловато оговаривались они. Утверждалось иной раз, что лишь потомки императора Кирилла Первого, и только они, имеют право на власть в России. Софья с трудом разобралась, что «Кириллом Первым» объявил себя некогда сын великого князя Владимира Александровича, старшего среди младших братьев императора-алконавта Александра Третьего.

Другая газета, которая была покрепче подкована, вкладывала «императору Кириллу» по первое число: и отец-то у него был президентом Академии художеств, что для царского рода непристойно, а государь тогдашний и вовсе того Кирилла чуть титула не лишил за неправильную женитьбу, даже лишил его права передавать титул по наследству, потом простил, но сам Кирилл Владимирович в семнадцатом году красным знаменем размахивал, присяге изменил, пошел против незаконного, но все же царя. Объявил потом себя «Кириллом Первым», его даже копенгагенская мать Николая Второго за императора признать не захотела, – а главное – в двадцатые годы надавал боярских званий всякой шушере, да и сыночек его хорош, на грузинке женился, а грузинских царей на российском престоле столько побывало, что державе на столетия достаточно.

Гневному антикирилловцу пороха больше ни на что не хватило, обложить по первое число всех прочих Романовых он обещал в другой раз, и требовал чего-то под названием «земский собор». Софья мало что поняла, но сделала вывод, что если все эти потомки князя-художника Владимира прав на трон не имеют, то у нее, у Софьи, от этого становится еще больше прав.

Софья отвела глаза от газеты и приятно удивилась: возле ее постели сидел на ковре восточный мальчик в одних только черных трусах, без тюрбана. Был он все так же хорош собой, краснел и вызывал приятные мысли.

– Все в порядке ... – пробормотал мальчик, но времени приказывать Софья уже не имела, она сгребла мальчика в охапку... и осталась им довольна. – в шесть тридцать у вас пресс-конференция, – сказал мальчик, снова очутившись на

ковре.

...Но в шесть тридцать не было ничего. Мрачный Унион на похужевшем русском сообщил Софье, что в предоставлении политического убежища ей отказано, есть двое суток на кассацию, но что делать дальше – надо решать сегодня же. По датским законам экстрадируют человека в ту страну, из которой он в Данию прибыл – а эта страна пока что, к сожалению, все еще называется «Советский Союз». Хотя, конечно, обоснования Копенгагена о требовании экстрадиции ни с какой стороны не удовлетворяют условиям Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года.

Софья впала в ярость. В конце концов, никакая Дания ей не нужна задаром, она собиралась к тетке в Лондон, а этот Копенгаген занюханный с его русалочками пусть провалится на дно морское.

К полночи оказалось все иначе. Видимо, вмешался король Кнуд. Гуманность датского правосудия выразилась в том, что прилетела Софья из Советского Союза, а юридически сейчас это государство проходило фазу смены названия и было неясно – согласится ли правопреемник принять на себя все советские геморрой. «В силу того, что к экстрадированным в СССР лицам, как общеизвестно на Западе, применяются в обязательном порядке пытки колодками, ледяной камерой, бамбуковыми палками, каленым железом, недоваренным рисом, железной девой и деревянной пилой, королевский суд Копенгагена в экстрадиции гражданки Романовой постановляет отказать» «Посмели б они у меня согласиться, еще чего!» – подумала Софья. Однако, что с Софьей делать дальше – не понимал никто. Продать билет в Лондон ей соглашались, но предупреждали, что лететь всего час с четвертью, но вот в Хитроу могут начаться неприятности, глядишь, дальше дьюти-фри и не пропустят.

Пользуясь связями, Унион вытряхнул из кабинетов и баров пять-шесть лучших адвокатов и разве что не телепортировал их в замок Ведере. Поскольку гонорарами и карами Унион пригрозил во всех смыслах безграничными, к трем утра, основываясь на мало известном за пределами заинтересованных держав скандинавском праве, в котором никаких особенных поисков прецедента в истории искать не надо – и, значит, надо добиваться лишь права на выезд в третью страну, притом в такую, где не будет нарушено уже сформулированное правило – проще говоря, где мадам Романова как член императорской фамилии не будет подвергнута восточным пыткам. По счастью, разговор велся на датском, английском и на юридической латыни, Софья ни одного из этих языков не понимала – а не то плохо бы пришлось законникам.

Однако Унион потребовал большего – он желал знать, что делать дальше. Юристы замялись. Поняв, что каши с ними не сваришь, он предложил им рассмотреть латиноамериканский вариант убежища в дипломатической миссии какого-нибудь Эквадора, хоть и понимал, что может обречь того, кто это убежище предоставит, на муки адские – да и предоставит такое убежище только тот, кто сам его гарантировать не сможет. Между тем устранять племянницу своего шефа жрец считал совершенно неразумным: из любого человека никогда не поздно сделать отличного зомби

Юристы опять почесали языками и решили, что для мадам Романовой будет всего лучше оказаться вне юрисдикции каких-либо готовых законов, иначе говоря, к примеру, поселиться на корабле в нейтральных водах. Однако Унион понимал, что и это Софью не устроит и даже не спасет. В итоге к утру, когда возможная императрица глубоко спала, было принято решение только в королевстве Датском, пожалуй, и возможное: ей предстояло подселение в международный капсульный отель, деликатно называвшийся на языке юристов – «остров дьюти-фри». Вот и беспошлинная зона – только не в Хитроу. Юристы уже придумали – где. На то они юристы. Капсульный отель в тысячу квадратных километров... Унион задумался. Общая площадь княжества Тристецца, где он так долго работал вышибалой, была всего двадцать два. Ничего, неплохо живет княжество который век... Остров Дьюти-Фри, как выяснилось, довольно хорошо был известен датчанам. Активисты местных сексуальных меньшинств давно претендовали на этот островок – после того, как полицейские вышибли дюжих байкеров из копенгагенского района Кристиансхаун. Было ясно, что не тут, так там эта публика себе что-то отвоюет, и правительство никак решить не может, то ли гетто для них в столице завести, то ли остров подарить, находящийся под совместным управлением четырех государств – все-таки четверть головной боли меньше, чем целая и копенгагенская.

Остров располагался в Балтийском море довольно далеко к востоку от более известного острова Борнхольм, целиком датского, и был при этом втрое больше последнего. Разные народы называли остров по-разному. Эсты – Роовлидсааре, шведы – Оранаре, немцы – Рауберинзель, по-любому получалось «разбойничий остров». Датчане называли его Роделанд, по имени датского адмирала-пирата на русской службе Карстена Роде. Если где и помнили об острове всегда, так именно в России. В 1570 году Иван Грозный на пиру в Александровой слободе в присутствии князя Никиты Романовича Серебряного подарил остров каперу, адмиралу Карстену Роде с его флотилией в двадцать два корабля. Адмирал довольно скоро – и навсегда – угодил в датскую тюрьму, но память о его подвигах осталась, как осталось и название. Только русские называли эту землю иначе: остров Буян. Предстояло вывезти туда Софью и ждать у моря погоды. К сожалению, у Балтийского моря погода более всего похожа на настроение русского человека, она почти всегда плохая.

Между тем Софью все настойчивее требовали на связь из Лондона, а попасть туда она не могла. Пользуясь тем, что она спала, по видеотелефону на запрос отозвался сам Унион, и представился ее пресс-секретарем. С экрана него смотрела пожилая, подтянутая женщина – надо полагать, великая княжна Александра Михайловна. Или княгиня? Если замужем, то княгиня, – но, похоже, нет. Впрочем, нет – императору Александру она лишь правнучка. Значит – княжна крови императорской... если, черт возьми земский собор не решит иначе. Унион надеялся, что не решит: судя по властности взгляда была «Тетка Александра» для русского престола подарком не большим, чем племянница. Княжна заговорила.

– Верно ли, что члену августейшей семьи препятствуют воссоединиться с

родственниками? В Лондоне моей племяннице подготовлена торжественная встреча.

Унион сделал таинственное лицо.

– В Копенгагене передвижению члена августейшей семье ограничений нет, но по поручению короля Кнуда Седьмого, видимо, сейчас улаживаются формальности.

Тетку перекосило.

– Торжественная встреча члена императорской фамилии даже по приказу короля не может быть отменена!

– Потребуется согласование между королевскими домами Великобритании и Дании, а это, боюсь, вопрос не одного дня.

– Так нам что, всем в Данию плыть? Что за безумие на почве предрассудков? Что-то в этом вопросе прозвучало для Униона знакомое, но тетка подумать не дала.

– Ладно, ждать нельзя. Княгиня Софья будет пока что оставаться в Дании? В Копенгагене?

– Не совсем в столице, но... близко.

– Где – «близко»? Дания и Великобритания уже много лет не требуют друг у друга визы, я и группа встречающих – все до единого граждане свободных стран Европы. И Америки.

Унион понял, что лучше сдаваться.

– Возможно, вам и вашим... коллегам проще будет встретить госпожу Романову на датской территории.

Тетку вновь перекосило. Теперь полагалось сдаваться ей. И она сдалась. Правда, сообщение о том, что приглашают ее и друзей на остров Буян, что-то человеческое в ее глазах зажгло.

Бешенство, охватившее Софью, можно не описывать. На нее, в отличие от тетки Александры, название острова никакого впечатления не произвело, мало ли островов на свете, всех не упомнишь. Но выбора ей не предложили, только уведомили, что лететь придется небольшим самолетом, а погода скверная. Разве только если морем, это можно организовать, всей-то дороги часа на три, не больше. Человек двадцать катер на борт примет, этого для охраны должно хватить. Конечной целью плавания Софье был назван старинный город Карстенбург, как бы столица острова, и Софья смирилась – раз уж ей наконец-то гарантировали долгожданную встречу с теткой-соратницей.

\* \* \*

Пейзаж острова был неприветлив, таким мог бы быть вид на лунный кратер, вывернутый наизнанку, окажись тот на Земле. При общей площади острова что-то в тысячу квадратных верст, места в море он занимал много больше: он был причудлив очертаниями, извилистая бухта вдавалась в него с севера и вела в самый центр, извиваясь и ломаясь, как не всякая змея сумела бы. В конце пути она превращалась в идеальное, хоть и небольшое прибежище для катеров и лодок. Над бухтой нависал городок Карстенбург, чьи дома карабкались вверх по выветренным скалам, почти до самой вершины пика Бамбино – главной и

единственной настоящей горы Буяна. Название было точно не балтийское, откуда оно взялось – плохо понимали решительно все те, кто пытался о его происхождении догадаться. Карстенбург некогда назывался Родовод-на-Буяне. Говорили, что правил им не вполне исторический царевич Гвидо. Может, он и был тот бамбино?

Историки славянских племен утверждали, что некогда остров был разделен между племенами правичей и левичей, они же буянычи. Если это и так, то напоминали о них лишь два сомнительных капища на входе в главную бухту острова, по одному с каждой стороны. Оба племени вымерли к двенадцатому веку, раньше, чем их успели окрестить, так что спросить – кто они были и что – не представлялось возможным. В середине четырнадцатого здесь высадился датский король Вальдемар Четвертый Аттердаг и объявил его собственностью своей короны. Позже остров переходил из рук в руки, заселялся и безлюдел после очередных набегов и эпидемий. Четыреста лет, прошедших со времен адмирала Карстена Роде, не отбили охоту у искателей кладов: казну его искали и в недрах острова, и – чаще – на дне морском, ибо часть территории острова ушла под воду. На дне лежало многое, корабли времен вымерших династий и кости давно не виданных на Балтике китов, но вот сокровища адмирала, надо полагать, были спрятаны где-то в России, не иначе как там же, где библиотека царя Ивана Грозного: кому делать нечего, пусть ищет.

Город состоял из одноэтажных домов скандинавского вида, складывавшихся в улицы, среди домов и лавок в нескольких местах виднелись церкви вполне православного образца, торчал щипец кирхи, выше всего располагался неприветливого вида замок Гаммельфестнинг, перестроенный столько раз, что опознать его стиль и эпоху едва ли кто-то взялся бы. Там, над обрывом в добрых пятьдесят саженей, пристроился местный музей, точнее, несколько музеев, портретная галерея, археологический, центр изучения славянских языческих культур и еще многое, на что нормальный турист, которому в холодное время нужны только отель, вид на море и ресторан, смотреть не пойдет. Тем более – если он член законной императорской фамилии. Между тем над замком возвышался колоссальный круглый донжон, неприступная башня саженей в пятнадцать. Еще во вторую мировую он использовался как маяк, но нынче все четыре державы от греха подальше никому сигналов оттуда не подавали.

Катер, которому бурная Балтика определенно была нипочем, медленно втиснулся в свинцовые воды Адмиральской бухты. Софья была предупреждена, что проживать она временно будет на историческом Русском Дворе, отреставрированном недавно к ее прибытию. В формулировке этой было правдой все, кроме последней части: реставраторы ни про какую Софью знать не знали и вообще были из Южной Америки, а Русский Двор на острове существовал чуть ли не раньше, чем на Руси водворились Романовы. Софье знать об этом было не обязательно, Двор сохранял автономию при всех режимах, лояльно делая вид, что находится под совместным управлением всех балтийских держав сразу. Дания считала остров собственной территорией, Швеция терпела в своих территориальных водах, Германия считала его исконно



немецкой землей, Польша вовсе пригородом Гданьска-Данцига, СССР отлаивался обычным «нехай клеветают» и был уверен, что остров – земля нашенская. Для всех это был удобный оффшор для отмывания денег, а заодно – станция спасения утопающих под патронажем давно покойной российской императрицы Марии Федоровны.

Прямо против причала стоял на площади, точнее, на носу бронзового драккара, бронзовый же король Вальдемар IV Аттердаг. Знаменит был король тем, что очень удачно продал Эстонию тевтонскому ордену, а на вырученные деньги откупил назад большую часть драгоценностей датской короны, разбазаренной предшественниками. Потом он удачно вступил в союз с ганзейскими купцами, но скоро оказался в состоянии войны с ними и вообще потерял половину территории страны, чуть не год прятался в пещерах у пика Бамбино, а помирать отправился в замок Эльсинор на Зеландии, где, как сказали Софье, кто-то еще раньше Вальдемара умер очень знаменитый. Софья ничего не поняла и в толк не могла взять – с какой стороны все эти допотопные короли и знаменитости должны интересовать законную русскую императрицу и ее прославленную тетушку.

Ее погрузили в карету, запряженную парой невысоких лошадок, которых она мысленно обозвала клячами, ибо случайно заметила, что это кобылы, а не жеребцы – уж могли бы для императрицы и рысаков подобрать, племенных, аравийских, тоже жлобы такие. Унион сел на козлы и отвез ее высочество на Русский Двор, где та, утомившись на катере пожелала поужинать, прилечь, – а дальше она решит, что захочет делать.

Вечерело, к пяти часам вечера в октябре на Роделанде становилось почти темно, а небо к тому же было обложено тучами. К восточному берегу острова причалила ветхая деревянная лодка с единственным гребцом, – кроме него в лодке находился еще и пассажир. Он стоял посередине деревянной посудины, натянув на голову капюшон, и смотрел в одну точку на скалах, где виднелся купол то ли часовни, то ли небольшой церкви. Если вдоль берега, то отсюда до Карстенбурга было километров пятьдесят, а если знать дорогу поперек – так в десять раз меньше.

Пассажир переступил на голый шtrand острова, – назвать эту нищую поверхность над урезом воды пляжем язык бы не повернулся. Стало немедленно видно, насколько стар гость, хотя и наделен немалой силой. Гребец вместе с лодкой отчалил, на прощание махнув кому-то в высотах сильным фонарем.

Щупая дорогу посохом, старик побрел вглубь острова, дорогу он знал отлично. Горестно тыкаясь в дюны, старик ругался на архаичном русском наречии, проклиная идиотов, вконец изувечивших берег, из-за которых остров скоро в море смоем.

Тропка из дюн вела вверх, стало почти вовсе темно, но путник лишь изредка светил под ноги крошечным карманным фонариком. Дорога привела старика к часовне, где мерцали свечи, давая свет скорее оконному стеклу, видимому с моря, чем самому помещению. Гость толкнул дверь и вошел, не переставая тихо ругаться. Перекрестился назад, в сторону моря, и рявкнул:

– Ксенофонт!

Из полутьмы послышалось:

– С прибытием, отец Маркел.

В освещенный круг вышел огромный мужик в старинной одежде, с бородой лопатой. Это был Ксенофонт Тимофеевич Бурундук, сын последнего камер-казака империи Тимофея Бурундука из терского казачества, некогда служившего начальником охраны вдовствующей императрицы. Родившийся уже в Дании и в глаза не видавший родного Терека, он, между тем, являл собою образец совершенно музейного воина Собственного Его Императорского Величества конвоя. Он стоял перед старцем почти по стойке «смирно», разве что без папахи, такой же стройный, как храм, хоть и необычный. Одет он был в красный форменный кафтан с шитьем, видимо, доставшийся от отца.

– Здорово, отец Маркел.

Старец до ответа не снизошел, рухнул на колени, повернулся к алтарю задом, перекрестился «обратным крестом» – снизу вверх, от живота начиная, грянулся лбом в пол и зачистил:

– Отче святой Прокле, во имя Отца небесного и Сына и Святого Духа аминь. Во имя отца земного и сына земного и Духа земного аминь. Заклинаю архангелом Михаилом и архангелом Сатанаилом, и отцем Сисинеем, и наставителем Аполлинием: положу перст в воду недержаную и погружу его трижды с молитвою и без оной, дам пить ее, глаголя: ты еси трясея окаянная, прииди ко цесаревичу Павлу, ты еси гнетяя окаянная прииди ко князю великому Никите, ты еси злобяя окаянная, прииди ко князю великому Ярославу, ты еси глущея окаянная, прииди ко княгине великой Ляксандре, и ко государю всея Руси неявленному, придите – желтея, неедея, корчея...

Ксенофонт опустил рядом. Ретивости Маркела в нем не наблюдалось, но поклоны, притом земные, он отбивал с покорностью.

Старец набрал воздуха и забормотал едва слышной скороговоркой:

– Заклинаю вас да прибежите вы окаянныя трясавицы и дьяволицы ко рабам за тридцать поприщ; аще не побежите, то приведу на окаянных вас архангела Михаила да архангела Сатанаила... аще не приидите начнут вас бити и мучити железными прутьями, дадут вам по три и триста ран на день и прогонят вас и отженут окаянных трясавиц и дьяволиц...

До двадцатого ноября по старому стилю, то бишь до третьего декабря по новому, оставалось почти полтора месяца, но старец, хоть и определенно по-своему, молился святому Проклу, архиепископу Константинопольскому, укротителю землетрясений. Святой, облаченный в византийские крещатые ризы, мрачно глядел с темного лика иконы, укрепленной против алтаря, намекая, что от землетруса и вержения лавы подземного ничем, кроме молитвы, уберечься нельзя. Землетрус на Балтике штука редкая, однако... кто знает, все может быть. На Прокла, как известно, народ проклиняет нечисть, а для этого занятия у Маркела явно имелись все основания. Старец грянулся в пол еще раз и продолжил, уж к Проклу более не обращаясь, лишь обмахиваясь каким-то косым движением, на крестное знамение вовсе не похожим.

Передать его речь человеческими словами было бы невозможно. он смешивал с русским какие-то сибирские и уральские слова, все более впадая в глоссолалию.

Ксенофонт и не пытался. Его радовало лишь то, что кругом холод, раскидывать одежду и вертеться колесом старец-еретик не станет. Летом это случалось не раз, и он каждый раз должен был терпеть и жуткое зрелище, и черную молитву. А что поделать. если иного выхода, кроме как терпеть угрозы и шантаж черного богумила, у храма давно не было? На острове богумилы чувствовали себя безнаказанно: здесь и не в такое верили.

Между тем пустосвят Маркел шпарил наизусть пассажи из богумильской книги, известной как Книга Ивана, она же Книга Катар, бормотал про меры пшеницы и кувшины масла, и слушать его казаку было совершенно неинтересно. Не без оснований он считал себя последним русским наместником Буяна, блюстителем императорской земли, пребывающей на сохранении у датского короля, будто орех в защечном мешке у бурундука. Не зря фамилия казака была Бурундук. Среди казаков на Тереке попадались прозвища куда хуже.

Ксенофонт поднялся и выставил на все три окошка, глядящие в сторону моря, яркие фонари. Дальше его мало что касалось: те десятки черных, кто придет с моря на берег Буяна по тройному знаку, сюда не заявятся, пойдут напрямик в Карстенбург. Правильней сказать – на Карстенбург. Когда город берут в осаду, то мигом войти в него редко удается, казаку ли не понимать. И кто победит – того, видимо, придется считать своим хозяином всерьез и надолго. Казак надеялся, что это будет не Маркел. Уж больно гнусно было слушать православному человеку богумильские вопли черного старца.

Не так уж и много было тех, кто сейчас выбирался из моря на остров и уходил в горы. То ли сотня, то ли вдвое меньше. то ли вдвое больше. Лица их скрывались под капюшонами, оружие спрятано под плащи. Да и не было у их никакого тяжелого вооружения. Хотя даже полсотни обрезов – это что-то. А ну как там больше? А ну как это вовсе не обрезы?... Да и одежда их – то ли плащ-палатка, то ли епанча, позволяла спрятать порядочно всякого колющего, режущего и стреляющего. Словом, хоть это была хоть и небольшая, но армия. Старик все молился в горной часовне, все накликал порчу на императорскую семью, не щадя в ней ни правых, ни левых, а его армия во тьме шла на Карстенбург.

Между тем с противоположной, северо-западной стороны, опять-таки под покровом тьмы с флотилии в полдюжины катеров, подошедших прямо к берегу, высаживалась другая армия. С бортов все ее ряды подсвечивали прожекторы. Армия состояла из низкорослых, по большей части весьма кряжистых женщин в полувоенной форме. Впрочем, отчего «полу»? Для полноты картины этим ротам не хватало разве что погон. Их было много больше, чем черных воинов на восточном берегу, заметно больше, чем две сотни, а точно – кто ж их считал? Разве что их суровая и седая командирша. сошедшая на берег, в которой безошибочно опознавалась британка, но при этом принадлежащая к дому Романовых. Словом, была это Александра Михайловна, не то великая княгиня, не то великая княжна, не то, глядишь, даже не великая, а всего лишь княжна крови императорской, однако, как это ни противно, член высочайшей фамилии, и притом для полного счастья еще и феминистка. Здесь она была за генерала. Ее армия обходилась без молитв и заклинаний и уж точно без проклятий. Кого надо было – тут давно и за дело проклинали.

Они пришли сюда на датских кораблях. Пусть датский король Фредерик II еще во времена Ивана Грозного издал приказ: «Для женщин и свиней доступ на корабли Его Величества запрещен; если же они будут обнаружены на корабле, незамедлительно следует выбросить оных за борт». Александра же, будучи в своем императорском праве, выбросила бы с корабля одним движением всех свиней и королей – кто хуже, она и не задумывалась. Все – хуже. Кроме ее личной армии.

Жуткие австрийские «штейры», отнюдь не полицейское оружие, даже рассматривать не хотелось. Если у черной армии все было попрячено под епанчу, то здесь не прятали ничего, от одного вида этих десантниц хотелось убежать подальше из поля зрения. Возраста бабы были разного, хоть и все моложе своего генерала. Это были амазонки без коней и без луков, им не требовалось ни то, ни другое, и от этого становилось с каждой минутой их продвижения все страшноватей.

Местность здесь была иной, чем с востока острова. Кольцеобразный вал, где-то во тьме заканчивавшийся капищем в честь неизвестно какого бога правичей, не то левичей, это с какой стороны смотреть и чьей научной точки зрения придерживаться, на горы был мало похож, высоты он был невеликой, перелезть можно, да и проломы в нем были. Однако дальше предстояло преодолеть соляные карьеры, выработанные много столетий назад, да к тому же весь довольно долгий путь на Карстенбург усеивали каменные глыбы, из-за которых так удобно отстреливаться, – если есть, от кого.

Две армии шли к столице острова с противоположных сторон. Столица тем временем большей частью спала, меньшей – занималась любовью и держала военный совет. Первые две категории ничего дурного не ждали, третья же только плохого и ждала. Выше города, в наиболее отреставрированной части замка, у длинного стола собралась компания весьма разношерстная.

Председательствовал человек с чисто датским именем Йорис, он же Григорий, и странной фамилией Морейно, формально считавшийся директором археологического музея, на самом же деле бывший на острове чем-то вроде губернатора, правда, кто его на это место назначил, оставалось загадкой.

Национальность он свою не скрывал, принадлежал к малочисленной ижорской народности и твердил, что всем его собратьям будет очень удобно переселиться на Буян: как раз поместятся, а прочих можно будет попросить выйти вон. Себя Йорис видел, ясное дело, местным королем, или уж президентом, на худой случай. Кроме него тут опять наблюдался креол-вудуист, вертевший в пальцах зажигалку, а кроме них присутствовали десятка два молодых мужчин вида не балтийского и не скандинавского, скорее почти негроидного, и еще две белых женщины из числа тех, которых нормальному, тем более ненормальному, фотографу немедленно хочется пригласить на фотосессию в журнал для мужчин, такой, что даже в спецмагазинах стараются продавать в непрозрачной упаковке. Крупноватые были дамочки, но это небольшому мужику то самое, что надо.

Перед креолом стояла неглубокая кювета с загнутыми краями, полтора аршина в ширину, и эдак три в длину, вдоль стола. В кювете отсвечивала фиолетовым

полупрозрачная жидкость, похожая на денатурат. Из жидкости поднимался пар, слышался сладкий, чуть тошнотворный запах. По углам подноса стояло четыре свечи. Если отец Маркел в часовне исходил проклятиями, молясь своим странным богам, здесь было все и торжественно, и буднично одновременно. Присутствующие были похожи на стаю дрессированных собак, ждущих команды – то ли броситься к мискам с кормом, то ли на спину и под горло обложенному со всех сторон зверю.

Самозванный «губернатор» втихаря от грядущих событий подстраховался по радио. несколько успокоился и уже с полчаса как передал слово креолу, а тот, взгромоздив на горбатый нос очки в круглой оправе, зачитывал отрывки из главного документа, подтверждающего права Софьи на российский престол, которым она изволила поделиться с человечеством. Это были страницы дневника Федора Михайловича, ее отца, которые он вел в первый месяц войны, летом 1941 года, в пригороде Москвы.

– «...В конце концов, в нашем роду был уже случай передачи власти в стране через женщину, через Анну Петровну! – читал креол и сразу переводил на английский. – Боже, благослови! Не дай угаснуть роду! Дочь назову Софьей. Ни в какие приметы не верю, себя неудачником не считал и не считаю. Пробую успокоить мысли и записать их. Около тринадцати узнал о бомбардировке немцами Житомира, Киева, Севастополя. В четырнадцать двадцать повторили утреннюю речь Молотова. Стоят очереди у керосиновых лавок и сберегательных касс. Бешено раскупаются водка и ювелирные изделия. Видел несколько человек в противогазах. Чем поможет противогаз при моем происхождении? Вчера Вышинский, по верным сведениям, был в театре, на «Маскараде», сидел до конца. Значит, власти за четыре часа до нападения ничего не знали. Раня плачет и говорит, что нужно уезжать.

Двадцать четвертого. Сегодня первый раз бомбили, что-то вроде фейерверка, ничего не понял. Раня все время плачет и твердит, что зря не послушались ее брата и не вернулись на Урал. По сводке у противника – «небольшой тактический успех». Почему у противника, а не у хваленой Красной Армии? Из сберкассы выдают по двести рублей в месяц. Букинисты книг не покупают. Скоро призовут. К лучшему: мне полагается быть на фронте. Это он пусть сидит в метро на закрытой станции. Или он уже на Урале? Ведь и меня найдут, если понадобится. Мало ли какие повороты в судьбе страны возможны. Дядя Никита пропал, больше в живых никого. Раня должна родить, хоть еврейка, будет наследник. Иначе на мне все оборвется, конец, сто лет впустую.

Тридцатого. Живем на вулкане. По радио опять разговоры: создан «комитет обороны», Молотов и прочие, все те же. Денег нет. В скупочных громадные очереди, цены платят такие: грамм золота – 12 руб., тут же продают его по 60 рублей на зубные коронки. Интересно, кто их себе сейчас вставляет. Грамм серебра – 30 коп. Серебряная столовая ложка идет за 5 руб., столько же стоит пачка папирос.

Получил повестку, пошел в воекомат. Пока не нужен, велели ждать. Что-нибудь нашли? Будут держать живым, в заложниках. Рано или поздно должно было случиться. Восемьдесят лет узурпации, потом четверть века сплошной

ошибки, – должна когда-то и справедливость быть. Чем еще можно сплотить русский народ, кроме необходимости встать на защиту царя и отечества? Первого. О вчерашней тревоге в газетах ни слова. Видимо – настоящая. Говорят, перехватили немецкие бомбардировщики за двести километров. У нас изъяли радиоприемник. Начато изъятие телефонов. Скоро будет настоящая цивилизация. Так сказала Раня. Она держится молодцом и тоже хочет ребенка. Пусть девочку. Слишком велик шанс погибнуть. Кто бы ни родился – нужен наследник. Назову Софьей».

В этом месте Унион сделал паузу, чтобы присутствующие осознали – какое это важное место. Но пауза длилась недолго, не ровен час, спросят, собирался ли покойный родитель назвать Софьей ребенка даже в том случае, если родится мальчик, и продолжал:

«Третьего. В семь утра говорил по радио Сталин. Волновался, дважды пил воду. Немцы, оказывается, бомбили Могилев и Смоленск. Раня плачет про свой родной Волковыск, а ведь почти его не помнит. В сводках уже бобруйское и борисовское направления. Граница империи насмарку. Неприятные заявления японских министров.

Двадцать четвертого июля. Завтра уйду на фронт. Может быть, в этом месяце Раня повезет. Шанса может больше не выпасть. Разбомблены Спиридоновка, Поварская, разбомблен дом Грибоедова, осталась цела только мемориальная доска с его удивленным лицом. Всюду, даже в комиссариате, бардак. В четырнадцатом году такого не было. На что младшие родственники были недоумки, а и то такого бы не допустили...»

Униона слушали внимательно и с некоторым ужасом, но ему самому, видимо, было неинтересно – что там происходило в Советском Союзе сорок лет назад – все равно все давно кончилось и повлиять ни на что могло. Одни участники тех событий качались на виселицах, другие лежали в гробах и урнах, из остальных, еще живых, сыпался песок, даже приличного зомби не сделать. Но чувства жреца были обострены до предела, и он чувствовал – время заполнить чем-то нужно, ближе к рассвету у стен замка станет беспокойно.

Рассвет приходит еще и не думал, а вот беспокойно уже стало.

Первые выстрелы прозвучали с востока, из прибрежной цепочки выветренных гор, где никто не жил, только сосны с трудом цеплялись корнями за эрозированные меловые скалы. Охраны у городка и у острова было мало, спокойствие острова гарантировали четыре государства, каждое из которых полагало его своей собственностью и нападение на него почло бы объявлением войны. Лишь у маяка на входе в бухту стояла настоящая стража, Балтийское море – не Красное и не Южнокитайское, ни из Сомали, ни с Филиппин пираты сюда не доплывают. Охранялась лишь бухта и непосредственно сам город, а до него обеим армиям не было дела. Это губернатор и жрец учитывали.

Жрец сорвал очки, сплюнул, резко щелкнул зажигалкой и бросил ее в кювету. Жидкость густо задымилась.

– Сай; конб;т! – крикнул жрец. Видимо, он чего-то подобного ждал, переходя на неведомый язык. Обе приятных дамы рванули прочь от стола, выхватили из-под него длинные карабины и припали к противоположным окнам. Сперва они,

кажется, лишь прицеливались, по вскоре защелкали выстрелы. Мужчины высыпали наружу, в темноту, и едва ли побежали за букетами роз для незваных гостей. Пользуясь тем, что улицы все же были освещены, они рассыпались в цепь и через считанные минуты с той же восточной стороны зазвучали короткие очереди.

Обойти замок сверху было невозможно – дряхлый пик уже в последнюю войну сильно осыпался и собирался продолжить саморазрушение. Обойти городок снизу оказывалось тоже непросто – там стояли вызванные самозванным губернатором из Дании тяжелые катера береговой охраны. Заявились они сюда, разумеется, сугубо в мирных целях, а то, что солдаты на них не знали ни единого скандинавского слова – так мало ли народа на белом свете этого языка не знает? Пустяки, дело житейское.

Выстрелы щелкали, но, видимо, чьи-то нечестивые моления в небесной канцелярии все-таки же были рассмотрены и удовлетворены – загромыхал гром. На острове бытовала легенда, что в грозу над ним проносится Дикая Охота, и ведет ее ужасный датский король Вольдемар Четвертый Аттердаг, семь столетий назад сжегший на острове последних идолов капищ правичей и левичей. Несется король с востока на запад, оседлав огромного сурка по кличке Мармота Пестрак, за ним тоже на хищных сурках, рогатых, с торчащими зубами, несутся тринадцать безголовых валькирий, с ними китайские демоны летят на пятиглавых драконах и бьют в деревянные гонги, мчится стадо тираннозавров на трицератопсах верхом, в грозе и молниях догоняет ночь Дикая Охота, облетая земной шар во тьме и никогда не выходя на свет, облетает за сутки в урагане и мчит дальше.

Может, никому эта легенда и не вспомнилась, потому как в небо никто не смотрел, но война началась, и тут, в отличие от войны, о начале которой вел записи несостоявшийся русский царь, наступление шло с двух сторон, и с восточной, и с западной, и тактический успех, притом большой, пока что был у обеих сторон. На улицы города вступили одновременно бойцы двух армий, каждая приняла другую за войско защитников неправильного дома Романовых – и понеслась битва, никакой Дикой Охоты не надо, когда идет такое мочилово, земля вела себя так, что небу было жарко.

Унион даже к окну не подошел. лишь мелкими щепотками добавлял в дымящуюся кювету мелкий зеленый порошок. Дым сгущался, расползлся по комнате, стелился вдоль пола и выползал прочь, распадаясь в осеннем воздухе на невидимые хлопья.

Бабы за окнами перешли к рукопашной, черным воинам мешали пелерины, да и уступали они военно-морским пехотинкам числом и, видимо, силой. хотя пока не отступали. Периодически взрывались гранаты, частью световые, но, судя по грохоту, разные другие тоже, даже противотанковые. По горному склону стекали волны фиолетового тумана, хлестал дождь, грохотали копыта и лапы дикой охоты. а Софья Романова спала в своих покоях. как пшеницу продавши, прижав к стене хрупкого восточного мальчика, который дрожал и уснуть даже не пытался: вывернуть наизнанку ему сейчас было нечего.

Немногочисленные воины замка в битву, кажется, пока не вмешивались, лишь

не подпускали к ведущим вверх улицам никого с оружием. Но туда пока особо никто и не рвался.

Звуки битвы отчетливо сместились вправо от стола, за которым стоял жрец, иначе говоря, к востоку, так что внизу морские пехотинки, новоявленные стрелицы, точнее, наверное, стреляльницы, то ли стрелкуньи царевен Александры и, надо полагать, Софьи, начинали теснить черных воинов неведомого братства. Но тут в затянутую тяжким фиолетовым туманом дверь ввалился собственной персоной отец Маркел. Быстро перекрестившись своим «обратным» крестом на пустой угол залы, он откинул капюшон, огладил торчащую прямо вперед бороду, на коленки падать не стал, а хряснул по столу кулаком.

– На море на окияне, здесь на острове на Буяне молвлю! Отче земный отче небесный помози оборони! На булатном на дубу птица петух, встает рано, голову не дымает не поет, толь же бы не встали у рода поганого семьдесят семь жил! Ни на красныя девицы, ни на старыя бабы, ни на молодыя молодичицы, ни на сивыя кобылицы, ни на все князи и великие вельможи, рабы божи, архиреи и архимандриты, священники и священницы, дьяконы и дьяконицы, генералы федмаршалы, начальники и подначальники, все пестрыя власти, мужи и жены, и весь народ божий и земный. Поклонися мне, черный ликом, все бразды твои будут!

Маркел захлебнулся, закашлялся. потом выкликнул –

– Анутарасий, Восилутар, Еспфедар, Наакет первенец! Велсамор! Велсамор! Жрец и ухом не повел, словно не на него гость голос повысил. Только тряхнул в кювету еще щепоть порошка. Черный гость между тем уперся в стол обеими руками и продолжил обличения, все более возвышая голос и срываясь на хрип.

– Поклонись, поклонись! Тунрид;, Бафомет, Никанор! Ей, гряди, Нергал, отца земного врази, покажите не поклонившегося...

Тут даже самозванный губернатор зевнул. Толпы призываемых богумилом ангелов и демонов на помощь ему что-то не поспешали. Порошок у жреца иссякать не собирался, щепотки падали в кювету все чаще.

Обе приятных девушки отвернулись от окон к столу, подумали и встали справа и слева от старца, и это был отнюдь не почетный караул.

Жрец щелкнул пальцами. Пустосвят онемел. Он очумело зевал, пытаясь вырваться из рук прочно ухвативших его за плечи баб, но ему ли было с ними тягаться. Он раскрыл рот и, вероятно, завыл, но лишь дальние выстрелы нарушали тишину. Бабы слаженным движением мощно приложили его мордой об стол.

По знаку Униона ересиарха куда-то увели, пиная прикладами. Проклятия его и призывы ощутимого действия не оказали, а вудуист присел и отер пот со лба.

– Тяжелый случай, – сказал он, – и что с ним теперь делать?

– Традиционно, опыт есть, – ответил Морейно, – Мальвазию допили сорокового года всю, там на сорок ведер места. Как раз поместится.

– Да уж больно много их тут...

– А и на других бочки найдем. Не хватит – по двое всунем, тоже опыт есть.

– Ну, смотри, а то, может, рабочих рук не хватит?



– Хватит. А баб куда денем?

– В бочки класть нельзя. Из Ниагары выплывут. Из Мальстрима опять же. Опасные, никой богумил не сравнится.

– А зомби сделать?

Унион посмотрел на Йориса как на идиота.

– Ты этих мадам не знаешь. Они законов не писали, вот им тоже закон не писан. Либо труп из такой делаешь, либо она из тебя такое, что лучше тебе не знать. Они совсем не дуры, знают, всем готовят матриархат, обнаглели. Никакому жрецу с ними, с матерущими, не совладать, скоро везде во главе государств королевы и мадам президенты будут. Только убить...

– А из трупов зомби сделать?...

– А труп он и есть труп, из несвежего что сделаешь? Свежий нужен...

Йорис промолчал: куда девать баб, особенно победивших, он решительно не представлял. Но жрец что-то придумал.

– Войска вызвал?

– К утру могут быть – катера четыре в гавань помещается. Вызывать? утром будут

– Маловато, – задумался жрец, – но придется рискнуть. Предупреди, чтобы ждали сигнала.

Самозванный губернатор ушел по лесенке на верхний этаж в радиорубку вести переговоры, а жрец остался в одиночестве. До рассвета оставался еще полный час, выстрелы слышались лишь где-то уже совсем далеко.

На пороге появился гость совершенно неожиданный – казак Ксенофонт Бурундук.

Он помолчал и что-то очень тихо произнес – вероятно, молитву.

Перекрестился.

– Аминь. – ответили губернатор и жрец в один голос. Вудуисту христианский жест совершенно не мешал.

– Стреляют, однако... Долго ли того будет?..

– До самого, Тимофеич, тебе ли не знать... А, ладно. С черными разберутся. Но сейчас сюда пехотинки пойдут. Не надо бы им в город.

Казак удивился:

– Так пусть сторожат его, вот и не пойдут в него. Они военные, с поста нельзя! Шаг в сторону, прыжок вверх!..

Жрец впервые хмыкнул. Такое могло прийти в голову только казаку.

– И как их убедить?

Вмешался Йорис.

– У них баба-генерал. наверное, с ней надо говорить. Но они там все расистки. Жрец понял. Потом запустил ладони в кювету, набрал в них дымящейся жидкости и глубоко, надолго погрузил в них лицо. Выпрямился, дал жидкости стечь по рукам, посмотрел по сторонам.

Зрелище было не для слабых нервов: Марсель-Бертран Унион стал из черного старика вполне северного образца белым человеком средних лет.

Казак перекрестился. Йорис, видимо, чего-то такого ожидавший, только вздрогнул.

– Ну, придется переодеться, – сказал жрец и отправился наверх. Минут через двадцать он вернулся в безукоризненной тройке. От вест-индского жреца в нем были только черты лица и вьющиеся волосы, да и те из седых стали русыми.

– Расизм вреден для здоровья. Меры приняты. Надо встретиться с этой стервой. На полчаса повисла тишина, нарушаемая только выстрелами на востоке, все более редкими. Сладковатый пар поднимался от кюветы, кружа голову всем, кто оставался в зале – четверем вернувшимся стражам и самозванцу-губернатору. На побелевшего негра-жреца. понятное дело, дурман не действовал.

Губернатор встал и прохромал к окну. На востоке не было еще ни луча, но скоро, как он знал, хмурый рассвет все-таки проклюнется. Он был немного астроном, даже звездочет, но небо Балтики скорее предъявит человеку Дикую Охоту, чем звездный купол. Йорис был вовсе не стар, он знал, что делал, когда сбежал с должности проктолога в московской больнице, перспектив там не было никаких и смотреть ни на что не хотелось. Уж лучше быть незаконным губернатором на острове Буяне, чем средней известности лекарем в русской столице, особенно при его профессии. А тут еще и вверенный ему городок оказался центром интриг королевства датского и империи российской.

Две красотки отсалютовали и ввели пожилую женщину-генерала.

Побелевший жрец встал и склонился в полупоклоне.

– Выше высочество. Марсель-Бертран Унион, дипломатический советник второго ранга, к вашим услугам.

– Где Софья Романова, где моя племянница?

– Ее высочество изволят почивать, просили не тревожить.

Тетка Александра грозно сверкнула очами.

– Для меня она должна проснуться.

Унион сделал знак модельным девицам. Кажется, тетке эти дамы угодили. Девицы выскользнули в дверной проем и поспешили на Русский Двор, где остановилась Софья вместе со своей свитой в количестве одного восточного отрока.

Унион, губернатор и тетка, на которую сладкий дымок не произвел никакого впечатления, обменялись десятком ни к чему не обязывающих фраз. потом как бы между прочим Унион вставил:

– Их высочество прибыли сюда в ожидании своей коронации.

Тетка опешила.

– Какой коронации? Даже речи не может идти!

– Нет, их высочество только затем прибыли в Данию, чтобы подготовиться к коронации на всероссийский престол. Они выбрали местом коронации традиционное место – Успенский собор Московского кремля.

– Что за бред?

– Их сиятельство уверены, что ваша верность и любовь к России неизменны...

– Я заявляла лишь о любви к русским женщинам, жду от нее помощи в борьбе с мужчинами и ничего больше!

– Боюсь, имеет место недопонимание...

Тетка стала белеть.

– Какая коронация, не может быть и речи! Речь идет о борьбе за сплочение

рядов женщин, борющихся против сексизма, против объективации, эксплуатации с помощью порнографии, пропаганды гетеронормативности и за любовь женщины к женщине! Борьба не за право на труд, а за право на оргазм, притом не как за инструмент к принуждению и подчинению! Борьба против маскулизма, менинизма, эгалитаризма и мизогинизма, против всех форм женофобии! Против надругательства над исконной доминирующей ролью женского сообщества в цивилизации! Против владычества ничтожного аутсайдерства! Против борьбы за псевдосвободу женщин, насаждаемой жидокоммунистической идеологией и православием! Против мужчинорабства! За ликвидацию мужчин, а не завоевание престола!

Унион подумал, что вот именно с этим последним будут еще какие проблемы. – Не уверен, что их высочество разделяет ваше рвение в подобной борьбе, она пока что считает главной, если не единственной целью восстановление в России монархии дома Романовых, возглавляемой законной наследницей престола Софьей второй.

Тетка увяла.

– Может, она еще и на шпильках собралась на коронацию? И замуж хочет, и рожать? Может, она пиво пьет?

Насчет пива Унион понятия не имел, в прочем тоже сомневался. Но был уверен, что от борьбы за престол Софья не отступится. Он попытался ответить, но тетку несло.

– Это предательство дела Симоны де Бовуар!

– Боюсь, что их высочество не планирует продолжать дело Симоны де Бовуар. «Хоть то отрадно, что Софья все еще не припожаловала».

– Уважаемый, в этом случае нам остается лишь удалиться и продолжить нашу борьбу. – Тетка встала с видом полностью нелюбезным. Это жреца не устраивало.

– Мне кажется, надо найти иное решение. Их высочество борьбу не прекратит. Возможно, лучше было бы поставить процесс под контроль.

Тетка вновь присела и задумалась.

Унион, напротив, не думал ни секунды – план созрел у него мгновенно.

– Вероятно, оптимально будет задержать ее высочество в Карстенбурге. Отсюда можно и бороться за святое женское дело, и следить за подготовкой реставрации дома Романовых, каковая подготовка еще отнюдь не завершена.

О последнем жрец нагло врал, но выхода не было.

Наконец-то боязливо подал голос губернатор.

– Прошу разрешения вставить реплику. Как губернатор города я полагаю себя ответственным за безопасность гостей острова и не могу ни на кого перекладывать ответственность за них. На мне и на моей администрации лежит нелегкая обязанность оберегать покой тех, кто рассчитывает на наше гостеприимство.

Поначалу ничего не понял даже жрец. Но как только понял – мысленно не смог подобрать орден для награды, которую заслужит, кажется, нынче Йорис Морейно.

– Что вы хотите сказать? – ничего не поняла тетка Александра.

– Полагаю, наиболее уместным будет обеспечить повышенный уровень безопасности их сиятельства.

– Что вы хотите сказать...

– Полагаю, мы можем обеспечить высочайший, даже экстраординарный уровень безопасности их высочества. Донжон замка Гаммельфестинг располагает всеми удобствами, утеплен, снабжен водопроводом, канализацией, центральным отоплением. Верхние этажи полностью изолированы от нижних и неприступны, и на них ее высочество будет полностью застрахована от возможных покушений на ее жизнь и здоровье.

До тетки тоже дошло. Она постучала костяшками по дереву стола.

– Отличная идея. Видимо, потребуется постоянная охрана принцессы. Мои волонтеры могут ее обеспечить. Роты будет достаточно? Ведь крепость большая.

– О, ваше сиятельство, крепость большая, но совершенно неприступная. Стеречь придется только донжон и ближние подступы к нему. В три смены. Пока не минует опасность покушения.

– Да, – задумчиво произнесла тетка, – а ведь тем временем она как раз сможет изучить нужную литературу и сумеет проникнуться идеями... прежде всего идеями Симоны де Бовуар, конечно же, Виржинии Вулф, разумеется, Гертруды Стайн, безусловно. Боже, сколько же прекрасных открытий ей предстоит! я ей так завидую! Получить все сразу, в уютной тишине одинокой башни, погрузиться в мир истинных женских переживаний и грез!.. – Тетка промокнула платочком увлажнившиеся глаза.

Душераздирающую сцену водворения растерянной Софьи в верхний этаж башни мог бы описать разве что Достоевский, очень много проиграв в Баден-Бадене. Софья Романова на данном этапе проигрывала куда больше... но при ее характере, будь она на попечении в советском СИЗО, к примеру, даже в случае одиночного заключения на ее деле было бы проставлено «Склонен к побегу». Правда, высота самой башни была с десятиэтажный дом. Правда, и под ней еще обрыва была сажень на сорок меловых скал.

В том, что падать оттуда – это очень высоко – Софья смогла убедиться. Прежде, чем водворить ее в благоустроенный верхний этаж под присмотр стрелецкого полка тетки Александры, ей показали, как долго летит оттуда тяжелая бочка. Бочка, впрочем, не разбилась, но течением ее унесло, потому как был отлив. В бочке было крепко засмолен черный богумил отец Маркел. Других воинов его армии на верхотуру не таскали. Их просто засмолили. И на долгие времена не стало о них ни слуху ни духу. Конечно, никто не думал, что все эти бочки никуда и никогда не выплывут. Но хотя бы на какое-то время и от Софьи, и от богумилов наше повествование оказалось избавлено. Хорошо бы – навсегда, но каноны реалистического реализма не позволяют описывать то, чего уж совсем никогда не может быть.

Тетка погрузилась примерно с половиной своего воинства на катера и отбыла, меньшая часть морпешек пошла размещаться по старинным казармам крепости. К донжону сразу поставили караул баб в десять. Жрец с одобрением осмотрел проснувшийся и как-то ничем не среагировавший Карстенбург – и удалился в

приемный зал музея. На столе все еще вился пар над высыхающей кюветой. Губернатор сидел, сложив руки на животе, и крутил большими пальцами.

– Все к общему удовольствию? – спросил он.

– Сомневаюсь, чтобы к общему. Конечно, белый цвет – это прекрасно...

Жрец вновь опустил руки в кювету, набрал в ладони жидкость и погрузил в нее лицо. Когда он отнял их – вновь перед губернатором стоял все тот же чернокожий вудуист, только в парадной тройке.

– Но черный цвет – это не менее прекрасно!

Морейно смутился.

– А как?... Что же это за колдовство?...

– Ничего особенного, друг мой. Теплая вода и чуть-чуть эфира. И все.

– А порошок?

Жрец хмыкнул.

– Шамбала, дорогой, шамбала. Всего лишь пажитник. Обычный зеленый сыр. И сила воли. Остальное – лишнее.

...Шел семидесятый год эры чучхе. Шел год белой обезьяны и белого петуха. Шел международный год инвалидов умственного труда. Шел месяц шавваль. Шел месяц хишваль. А еще это был день почитания памяти мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Полихрония пресвитера, святителя Виталия, епископа Зальцбургского. Это был международный день повара. В этот день Фернан Магеллан прибыл в Севилью. В этот день умер Александр III, троюродный дед главного героя этого романа. Это был день йом шлиши. Это был день юкюнч кюн. Короче, если кому делать нечего, тот может про этот день выяснить еще очень долго, и не узнать ничего, что имело бы ценность для нашей истории.

## Павел II Пригоршня власти Часть 2

*Евгений Витковский*

II

...обрящется рука твоя всем врагом твоим, десница твоя обрящет вся ненавидящая тебе, яко положиши их яко пещь огненную во время царства твоего.

Поп Лазарь. Челобитная царю Алексею Михайловичу

«...лядя из Лондона. Ее вы можете... ать... ать... также... ать... ать...» – приемник кашлянул на коротких волнах что-то, и больше уже не кашлял. Опять – все. Последнюю радость отнимают. Вот. Сперва на чин понизили, это бы ладно. Был капитан, стал штабс-капитан. Никто ничего еще не понимает, чуть ли не все думают, что это повышение. А вот как придет ответ... Ведь подал же прошение на высочайшее имя! В месяц должны отвечать, в месяц! Хотя месяц – еще только через две недели. Может, учтут. Может, переведут. Учтут личную преданность лошадам и маршалу Буденному, переведут в кавалерию, тогда будет чин не штабс-капитан, а штаб-ротмистр. Прошел переаттестацию – и

точка. Не понижали меня! Переарестовали, то есть переаресто... переаре... Фу. Даже мысленно не мог нынче Миша произнести такое мудреное слово, он седьмые сутки подряд переваливался из шестой алкогольной формы, в которой и Би-Би-Си хорошо слушается, и сайрой закусить можно, в седьмую алкогольную форму, в которой впору этими бибисями разве что закусывать, да и те назад пойдут, лучше спать. Не поглядели, гады орденосные, на заслуги. Взяли, да и покумили. То есть превратили в кума. Предложили возглавить руководство спецлагерем номер какой-то, возле города Великая Тувта. Город, сволочи, тоже переименовали, чем плохо им было раньше Большая Тувта? Нет, надо все перепельменить навыворот, лишь бы не как при советской власти...

Лагерь ему тоже достался не просто так. Ему спецлагерь поручили, такой, в который министр внутренних дел Всеволод Глущенко приказал швырять всех прежних милиционеров, не снимая формы, на срок от десяти и выше. Министр добился у императора, чтобы в лагере не создавать лишней судебной волокиты, организовать простую арифметическую систему автоматических зачетов: год за десять. Это значит: прослужил в милиции год – сиди десять лет. Прослужил пятнадцать лет – сиди сто пятьдесят. Хоть чемпионат устраивай. Самую длинную дистанцию схлопотал какой-то старый хрен из неведомого города Почепа, заработал за свои пятьдесят шесть выслуги – пятьсот шестьдесят соответственно. Даже странно, что ни у кого не оказалось, к примеру, стажа в восемьсот лет. Ах, ну да, тогда же еще милиции не было, тогда полиция была, тогда незаконный внебрачный царь был. Но жалко. Вот бы ходил на зоне один всего, а сроку у него – как у всего политбюро возраст! Восемьсот лет. Хотя зачем это?.. Забавина пустая, мент поганый он и есть мент поганый, он и десять не потянет, сайра ему не положена, потому что ни передач, ни писем, ни баб-свиданок, никаких поощрений. На работу их за зону не выводят, у них прямо тут работа: ведут подкоп из одного барака в другой. Проведут – запал туда, бабах, затоптали, долби теперь другой подкоп. Заметим, что в вечной мерзлоте. Кто не долбил, пусть подолбит. А каждый долб в сторону как побег рассматривается, только так.

Мысль о побеге возвратила нетрезвого Михаила Макаровича Синельского к действительности. Действительность была отвратительная, потому что перестал работать радиоприемник. А это значило, что поломали антенну. Антенной для Мишиного знаменитого транзистора на лампах служил лагерный периметр из колючей проволоки, он, когда ток по нему пропущен, еще лучше принимает. А если антенна отказала, это значит перекусили где-то проволоку, поломали колючку. Значит, опять кто-то посушить рога захотел, то есть в бега рванул. «Интересно, сколько их в этот раз рвануло?» – подумал Миша очень отстраненно. Чтоб удрапать с зоны, нужна одежда, потому как если в шинелке кого хоть за двести километров от Великой Тувты поймут, тому сто импералов за живого, десять за мертвого. Ну, а словленному – наколку. На левую щеку – «бегун», на правую – «засратый», и обратно зона, только теперь срок пойдет вдвое. Автоматом, без пересуда. «А у меня какой срок?» – подумал Миша и пролил рюмку, а затем рассвирепел, потому что как радио замолчало, так больше и не хотело, подлое.

Миша рванул из-за стола, больно ударяясь, выбежал из потайного радиочулана в приемную. Там, в уголке, свернув чужую шинель под голову, на свою беду тихо кемарил радист, старик Имант, сын латышских стрелков, каким-то непонятным образом затесавшийся в милиционерскую среду лагеря от прошлых постояльцев. Всех прежних вроде бы выпустили, а его оставили, потому что дела не нашли. Не сидело его тут никогда. Он, значит, просто жил в лагере, сам сюда переселился. И нет у него судимости. А выпустить его нельзя: во-первых... Ну, неважно во-первых, и даже в-пятых и в-десятых неважно. Важно то, что в-главных: второго радиста, способного соорудить приличный радиоприемник буквально из трех напильников, да еще использовав в качестве антенны родную колючку-периметр, что вокруг запретки восьмеркой проведена, такого мастера можно было не искать ни в каком лагере. А Миша Синельский, кум-богдыхан всея лагеря, без ежедневных бибисей и жить-то не хотел.

Кум-богдыхан свирепо вышиб из-под головы латыша шинелку, а его самого выкинул за дверь, в сугроб. Бросился за ним и стал бить каблуком. Латыш привычно ввинчивался в снег, Миша скоро поскользнулся, чего избиваемый, кажется, и ожидал. Кум больно шмякнулся всей задницей, а Имант осторожно высунул голову из сугроба.

– Ты не очень-то лютуй, начальник, – сказал он сочувственно, – это для здоровья вредно и опасно. Ты у меня седьмой. Ты, твое благородие, приходишь и уходишь, а я, – Имант выплюнул снег вместе со сгустком туберкулезной крови, – я – остаюсь.

Миша хотел взречь, но вместо рева из пасти изверглась непроглоченная сайра. Вслед за ней бурным потоком устремилась сайра проглоченная. Обессиленный Миша сидел на грязном снегу, пытаясь поймать хоть немного воздуха, но летающая рыба сайра этот воздух ему пока что застила. А Имант уже стоял на четвереньках и бодро поучал:

– Ты, твое благородие, даже не дворянин. Даже не личный дворянин! Хотя был, хотя был. Из дворян тебя разжаловали. Ты даже не сын полка латышских стрелков! Ты давай беглых лови, а я антенну чинить пойду...

Имант был в расконвойке, к тому же не в милицейской форме, – откуда бы она на нем? – а в телогрейке, убеги он из лагеря, так за него даже за живого никто бы ломаного императора не дал. Пусть чинит антенну. Миша кое-как вполз в свой родной радиочулан с бутылками, стал ждать, когда же из динамика родные жидомасоны забрешут.

А ведь кто, как не он, всю жизнь был отпетым антикоммунистом, махровым монархистом, всегда был готов вступить в Союз Русского Народа, если б знал, где этот союз, он и в масоны бы пошел, пусть бы его научили!.. Миша не знал, сколько сил стоило его старому другу Джеймсу умолить императора сделать капитана Синельского кумом над мусорами, а не сажать на одни с ними нары. Император рассудил по-умному, что положение царя и бога над мусорным лагерем не особенно отличается от положения постояльца такого лагеря, и росчерком пера зафутболил Мишу за Урал. Милиционеры текли в лагерь рекой, не трогали лишь тех, кто по происхождению оказывался казаком. Таких выдавали кругу, круг их порол, а дальше грехи считались смытыми. Миша

слыхал, что кое-кто из бывших донских ментов уже красовался в форме урядника. Мише казалось, что это офицерский чин, он в табелях о рангах слабо разбирался. Он слышал, что Шелковников теперь – «ваше высокопревосходительство». Иди знай, это выше, чем урядник, или ниже? К самому Мише обращались теперь, согласно циркулярному письму из белокаменной, «ваше благородие». Звучало благородно, но... не особенно. Слишком поблизости был расположен старинный русский город Великая Тувта. А из спиртного был один только медицинский спирт, подозрительно припахивавший эфиром.

Переждав некоторое время, в дежурку перед приемной с холода вполз Имант: разрезанный провод он соединил, а что там на запретке натоптали, так то не его ума дело было. Он мог бы уйти в общий барак, там у него было место, на этом месте слишком часто развлекались соседи, если приходил с этапом какой-нибудь мусорок помоложе, белобрысенький, – уж тогда, пока его весь барак не отваяет, место считалось занятым. А несмотря на двадцать седьмой год отсидки, латыш сохранил еще кое-какое обоняние и предпочитал вялые тычки Мишиных сапог унылой барачной вони с попискиваниями очередного новичка, пущенного паханом Леонидом Ивановичем «под трамвай». Честно говоря, меньше всего стремился Имант к выходу не только в барак, но и вообще на свободу, он к ней уже не годился.

Он родился вовсе не в лагере, родители его были два латышских стрелка, хворые и оттого не пострелянные. Были у Иманта и молодые годы, даже, без преувеличения, золотые юные годы. Он родился в Москве в тридцатых годах, и с конца сороковых весь с ушами ушел в радиодело. Помнится, только сдаст зачет по научному... как его там... эксгибиционизму, сядет в автобус – и айда на Коптевский. Рай там был земной, а не рынок, жаль, закрыли этот рай еще в пятьдесят пятом. Где вы теперь, дорогие друзья-коптяри?.. По сей день в голове Иманта звучало, словно эхо юношеских грез:

«Леща, леща, леща, леща...»

«Промежутки, промежутки...»

«Канды, канды, канды...»

Ох, все они, канды, то есть, конечно, для непосвященных, конденсаторы. Потому что был он, Имант, в те годы натуральный кандер. Однажды толкнул два удачных чемодана, на третьем попался, были у него канды в чемоданах не простые, а танталовые, их простой человек раньше конца шестидесятых не нюхал, секретными они на Коптевском были. Вот и сел он за танталовые, обрек себя на танталовые муки. Это ж надо, на такой муре загреметь. Вон, сидит Васька-мусор, так за что? За... эти, рончики для аончиков. Но он на тринадцатом чемодане попался, солидно. Но Васька еще и за литики сел. За слюдяные. Во гад. Все тут люди как люди сидят, политические, он один, сволочь, литический.

«Трансы, трансы... Выходники, силовики...»

Эх, была жизнь на Коптевском! Мент имелся всего один, не как теперь, когда целый лагерь. А тогда мент стоял на Коптевском со стороны трамвайной линии, охраняя рынок с видом льва, стерегущего от чужаков свое личное стадо антилоп. Справа от входа была чайная, где сроду никто не видел чая, но



каждому выдавали громадную щербатую тарелку раскаленной картошки и водку – стаканом. До краев! Картошка дымится, деньги в кармане, кандов еще до хрена... А напротив, или, к примеру, рядом, сидит при своей тарелке знаменитый Техничный Мужик.

Кто он был? Родился, видать, в революцию, а где? Сам-то говорил, что из села на Брянщине. Вместо ругательства цедил иногда сквозь зубы: «Мать моя... Настасья!» Звучало злей любого мата. Был Техничный Мужик высок, сутул, небрит. К нему обращались тогда, когда уж вовсе ничего нельзя было достать, а нужно было позарез. Он шастал по трем точкам торговли трофейными радиодетальями: у Новослободской, возле комиссионки, еще у магазина ДОСААФ возле Петровских ворот, и еще у магазина на Кировской. В магазины не входил, всегда был в состоянии «не пьян, но водкою разит», по слухам, он мог построить «телефункен» по любой отдельно взятой детали. Это был великий учитель Иманта, хотя ничему он латыша не учил, но тот и сам смотреть умел. Сгинул он совсем неизвестно. Последний раз видел его Имант совсем спившегося, держащегося за угол витрины, слава его померкла, из носа текла кровь...

А теперь текла кровь из носа у самого Иманта. Приемник у кума в чулане включился, и радиотехник до следующего побега мог спокойно дремать на шинелке, привычно закинув голову, глотая кровь – скоро, он знал, остановится, этот кум – из хлипких. Как и вся нынешняя смена лагерных постояльцев. Всеволод Викторович Глущенко, нынешний министр, набивал ментами не один лагерь и не два, по слухам, таких лагерей были сотни. Но полной клеветой были другие слухи, о том, что строит он для бывших мусоров газовые камеры, и другие, мусоросжигательные. Нет! Глущенко ставил своей целью немногое: чтобы сидели бывшие менты всю жизнь, занимаясь идиотской работой, притом чтобы сами знали, что она идиотская, чтобы пайка у них была не больше как триста грамм, да и за ту бы друг друга казачили, и прочее, и прочее, словом, все то, чего он сам нахлебался в первые годы отсидки. Охрану лагерей Глущенко в основном поручил самим же заключенным: за право беспредела, за особую жестокость – поощрения, это последнее министр без большой изобретательности наименовал «проявлением бдительности». Вышвырнутые из лагерей старики-зеки с тридцатилетним стажем, уже никак не способные к жизни на воле, скулили с внешней стороны запретки, а приказом Глущенко каждый прорыв в зону карался накидкой десяти лет срока всем ВНУХРовцам, – так, вместо прежней ВОХРы, называлась внутренняя охрана. Над ВНУХРой стояли три-четыре императорских гвардейца, а еще кум-богдыхан из особо доверенных. В Тувлаге таким доверенным был Миша Синельский. Вся его жизнь теперь была сплошная угадка-безответка: то ли он жребий горький-разнесчастный вынул, то ли миллион импералов в особую императорскую лотерею выиграл? А спирт все равно пованивал эфиром.

Радио несло сейчас какую-то невозможную бредуху, но, поскольку вещал родной враг-бибись, ему можно было верить. Права на репортаж о коронации все, какие есть, купила американская корпорация «Си-Ай-Ай». Не прошло и трех дней, как корпорацию в полном составе похитили вместе со зданием,

которое она имела неосторожность занимать в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Просто прилетел дириозавр и унес все здание, переставил его в середку Сахары, а там его живо прибрали к рукам исламские фундаменталисты. Права на коронацию предъявила императорская правительственная корпорация «Мертвецкое». Но и ей пришлось умыться, погубили ее разные митинги против Романовых и в их защиту, надоели дириозавру эти митинги: прилетел, взял трансляционную башню вместе с крутящимся на ней рестораном, отнес в Персидский залив и там воткнул в самое неудобное для навигации место. И митингов не стало, а транслировать чем? В итоге всю коронацию прибрала к рукам, то есть к мохнатым лапам, никому не известная фирма из Латинской Америки, какие-то мариконьос, не то барбудос-пираньяс, иди упомни. Одно только хорошо, что вместо яиц дириозавр отложил на орбиту три десятка спутников связи, так что, вне зависимости от телестанций, уж как-нибудь коронацию покажут. Неудобно все-таки: Политбюро в полном составе несет корону, а народ не видит. Народ должен видеть свое Политбюро. Императора тоже. Жаль только, что такой хилый. И кто только распустил слух, что теперь для всей армии введут парики? Куда ни шло – для лысых, для тепла...

Радио говорило, говорило, даже давно уже перешло на другой язык, которого Миша не знал ни в трезвом бодрствующем виде, ни тем более в пьяном и, как сейчас, спящем. Он допил бутылку из горлышка, не разбавляя, и заснул возле радио, да и латыш-механик, придя с холода, тоже угрелся и заснул, а больше приемную кума нынче никто не стерег, все разбрелись по более важным делам. Дверь скрипнула, и в нее пролез, не постучавшись, молодой и противный зек, явно «опущенный», видимо, не очень и стремящийся к подъему. Лагерного срока судьба припаяла ему тридцать пять лет, ему же от рождения не было и тридцати, так что вообще-то, хоть и в конце жизненного пути, но ему, как очень немногим в лагере, светила свобода. Однако в силу того, что когда-то и где-то – жуть как давно, – звали его в родном Свердловске, то есть в Екатериносвердловске, Алексеем Щаповатым, именно поэтому ничего и нигде ему, вечному неудачнику, не светило. Всю жизнь он ошибался. Даже когда в менты шел, то думал, что морды теперь будет бить. А вышло так, что ему самому били морду все, кому не лень, притом не только на зоне, а еще на воле. Там ему однажды даже баба морду набила с приговорочкой: «По мордасам! По сусалам!» На зоне же прилепился к нему половой демократ с одним глазом и садистскими наклонностями, у которого на все случаи жизни было одно выражение: «Репу начищу!» Им он пользовался тогда, когда бил Алеше морду, когда звал к себе на шуршу, и его же он орал в тот миг, когда задышливо ловил главный кайф от этой самой чистки репы. Был одноглазый мент с Крайнего Севера, из поселка, не то города, с удивительным названием Красноселькуп. Тамошних ментов повязали всех разом, через их город призраки протопали из Европы в Азию, кого из призраков захомутали, а кто и под лед ушел. Глущенко захомутал всех красноселькупских ментов с особым удовольствием, они коммунистов-призраков упустили, но в лагерь отправили такой же, как и всех прочих: ему все равно было, кого, куда и за что, для него все были менты. Но одноглазому в Тувлаге самое место было, а за что ж Алеше, вечно

недолеченному?.. Над Алешиными болезнями одноглазый ржал, лишь яростней чистил репу.

С тоски стал Алеша играть в карты. Проигрывал. Особенно лихо проиграл он сахар до конца своего срока и готов был проиграть его еще за две-три тысячи лет, потому что все равно сахару в лагере никто не видел с одна тысяча наплевать какого, но дальше на сахар играть никто не соглашался. На части своего тела Алеша играть боялся, хотя заставляли, но влезал одноглазый и, защищая свою личную репу, чистил все прочие направо и налево. Но не пахан был одноглазый, не пахан. В паханах над бараком числился Гэбэ, с ударением в конце слова, это было сокращение от невероятной кликухи Главный Блудодей. Сроку тот Блудодей имел средне, двести шестьдесят, имелись в лагере паханы куда более крутые, тот же Леонид Иванович из соседнего барака, куда сейчас подкоп вели. Но знаменит был Гэбэ тем, что еще при советской власти имел приличную судимость по никому не известной пятьсот четвертой статье, такой и в кодексе нет. Но как-то раз Гэбэ сам сознался, что статья такая раньше была: людоедство. Это потом, когда новый кодекс под новую конституцию ладили, то статью изъяли из него за ненадобностью, потому что точно доказали: побеждено при советской власти людоедство. И малярии тоже не бывает. Хотели даже серию марок выпустить – про все, что Советским Союзом побеждено. Марку насчет малярии выпустили – десять лет как она в СССР побеждена, но тут главный почтальон свалился с приступом, и дальше серию печатать не стали из суеверия, ну как Главное Бюро впадет в приступ людоедства? Это, впрочем, не страшно, это бы и понять можно, но вдруг его само, Бюро, съест кто-нибудь? Бюро в чужую тарелку не хотело. И решили так: ни марки, ни уголовной статьи, ничего этого не бывает, все равно как призраков, бродящих по Европе. Но в картишки перекинуться по маленькой Гэбэ любил, даже в бридж умел, был когда-то чемпионом Эстонии по снятию бриджей, то есть по игре этой. Сейчас сидел он, как и все, без статьи, по указу нового министра за номером один через один.

От того не легче. Играть в карты с пятьсотчетвертошником было всегда неуютно. Выход был один: играть с кем-нибудь другим, не таким жутко пятьсот четвертым. Играл Алеша в итоге со всеми подряд и больше всего ужасался, если выигрывал. Полагалось выигранное забирать. Спокойствия ради все выигранное Алеша, несмотря на протесты барака, переписывал на одноглазого, у которого любимое занятие было одно, хотя было это много занятий с одним названием. Играл Алеша, играл – и доигрался. Жуткой харе, которая раньше в Москве стерегла канадское посольство, проиграл Алеша... кума. Мог, ясное дело, выиграть, тоже было бы плохо, но проиграл. И предстояло теперь принести Канаде три куска кума. А Канада, видать, ими долг Гэбэ заплатит, чтобы тот разговеться мог. На исполнение имел Алеша трое суток. Много, обычно больше суток не полагается, но уже шли к концу третьи. Алеша представил, как Гэбэ ест его собственные кусочки, и его вывернуло. В желудке было пусто, так что вышел не блев, а один звук.

Для исполнения тяжелого труда Алеша выбрал вынутый им из собственной шурши предмет, в лагере как будто невозможный – это было сапожное шило.

Откуда здесь такое взялось, Алеша выяснять не стал, ибо шило могло пригодиться уж хотя бы потому, что у красноселькупского одноглазого был всего один глаз, не больше. «Хорошо, что не больше», – тупо думал Алеша, разворачивая шило в комнатухе, где орало непонятное радио, а на полу лежал кум-богдыхан Михаил Синельский, штабс-капитан, в восьмой алкогольной форме, она же полный отруб.

«Кум на кону!» – весть не успела облететь лагерь, а кум был уже проигран. И перевести долг было нельзя – никто Алеше ничего не задолжал, зато за ним самим висел вагон сахара. А весь этот сахар, кто не дурак, тот перевел на Гэбэ, про которого такую жуть рассказывали, что не уснешь до утра: Ив-Монтана в подлиннике читает, когда служил, к бабьим туфлям-гвоздикам пристрастился, по размеру их себе заказал, бить этим гвоздиком сподручно, да еще тетя у него еврейка, и зубы меховые. Последнее никто даже понять не пытался, но страшной такого факта не придумывалось ничего.

Убивать кума шилом! Еще куда бы ни шло, если куму... Мысли у Алеши в голове крутились фрейдистские, но он об этом не знал. С ужасающей ясностью понял Алеша, что ничего не знает о том, в какое место нужно шило воткнуть, чтобы не мучился бедняга и чтобы крика не было лишнего. В сердце? С какой оно стороны – с левой? Алеша посетовал в душе, что анатомию никогда не учил, даже в школе только про половые органы все хорошо знал, а больше ни про что. Он поглядел на себя: сердце, значит, с левой. Тогда у кума, как в зеркале – с правой. Алеша зажмурился и изо всех сил вонзил шило куму под правую лопатку.

Раздался хрип, но отчего-то из-за Алешиной спины. Хрип перешел в кашель. Алеша в ужасе оглянулся: между ним и дверью стоял, кашляя, чахоточный радист Имант, держа в каждой руке по шаберу, то бишь по хорошо заточенному напильнику, – их латыш выдернул из радиоприемника.

– Шило брось, – проперхал он, наступая, – не твое шило.

– Мое!.. – не очень уверенно отпарировал Алеша, держа оружие двумя руками, будто оглоблю, – не па-а-д-хади!

Имант пошел в обход: его не Алеша интересовал, а кум, который отчего-то даже не пикнул, когда Алеша пырнул его шилом в несмертельное, но болезненное место. Радист перевернул кума. Голова Миши моталась безвольно, такое с ним происходило каждый день, но кое-какой медицинский опыт человек за двадцать семь лет лагеря обычно приобретает. Имант похлопал Мишу по небритым щекам, заглянул в открытые глаза, осветил в них жужжащим фонариком. Зрачки не сокращались, уши были холодными. В воздухе нестерпимо пахло эфиром. Алеша тем временем подумал-подумал, потерял шило – и опять воткнул его в Мишу. Попал он на этот раз в солнечное сплетение, удар вообще-то смертельный. Но и на него кум не отреагировал никак. Алеша выдернул шило и тяжело сел на пол. Рядом опустился грустный Имант.

– Жалко кума, – сказал сын латышских стрелков, – зачем он пятую-то бутылку сожрал? Третий кум помирает на глазах, и все от спешки. Не умеет человек пить, даже русский. – Имант плюнул в сторону батареи бутылок из-под спирта,

почти загораживавшей стеллаж с Марксом и остальными. Четыре пустых от сегодняшнего дня лежали на столе, пятая, такая же пустая, валялась возле головы кума.

Из распахнутой двери сильно потянуло холодом. На пороге стоял в неизменном синем мундире личный спецпредст, по-простому говоря, специальный представитель министра внутренних дел в лагере Великая Тувта, майор Григорий Иванович Днепр. Взгляд его был подобен взгляду голодного вампира из американского кинофильма, притом из плохого, где играют актеры, а не настоящие упыри, тех приглашать дорого и опасно. Актеры безопасны, но злобны до ненатуральности. Спецпредст Днепр смотрел на мертвого Мишу и шевелил всеми десятью скрюченными пальцами: он дождался своего часа, он имел право применить санкции. Лихо насвистав два такта «Прощания славянки», он только спросил – у Иманта, потому что Алеша был в обмороке: – Мертв?

– Мертвей не бывает, – ответил радист.

– Де-ку-ма-ци-я, – прошипел Днепр, знаниям латыша он доверял. Пусть лепилы свидетельствуют, ему, спецпредсту, уже и так все ясно. Теперь он должен исполнить долг! Долг! Долг!.. – хотя Днепр бежал к своему офису по грязной снежной тропинке, в каждом шлепе собственных сапог о жижу слышалось колокольное звучание этого сладкого слова: долг! Вечный, священный, верховный долг перед державой – декумация! На покойного кума Днепру было глубоко плевать, но важен был факт его труп. Через несколько секунд спецпредст уже висел на телефоне и отдавал приказания, заканчивая каждое из них таким сладким, отдающим классической филологией словом – декумация.

«Стр-р-рашен тогда Днеп-р-р-р!» – полушепотом прорычал Днепр, швырнув трубку. Ждать исполнения приказаний было недолго, бригаду плотников выведут из шестнадцатого барака немедленно, обсосы из хозчасти кумач небось найдут, разве что Фивейскому бежать с другого конца зоны добрых полчаса. Вот только эти полчаса и отпустила судьба Григорию Ивановичу на окончательное обдумывание ситуации. Он знал, что ни случая другого, ни времени больше не будет. Григорий Иванович был филологом, и все его познания кипели в нем сейчас и булькали, как процитированная «Страшная месть»: может, когда и был чуден Днепр, так ведь при тихой погоде, а ее Григорий Иванович только в книжках читал.

«Днепр» было отнюдь не кликухой, а настоящей паспортной фамилией Григория Ивановича, а если быть точным, то воспринятым по наследству от партийного дедушки подпольным псевдонимом, которым тот накрыл свою неизящную, белогвардейским душком пропахшую Дунч-Духонич. В не такие уж давние годы отбухал он свои пять звонковых за наезд в трезвом виде на ногу нетрезвого, поперек Можайского шоссе лежавшего милиционера из ГАИ. Таких людей Глущенко ценил на вес платины, он превращал их в личных своих представителей при лагерях демилитаризации со всеми надбавками, какие мог выдумать, на этом он не экономил, да и вообще экономия была не в его стиле, Григорий Иванович Днепр был в своей Костроме, на исторической родине бояр Романовых тихо и небедно устроен, но возможность наступить на милицейскую

ногу еще разок-другой, предварительно свой сапог подковав, пересилила в нем все личное. Он откликнулся на брошенный жертвам милицейского произвола клич, Бог с ним, с местом декана на филологическом факультете, и поехал в Москву на собеседование с министром, после двух минут разговора Всеволод Глущенко лично вписал в его анкеты: «паратый – 10», разъяснил, что это значит – в высшей степени паратый, и назначил Днепра спецпредстом в родной лагерь Великая Тувта.

Даже выдавший виды филолог Днепр вынужден был зайти в библиотеку, чтобы узнать, откуда такое слово – «паратый».

В большом академическом словаре слово нашлось. С какой пересылки, из какого барака вынес Всеволод Глущенко термин, применяемый только к гончим собакам? Способность долго, быстро, с непрерывным лаем гнать зверя к охотнику как раз и называлась «паратостью». Григорий Иванович подумал-подумал – и одобрил. Да, он, Днепр – очень паратый. И с большим удовольствием проявит свою паратость во вверенном лагере. Получая к вечеру того же дня документы и билеты в секретариате министра, Днепр познакомился с другими паратыми, но ни одному из них не дал Всеволод Глущенко категорию «10». Типичными были шесть, много семь, ни одной девятки. Откуда было Днепру знать, что министр присвоил ему свою собственную категорию, и вверил свой собственный лагерь. И потек Григорий Иванович в путь, и на третьей сутки достиг Тувты, и воцарился. Хрен с ней, с филологией, Овидий может еще тысячу лет подождать.

Днепр немедленно проявил инициативу: выделил в отдельный барак сотрудников ГАИ. Попасть туда было равносильно статье пятьдесят восьмой дробь террор через троцкизм, если считать по-старому. Вообще-то мечтал Днепр о том, чтобы лагерь разукрупнили, завели прокзону, следзону, то есть следовательскую, прокурорскую и другие, но министр с ними почему-то пока миндальничал. Но и нынче висел Днепр над Тувлагом что твой Дамоклов меч, а смерть кума Синельского никакие лепилы не заставили бы спецпредста считать естественной, когда имел он такие шикарные директивы на случай смерти его насильственной. Ведь и вся идея-то изначальная была Днепровой, у Глущенко на нее образования бы не хватило. Григорий Иванович трудился над своей паратостью, тренировал ее, и нынче, надо думать, давно уже отвечал не отметке «десять» – ибо случилось невероятное: бодливой корове дал Бог рога.

Примчался Николай Платонович Фивейский, вообще-то тоже паратый, на пятерку, на второй день после собеседования с министром учинивший дебош в ресторане, отягченный изнасилованием шеф-повара, – в лагерь попал он уже просто как зек-членовредитель, хотя прежние его паратые заслуги учитывались и почти все права обсеса остались при нем. Днепру он был предан не очень, ему на гаишников плевать было, по-настоящему ненавидел он только спецназовцев, от которых претерпел в родном Петергофе за попытку увести льва из фонтана «Самсон». Однако пользу приносил явную, паханы зоны знали, что с Фивейским Днепр хотя бы разговаривает, для прочих у него только карцер и полосатая милицейская дубинка-«гаишница», в которую налил паратый начальник фунтов десять свинца.

Днепр, полуприкрыв глаза, коротко изложил Фивейскому свой план. Николай Платонович успел отогреться и прийти в себя.

– Вашими бы устами да яд пить, – ядовито проговорил он.

– Нет уж, – отпарировал Днепр, – это вашими бы ушами да мед.

Фивейский похлопал глазами, пытаясь представить, как это – ушами да мед, но филология никогда не была его сильной стороной.

– Нет, вы ушами похлопайте, – ядовито добавил Днепр, – а у меня твердый приказ: за смерть кума – декумация. Силами ВНУХРа, и последите, чтобы само слово не просочилось, там есть с высшим образованием, и с двумя, латынь знают. Осведомитель Гириин...

– Партугалска?

– Да, Гириин... – поморщился Днепр, он кликух не любил, он ощутил ответственность как личный специальный представитель министра, – тот вообще на латыни поэму в честь императора написал, послал и ждет, что помиловка будет.

– И будет?

– Улита едет, – Днепр похлопал по ящику стола, – здесь поэмка-то. Хреновая, скажу вам. Кухонная латынь, да еще с итальянскими вульгаризмами...

Фивейский на всякий случай замер, он не понимал ни слова.

– Вот именно! – громыхнул Днепр, вставая. – Внухрить – это вам не вохрить! Это работа ответственная!

«Ну да, – подумал Фивейский, выходя на холод, – счет, небось, не с тебя начнут. Да и вообще на весь лагерь в случае убийства кума только Днепр со своими гвардейцами от счета декумации освобожден. С кого счет начать?» – Молнией озарила сознание Фивейского мысль: «Ну, тогда – с меня! Вот и не буду десятый!»

А в родном бараке Алеши Щаповатого царила литература.

– В вафельное полотенце было завернуто десять тысяч сотенных бумажек. Андрей быстро сунул их в карман шинели, проверил свой верный «макаров»... – мелкий мент-семидесятник по кличке Партугалска вдохновенно тискал роман уже третий час, и все еще не выдыхался, так что даже «покушать» никто не предлагал, – Андрей вихрем вылетел на улицу, вскочил в служебный «мерседес», закурил трофейное «Мальборо», нюхнул любимого пятновыводителя и газанул к даче академика Сахарова...

– Бреешь, Партугалска, – прогудел из своего угла Гэбэ, – у Сахарова вчера дачу Хруслов отобрал и там дочку свою трахнул.

– На ту самую дачу, – Партугалска ничуть не смутился, даже паузы не сделал, – где на письменном столе еще лежали бумаги академика, а диван был уже запятнан кровью дочери Хрулова, Веры, ставшей женщиной накануне вечером. Хруслов уже уехал с дачи на служебном «мерседесе»...

– Иди ты к ляду с «мерседесом»!

– Уехал с дачи на собственном «роллс-ройсе», который подарила Сахарову английская королева вместе с Нобелевской...

Дверь барака распахнулась. На пороге стоял старый пахан соседнего седьмого барака, сельский человек Леонид Иванович. Четырехсотник или чуть больше

того. Лица на старике не было в прямом смысле слова, узнавался он разве что по звездочкам на погонах. – Братья, – прохрипел бывший нижнеблагодатский милиционер, – Леха кума замочил! Кому чего Леха должен, простите долги, братья, его самого латыш, кажись, мочит, то ли уже помочил, сидит в кумарне на пороге с шабером и слезу точит... А по внухре на такой случай приказ – всей зоне раскумация!

– Декумация? – с ужасом спросил излишне образованный Партугалска.

– Во! Декумация! Спасибо, напомнил! Это что, по сто на брата, как на фронте, или чего добавят?

– Добавят? – проверещал Партугалска, в ужасе подбирая ноги, он собирался спрыгнуть с верхней шурши, но раздумал. – Это – убавят! Это – каждому десятому голову рубить будут!

– Я – первый, – не теряя бодрости духа, провозгласил Гэбэ, – второй – Мулында, третьего сами назначайте, – Гэбэ подложил кулаки под голову и стал с интересом смотреть на немую сцену в бараке.

– Я! Я третий! – взвыл Партугалска, и тут же получил увесистую зуботычину от соседа, хорошо известного Канады, любителя «чистить репу».

– Я, бля, третий, – деловито сказал Канада, – а ты, шестерка, четвертый, не то репу начищу. Десятым не будешь, не воняй, без тебя тискать некому. Но и третьим не будешь. Третьим я буду. – Партугалска сомлел, видимо от счастья, что он пусть и не третий, но все же четвертый, а не тот десятый, которого декумать сейчас будут. – Ну? Кто пятый? – грозно спросил Канада.

Все секунду молчали.

Вместо ответа послышался звук хлопнувшей двери: пахан Леонид Иванович пошел играть в считалочку со своим бараком. Из его седьмого барака сейчас как раз велся рабочий подкоп в особбарак ГАИ, безномерной. Всего в лагере барачников сейчас было семнадцать, Днепр собирался весной довести их число до тридцати, но требовались плотники, а откуда взять мусоров с высшим плотницким образованием? Лишь Гэбэ продолжал потирать друг о друга кулаки, – он разглядывал подвластное ему бакланье с таким аппетитом, что всем вспомнилась отсутствующая в нынешнем кодексе пятьсот четвертая статья.

– Да параша это... – протянул кто-то в углу, и разом разрядил обстановку. Сколько раз их уже пугали. А Леха, между прочим, три куса кума так и не принес. Так что Леха сам теперь кандидат для Гэбэшной миски. А что там кумать, не кумать, так до утра еще много чего случиться может. Может, обойдется, может, раскумекается еще как-нибудь.

Тем временем все то, что еще недавно называлось штабс-капитаном Михаилом Макаровичем Синельским, было бережно перенесено в лепилчасть, и главный патологоанатом Тувлага уже намеревался рассечь ему разные полости на предмет изъятия возможных внутренностей, свидетелем чему Имант решительно быть не хотел, хотя и оказался в санчасти вместе с прочими. Сквозь грязное окошко был виден ему освещенный прожекторами плац посреди барачников, где по приказу Днепра сколачивали неумелый помост. К мертвому куму не испытывал он никакого чувства, хотя видал на своем веку и куда как



более злых. Поэтому жалел, что загнулся кум, а не сумасшедший спецпредст в синем мундире, вот таких полоумных даже Имант никогда не видел. Долго такой не протянет, это радист по опыту знал, но куда дымом изойдет – еще всему лагерю душу запомоит.

Помост сколачивали плохо и криво, но без лени: всем, кто трудился, раздали бирки с надписями: «пятый», «шестой», «седьмой». Кстати, всех жутко интересовало – рубить головы будут десятым, или просто отстреляют лишку, говорили об этом очень отстраненно, и собственную голову никто из пускавших сплетни в учет не брал, словно именно она ни в коем случае не отрубается. А от расстрела так и давно всем по прививке сделали. Ничего никому не будет, кроме тех, кто на помосте.

А кто попадет на помост – знал только Днепр. Начало светать, из хозчасти потащились со свертками: весь кумач, какой остался от советской власти, сейчас намечался к использованию, Днепр хорошо знал, что эшафот застилают красным и черным, но черные флаги анархистов в хозчасти заготовлены не были. Зато заранее заготовил Григорий Иванович метровые палки, снаружи деревянные, внутри свинцовые, и все – в черно-белую полоску, «гаишницы». Их он давно берег для казни, а теперь предстояло использовать. Часа в четыре утра, сторонясь прожекторных лучей, Григорий Иванович вышел к особбараку и навесил на него с четырех сторон по жестяному белому квадрату с черной цифрой «10». Прочие зеки могли спать спокойно, хотя недолго: казнить их он не собирался, но их присутствие предполагалось. Григорий Иванович Днепр плевать хотел на все считалочки. Он попросту собирался целиком казнить безномерной барак номер десять, барак ГАИ.

Где-нибудь в Узбекистане, или, скажем, в Молдавии, – последнюю указом императора и Политбюро от двадцать второго переименовали в Заднестровье, – наверное, даже и не все фрукты еще с деревьев сняли, а над окрестностями Великой Тувты уже прочно властвовала зима, и те минус десять по Цельсию, что констатировал к утру внешний термометр санчасти, можно было считать оттепелью. Синие гвардейцы Днепра привели каких-то доходяг и заставили их утоптать дорожку от десятого барака к помосту, застеленному кумачом. Доходяг увели, гвардейцы, все как один паратые и злые, словно некормленные бультерьеры, остались; на помост кое-как втащили деревянную колоду, наподобие тех, на каких рубят мясо. Топоры Григорий Иванович Днепр не доверил никому, пошел в мастерские и лично их заточил.

В пять тридцать из динамиков во всю мощь грянул над лагерем государственный гимн «Прощание славянки», вот уже десять дней как обязательный к исполнению перед всеми важными церемониями. Патологоанатом уже зашил безразличные останки кума, накрыл их оставшейся от времен застоя культа личности простыней. Григорий Иванович вытащил из письменного стола открытку с изображением бюста государя Павла Первого работы скульптора Шубина, перекрестился на нее; изображения нынешнего императора до Великой Тувты еще не дошли, но портретное сходство двух Павлов вполне позволяло, не впадая в государственную ересь, заменить одного другим. Григорию Ивановичу очень нравилась идея, что теперь империя.

Древний Рим тоже пятьсот лет дурью маялся республиканской, покуда сообразил, что без императора один бардак будет. Павел там или не Павел, а хорошо, что император. Моритурги тебе салютант.

Одну запись Григорий Иванович привез с собой. Была у него хорошая долгоиграющая пластинка для самодеятельных театров – барабанный бой. Правда, военный, а не тот, что для казни, там, кажется, надо бы немножко флейты, но какая ж флейта, когда положение сибирское, до Томска неполная тысяча километров, энцефалитные клещи в тайге, вечная мерзлота, дириозавры летают – тут не то что музыка разнообразная, тут хорошо, что барабан есть, в динамиках мощно звучит. В без четверти шесть Григорий Иванович пустил барабан в динамики.

Имант Заславскис смотрел на долгую процедуру построения зеков вокруг эшафота – и скучал. Вот, говорят, шпиона одного живьем сожгли. А публичная казнь, это что ж за зрелище, за двадцать семь лет Имант его уже навидался: вешали, стреляли, один раз, когда кум был из Коканда приехавши, то какого-то гада впихнули в мешок с пчелами. Пчелы сдохли задолго до караемого, тот выждал ночи и сбежал, теперь, говорят, большим человеком в родном Коканде стал, на пасеке работает, миллионы валютой гребет, мед у него особый, валютноемкий. А сейчас чего будет? Все равно ничего интересного, раз костра не разложили.

Ряды постепенно строились, и ужас над ними висел густым облаком, как смог над каким-нибудь Мехико. Осенняя темнота смешивалась с ним, лучи его перемещались, словно взбалтывая настой, которым Григорий Иванович Днепр намеревался опоить вверенный ему мусорный лагерь. Начало упаивания было назначено спецпредстом на шесть тридцать по великотувтинскому времени. Входы в личный бункер Днепра отворились, из всех четырех дверей бодрым шагом вышли по несколько десятков дюжих молодцов в казачьей форме, широким строем обступая эшафот. Бедняги из десятого барака оказались сразу во многих кольцах: казачий круг – перекрестье прожекторных лучей – «недесятые» зеки в старых шинелях – ВНУХРа с автоматами – синие гвардейцы по углам. Палачом Днепр, кажется, назначил себя. Но ведь и казаков на помощь Григорий Иванович тоже кликнуть был готов, иначе зачем бы они тут очутились.

Барабанный рев из динамиков становился все громче. Днепр показываться публике не спешил. Население бараков с первого по девятый и с одиннадцатого по последний тряслось все меньше, им откуда-то стало известно, что декумировать будут не каждого десятого, и безномерной десятый, «гаишный» барак считался обреченным. Поскольку барак этот Днепр заселил не меньше, чем двойной порцией ментов, имелась надежда, что из других бараков добавку брать не будут. Впрочем, это уж как рука раззудится у Днепра – молитесь вашего милицейского бога, мусора, если вообще умеете молиться, а не умеете, так не молитесь, ни хуже вам, ни лучше уже не будет, все уже решено.

Кто-то, стараясь быть возможно более незаметным, поставил на край помоста ящик с тяжеленными полосатыми палками, – десятка три успел заготовить Днепр свинцовых «гаишниц», побаивался, что не хватит, поломаться могут они

об милицейские черепа. За свою силушку Днепр не опасался. Да и помощники-казачки наличествовали. Если уж они нагайкой от плеча до паха грозятся человека разрубить, то «гаишница» сгодится на что-нибудь. Прямо хоть патент на нее оформляй. Ну, топоры тоже есть.

Взвыла сирена. Лепилчасть относительно далеко располагалась от эшафота, так что Имант всего лишь сглотнул от неожиданности. Казаки подняли нагайки и вытолкнули на эшафот первую порцию «гаишников», основательно ударив их под коленки, чтоб не думали по старому советскому рецепту умирать стоя. Кто-то вырывался, кто-то просто рухнул на кумач. Медленно, стараясь придать моменту значимость, на помост вышел Днепр. Имант отвернулся, видал он еще и не такое, а слышно, как он предполагал, не будет ничего: и далеко, и заморыши в десятом живут. Живут? Пожалуй, этот синий людоед с этим вопросом сейчас разберется, ничего там живого очень скоро не останется. Краем глаза латыш все-таки на эшафот глянул. С помощью казаков Днепр устраивал там кровавую баню. Григорий Иванович явно не нуждался в заметной помощи, – ну, разве что остатки его трудов нужно было убирать, да новые партии выталкивать. Главный лепила протянул латышу мензурку, – как-никак в лагере они оба были чем-то вроде патриархов. Лепила в сторону эшафота не смотрел.

– Голем... Ну, сущий голем... – пробормотал лепила, и свою мензурку выпил. Что такое голем, Имант не знал. Но ясно, что ничего хорошего врач иметь в виду не мог.

Сирена продолжала выть, понемногу светало. Лепила уселся на подоконник, чтобы и самому не видеть, и другие не смотрели. Взгляд лепилы вдруг осмыслился:

– А тебя что же не укумили?

Алеша Щаповатый, к которому слова были обращены, выполз из-под стола с расчлененными останками кума. Имант вспомнил, что именно этот жалкий мент-щенок мог бы и должен бы за смерть кума ответить. Но не идти же с доносом теперь, когда синий людоед отомстил уже за все, за что только можно придумать. К тому же Алеша вряд ли после всех подобных событий мог остаться в своем уме.

– Ну, я и сам управлюсь... – пробормотал лепила, набирая в шприц лиловатую жидкость. Имант резко ударил его по руке: еще не хватало психа убивать. Вон, псих лютует посредине лагеря, так за ним небось никто со шприцем не гоняется. Шприц отлетел в сторону, но лепила достал из автоклава другой.

– У меня их пока много, выбить не пытайся, дай, психу-то глюкозу введу. Не гляди, что лиловая, я все в непонятные цвета крашу, не то спасу нет от бакланья мусорского.

Имант в душе покраснел и помог лепиле закатать щаповатский рукав. Покуда медленные десять кубиков втекали в вену к Алеше, радист вгляделся в лицо лепилы. Был тот очень стар, но крепок, по неоспоримому врачебному праву носил жидковатую бороду. Сколько помнил Имант, за четверть века главлепила не переменялся ничуть. И никуда его из Тувлага на пересуд не гоняли, – сколько ж он тут просидел?

– Федор Кузьмич, – спросил Имант, – что ж это срок у тебя такой длинный?

– Это не срок, – ответил лепила, – это жизнь такая. Длинная. Какую Бог послал, такая есть. И жить ее надо так, чтобы не было от нее противно. Тогда она длинная получается. Идею, самое главное, в душе беречь не надо, насчет счастья для внуков, или там внуков этих внуков. Сейчас жить надо, и не брать от жизни, а просто жить. Вот и будет не срок, а жизнь.

Для Иманта, сына латышских стрелков, философия лепилы была слишком сложной, но и в его радиодетальную голову пришло, что и сам-то он тоже уже давно не сидит, а живет в лагере, так по документам выходит. Алеша приоткрыл глаза.

– Никого ты не убивал, – тихо и строго сказал лепила, – когда ты на кума с шилом полез, он уже холодный был. Отравление эфиром. Ты себя не грызи, скоро буран, покемарь пока. – Лепила прикрыл Алешу краем чьей-то забытой, то ли собственной своей телогрейки.

И вправду, лютый вой ветра стал заглушать даже барабанные грохоты, долетавшие с эшафота, где, похоже, все шло к концу. Снег повалил невиданными, с ладонь размером, хлопьями, словно пытаюсь прикрыть собою все то позорище, которое учинил посреди Тувлага разбушевавшийся Днепр. Но, хотя барабаны все грохотали, что-то, видимо, было неладно на эшафоте, вопли оттуда доноситься перестали; Имант подумал, какой же нынче снег плотный, вот, даже синего людоеда за ним не слышать.

Дверь лепилчасти распахнулась, на пороге стояли казаки, их обмороженные до синевы лица служили неким цветовым переходом к синеве того ярко-лазурного предмета, который они тащили. Главлепила на этот предмет уставился с большим интересом.

– Это кто ж его, болезного?

Казаки смутились, потом из-за их спин вышел урядник, протянул руку. Лепила, видимо, на этот жест в жизни насмотрелся: в лапе урядника немедленно оказалась мензурка с лиловатым спиртом. Урядник дернул головой, – видать, выражал благодарность, – и одним глотком мензурку опрокинул в горло.

– Это десятый кончился. Начальник все кумил, кумил, да барак-то не бездонный, кончился барак. А другие, не из десятого которые, не годятся ему. Он и рухнул.

Лепила с интересом щупал пульс Днепра, разглядывал зрачки. Григорий Иванович Днепр лежал на растянутой казаками плащ-палатке, и был тих, как его омоним, описанный литератором Гоголем в замечательной повести «Страшная месть».

Лепила размашисто перекрестился и указал казакам на пустой стол.

– Все, ребятки. Этот – все. И никто в его смерти не виноват, и разводите прочих по баракам. Скажите – и куму песец, и надкумку синему тоже песец, пусть спать ложатся, завтра минус сорок девять, в зачет воскресенья пойдет. – Видя, что урядник сомневается, лепила выпрямился, оказавшись на полголовы выше любого из казаков. – Быстр-ра! Па-ба-ракам! Шагом м-марш!

Эхо в прозекторской было необычное, оно повторило не конец команды, а серединку: «...Ра-кам!...» Казаки послушно уложили утихшего Днепра на стол и,

пяťась, вышли из санчасти. Главлепила с интересом подошел к Днепру. В окостеневшей правой руке бывший спецпредст держал измочаленную и окровавленную «гаишницу».

– Вот и кончился у него срок, – сказал старец, обращаясь и к Иманту, и к полуожившему Алеше, – он не жизнь жил, а срок отбывал. А неправильно это. Очень вредно для здоровья.

Снег валил и валил, и никакие прожекторы с ним уже не справлялись. Который идет час – было не понять, все циферблаты в хозяйстве главного лепила раз и навсегда, похоже, остановились на одиннадцати с чем-то, кто хочет, пусть смотрит и верит, а ему, главному, на время уже давно и навсегда плевать. «А как же радио? – подумал Имант. – Не ровен час опять антенну порвет...»

На подобный вопрос лепила только ухмыльнулся. Потом вытащил из-под стола с Днепром три пары валенок, две телогрейки; придирчиво оглядел своих мелковатых гостей, третью пару швырнул обратно. Потом стал деловито осматривать содержимое Днепровых карманов. В рюкзаки перекочевали два «макарова», один складной «толстопятов», полдюжины гранат «Ф-1». Из очередного кармана старик-лепила вывернул пачку документов, глянул на верхний – и замер. Имант заинтересовался – чем бы это таким покойник мог врача удивить, а увидев, удивился сам: в руках старец держал всего лишь черно-белую открытку с фотографией бюста императора Павла Первого. Но спрашивать латыш ничего не стал, что надо, то и так скажут, это он знал по лагерному опыту.

Главлепила тем временем закончил сборы.

– Все! Переодевайтесь. Мне еще это синее дерьмо вскрывать.

Алеша от ужаса попытался уползти обратно под стол, Имант только вздохнул. Кто сейчас в лагере главное начальство? Лепила. И.о. кума, так сказать. Из собственного кармана тот уже выловил потрепанный бумажник, из него извлек карту местности и развернул ее на подоконнике.

– Так вот: сюда, а потом сюда. Здесь десять верст по реке, встала уже, Чулвин река называется. Может, и двадцать верст, неважно. Дойдете до скалы по левую руку, рогатая такая, будто кто из земли два пальца высунул джеттатурой... ну, улиточьими рожками. Между них тропка, по ней уйдете. Ночевать, дурни, только вместе, не то выкопают вас через миллион лет как мороженого мамонта и в императорский музей...

Старик говорил, говорил, ясно было, что Алеша не в силах не только ничего запомнить, но даже и понять, о чем идет речь. А сын латышских стрелков аккуратно все запоминал: он откуда-то знал даже – что такое джеттатура. Зима в полной силе, и царь уже настоящий. Самое время с лагеря рвать валенки, накочумался уж.

– Здесь вам нельзя больше. Здесь вон пахан из его барака, – старик кивнул на Алешу, – Гэбэ, теперь хозяйничает. Ему-то что, накромяю ему с этих двух придурков съедобных, как говорится, частей, дня четыре спокойный будет. А потом пойдет такая ас-са-мбле-я... – врач замер, глядя в быстро темнеющее окно, – снег за ним валил так, словно небеса кто-то чистил широкой лопатой и той же лопатой этот снег сбрасывал прямо на Тувлаг.

– А про меня не думайте, – ответил лепила на незаданный вопрос, – я не такое видывал. Я пятьсотчетвертошников друг другу скормлю, последнего доской приморожу, накрою, вот пусть их в музее и выставляют. Словом, бери стибанутого, и – ходу!

Чтобы не мудрить, Имант выбрал старую дорогу: ту, по которой неизвестно кто из Тувлага уже дал деру в вечер последнего в Мишиной жизни упоя. Лагерь он знал наощупь, вышел к тому самому месту, где накануне чинил периметр. Все тут было опять порвано, но не людьми: на проволоке, разомкнув колючую цепь, висела мертвая овчарка – лишь она одна в ночь побега пыталась исполнить свой долг, но никто ей не объяснил, что ввухрить – это совсем не то что вохрить, а, стало быть, беглых народонаселение должно само ловить, ему за то империялы золотые платят – а к чему собаке империялы? Имант аккуратно снял тело собаки с проволоки и зарыл в снег: все как-то аккуратней. Потом, следуя совету лепилы, дошел до первой сосны и вынул из неприметного дупла моток грубой бечевки, обвязал ее вокруг пояса совершенно ничего не соображающего Алеши и повел его, как поводырь слепого, не спотыкаясь.

Основательно, прямо в снег лицом, споткнулся он только метров через восемьсот. Высказав по поводу валяющегося под ногами предмета все то, что знал от отца по-латышски, радист разгреб сугроб, хотя вообще-то и сразу понял, обо что именно споткнулся.

«Десять империялов пропадают», – подумал Имант равнодушно, глядя на безымянного милиционера в форме, из-за которого так недавно чинил лагерную антенну, чтобы тогдашний кум свои Би-Би-Си мог слушать. Алеша все равно шел с закрытыми глазами, а снег все падал и падал, завалив беглого за считанные минуты. Но в эти минуты Имант вместе с придурковатым своим спутником уже спускался к реке, чтобы топтать и топтать по льду, пока на берегу скала не покажется, та, что в форме улиточьих рогов. Тувлаг, в котором прожил Имант больше четверти века, уже исчезал из его памяти, словно и в мыслях у радиста нынче тоже был снегопад.

## II

...обрящется рука твоя всем врагом твоим, десница твоя обрящет вся ненавидящая тебе, яко положиши их яко пещь огненную во время царства твоего.

Поп Лазарь. Челобитная царю Алексею Михайловичу

«...лядя из Лондона. Ее вы можете... ать... ать... также... ать... ать...» – приемник кашлянул на коротких волнах что-то, и больше уже не кашлял. Опять – все. Последнюю радость отнимают. Вот. Сперва на чин понизили, это бы ладно. Был капитан, стал штабс-капитан. Никто ничего еще не понимает, чуть ли не все думают, что это повышение. А вот как придет ответ... Ведь подал же прошение на высочайшее имя! В месяц должны отвечать, в месяц! Хотя месяц – еще только через две недели. Может, учтут. Может, переведут. Учтут личную преданность лошадям и маршалу Буденному, переведут в кавалерию, тогда

будет чин не штабс-капитан, а штаб-ротмистр. Прошел переаттестацию – и точка. Не понижали меня! Переарестовали, то есть переаресто... переаре... Фу. Даже мысленно не мог нынче Миша произнести такое мудреное слово, он седьмые сутки подряд переваливался из шестой алкогольной формы, в которой и Би-Би-Си хорошо слушается, и сайрой закусить можно, в седьмую алкогольную форму, в которой впопыхах этими бибисями разве что закусывать, да и те назад пойдут, лучше спать. Не поглядели, гады орденосные, на заслуги. Взяли, да и покумили. То есть превратили в кума. Предложили возглавить руководство спецлагерем номер какой-то, возле города Великая Тувта. Город, сволочи, тоже переименовали, чем плохо им было раньше Большая Тувта? Нет, надо все перепельменить навыворот, лишь бы не как при советской власти...

Лагерь ему тоже достался не просто так. Ему спецлагерь поручили, такой, в который министр внутренних дел Всеволод Глущенко приказал швырять всех прежних милиционеров, не снимая формы, на срок от десяти и выше. Министр добился у императора, чтобы в лагере не создавать лишней судебной волокиты, организовать простую арифметическую систему автоматических зачетов: год за десять. Это значит: прослужил в милиции год – сиди десять лет. Прослужил пятнадцать лет – сиди сто пятьдесят. Хоть чемпионат устраивай. Самую длинную дистанцию схлопотал какой-то старый хрен из неведомого города Почепа, заработал за свои пятьдесят шесть выслуги – пятьсот шестьдесят соответственно. Даже странно, что ни у кого не оказалось, к примеру, стажа в восемьсот лет. Ах, ну да, тогда же еще милиции не было, тогда полиция была, тогда незаконный внебрачный царь был. Но жалко. Вот бы ходил на зоне один всего, а сроку у него – как у всего политбюро возраст! Восемьсот лет. Хотя зачем это?.. Забавина пустая, мент поганый он и есть мент поганый, он и десять не потянет, сайра ему не положена, потому что ни передач, ни писем, ни баб-свиданок, никаких поощрений. На работу их за зону не выводят, у них прямо тут работа: ведут подкоп из одного барака в другой. Проведут – запал туда, бабах, затоптали, долби теперь другой подкоп. Заметим, что в вечной мерзлоте. Кто не долбил, пусть подолбит. А каждый долб в сторону как побег рассматривается, только так.

Мысль о побеге возвратила нетрезвого Михаила Макаровича Синельского к действительности. Действительность была отвратительная, потому что перестал работать радиоприемник. А это значило, что поломали антенну. Антенной для Мишиного знаменитого транзистора на лампах служил лагерный периметр из колючей проволоки, он, когда ток по нему пропущен, еще лучше принимает. А если антенна отказала, это значит перекусили где-то проволоку, поломали колючку. Значит, опять кто-то посушить рога захотел, то есть в бега рванул. «Интересно, сколько их в этот раз рвануло?» – подумал Миша очень отстраненно. Чтоб удрапать с зоны, нужна одежда, потому как если в шинелке кого хоть за двести километров от Великой Тувты поймают, тому сто импералов за живого, десять за мертвого. Ну, а словленному – наколку. На левую щеку – «бегун», на правую – «засратый», и обратно зона, только теперь срок пойдет вдвое. Автоматом, без пересуда. «А у меня какой срок?» – подумал Миша и пролил рюмку, а затем рассвирепел, потому что как радио замолчало,

так больше и не хотело, подлое.

Миша рванул из-за стола, больно ударяясь, выбежал из потайного радиочулана в приемную. Там, в уголке, свернув чужую шинель под голову, на свою беду тихо кемарил радист, старик Имант, сын латышских стрелков, каким-то непонятным образом затесавшийся в милиционерскую среду лагеря от прошлых постояльцев. Всех прежних вроде бы выпустили, а его оставили, потому что дела не нашли. Не сидело его тут никогда. Он, значит, просто жил в лагере, сам сюда переселился. И нет у него судимости. А выпустить его нельзя: во-первых... Ну, неважно во-первых, и даже в-пятых и в-десятых неважно. Важно то, что в-главных: второго радиста, способного соорудить приличный радиоприемник буквально из трех напильников, да еще использовав в качестве антенны родную колючку-периметр, что вокруг запретки восьмеркой проведена, такого мастера можно было не искать ни в каком лагере. А Миша Синельский, кум-богдыхан всея лагеря, без ежедневных бибисей и жить-то не хотел.

Кум-богдыхан свирепо вышиб из-под головы латыша шинелку, а его самого выкинул за дверь, в сугроб. Бросился за ним и стал бить каблуком. Латыш привычно ввинчивался в снег, Миша скоро поскользнулся, чего избиваемый, кажется, и ожидал. Кум больно шмякнулся всей задницей, а Имант осторожно высунул голову из сугроба.

– Ты не очень-то лютуй, начальник, – сказал он сочувственно, – это для здоровья вредно и опасно. Ты у меня седьмой. Ты, твое благородие, приходишь и уходишь, а я, – Имант выплюнул снег вместе со сгустком туберкулезной крови, – я – остаюсь.

Миша хотел взреветь, но вместо рева из пасти изверглась непроглоченная сайра. Вслед за ней бурным потоком устремилась сайра проглоченная. Обессиленный Миша сидел на грязном снегу, пытаясь поймать хоть немного воздуха, но летающая рыба сайра этот воздух ему пока что застила. А Имант уже стоял на четвереньках и бодро поучал:

– Ты, твое благородие, даже не дворянин. Даже не личный дворянин! Хотя был, хотя был. Из дворян тебя разжаловали. Ты даже не сын полка латышских стрелков! Ты давай беглых лови, а я антенну чинить пойду...

Имант был в расконвойке, к тому же не в милицейской форме, – откуда бы она на нем? – а в телогрейке, убеги он из лагеря, так за него даже за живого никто бы ломаного империала не дал. Пусть чинит антенну. Миша кое-как вполз в свой родной радиочулан с бутылками, стал ждать, когда же из динамика родные жидомасоны забрешут.

А ведь кто, как не он, всю жизнь был отпетым антикоммунистом, махровым монархистом, всегда был готов вступить в Союз Русского Народа, если б знал, где этот союз, он и в масоны бы пошел, пусть бы его научили!.. Миша не знал, сколько сил стоило его старому другу Джеймсу умолить императора сделать капитана Синельского кумом над мусорами, а не сажать на одни с ними нары. Император рассудил по-умному, что положение царя и бога над мусорным лагерем не особенно отличается от положения постояльца такого лагеря, и росчерком пера зафутболил Мишу за Урал. Милиционеры текли в лагерь рекой, не трогали лишь тех, кто по происхождению оказывался казаком. Таких



выдавали кругу, круг их порол, а дальше грехи считались смытыми. Миша слышал, что кое-кто из бывших донских ментов уже красовался в форме урядника. Мише казалось, что это офицерский чин, он в табелях о рангах слабо разбирался. Он слышал, что Шелковников теперь – «ваше высокопревосходительство». Иди знай, это выше, чем урядник, или ниже? К самому Мише обращались теперь, согласно циркулярному письму из белокаменной, «ваше благородие». Звучало благородно, но... не особенно. Слишком поблизости был расположен старинный русский город Великая Тувта. А из спиртного был один только медицинский спирт, подозрительно припахивавший эфиром.

Переждав некоторое время, в дежурку перед приемной с холода вполз Имант: разрезанный провод он соединил, а что там на запретке натоптали, так то не его ума дело было. Он мог бы уйти в общий барак, там у него было место, на этом месте слишком часто развлекались соседи, если приходил с этапом какой-нибудь мусорок помоложе, белобрысенький, – уж тогда, пока его весь барак не отваяет, место считалось занятым. А несмотря на двадцать седьмой год отсидки, латыш сохранил еще кое-какое обоняние и предпочитал вялые тычки Мишиных сапог унылой барачной вони с попискиваниями очередного новичка, пущенного паханом Леонидом Ивановичем «под трамвай». Честно говоря, меньше всего стремился Имант к выходу не только в барак, но и вообще на свободу, он к ней уже не годился.

Он родился вовсе не в лагере, родители его были два латышских стрелка, хворые и оттого не пострелянные. Были у Иманта и молодые годы, даже, без преувеличения, золотые юные годы. Он родился в Москве в тридцатых годах, и с конца сороковых весь с ушами ушел в радиодело. Помнится, только сдаст зачет по научному... как его там... эксгибиционизму, сядет в автобус – и айда на Коптевский. Рай там был земной, а не рынок, жаль, закрыли этот рай еще в пятьдесят пятом. Где вы теперь, дорогие друзья-коптяри?.. По сей день в голове Иманта звучало, словно эхо юношеских грез:

«Леща, леща, леща, леща...»

«Промежутки, промежутки...»

«Канды, канды, канды...»

Ох, все они, канды, то есть, конечно, для непосвященных, конденсаторы. Потому что был он, Имант, в те годы натуральный кандер. Однажды толкнул два удачных чемодана, на третьем попался, были у него канды в чемоданах не простые, а танталовые, их простой человек раньше конца шестидесятых не нюхал, секретными они на Коптевском были. Вот и сел он за танталовые, обрек себя на танталовые муки. Это ж надо, на такой муре загреметь. Вон, сидит Васька-мусор, так за что? За... эти, рончики для аончиков. Но он на тринадцатом чемодане попался, солидно. Но Васька еще и за литики сел. За слюдяные. Во гад. Все тут люди как люди сидят, политические, он один, сволочь, литический.

«Трансы, трансы... Выходники, силовики...»

Эх, была жизнь на Коптевском! Мент имелся всего один, не как теперь, когда целый лагерь. А тогда мент стоял на Коптевском со стороны трамвайной линии, охраняя рынок с видом льва, стерегущего от чужаков свое личное стадо

антилоп. Справа от входа была чайная, где сроду никто не видел чая, но каждому выдавали громадную щербатую тарелку раскаленной картошки и водку – стаканом. До краев! Картошка дымится, деньги в кармане, кандов еще до хрена... А напротив, или, к примеру, рядом, сидит при своей тарелке знаменитый Техничный Мужик.

Кто он был? Родился, видать, в революцию, а где? Сам-то говорил, что из села на Брянщине. Вместо ругательства цедил иногда сквозь зубы: «Мать моя... Настасья!» Звучало злей любого мата. Был Техничный Мужик высок, сутул, небрит. К нему обращались тогда, когда уж вовсе ничего нельзя было достать, а нужно было позарез. Он шастал по трем точкам торговли трофейными радиодеталями: у Новослободской, возле комиссионки, еще у магазина ДОСААФ возле Петровских ворот, и еще у магазина на Кировской. В магазины не входил, всегда был в состоянии «не пьян, но водкою разит», по слухам, он мог построить «телефункен» по любой отдельно взятой детали. Это был великий учитель Иманта, хотя ничему он латыша не учил, но тот и сам смотреть умел. Сгинул он совсем безвестно. Последний раз видел его Имант совсем спившегося, держащегося за угол витрины, слава его померкла, из носа текла кровь...

А теперь текла кровь из носа у самого Иманта. Приемник у кума в чулане включился, и радиотехник до следующего побега мог спокойно дремать на шинелке, привычно закинув голову, глотая кровь – скоро, он знал, остановится, этот кум – из хлипких. Как и вся нынешняя смена лагерных постояльцев. Всеволод Викторович Глущенко, нынешний министр, набивал ментами не один лагерь и не два, по слухам, таких лагерей были сотни. Но полной клеветой были другие слухи, о том, что строит он для бывших мусоров газовые камеры, и другие, мусоросжигательные. Нет! Глущенко ставил своей целью немного: чтобы сидели бывшие менты всю жизнь, занимаясь идиотской работой, притом чтобы сами знали, что она идиотская, чтобы пайка у них была не больше как триста грамм, да и за ту бы друг друга казачили, и прочее, и прочее, словом, все то, чего он сам нахлебался в первые годы отсидки. Охрану лагерей Глущенко в основном поручил самим же заключенным: за право беспредела, за особую жестокость – поощрения, это последнее министр без большой изобретательности наименовал «проявлением бдительности». Вышвырнутые из лагерей старики-зеки с тридцатилетним стажем, уже никак не способные к жизни на воле, скулили с внешней стороны запретки, а приказом Глущенко каждый прорыв в зону карался накидкой десяти лет срока всем ВНУХРовцам, – так, вместо прежней ВОХРы, называлась внутренняя охрана. Над ВНУХРой стояли три-четыре императорских гвардейца, а еще кум-богдыхан из особо доверенных. В Тувлаге таким доверенным был Миша Синельский. Вся его жизнь теперь была сплошная угадка-безответка: то ли он жребий горький-разнесчастный вынул, то ли миллион императоров в особую императорскую лотерею выиграл? А спирт все равно пованивал эфиром.

Радио несло сейчас какую-то невозможную бредуху, но, поскольку вещал родной враг-бибись, ему можно было верить. Права на репортаж о коронации все, какие есть, купила американская корпорация «Си-Ай-Ай». Не прошло и

трех дней, как корпорацию в полном составе похитили вместе со зданием, которое она имела неосторожность занимать в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Просто прилетел дириозавр и унес все здание, переставил его в серединку Сахары, а там его живо прибрали к рукам исламские фундаменталисты. Права на коронацию предъявила императорская правительственная корпорация «Мертвецкое». Но и ей пришлось умыться, погубили ее разные митинги против Романовых и в их защиту, надоели дириозавру эти митинги: прилетел, взял трансляционную башню вместе с крутящимся на ней рестораном, отнес в Персидский залив и там воткнул в самое неудобное для навигации место. И митингов не стало, а транслировать чем? В итоге всю коронацию прибрала к рукам, то есть к мохнатым лапам, никому не известная фирма из Латинской Америки, какие-то мариконьос, не то барбудос-пираньяс, иди упомни. Одно только хорошо, что вместо яиц дириозавр отложил на орбиту три десятка спутников связи, так что, вне зависимости от телестанций, уж как-нибудь коронацию покажут. Неудобно все-таки: Политбюро в полном составе несет корону, а народ не видит. Народ должен видеть свое Политбюро. Императора тоже. Жаль только, что такой хилый. И кто только распустил слух, что теперь для всей армии введут парики? Куда ни шло – для лысых, для тепла...

Радио говорило, говорило, даже давно уже перешло на другой язык, которого Миша не знал ни в трезвом бодрствующем виде, ни тем более в пьяном и, как сейчас, спящем. Он допил бутылку из горлышка, не разбавляя, и заснул возле радио, да и латыш-механик, придя с холода, тоже угрелся и заснул, а больше приемную кума нынче никто не стерег, все разбрелись по более важным делам. Дверь скрипнула, и в нее пролез, не постучавшись, молодой и противный зек, явно «опущенный», видимо, не очень и стремящийся к подъему. Лагерного срока судьба припаяла ему тридцать пять лет, ему же от рождения не было и тридцати, так что вообще-то, хоть и в конце жизненного пути, но ему, как очень немногим в лагере, светила свобода. Однако в силу того, что когда-то и где-то – жуть как давно, – звали его в родном Свердловске, то есть в Екатериносвердловске, Алексеем Щаповатым, именно поэтому ничего и нигде ему, вечному неудачнику, не светило. Всю жизнь он ошибался. Даже когда в менты шел, то думал, что морды теперь будет бить. А вышло так, что ему самому били морду все, кому не лень, притом не только на зоне, а еще на воле. Там ему однажды даже баба морду набила с приговорочкой: «По мордасам! По сусалам!» На зоне же прилепился к нему половой демократ с одним глазом и садистскими наклонностями, у которого на все случаи жизни было одно выражение: «Репу начищу!» Им он пользовался тогда, когда бил Алеше морду, когда звал к себе на шуршу, и его же он орал в тот миг, когда задышливо ловил главный кайф от этой самой чистки репы. Был одноглазый мент с Крайнего Севера, из поселка, не то города, с удивительным названием Красноселькуп. Тамошних ментов повязали всех разом, через их город призраки протопали из Европы в Азию, кого из призраков захомутали, а кто и под лед ушел. Глущенко захомутал всех красноселькупских ментов с особым удовольствием, они коммунистов-призраков упустили, но в лагерь отправили такой же, как и всех прочих: ему все равно было, кого, куда и за что, для него все были менты. Но

одноглазому в Тувлаге самое место было, а за что ж Алеше, вечно недолеченному?.. Над Алешиными болезнями одноглазый ржал, лишь яростней чистил репу.

С тоски стал Алеша играть в карты. Проигрывал. Особенно лихо проиграл он сахар до конца своего срока и готов был проиграть его еще за две-три тысячи лет, потому что все равно сахару в лагере никто не видел с одна тысяча наплевать какого, но дальше на сахар играть никто не соглашался. На части своего тела Алеша играть боялся, хотя заставляли, но влезал одноглазый и, защищая свою личную репу, чистил все прочие направо и налево. Но не пахан был одноглазый, не пахан. В паханах над бараком числился Гэбэ, с ударением в конце слова, это было сокращение от невероятной кликухи Главный Блудодей. Сроку тот Блудодей имел средне, двести шестьдесят, имелись в лагере паханы куда более крутые, тот же Леонид Иванович из соседнего барака, куда сейчас подкоп вели. Но знаменит был Гэбэ тем, что еще при советской власти имел приличную судимость по никому не известной пятьсот четвертой статье, такой и в кодексе нет. Но как-то раз Гэбэ сам сознался, что статья такая раньше была: людоедство. Это потом, когда новый кодекс под новую конституцию ладили, то статью изъяли из него за ненадобностью, потому что точно доказали: побеждено при советской власти людоедство. И малярии тоже не бывает. Хотели даже серию марок выпустить – про все, что Советским Союзом побеждено. Марку насчет малярии выпустили – десять лет как она в СССР побеждена, но тут главный почтальон свалился с приступом, и дальше серию печатать не стали из суеверия, ну как Главное Бюро впадет в приступ людоедства? Это, впрочем, не страшно, это бы и понять можно, но вдруг его само, Бюро, съест кто-нибудь? Бюро в чужую тарелку не хотело. И решили так: ни марки, ни уголовной статьи, ничего этого не бывает, все равно как призраков, бродящих по Европе. Но в картишки перекинуться по маленькой Гэбэ любил, даже в бридж умел, был когда-то чемпионом Эстонии по снятию бриджей, то есть по игре этой. Сейчас сидел он, как и все, без статьи, по указу нового министра за номером один через один.

От того не легче. Играть в карты с пятьсотчетвертошником было всегда неудобно. Выход был один: играть с кем-нибудь другим, не таким жутко пятьсот четвертым. Играл Алеша в итоге со всеми подряд и больше всего ужасался, если выигрывал. Полагалось выигранное забирать. Спокойствия ради все выигранное Алеша, несмотря на протесты барака, переписывал на одноглазого, у которого любимое занятие было одно, хотя было это много занятий с одним названием. Играл Алеша, играл – и доигрался. Жуткой харе, которая раньше в Москве стерегла канадское посольство, проиграл Алеша... кума. Мог, ясное дело, выиграть, тоже было бы плохо, но проиграл. И предстояло теперь принести Канаде три куска кума. А Канада, видать, ими долг Гэбэ заплатит, чтобы тот разговеться мог. На исполнение имел Алеша трое суток. Много, обычно больше суток не полагается, но уже шли к концу третьи. Алеша представил, как Гэбэ ест его собственные кусочки, и его вывернуло. В желудке было пусто, так что вышел не блев, а один звук.

Для исполнения тяжкого труда Алеша выбрал вынутый им из собственной

шурши предмет, в лагере как будто невозможный – это было сапожное шило. Откуда здесь такое взялось, Алеша выяснять не стал, ибо шило могло пригодиться уж хотя бы потому, что у красноселькупского одноглазого был всего один глаз, не больше. «Хорошо, что не больше», – тупо думал Алеша, разворачивая шило в комнатухе, где орало непонятное радио, а на полу лежал кум-богдыхан Михаил Синельский, штабс-капитан, в восьмой алкогольной форме, она же полный отруб.

«Кум на кону!» – весть не успела облететь лагерь, а кум был уже проигран. И перевести долг было нельзя – никто Алеше ничего не задолжал, зато за ним самим висел вагон сахара. А весь этот сахар, кто не дурак, тот перевел на Гэбэ, про которого такую жуть рассказывали, что не уснешь до утра: Ив-Монтана в подлиннике читает, когда служил, к бабьим туфлям-гвоздикам пристрастился, по размеру их себе заказал, бить этим гвоздиком сподручно, да еще тетя у него еврейка, и зубы меховые. Последнее никто даже понять не пытался, но страшней такого факта не придумывалось ничего.

Убивать кума шилом! Еще куда бы ни шло, если куму... Мысли у Алеши в голове крутились фрейдистские, но он об этом не знал. С ужасающей ясностью понял Алеша, что ничего не знает о том, в какое место нужно шило воткнуть, чтобы не мучился бедняга и чтобы крика не было лишнего. В сердце? С какой оно стороны – с левой? Алеша посетовал в душе, что анатомию никогда не учил, даже в школе только про половые органы все хорошо знал, а больше ни про что. Он поглядел на себя: сердце, значит, с левой. Тогда у кума, как в зеркале – с правой. Алеша зажмурился и изо всех сил вонзил шило куму под правую лопатку.

Раздался хрип, но отчего-то из-за Алешиной спины. Хрип перешел в кашель. Алеша в ужасе оглянулся: между ним и дверью стоял, кашляя, чахоточный радист Имант, держа в каждой руке по шаберу, то бишь по хорошо заточенному напильнику, – их латыш выдернул из радиоприемника.

– Шило брось, – проперхал он, наступая, – не твое шило.

– Мое!.. – не очень уверенно отпарировал Алеша, держа оружие двумя руками, будто оглоблю, – не па-а-д-хади!

Имант пошел в обход: его не Алеша интересовал, а кум, который отчего-то даже не пикнул, когда Алеша пырнул его шилом в несмертельное, но болезненное место. Радист перевернул кума. Голова Миши моталась безвольно, такое с ним происходило каждый день, но кое-какой медицинский опыт человек за двадцать семь лет лагеря обычно приобретает. Имант похлопал Мишу по небритым щекам, заглянул в открытые глаза, посветил в них жужжащим фонариком. Зрачки не сокращались, уши были холодными. В воздухе нестерпимо пахло эфиром. Алеша тем временем подумал-подумал, потерял шило – и опять воткнул его в Мишу. Попал он на этот раз в солнечное сплетение, удар вообще-то смертельный. Но и на него кум не отреагировал никак. Алеша выдернул шило и тяжело сел на пол. Рядом опустился грустный Имант.

– Жалко кума, – сказал сын латышских стрелков, – зачем он пятую-то бутылку сожрал? Третий кум помирает на глазах, и все от спешки. Не умеет человек

пить, даже русский. – Имант плюнул в сторону батареи бутылок из-под спирта, почти загоравшей стеллаж с Марксом и остальными. Четыре пустых от сегодняшнего дня лежали на столе, пятая, такая же пустая, валялась возле головы кума.

Из распахнутой двери сильно потянуло холодом. На пороге стоял в неизменном синем мундире личный спецпредст, по-простому говоря, специальный представитель министра внутренних дел в лагере Великая Тувта, майор Григорий Иванович Днепр. Взгляд его был подобен взгляду голодного вампира из американского кинофильма, притом из плохого, где играют актеры, а не настоящие упыри, тех приглашать дорого и опасно. Актеры безопасны, но злобны до ненатуральности. Спецпредст Днепр смотрел на мертвого Мишу и шевелил всеми десятью скрюченными пальцами: он дождался своего часа, он имел право применить санкции. Лихо насвистав два такта «Прощания славянки», он только спросил – у Иманта, потому что Алеша был в обмороке:

– Мертв?

– Мертвей не бывает, – ответил радист.

– Де-ку-ма-ци-я, – прошипел Днепр, знаниям латыша он доверял. Пусть лепилы свидетельствуют, ему, спецпредсту, уже и так все ясно. Теперь он должен исполнить долг! Долг! Долг!.. – хотя Днепр бежал к своему офису по грязной снежной тропинке, в каждом шлепе собственных сапог о жижу слышалось колокольное звучание этого сладкого слова: долг! Вечный, священный, верховный долг перед державой – декумация! На покойного кума Днепру было глубоко плевать, но важен был факт его труп. Через несколько секунд спецпредст уже висел на телефоне и отдавал приказания, заканчивая каждое из них таким сладким, отдающим классической филологией словом – декумация.

«Стр-р-рашен тогда Днеп-р-р-р!» – полушепотом прорычал Днепр, швырнув трубку. Ждать исполнения приказаний было недолго, бригаду плотников выведут из шестнадцатого барака немедленно, обсосы из хозчасти кумач небось найдут, разве что Фивейскому бежать с другого конца зоны добрых полчаса. Вот только эти полчаса и отпустила судьба Григорию Ивановичу на окончательное обдумывание ситуации. Он знал, что ни случая другого, ни времени больше не будет. Григорий Иванович был филологом, и все его познания кипели в нем сейчас и булькали, как процитированная «Страшная месть»: может, когда и был чуден Днепр, так ведь при тихой погоде, а ее Григорий Иванович только в книжках читал.

«Днепр» было отнюдь не кликухой, а настоящей паспортной фамилией Григория Ивановича, а если быть точным, то воспринятым по наследству от партийного дедушки подпольным псевдонимом, которым тот накрыл свою неизящную, белогвардейским душком пропахшую Дунч-Духонич. В не такие уж давние годы отбухал он свои пять звонковых за наезд в трезвом виде на ногу нетрезвого, поперек Можайского шоссе лежавшего милиционера из ГАИ. Таких людей Глущенко ценил на вес платины, он превращал их в личных своих представителей при лагерях демилитанизации со всеми надбавками, какие мог выдумать, на этом он не экономил, да и вообще экономия была не в его стиле, Григорий Иванович Днепр был в своей Костроме, на исторической родине бояр

Романовых тихо и небедно устроен, но возможность наступить на милицейскую ногу еще разок-другой, предварительно свой сапог подковав, пересилила в нем все личное. Он откликнулся на брошенный жертвам милицейского произвола клич, Бог с ним, с местом декана на филологическом факультете, и поехал в Москву на собеседование с министром, после двух минут разговора Всеволод Глущенко лично вписал в его анкеты: «паратый – 10», разъяснил, что это значит – в высшей степени паратый, и назначил Днепра спецпредстом в родной лагерь Великая Тувта.

Даже выдавший виды филолог Днепр вынужден был зайти в библиотеку, чтобы узнать, откуда такое слово – «паратый».

В большом академическом словаре слово нашлось. С какой пересылки, из какого барака вынес Всеволод Глущенко термин, применяемый только к гончим собакам? Способность долго, быстро, с непрерывным лаем гнать зверя к охотнику как раз и называлась «паратостью». Григорий Иванович подумал-подумал – и одобрил. Да, он, Днепр – очень паратый. И с большим удовольствием проявит свою паратость во вверенном лагере. Получая к вечеру того же дня документы и билеты в секретариате министра, Днепр познакомился с другими паратами, но ни одному из них не дал Всеволод Глущенко категорию «10». Типичными были шесть, много семь, ни одной девятки. Откуда было Днепру знать, что министр присвоил ему свою собственную категорию, и вверил свой собственный лагерь. И потек Григорий Иванович в путь, и на третьи сутки достиг Тувты, и воцарился. Хрен с ней, с филологией, Овидий может еще тысячу лет подождать.

Днепр немедленно проявил инициативу: выделил в отдельный барак сотрудников ГАИ. Попасть туда было равносильно статье пятьдесят восьмой дробь террор через троцкизм, если считать по-старому. Вообще-то мечтал Днепр о том, чтобы лагерь разукрупнили, завели прокзону, следзону, то есть следовательскую, прокурорскую и другие, но министр с ними почему-то пока миндальничал. Но и нынче висел Днепр над Тувлагом что твой Дамоклов меч, а смерть кума Синельского никакие лепилы не заставили бы спецпредста считать естественной, когда имел он такие шикарные директивы на случай смерти его насильственной. Ведь и вся идея-то изначальная была Днепровой, у Глущенко на нее образования бы не хватило. Григорий Иванович трудился над своей паратостью, тренировал ее, и нынче, надо думать, давно уже отвечал не отметке «десять» – ибо случилось невероятное: бодливой корове дал Бог рога.

Примчался Николай Платонович Фивейский, вообще-то тоже паратый, на пятерку, на второй день после собеседования с министром учинивший дебош в ресторане, отягченный изнасилованием шеф-повара, – в лагерь попал он уже просто как зек-членовредитель, хотя прежние его паратые заслуги учитывались и почти все права обсоса остались при нем. Днепру он был предан не очень, ему на гаишников плевать было, по-настоящему ненавидел он только спецназовцев, от которых претерпел в родном Петергофе за попытку увести льва из фонтана «Самсон». Однако пользу приносил явную, паханы зоны знали, что с Фивейским Днепр хотя бы разговаривает, для прочих у него только карцер и полосатая милицейская дубинка-«гаишница», в которую налил паратый

начальник фунтов десять свинца.

Днепр, полуприкрыв глаза, коротко изложил Фивейскому свой план. Николай Платонович успел отогреться и прийти в себя.

– Вашими бы устами да яд пить, – ядовито проговорил он.

– Нет уж, – отпарировал Днепр, – это вашими бы ушами да мед.

Фивейский похлопал глазами, пытаясь представить, как это – ушами да мед, но филология никогда не была его сильной стороной.

– Нет, вы ушами похлопайте, – ядовито добавил Днепр, – а у меня твердый приказ: за смерть кума – декумация. Силами ВНУХРа, и последите, чтобы само слово не просочилось, там есть с высшим образованием, и с двумя, латынь знают. Осведомитель Гириин...

– Партугалска?

– Да, Гириин... – поморщился Днепр, он кликух не любил, он ощутил ответственность как личный специальный представитель министра, – тот вообще на латыни поэму в честь императора написал, послал и ждет, что помиловка будет.

– И будет?

– Улита едет, – Днепр похлопал по ящику стола, – здесь поэмка-то. Хреновая, скажу вам. Кухонная латынь, да еще с итальянскими вульгаризмами...

Фивейский на всякий случай замер, он не понимал ни слова.

– Вот именно! – громыхнул Днепр, вставая. – Внухрить – это вам не вохрить! Это работа ответственная!

«Ну да, – подумал Фивейский, выходя на холод, – счет, небось, не с тебя начнут. Да и вообще на весь лагерь в случае убийства кума только Днепр со своими гвардейцами от счета декумации освобожден. С кого счет начать?» – Молнией озарила сознание Фивейского мысль: «Ну, тогда – с меня! Вот и не буду десятый!»

А в родном бараке Алеши Щаповатого царил литература.

– В вафельное полотенце было завернуто десять тысяч сотенных бумажек. Андрей быстро сунул их в карман шинели, проверил свой верный «макаров»... – мелкий мент-семидесятник по кличке Партугалска вдохновенно тискал роман уже третий час, и все еще не выдыхался, так что даже «покушать» никто не предлагал, – Андрей вихрем вылетел на улицу, вскочил в служебный «мерседес», закурил трофейное «Мальборо», нюхнул любимого пятновыводителя и газанул к даче академика Сахарова...

– Брешешь, Партугалска, – прогудел из своего угла Гэбэ, – у Сахарова вчера дачу Хруслов отобрал и там дочку свою трахнул.

– На ту самую дачу, – Партугалска ничуть не смутился, даже паузы не сделал, – где на письменном столе еще лежали бумаги академика, а диван был уже запятнан кровью дочери Хруслова, Веры, ставшей женщиной накануне вечером. Хруслов уже уехал с дачи на служебном «мерседесе»...

– Иди ты к ляду с «мерседесом»!

– Уехал с дачи на собственном «роллс-ройсе», который подарила Сахарову английская королева вместе с Нобелевской...

Дверь барака распахнулась. На пороге стоял старый пахан соседнего седьмого



барака, сельский человек Леонид Иванович. Четырехсотник или чуть больше того. Лица на старике не было в прямом смысле слова, узнавался он разве что по звездочкам на погонах. – Братья, – прохрипел бывший нижнеблагодатский милиционер, – Леха кума замочил! Кому чего Леха должен, простите долги, братья, его самого латыш, кажись, мочит, то ли уже помочил, сидит в кумарне на пороге с шабером и слезу точит... А по внухре на такой случай приказ – всей зоне раскумация!

– Декумация? – с ужасом спросил излишне образованный Партугалска.

– Во! Декумация! Спасибо, напомнил! Это что, по сто на брата, как на фронте, или чего добавят?

– Добавят? – проверещал Партугалска, в ужасе подбирая ноги, он собирался спрыгнуть с верхней шурши, но раздумал. – Это – убавят! Это – каждому десятому голову рубить будут!

– Я – первый, – не теряя бодрости духа, провозгласил Гэбэ, – второй – Мулында, третьего сами назначайте, – Гэбэ подложил кулаки под голову и стал с интересом смотреть на немую сцену в бараке.

– Я! Я третий! – взвыл Партугалска, и тут же получил увесистую зуботычину от соседа, хорошо известного Канады, любителя «чистить репу».

– Я, бля, третий, – деловито сказал Канада, – а ты, шестерка, четвертый, не то репу начищу. Десятым не будешь, не воняй, без тебя тискать некому. Но и третьим не будешь. Третьим я буду. – Партугалска сомлел, видимо от счастья, что он пусть и не третий, но все же четвертый, а не тот десятый, которого декумать сейчас будут. – Ну? Кто пятый? – грозно спросил Канада.

Все секунду молчали.

Вместо ответа послышался звук хлопнувшей двери: пахан Леонид Иванович пошел играть в считалочку со своим бараком. Из его седьмого барака сейчас как раз велся рабочий подкоп в особбарак ГАИ, безномерной. Всего в лагере барачников сейчас было семнадцать, Днепр собирался весной довести их число до тридцати, но требовались плотники, а откуда взять мусоров с высшим плотницким образованием? Лишь Гэбэ продолжал потирать друг о друга кулаки, – он разглядывал подвластное ему бакланье с таким аппетитом, что всем вспомнилась отсутствующая в нынешнем кодексе пятьсот четвертая статья.

– Да параша это... – протянул кто-то в углу, и разом разрядил обстановку. Сколько раз их уже пугали. А Леха, между прочим, три куса кума так и не принес. Так что Леха сам теперь кандидат для Гэбэшной миски. А что там кумать, не кумать, так до утра еще много чего случиться может. Может, обойдется, может, раскумекается еще как-нибудь.

Тем временем все то, что еще недавно называлось штабс-капитаном Михаилом Макаровичем Синельским, было бережно перенесено в лепилчасть, и главный патологоанатом Тувлага уже намеревался рассечь ему разные полости на предмет изъятия возможных внутренностей, свидетелем чему Имант решительно быть не хотел, хотя и оказался в санчасти вместе с прочими. Сквозь грязное окошко был виден ему освещенный прожекторами плац посреди барачников, где по приказу Днепра сколачивали неумелый помост. К мертвому

куму не испытывал он никакого чувства, хотя видал на своем веку и куда как более злых. Поэтому жалел, что загнулся кум, а не сумасшедший спецпредст в синем мундире, вот таких полоумных даже Имант никогда не видел. Долго такой не протянет, это радист по опыту знал, но куда дымом изойдет – еще всему лагерю душу запомоит.

Помост сколачивали плохо и криво, но без лени: всем, кто трудился, раздали бирки с надписями: «пятый», «шестой», «седьмой». Кстати, всех жутко интересовало – рубить головы будут десятым, или просто отстреляют лишку, говорили об этом очень отстраненно, и собственную голову никто из пускавших сплетни в учет не брал, словно именно она ни в коем случае не отрубается. А от расстрела так и давно всем по прививке сделали. Ничего никому не будет, кроме тех, кто на помосте.

А кто попадет на помост – знал только Днепр. Начало светать, из хозчасти потащились со свертками: весь кумач, какой остался от советской власти, сейчас намечался к использованию, Днепр хорошо знал, что эшафот застилают красным и черным, но черные флаги анархистов в хозчасти заготовлены не были. Зато заранее заготовил Григорий Иванович метровые палки, снаружи деревянные, внутри свинцовые, и все – в черно-белую полоску, «гаишницы». Их он давно берег для казни, а теперь предстояло использовать. Часа в четыре утра, сторонясь прожекторных лучей, Григорий Иванович вышел к особбараку и навесил на него с четырех сторон по жестяному белому квадрату с черной цифрой «10». Прочие зеки могли спать спокойно, хотя недолго: казнить их он не собирался, но их присутствие предполагалось. Григорий Иванович Днепр плевать хотел на все считалочки. Он попросту собирался целиком казнить безномерной барак номер десять, барак ГАИ.

Где-нибудь в Узбекистане, или, скажем, в Молдавии, – последнюю указом императора и Политбюро от двадцать второго переименовали в Заднестровье, – наверное, даже и не все фрукты еще с деревьев сняли, а над окрестностями Великой Тувты уже прочно властвовала зима, и те минус десять по Цельсию, что констатировал к утру внешний термометр санчасти, можно было считать оттепелью. Синие гвардейцы Днепра привели каких-то доходяг и заставили их утоптать дорожку от десятого барака к помосту, застеленному кумачом. Доходяг увели, гвардейцы, все как один паратые и злые, словно некормленные бультерьеры, остались; на помост кое-как втащили деревянную колоду, наподобие тех, на каких рубят мясо. Топоры Григорий Иванович Днепр не доверил никому, пошел в мастерские и лично их заточил.

В пять тридцать из динамиков во всю мощь грянул над лагерем государственный гимн «Прощание славянки», вот уже десять дней как обязательный к исполнению перед всеми важными церемониями. Патологоанатом уже зашил безразличные останки кума, накрыл их оставшейся от времен застоя культа личности простыней. Григорий Иванович вытащил из письменного стола открытку с изображением бюста государя Павла Первого работы скульптора Шубина, перекрестился на нее; изображения нынешнего императора до Великой Тувты еще не дошли, но портретное сходство двух Павлов вполне позволяло, не впадая в государственную ересь, заменить одного

другим. Григорию Ивановичу очень нравилась идея, что теперь империя. Древний Рим тоже пятьсот лет дурью маялся республиканской, покуда сообразил, что без императора один бардак будет. Павел там или не Павел, а хорошо, что император. Моритури тебе салютант.

Одну запись Григорий Иванович привез с собой. Была у него хорошая долгоиграющая пластинка для самодеятельных театров – барабанный бой. Правда, военный, а не тот, что для казни, там, кажется, надо бы немножко флейты, но какая ж флейта, когда положение сибирское, до Томска неполная тысяча километров, энцефалитные клещи в тайге, вечная мерзлота, дириозавры летают – тут не то что музыка разнообразная, тут хорошо, что барабан есть, в динамиках мощно звучит. В без четверти шесть Григорий Иванович пустил барабан в динамики.

Имант Заславскис смотрел на долгую процедуру построения зеков вокруг эшафота – и скучал. Вот, говорят, шпиона одного живьем сожгли. А публичная казнь, это что ж за зрелище, за двадцать семь лет Имант его уже навидался: вешали, стреляли, один раз, когда кум был из Коканда приехавши, то какого-то гада впихнули в мешок с пчелами. Пчелы сдохли задолго до караемого, тот выждал ночи и сбежал, теперь, говорят, большим человеком в родном Коканде стал, на пасеке работает, миллионы валютой гребет, мед у него особый, валютноемкий. А сейчас чего будет? Все равно ничего интересного, раз костра не разложили.

Ряды постепенно строились, и ужас над ними висел густым облаком, как смог над каким-нибудь Мехико. Осенняя темнота смешивалась с ним, лучи его перемещались, словно взбалтывая настой, которым Григорий Иванович Днепр намеревался опить вверенный ему мусорный лагерь. Начало упаивания было назначено спецпредстом на шесть тридцать по великотувтинскому времени. Входы в личный бункер Днепра отворились, из всех четырех дверей бодрым шагом вышли по несколько десятков дюжих молодцов в казачьей форме, широким строем обступая эшафот. Бедняги из десятого барака оказались сразу во многих кольцах: казачий круг – перекрестье прожекторных лучей – «недесятые» зеки в старых шинелях – ВНУХРа с автоматами – синие гвардейцы по углам. Палачом Днепр, кажется, назначил себя. Но ведь и казаков на помощь Григорий Иванович тоже кликнуть был готов, иначе зачем бы они тут очутились.

Барабанный рев из динамиков становился все громче. Днепр показываться публике не спешил. Население бараков с первого по девятый и с одиннадцатого по последний тряслось все меньше, им откуда-то стало известно, что декумировать будут не каждого десятого, и безномерной десятый, «гаишный» барак считался обреченным. Поскольку барак этот Днепр заселил не меньше, чем двойной порцией ментов, имелась надежда, что из других бараков добавку брать не будут. Впрочем, это уж как рука раззудится у Днепра – молитесь вашего милицейского бога, мусора, если вообще умеете молиться, а не умеете, так не молитесь, ни хуже вам, ни лучше уже не будет, все уже решено.

Кто-то, стараясь быть возможно более незаметным, поставил на край помоста ящик с тяжеленными полосатыми палками, – десятка три успел заготовить

Днепр свинцовых «гаишниц», побаивался, что не хватит, поломаться могут они об милицейские черепа. За свою силушку Днепр не опасался. Да и помощники-казачки наличествовали. Если уж они нагайкой от плеча до паха грозятся человека разрубить, то «гаишница» сгодится на что-нибудь. Прямо хоть патент на нее оформляй. Ну, топоры тоже есть.

Взвыла сирена. Лепилчасть относительно далеко располагалась от эшафота, так что Имант всего лишь сглотнул от неожиданности. Казаки подняли нагайки и вытолкнули на эшафот первую порцию «гаишников», основательно ударив их под колени, чтоб не думали по старому советскому рецепту умирать стоя. Кто-то вырывался, кто-то просто рухнул на кумач. Медленно, стараясь придать моменту значимость, на помост вышел Днепр. Имант отвернулся, видал он еще и не такое, а слышно, как он предполагал, не будет ничего: и далеко, и заморыши в десятом живут. Живут? Пожалуй, этот синий людоед с этим вопросом сейчас разберется, ничего там живого очень скоро не останется. Краем глаза латыш все-таки на эшафот глянул. С помощью казаков Днепр устраивал там кровавую баню. Григорий Иванович явно не нуждался в заметной помощи, – ну, разве что остатки его трудов нужно было убирать, да новые партии выталкивать. Главный лепила протянул латышу мензурку, – как-никак в лагере они оба были чем-то вроде патриархов. Лепила в сторону эшафота не смотрел.

– Голем... Ну, сущий голем... – пробормотал лепила, и свою мензурку выпил. Что такое голем, Имант не знал. Но ясно, что ничего хорошего врач иметь в виду не мог.

Сирена продолжала выть, понемногу светало. Лепила уселся на подоконник, чтобы и самому не видеть, и другие не смотрели. Взгляд лепилы вдруг осмыслился:

– А тебя что же не укумили?

Алеша Щаповатый, к которому слова были обращены, выполз из-под стола с расчлененными останками кума. Имант вспомнил, что именно этот жалкий мент-щенок мог бы и должен бы за смерть кума ответить. Но не идти же с доносом теперь, когда синий людоед отомстил уже за все, за что только можно придумать. К тому же Алеша вряд ли после всех подобных событий мог остаться в своем уме.

– Ну, я и сам управлюсь... – пробормотал лепила, набирая в шприц лиловатую жидкость. Имант резко ударил его по руке: еще не хватало психа убивать. Вон, псих лютует посредине лагеря, так за ним небось никто со шприцем не гоняется. Шприц отлетел в сторону, но лепила достал из автоклава другой.

– У меня их пока много, выбить не пытайся, дай, психу-то глюкозу введу. Не гляди, что лиловая, я все в непонятные цвета крашу, не то спасу нет от бакланья мусорского.

Имант в душе покраснел и помог лепиле закатать щаповатский рукав. Покуда медленные десять кубиков втекали в вену к Алеше, радист вгляделся в лицо лепилы. Был тот очень стар, но крепок, по неоспоримому врачебному праву носил жидковатую бороду. Сколько помнил Иммант, за четверть века главлепила не переменялся ничуть. И никуда его из Тувлага на пересуд не гоняли, –

сколько ж он тут просидел?

– Федор Кузьмич, – спросил Имант, – что ж это срок у тебя такой длинный?

– Это не срок, – ответил лепила, – это жизнь такая. Длинная. Какую Бог послал, такая есть. И жить ее надо так, чтобы не было от нее противно. Тогда она длинная получается. Идею, самое главное, в душе беречь не надо, насчет счастья для внуков, или там внуков этих внуков. Сейчас жить надо, и не брать от жизни, а просто жить. Вот и будет не срок, а жизнь.

Для Иманта, сына латышских стрелков, философия лепилы была слишком сложной, но и в его радиодетальную голову пришло, что и сам-то он тоже уже давно не сидит, а живет в лагере, так по документам выходит. Алеша приоткрыл глаза.

– Никого ты не убивал, – тихо и строго сказал лепила, – когда ты на кума с шилом полез, он уже холодный был. Отравление эфиром. Ты себя не грызи, скоро буран, покемарь пока. – Лепила прикрыл Алешу краем чьей-то забытой, то ли собственной своей телогрейки.

И вправду, лютый вой ветра стал заглушать даже барабанные грохоты, долетавшие с эшафота, где, похоже, все шло к концу. Снег повалил невиданными, с ладонь размером, хлопьями, словно пытаясь прикрыть собою все то позорище, которое учинил посреди Тувлага разбушевавшийся Днепр. Но, хотя барабаны все грохотали, что-то, видимо, было неладно на эшафоте, вопли оттуда доноситься перестали; Имант подумал, какой же нынче снег плотный, вот, даже синего людоеда за ним не слышать.

Дверь лепилчасти распахнулась, на пороге стояли казаки, их обмороженные до синевы лица служили неким цветовым переходом к синеве того ярко-лазурного предмета, который они тащили. Главлепила на этот предмет уставился с большим интересом.

– Это кто ж его, болезного?

Казаки смутились, потом из-за их спин вышел урядник, протянул руку. Лепила, видимо, на этот жест в жизни насмотрелся: в лапе урядника немедленно оказалась мензурка с лиловатым спиртом. Урядник дернул головой, – видать, выражал благодарность, – и одним глотком мензурку опрокинул в горло.

– Это десятый кончился. Начальник все кумил, кумил, да барак-то не бездонный, кончился барак. А другие, не из десятого которые, не годятся ему. Он и рухнул.

Лепила с интересом щупал пульс Днепра, разглядывал зрачки. Григорий Иванович Днепр лежал на растянутой казаками плащ-палатке, и был тих, как его ономим, описанный литератором Гоголем в замечательной повести «Страшная месть».

Лепила размашисто перекрестился и указал казакам на пустой стол.

– Все, ребята. Этот – все. И никто в его смерти не виноват, и разводите прочих по баракам. Скажите – и куму песок, и надкумку синему тоже песок, пусть спать ложатся, завтра минус сорок девять, в зачет воскресенья пойдет. – Видя, что урядник сомневается, лепила выпрямился, оказавшись на полголовы выше любого из казаков. – Быстр-ра! Па-ба-ракам! Шагом м-марш!

Эхо в прозекторской было необычное, оно повторило не конец команды, а

середку: «...Ра-кам!...» Казаки послушно уложили утихшего Днепра на стол и, пяясь, вышли из санчасти. Главлепила с интересом подошел к Днепру. В окостеневшей правой руке бывший спецпредст держал измочаленную и окровавленную «гаишницу».

– Вот и кончился у него срок, – сказал старец, обращаясь и к Иманту, и к полуожившему Алеше, – он не жизнь жил, а срок отбывал. А неправильно это. Очень вредно для здоровья.

Снег валил и валил, и никакие прожекторы с ним уже не справлялись. Который идет час – было не понять, все циферблаты в хозяйстве главного лепила раз и навсегда, похоже, остановились на одиннадцати с чем-то, кто хочет, пусть смотрит и верит, а ему, главному, на время уже давно и навсегда плевать. «А как же радио? – подумал Имант. – Не ровен час опять антенну порвет...»

На подобный вопрос лепила только ухмыльнулся. Потом вытащил из-под стола с Днепром три пары валенок, две телогрейки; придирчиво оглядел своих мелковатых гостей, третью пару швырнул обратно. Потом стал деловито осматривать содержимое Днепровых карманов. В рюкзаки перекочевали два «макарова», один складной «толстопятов», полдюжины гранат «Ф-1». Из очередного кармана старик-лепила вывернул пачку документов, глянул на верхний – и замер. Имант заинтересовался – чем бы это таким покойник мог врача удивить, а увидев, удивился сам: в руках старец держал всего лишь черно-белую открытку с фотографией бюста императора Павла Первого. Но спрашивать латыш ничего не стал, что надо, то и так скажут, это он знал по лагерному опыту.

Главлепила тем временем закончил сборы.

– Все! Переодевайтесь. Мне еще это синее дерьмо вскрывать.

Алеша от ужаса попытался уползти обратно под стол, Имант только вздохнул. Кто сейчас в лагере главное начальство? Лепила. И.о. кума, так сказать. Из собственного кармана тот уже выловил потрепанный бумажник, из него извлек карту местности и развернул ее на подоконнике.

– Так вот: сюда, а потом сюда. Здесь десять верст по реке, встала уже, Чулвин река называется. Может, и двадцать верст, неважно. Дойдете до скалы по левую руку, рогатая такая, будто кто из земли два пальца высунул джеттатурой... ну, улиточьими рожками. Между них тропка, по ней уйдете. Ночевать, дурни, только вместе, не то выкопают вас через миллион лет как мороженого мамонта и в императорский музей...

Старик говорил, говорил, ясно было, что Алеша не в силах не только ничего запомнить, но даже и понять, о чем идет речь. А сын латышских стрелков аккуратно все запоминал: он откуда-то знал даже – что такое джеттатура. Зима в полной силе, и царь уже настоящий. Самое время с лагеря рвать валенки, накочумался уж.

– Здесь вам нельзя больше. Здесь вон пахан из его барака, – старик кивнул на Алешу, – Гэбэ, теперь хозяйничает. Ему-то что, накромяю ему с этих двух придурков съедобных, как говорится, частей, дня четыре спокойный будет. А потом пойдет такая ас-са-мбле-я... – врач замер, глядя в быстро темнеющее окно, – снег за ним валил так, словно небеса кто-то чистил широкой лопатой и

той же лопатой этот снег сбрасывал прямо на Тувлаг.

– А про меня не думайте, – ответил лепила на незаданный вопрос, – я не такое видывал. Я пятьсотчетвертошников друг другу скормлю, последнего доской приморожу, накрою, вот пусть их в музей и выставляют. Словом, бери стебанутого, и – ходу!

Чтобы не мудрить, Имант выбрал старую дорогу: ту, по которой неизвестно кто из Тувлага уже дал деру в вечер последнего в Мишиной жизни упоя. Лагерь он знал наощупь, вышел к тому самому месту, где накануне чинил периметр. Все тут было опять порвано, но не людьми: на проволоке, разомкнув колючую цепь, висела мертвая овчарка – лишь она одна в ночь побега пыталась исполнить свой долг, но никто ей не объяснил, что вухрить – это совсем не то что вохрить, а, стало быть, беглых народонаселение должно само ловить, ему за то империалы золотые платят – а к чему собаке империалы? Имант аккуратно снял тело собаки с проволоки и зарыл в снег: все как-то аккуратней. Потом, следуя совету лепилы, дошел до первой сосны и вынул из неприметного дупла моток грубой бечевки, обвязал ее вокруг пояса совершенно ничего не соображающего Алеши и повел его, как поводырь слепого, не спотыкаясь.

Основательно, прямо в снег лицом, споткнулся он только метров через восемьсот. Высказав по поводу валяющегося под ногами предмета все то, что знал от отца по-латышски, радист разгреб сугроб, хотя вообще-то и сразу понял, обо что именно споткнулся.

«Десять империалов пропадают», – подумал Имант равнодушно, глядя на безымянного милиционера в форме, из-за которого так недавно чинил лагерную антенну, чтобы тогдашний кум свои Би-Би-Си мог слушать. Алеша все равно шел с закрытыми глазами, а снег все падал и падал, завалив беглого за считанные минуты. Но в эти минуты Имант вместе с придурковатым своим спутником уже спускался к реке, чтобы топтать и топтать по льду, пока на берегу скала не покажется, та, что в форме улиточьих рогов. Тувлаг, в котором прожил Имант больше четверти века, уже исчезал из его памяти, словно и в мыслях у радиста нынче тоже был снегопад.

## Павел II Пригоршня власти Часть 3

*Евгений Витковский*

### III

Нет смысла гладить по голове, когда надо дать по жопе.  
Аркадий Львов. Двор

Ноябрьские снежинки аккуратно, по одной, редко по две, садились на оконное стекло, быстро превращались в водяные капельки и стекали вниз. Павел глядел на них, нимало не жалея об ухудшении видимости: смотреть за окном было совершенно не на что. Противоположная сторона улицы уже несколько дней пустовала, синие гвардейцы перерезали как Староконюшенный, так и примыкавший к нему Мертвый переулок. Никакой милиционер более не маячил

напротив, канадское посольство переехало, к тому же отношения с Канадой портились на глазах из-за яростной дружбы, которую Россия по инициативе царской семьи затеяла с агрессивной Гренландской Империей. Кажется, гвардейцы опустошили дома в радиусе полуверсты, а дальше понаставили «жимолости», таманских солдат на каких-то огромных солдатовозах, огневых точек понатыкали, – словом, даже давешнего премьера-маразматика так не охраняли. При желании Павел теперь мог бы выходить из особняка и гулять под окнами. Но в такую погоду и в условиях полного безлюдья среди неродного города не было у Павла желания гулять никакого. Коронация была на носу, смерть нынешнего премьера Шелковников откладывал с огромным трудом, для него персонально шили несколько мундиров, и ни один не был дошит окончательно. Плохо сидел на нем мундир генсека, вообще-то он в Политбюро не хотел бы, но простоты и законности ради полагалось этих маразматиков уломать, убедить в неизбежности поворота к социалистической монархии. Не очень хотелось уходить из армии, но без этого чин канцлера не получишь, – Шелковников торжественно выходил в отставку в чине «генерал-фельдмаршал в отставке». Вот уже три мундира, а еще нужен мундир московского дворянства, специальный коронационный – короче говоря, не меньше дюжины. Седьмое ноября было упущено, все пришлось переносить на второй четверг, но Шелковников утешал себя тем, что праздники как были октябрьскими, так и будут именоваться... ну, ноябрьскими, вводить старый стиль, как и старую орфографию ни Шелковников, ни Павел Второй Романов не захотели: первое неудобно, второе совсем неудобно, по-старому ни канцлер, ни император писать не умели. В районе Октябрьского поля, которое уже переименовали в Ноябрьское, были сооружены временные склады, битком забитые дорогой импортной рыбой, из которой бравый креол в недалеком будущем собирался сварить суп для всенародного пирайевого пированьица. Сам Павел пребывал пока что почти в прострации, занимаясь, как казалось ему, делами несущественными: не получив еще в руки все бразды управления страной, он пока что любое дело, из числа тех, что случалось делать, считал безделкой. Так вот и сейчас, холодным ноябрьским утром слушая монотонный голос незаменимого Сухоплещенко, на чьих плечах со вчерашнего дня сверкало по три коньячных звездочки, император откровенно скучал.

– Седьмыми в коронационной процессии проследуют выборные представители вашего императорского величества верноподданнейших сект!

«Сект – шампанское...» – подумал Павел и перевел глаза на потолок, расписанный очень противными амурами. Сейчас он изучал французский язык, оказывается, Казимировна на этом наречии бойко болтала, и Тоня занятия иностранными языками весьма одобряла, хотя не любила Казимировну, – но Белла Яновна перед Тоней за ту замолвила слово, старухи стали последнее время буквально не разлей вода. «Сект». До Павла дошло, наконец, настоящее значение слова, и он подал свой монарший голос.

– По названиям, полковник. И в чем сущность.

– Есть. Первыми проследуют делегаты скопцов-субботников, они с некоторых пор проявляют редкостную добрую волю к сотрудничеству, например, к



коронации, как сообщили из их кругов, они приготовились подарить вашему величеству сто пудов восковых фруктов. Никаких неприятных намеков, ваше величество... Восковые фрукты, по их верованиям, символизируют будущее райское блаженство. Они полагают, что рай на земле должен установиться в ваше царствование.

– Пусть полагают... Положите фрукты в музей подарков. Дальше!

Музей подарков к коронации уже существовал – под него оборудовали какой-то из бывших больших павильонов нынешней Выставки Достижений Его Императорского Величества Народнопользуемого Хозяйства. Много там уже лежало неожиданных вещей, ну, пусть и восковые фрукты там полежат, авось, не выгниют.

– Вторыми среди сект проследуют тантра-баптисты. Люди мирные, всех-то у них верований, что Будда на самом деле Христос, ну, и наоборот, почитают ваше величество воплощением какого-то бодхисатвы... – Сухоплещенко помялся, – женского начала.

– Прикажите им, чтобы почитали как бодхисатву мужского начала, и пусть идут. Дальше.

– Затем делегация курдов-езидов, у каждого в руках по живому павлину, хан Корягин осматривал, говорит, с точки зрения орнитозов все чисто. Мы проследим, чтобы со всех прочих сторон тоже было чисто.

– Да уж, проследите, чтоб не гадили, впереди поедут все-таки, а так пусть едут. Дальше!

– Русские мандеи. Ничего особенного, почитают Иоанна Крестителя Христом, ничего больше. В обычных костюмах, без атрибутов. Дальше – братцы-трезвенники, эти еще тише. Голубчики. Это следующие. Тоже тихие. Подгорновцы. Проверим, но как будто тоже. Жидовствующие. Этим две семьи на всю империю, остальные уже уехали.

– А эти что не едут?

– Визы пока не дают...

– Дать визу, пусть едут, потом могут вернуться как туристы и на коронацию посмотреть. Или на юбилей коронации. В общем, не нужно жидовствующих.

– Есть! Скауны. Взял подписку, что скакать не будут, а так люди как люди. Ползуны. Взял подписку. Воздыханцы. Подписки не брал, пусть воздыхают.

Никому не заметно. Мормоны.

– Это с гаремами? Откуда они в России?

– Это русские мормоны, без гаремов... Они как раз ждали вашего пришествия. Их очень мало.

– Сколько?

– Девять душ на империю...

– Всех включить! Как жалко, что без гаремов... Дальше!

– Есть! Дунькино упование.

– А?

– Мощная кавказская секта. Собственно, сама Дунька давно уже в могиле, была такая Евдокия Парфенова. Откололись от уклеинцев.

– А эти где?

– Давно перешли в блудоборы, ваше величество, и вымерли сами собой. Панияшковцы. Очень неудобная секта, ваше величество, осмелюсь обратить внимание.

– В чем дело? – задремывавший Павел мигом очнулся, как только Сухоплещенко зачитал справку о символе веры панияшковцев.

– ...следует возможно дольше воздерживаться от пищи и питья, не умываться, не скидывать с себя грязного белья, не чесать голову, не мыть посуду, – с каменным лицом декламировал новоиспеченный полковник. – Целью жизни ставят изгнание беса из собственного тела, в чем родственны западноевропейским мельхиоритам. Согласно учению Алексея Гавришова, он же Панияшка, считается, что громкое испускание газов из желудка есть именно удаление беса из человеческого тела. После еды каждый панияшковец производит нескромный звук, потом плюет на пол, растирает плевком ногой и говорит: «Вот, прикорил проклятого беса!» То же самое они должны делать во время молитвы и после нее. Неисполнение этого требования влечет за собою бичевание... – Сухоплещенко сделал паузу и добавил убитым голосом, он не любил, когда что-либо срывалось. – Увы, дать подписку о неизгнании из себя бесов отказались.

«Это ж не продохнуть будет!» – Павел окончательно вышел из полудремы и гаркнул:

– Всех гнать в шею! Словом, полковник, хватит с сектами, довольно и этих, если других важных нет. Если есть – полагаюсь на вас, но за испорченный воздух и прочее дерьмо типа навоза ответите собственной шкурой!

– Есть! Тогда с сектами все. Восьмыми в процессии проследуют лица, члены фракции КПРИ – полковник четко выговорил новое, еще официально не утвержденное сокращение от «Коммунистической Партии Российской Империи», – давшие партийные рекомендации вашему величеству. Это сотрудники ликероводочного... ликероконьячного магазина номер двести тридцать один города Екатериносвердловска.

– Дальше!

– Девятой имеет проследовать депутация Екатериносвердловского обкома... Десятой проследует объединенная депутация Брянского обкома и старогрешенского райкома... Одиннадцатыми проследуют представители особо родовитого дворянства...

«Наплодились», – подумал Павел и вспомнил свои не столь уж давние сомнения на тот счет, откуда взять дворянство. На поверку получалось, что дворянскими и боярскими родами на Руси просто пруд пруди, и большинство готово свое дворянское достоинство доказать документально. «Где вы были до пятьдесят третьего года?» – Тогда это бы очень много кого заинтересовало. Сухоплещенко между тем галопом неся дальше вдоль процессии.

– Затем проследует депутация вашего императорского величества законопослушнейших и верноподданнейших иудеев. Следующим номером значится лично обер-шенк вашего императорского величества, кок-адмирал кулинарной службы Аракелян. Затем, в силу обстоятельств, снова следует размещение группы из шестидесяти вооруженных лакеев. Затем проследует

делегация вашего императорского величества верноподданнейших придворных палестинских арапов. За ними – ансамбль скрипачей вашего императорского величества Большого театра, ансамбль русских народных инструментов и прочие музыкальные роты, они проследуют с исполнением излюбленных маршей царствующего императорского дома. Программа музыкальной части здесь. – Сухоплещенко протянул что-то вроде ресторанного меню на глянцева бумажке, но Павел догадался, что там опять одно сплошное «Прощание славянки», махнул рукой и смотреть не стал. – Далее предполагаются два коронационных обер-церемониймейстера с жезлами...

Номером тридцать вторым в процессии размещался, как выяснилось, обер-гофмаршал высочайшего двора, маршал от кавалерии, генеральный секретарь КПРИ Георгий Давыдович Шелковников. «Во званий нахапал! – подумал Павел, – это при живом-то генсеке уже генсек!» Ему представился Шелковников в необычном виде, загорающим на нудистском пляже, – и царя заташнило. Сухоплещенко быстро подал ему разрезанный лимон.

– ...Затем следует эскадрон лейб-гвардии конного полка, следом же – ваше императорское величество на белом коне.

– Я? На коне? – искренне удивился Павел. – А нельзя без коня? Все люди как люди, а я, значит, на коне.

Сухоплещенко молчал, давая понять, что он, конечно, человек маленький, но императору на коронацию полагается в Кремль въезжать на коне, и уж непременно на белом.

– Канцлер, – Павел осекся, вспомнив, что этого звания пока Шелковникову решил не давать, пусть сперва из армии уйдет, – то есть, я сказать хотел, обер-гофмаршал Шелковников, он тоже на коне? – Теперь Шелковников примерещился снова нагишом, но верхом на владимирском тяжеловозе. Это было менее противно, но все так же странно.

Сухоплещенко смутился. Царь не хотел садиться на лошадь, но он, полковник, еще менее хотел садиться в галошу.

– Осмелюсь доложить, вес обер-гофмаршала не позволяет ему сесть на лошадь, предполагается, что его высокопревосходительство проследует на коронацию в открытом фаэтоне...

«Запряженном четверкой слонов», – закончил Павел про себя, удовлетворенно эту картину себе представляя. Зрелище получалось внушительное, но, увы, совершенно недопустимое на коронации.

– Фаэтоном вы называете открытый ЗИП?

– Разумеется, ваше величество, только ЗИП.

– Вот и мне ЗИП. И великий князь Никита Алексеевич тоже на лошадь наверняка садиться не захочет. Охрана ему не позволит. Вот и мне мои подданные, – Павел глянул на стену, за которой Тоня что-то шила на ручной машинке, – не разрешат. Быть по сему.

Сухоплещенко твердой рукой поставил на чем-то в своих записях крест. Он продолжал чтение порядка процессии, но Павел явно перестал его слушать, лишь на пункте сороковом, когда была упомянута «следующая в открытом фаэтоне распорядитель главной императорской квартиры, обер-

церемониймейстер Антонина Барыкова-Штан», Павел как бы «поднял ухо», да и то ничего не сказал, а когда, под номером семидесятым, прозвучали долгожданные – ибо последние – слова «вашего императорского величества Таманская ордена князя Кантемира дивизия», царь уже перестал считать полковника предметом, реально существующим в его родном салоне-приемной с пальмой-латанией у окна. Сухоплещенко закрыл досье, встал и откланялся.

Неслышно вошла Тоня. Павел, не глядя, ухватил ее ногу и притянул к себе. «Поймал», – сказал он одними губами, но Тоня сверкнула глазами на одну дверь, потом на другую: обе были полуоткрыты.

– Посетители, Павлик. Просители. Примешь или как? Абдулла и Клюль их уже перещупали, оружия нет. На рентген отправлять?

«Должен, в конце концов, монарх иметь кроху смелости или не должен?» – подумал Павел, а вслух сказал:

– Проси так. По одному. Много не приму – двоих, от силы троих. День занятой, и кушать очень хочется, Тонечка.

Тоня мигом испарилась на кухню. У нее тоже были заботы, причем свои. С тех пор, как очутилась она в нынешнем своем положении, слухи о ее повышении в обществе необъяснимым образом стали просачиваться в самые неожиданные, порою нежеланные места. Никаких родственников у Тони никогда не было, отец ее погиб в сорок втором, а она, сиротинушка, родилась в сорок пятом: тут-то и были все корни нелюбви к ней со стороны старших братьев. Теперь, по распоряжению канцелярии, ведавшей кадрами, – в ней хозяйничал неприятный пухлый человечек со старинной боярской фамилией Половецкий, – оба брата были объявлены к всеимперскому розыску. Старший, Владимир, скоро был пойман в родном Ростове Великом, привезен в Москву, закован в железа, помещен в изолятор, в Лефортово; средний, Дмитрий, разыскан, напротив, не был вовсе, вообще пропал начисто, но тем не менее был заочно тоже приговорен к чему-то столь же неприятному. Сестра Тони нашлась сама, очень рвалась к Тоне в Москву, но Тоня помнила, сколько она от этой гадины в детстве натерпелась и чего наслушалась. Тоня приказала ни под каким видом сестру в Москву не допускать, переоформить документы о ее рождении так, чтобы она уж точно падалицей подзаборной, а не дочерью родного отца получилась. Еще Тоня злобно послала сестре двадцать рублей.

Под сердцем у Тони уже третий месяц билась новая жизнь, и Тоне стоило немалых усилий скрыть этот факт и от Павла, и от прочего окружения: беременность есть беременность. Скрыть это явление невозможно оказалось лишь от наметанного на такие вещи взора Яновны, но та, когда было нужно, умела молчать как могила; даже неразлучной Казимировне, вместе с которой не меньше стопки опрокидывала ежедневно, сказала бы Яновна про что угодно, даже про собственную беременность – но не про Тонькину. А чтобы не проболтаться, на всякий случай открыла она Казимировне тайну-другую из числа тех, что выдавали советским властям с потрохами ее зятя-испанца, бывшего, как следовало из прямых и косвенных улики, доверенным лицом сразу трех разведок. Донос явно подействовал, зять-испанец через неделю получил прибавку к пенсии и орден «Знак Почета».

Тоня полезла в морозильную камеру за осетриной, подумав уже который с утра раз, что скоро отсюда уезжать, что тесно тут. Мысль эта сверлила ее голову десятки раз на дню, Тонька знала, что Павел твердо решил жить в Кремле, хотя там и нет пристойного помещения для жизни и от курантов спасу нет; знала, что на коронации будет присутствовать невенчаная жена Павла, Екатерина, но царь велел в один автомобиль с ней – напоказ всей России – посадить шпиона Рому, того самого. Тоня уже не припоминала, было ли у нее самой с этим Ромой что-нибудь, или не было, какая, в общем-то разница. Само собою, венчаться на царство будет пока что один Павел, без императрицы: по разработанному плану первую часть венчания проводило Политбюро, вторую – коллегия митрополитов во главе с митрополитом Опоньским и Китежским Фотием, имевшим перед престолом особую заслугу – он считал будущего императора вовсе не женатым, коль скоро прежний брак не был оформлен церковно, – ну, а что царь долго жил с той немкой во блуде, так эдакие ли еще грехи ему, Фотию, отпускать доводилось.

С патриаршим престолом отношения у новой власти определенно не складывались: всего и был-то на Руси какой-то десяток патриархов, а как помер в тысяча семисотом Адриан, только тем и занимавшийся, что мешал государю Петру Великому, то государь это лишнее мероприятие, то бишь патриаршество, для России упразднил. Стефан Яворский потом походил-походил в местоблюстителях, но и он так себе оказался. Тогда устроил государь Петр Алексеевич, прямой предок Павлинки, Святейший Синод, и двести лет всем хорошо было. В общем, пока что все эти вопросы решили не поднимать, но Павел ясно дал знать, что Старшие Романовы никакого патриархата-матриархата при себе держать не будут. Пусть будет Синод, или там Митрополитбюро, как им название лучше глянется, но никакой советской власти у церкви не будет, хватит того, что патриарх есть в Константинополе.

Тоня прекрасно знала, что всю эту свару с церковью пришлось затевать из-за нее, из-за Тони. Павел объявил, что хочет жениться на ней, и только на ней, и ломает голову над тем, как это сделать без глупых скандалов с заточениями прежних жен в монастыри, или, еще хуже, с гражданским разводом, и так далее, и чем далее, тем позорнее. Похоже было, что дожидается император от Кати «доброй воли», иначе говоря, чтобы она сама развода попросила. Но Катя, видимо, сама ничего понять не могла, с Павлом не виделась, вот и приходилось временно терпеть ее в качестве... как это? – фатаморганной? – нет, не так... во! – маргинальной жены Павлинки. Места в Тониных мыслях Катя не занимала почти никакого, думалось ей только о себе и о будущем ребенке, для которого она хотела нормального человеческого счастья, обыкновенной жизни, а совсем не борьбы за власть.

Видела она тут старшего сына Павла, Ванечку. Пришла в ужас от того, что этот придурок может оказаться врагом ее будущему сыну. Видела она и кошмарного племянника Гелия. Хотелось ей взять Павлинку в охапку и убежать в темный лес, чтоб не нашел никто. Ни к чему были ей все эти фокусы с престолонаследованием: про него только и разговоров в последнее время, даром, что императора еще и не короновали, и лет ему, слава Богу, немного – а

уже только и трепа, что насчет того, кто следующий. Даже Ключь, и тот уже анекдоты про чукчей травить не хочет, а все насчет престолонаследия. Вот ведь жизнь у заложницы... тьфу, наложницы русского царя! – думала Тоня, отбирая звенья осетрины. По многим признакам Тоня знала, что будет у нее мальчик. Если отказаться от престола для него, так Павел и ей голову оторвет, и сына отнимет. А если не отказываться, так другие царевичи подрастут и как пить дать маленького изведут. Делать-то тебе чего, Тоня, коза ты недоенная, дурища?

Неуютные мысли напознали одна на другую, и почему-то все время вставало в памяти видение татарского лица, лица той самой женщины, которая без спросу пришла в особняк, когда про смерть Юры Сапрыкина стало известно и Павлику все никак не давали нормально поужинать. Женщину ту Сухоплещенко сразу тогда поселил на какую-то дачу вместе с ее ручной свиньей. Ничего про эту женщину точно известно не было, но Сухоплещенко навел справки и объявил, что, по имеющимся сведениям, ее беречь надо на будущее. Свинью или женщину – никто не понял, но с Сухоплещенко по мелочам не спорили, решил он кого-то «задачить», а не «держат особняком» – ну, так тому и быть, ему виднее, кондитеру начинку не диктуют. Только почему все время вспоминалось лицо татарки Тони, стоило ей хоть чуть-чуть отвлечься от многочисленных забот по хозяйству? Впрочем, лицо так же быстро исчезало. Ничего плохого в этом Тоня не чувствовала, и никому об этом не рассказывала.

Павел получил, наконец, вожделенную осетрину, сжевал ее с тем самым лимоном, который ему Сухоплещенко от тошноты сунул, и решил, что можно принять сколько-нибудь посетителей. Никого из непосвященных к императору не допускали, но порой приходили люди с просьбами столь фантастическими, что Павел от ворот поворот велел давать не всем, а только скучным.

Дежуривший нынче по аудиенциям Половецкий знал, что первым лучше запускать к царю такого посетителя, которому он не откажет. Милада дождался, чтобы царь откушал, чтобы гостиную очистили посторонние натуралки, и очень церемонным тоном доложил:

– Военно-вдовьею звания, Российской Советской Социалистической Империи гражданка, госпожа Булдышева Маргарита Степановна!

Вдова рухнула на колени еще за дверью, на них же вползла в гостиную. Павел уже много чего навиделся, и поэтому просто ждал продолжения. Вдова заломила руки над головой, потом ударила лбом в паркет. Потом все так же молча, на коленях проползла к латании, оказавшись в непосредственной близости от Павла, обхватила кадку обеими руками и зарыдала. Рыдания ее были беззвучны, но неистовы; Павел даже подвинулся вместе с креслом, чтобы лучше их видеть. Похоже было, что вдова своего занятия оставлять не собирается. Прошло три минуты, пять – вдова все рыдала.

– Регламент, – очень тихо подал знак Половецкий. – Время аудиенции строго ограничено.

Вдова мигом перестала рыдать, но с колен не встала, а села на пятки.

– Разве это не будет прекрасно, ваше величество? – спросила она грудным, хорошо поставленным голосом.

– Что?

Вдова извлекла из сумочки свернутый в трубку рисунок. Павел взял его в руки и увидел изображение бронзового бюста на пьедестале, а пьедестал обнимала женщина, – тоже, вероятно, бронзовая, – в той самой позе, в которой госпожа Булдышева только что обнимала кадку с латанией. «Мне-то до этого какое дело?» – только и успел подумать Павел, и сразу вспомнил, что императору в его империи дело есть решительно до всего. Вдова подала голос.

– Ваше величество, мне не позволяют оформить окончательную композицию памятника моему покойному мужу, одному из лучших летчиков вашего Императорского военно-воздушного флота! Злые люди препятствуют исполнению его последней воли!

– А я что могу сделать?

– О-о! Всего лишь позволить мне обнимать пьедестал его памятника... За мой, за мой счет обнимать! Всего лишь начертайте дозволение в уголке сверху, или уж откажите, тогда мне прямо в Москву-реку, тут близенько, я уж и место выбрала... Либо разрешите! Я ведь за свой счет!

Павел достал шариковую авторучку и лениво начертал в левом верхнем углу вдовьего рисунка: «Быть по сему. Павел». Потом подумал, добавил: «За свой счет!»

Вдова прочла надпись.

– Конечно, за свой! Государь, век молиться буду! За свой счет! Семь лет билась как рыба об стенку, и вот: в одну секунду... – Вдова вновь обхватила латанию и только собиралась разрыдаться, как вмешался Половецкий: вдову с трудом отодрали от пальмы и увели, сквозь слезы она самым наглым образом послала императору воздушные поцелуи. «Еще не то увидим...» – меланхолично подумал Павел, подавая знак допустить следующего.

Следующий самостоятельно войти не мог, его ввели под руки два молодых ротмистра. Лицо вошедшего, ветхого-преветхого старичка в адмиральском мундире, показалось Павлу знакомым. Ну да, ну конечно, перед императором предстал лично тот самый пресловутый адмирал Докуков, которого впервые Павел увидел на экране телевизора в тот самый исторический, впервые проведенный вместе с Тоней вечер. Павлу уже докладывали, что адмирал каждую неделю подает то одну, то другую петицию, все чего-нибудь просит. Просто послать его подальше было бы неловко: Шелковников сознался, что с помощью этого адмирала и его штаба удалось справиться с очень опасной группировкой военных, которая собиралась помешать Павлу взойти на престол. Ну, и возраст адмирала тоже полагалось уважать, хотя был этот самый возраст вообще-то не известен точно никому. Был даже слух, что он адмирал с дореволюционным стажем. Свидетельство о рождении у него было утрачено, кто-то в военно-морском ведомстве все документы на служащих старше тысяча девятисотого по преступному недомыслию сдал в макулатуру, и вместо личного дела Докукова, когда за ним полезли по приказу министра Везлеева, было обнаружено свеженькое издание «Графини Монсоро» в глянцевого переплете. На всякий случай Павел решил этого посетителя перетерпеть, Бог даст, хоть не очень уж скучную просьбу вознесет.

Из уважения к возрасту адмирала Павел было мысленно даже встал, но потом

вспомнил, что не по чину ему стоять перед всякими адмиралишками. Даже из уважения к их маразму. Но сделал знак, чтобы Докукову подали стул.

– Хем-хем-хем... – проговорил адмирал, кому-то подражая. – Славное это дело, славное – монархия. Я вот тоже, когда вовсе молодой был, помнится, говорил государю, что славное это дело – монархия. Он меня за это морскому делу учиться послал, в Роттердам... – Докуков повертел глазами, остановил их взор на Павле и продолжил: – Ни-ни, государь. Не пьян. Пил, пил в молодости, было дело, было. Только мне государь запретил. Двух адмиралов, говорит, уже потерял через пьянство, хватит, третьего терять не хочу. С тех пор не пью. Разве только к любви приверженность имею, и способности тоже, но этого мне дедушка твой не запрещал! Очень я, это, люблю... предаваться утехам любви.

Адмирал замолк, переводя дыхание. «Ну и предавался бы, я-то чем могу помочь? Начертать «Быть по сему!» – так вроде бы и начертать не на чем», – мысли у Павла текли без раздражения, единственное чувство, связанное с этим стариканом, было у Павла положительным: «ту» телепередачу он помнил очень хорошо, как вообще сильно влюбившийся мужчина хорошо запоминает подробности тех мгновений, когда любимая женщина впервые перешла в его обладание, и даже несущественные мелочи потом кажутся чем-то хорошим. Тем более что лопотал адмирал об утехам любви, императору же вспоминались сейчас именно они.

– Хочу я, государь, твоей монаршей милости. Снизойди, батюшка...

Из глаз адмирала выползла пара слез. «Ничего себе батюшка, ему же не то двести лет, не то все триста, в Роттердам-то его, видимо, Петр Алексеевич отправлял...»

– Проси, – выдавил из себя император.

– Облобызай! – адмирал яростно захлопал себя ладошкой по лысине. – Запечатлей лобзание монаршее, не то никогда в могилу спокойным не сойду! Совсем не сойду в могилу!

Павел подумал немного: целовать адмиральскую лысину было противно, но и перспектива, что адмирал откажется когда бы то ни было умирать, так и будет жить, так и будет осаждать его, Павловых, потомков требованиями милостей, тоже была гадкая. Но тут Павел сообразил, что вообще-то лобзать адмиральскую лысину – это вовсе не единственный способ избавиться от этого зануды. Змей-Горынычей вовсе не обязательно откармливать юными девственницами.

– Палача сюда. Быстро! – приказал Павел. Половецкий дернул за какой-то шнур, из-за гардины почти сразу вышел Ключь. – Двести бамбуковых палок по пяткам, десять раз кнутом по заднице, потом... – Павел задохнулся, другие способы порки что-то не припоминались, но Половецкий, видать, и за порку тоже отвечал, и тихонько сказал:

– Можно еще плетей...

– Вот! И двадцать плетей, и чтоб духу этой вонючки не было! Нет, погоди, потом поцелуешь его в лысину. И гнать в шею!..

Павел еще не успел договорить, не успел допить стакан воды со льдом, сунутый прибежавшей на крик Тоней, – а Докукова как не бывало, лишь из



коридора донеслось какое-то уютное урчание Ключа, что вот он-де сейчас возьмет пекуль... Психанувший Павел даже не нашел в себе силы напомнить, что он про пекуль ничего не говорил. Лучше уж пусть ни одного адмирала на империю, чем такая шваль. Обойдемся без них!

На расшвирипевшего Павла иной управы, нежели Тонин тихий голос, наука Российской Империи покуда не изобрела. Тоня суетилась вокруг любимого человека, ворковала, расправляла помятые вдовой листья латании, все более и более переключая его внимание на свои коленные чашечки и прочее, все более откровенно демонстрируемое. В гостиной, правда, присутствовал еще и Половецкий, но Тоня давно просекла, что этого типа никакие женщины не интересуют.

Тоня чистосердечно заблуждалась. Если женщины – «натуралки» – были глубоко неприятны однополой натуре Милады, то приказание подвести подкоп под Тонину монополию на Павла он получил давно, только иди найди кандидатку, которая увлекла бы императора, если тот в одночасье из подмастерья-сношаря, готового, казалось бы, полигамного отца-производителя, превратился в чокнутого однолюба. Что именно увлекло Павла в этой женщине, Милада и понять не пытался, он напрямик двинул с этим вопросом к сексопатологу, чью нелегальную практику на улице Грановского правительство с отвращением терпело, ибо в ней сильно и часто нуждалось. Полностью седой, наглухо невыездной еврей долго расспрашивал Миладу о Тоне, о Павле, изучал их фотографии вместе и порознь, проявляя, с точки зрения визитера, преступно мало внимания к тем снимкам, где был в более чем интимной ситуации сфотографирован Павел, – сам-то Милада в Павла был безнадежно влюблен, но скрывал это даже от себя, понимая, что любовь эта наверняка будет стоить ему головы. Зато сексопатолог занудно мусолил карточки Антонины, Екатерины, Алевтины и еще некоей Анастасии, о которой было известно, что у Павла с ней в Нижнеблагодатском имел место гремучий роман. Потом еврей откинулся в кресле, все карточки от себя отбросил, раскурил трубку и надолго замолчал. Милада уже ждал картавого «ничем не могу помочь», но врач вдруг заговорил. И такого наговорил, что Милада проклял все свое полоумное начальство, а заодно и этого, сексопархатого. Врач требовал, чтобы Милада подобрал Павлу... вторую Тоню. Не лучше, не моложе, не стройней, не полней, просто вот еще одну Тоню – и все, на другое больной не клюнет. Милада молчал, приходя в отчаяние, еврей курил, но потом что-то щелкнуло в его седой голове, и он сказал:

– Совет за те же деньги. Проведите фоторобот этой вашей Антонины через компьютерную картотеку, ту, что в эмведэ. Отберите десяток, а потом примеряйте. Шансы у вас фифти-фифти. В моей науке гарантий не бывает.

– А что бывает? – тупо спросил Милада, которому общение со знаменитой картотекой вовсе не улыбалось.

– Бывает так: или у клиента стоит, или нет.

– Так ведь она ж... с судимостью окажется... – попробовал отвертеться Милада.

– Молодой человек, вам нужно то, что у женщины под юбкой, или то, что в анкете?

«Мне – ничего не нужно!» – угрюмо подумал Милада, заплатил очень большие деньги – слава Богу, казенные, – попрощался и ушел искать вторую Тоню.

На Петровке Половецкого не переносили, от одной его жирной хари так и несло все еще не отмененной сто двадцать первой статьей уголовного кодекса, но это бы эмведэшники запросто стерпели, они видывали и по три десятка статей на одной харе, и ничего, терпели, но Милада был «смежником», сотрудником соседнего, пока что значительно более могущественного ведомства, хозяин которого посадил к ним на голову такого Глущенко, такого Всеволода Викторовича, что теперь ни один честный сотрудник их ведомства, ложась вечером в постель, не был уверен, что ночью не придется ему пройти процедуру мытья, скажем, в Бутырских банях. А вызывать недовольство Половецкого, удостоверение которого ясно указывало, из чьей он шайки, – означало уж совсем верное мытье, и хорошо, если в Бутырке, а не в судебном морге. Так что обслужили господина Половецкого вне очереди, с повышенным вниманием и довольно быстро – за полдня всего. С Петровки унес Милада конверты с данными на десять возможных кандидаток. Не то чтобы рылом-бюстом-филейной частью были эти бабы как две капли воды, но похожи были очень. Число кандидаток требовалось ограничить двумя, много тремя. Милада пересмотрел личные дела всех десяти. Все же схлтурили на Петровке, поторопились: одна кандидатка отпала без обсуждения, ибо уже третий год была замужем за мексиканским миллиардером. Еще три бабы проиграли на том, что имели больше одной судимости, рецидивисток Милада боялся, хотя на всякий случай их анкеты припрятал – а ну как императору тем смачней, чем рецидивистей? Еще одну кандидатку погубила приверженность к лицам кавказской национальности и сопряженным с ними наркотикам. Осталось пять. Милада задумчиво перебрал дела, дошел до конца алфавита – и не поверил глазам. Перед ним лежала копия дела Антонины Штан из города Ростова Великого, завербованной в эмведэ лично полковником Сапрыкиным, – перед Миладой лежало дело самой Тони! Милада хотел разозлиться, но вместо этого расхохотался. Во исполнительность-то! Во в штаны накладывают, чуть порог переступлю! «Ах я увядшая, но еще сохранившая свой аромат хризантема! – привычно подумал о себе Милада, – обойдусь, мол, даже и без аромата, если менты, чуть меня увидят, по стойке смирно в штаны накладывают!»

Четырех оставшихся кандидаток Милада взял под наблюдение. Не очень юные, умеренно \*\*\*\*ствующие, в законном браке не состоящие, в темном переулке встретишь, так за десять шагов точно с Антониной перепутаешь. Ну, и какую выбрать? Милада первый раз в жизни пожалел, что в женщинах не разбирается. Брать ответственность на себя не стал, и снова поехал на Грановского, к хитрому сексопатологу, своя личная голова дороже даже таких казенных денег, которые можно бы беззаботно прикарманить. Еврей курил трубку, мусолил фотографии и анкеты, словом, терзал Миладины нервы. А потом резко отбросил три дела в сторону, а четвертое толкнул посетителю под нос.

– Эта.

Милада и смотреть не стал, которая «эта», щедро расплатился и смотался поскорей – все равно ни к чему понимать, почему «эта», а не «та», нужно было б

мужика выбрать – он бы и без еврея разобрался.

Врач прописал подсунуть Павлу женщину, в которой необыкновенным могло показаться разве что имя: звали ее Иуда Ивановна. Несусветное имя дали ей в сороковые годы родители-атеисты, пламенно борющиеся с религиозными предрассудками и лживыми легендами. В картотеку на Петровке влетела Иуда почти случайно: с голодухи – ибо работала машинисткой-надомницей, а у таких всегда денег то густо, то пусто – украла она у соседей по коммунальной квартире палку финской твердокопченной колбасы, вот на нее дело участковый и завел, и готовился в суд передать. Но тут Иуда внезапно разбогатела, подарил ей очередной заказчик-любовник штук тридцать серебряных советских полтинников, которые она тут же отнесла в скупку и продала как лом. Вырученной суммы хватило и на колбасу, которую Иуда соседям честно возвратила, и на бутылку-другую-третью, каковые она с соседями честно распила, – ну, они дело-то, иск свой, назад забрали. А вот карточка Иудина в компьютере на Петровке осталась. Ну, пила Иуда, было дело, чуть в ЛТП не угодила однажды, подшивали ее дважды от пьянства, но это все мелочи, ведь и Тонька, покуда под императора не въехала, тоже ненамного лучше имела биографию. Контакт с ней оказался завести куда как просто: Милада лично заявился к ней и заказал перепечатку чего под руку попало, – а в квартире Парагваева, где проводил Милада свободное время, под руку попались парагваевские сценарии. Иуда была польщена, что такой знаменитый режиссер, пусть даже через секретаря, к ней с заказом обратился. Сделала работу быстро и чисто, содрала, правда, дорого, но и эти деньги у Милады были казенные. Сама того не ведая, попала Иуда Ивановна на Его Императорскому Величеству заготовленный крючок. Словом, всем была Иуда хороша, только пила многовато, а из музыки любила только ре-минорную фугу Баха и французского певца Джо Дассена. Но до музыки у императора с этой бабой, как надеялся Милада, дело дойдет не сразу.

Тоня проследила, чтобы Павлинька успокоился и заснул, погладила его по лысеющему темени и ушла в соседнюю комнату к швейной машинке, собираясь и к Яновне тоже заглянуть. Павел поспал, но недолго, поворочался с боку на бок, зажег свет. Что-то он сегодня думал. Что-то он хотел сделать. Вот. Вспомнил. Надо к Роману заглянуть: совсем спивается, бедняга, говорили, что Катя уже Абдулле глазки строит. Непорядок, приставлен Роман к Кате, так пусть дело делает, а не коньяком наливается с утра до ночи. Надо к ним сходить. Ну, нарежусь на Катю, в крайнем случае, так мне же с ней... не детей крестить? Фу, неудачно как-то подумалось. Павел напялил домашнюю куртку-венгерку, чтобы не простудиться в коридорах особняка, и побрел через сложные переходы во флигель, где в трех комнатах размещалась Катя, а еще в одной – Джеймс, которого император по привычке называл Романом.

Катя, к счастью, отсутствовала, зато Джеймс присутствовал прямо посредине своей комнатки, на полу, с двумя початыми бутылками трехзвездочного грузинского – в каждой руке по бутылке. Он был не то чтобы пьян в дымину, но как-то по-плохому нетрезв, так пьянеют люди либо от низкого качества питья, либо от сопутствующего питью горя. Поскольку первое в императорском

особняке исключалось, даже во флигеле, Павел с порога заподозрил второе. Он вошел и плотно закрыл за собой дверь. Джеймс, не вставая с пола, протянул ему обе руки с бутылками: пей из любой. Павел вообще-то уж и не помнил, когда в рот спиртное брал, но обижать друга никак не мог, взял одну бутылку, сел рядом с Джеймсом на пол, хорошо отхлебнул. Коньяк как коньяк. Значит, другое.

– Что стряслось? – спросил Павел.

Джеймс с трудом собрал мысли воедино и сильно заплетающимся языком сообщил, что молочного брата вот потерял. Раньше с ним через индейца перекликнуться можно было, а теперь вот – только через японца, а там, куда глядит японец, уже ни капли спиртного никому не перепадет, там все, как бы выразиться... другое. Павел ничего не понял, но догадался, что кто-то из братьев Романа, кажется, попросту помер. Насчет индейцев-японцев – это, видать, из кино. Катя, говорят, полдня фильмы всякие по видику смотрит. Но если беда у друга – так ведь она, эта беда, всегда и твоя немножко. Павел обхватил бутылку пятерней, и вот так, пальцами об пальцы, чтобы звона не было, об Джеймсову бутылку чокнулся: кто-то его научил, что так за упокой пьют, – у армян, что ли? Павел мощно отхлебнул. После событий сегодняшнего дня, омраченного длинным докладом Сухоплещенко и адмиральским маразмом, вышло совсем неплохо.

Но говорить с Джеймсом было почти невозможно, лыка он определенно не вязал, всюду мерещились ему индейцы, японцы, австралийские генералы и даже какой-то пристаучий унтер-офицер румынской армии. «Во насмотрелся-то со скуки!» – подумал Павел, в охотку допивая бутылку. Джеймсово горе по поводу потери молочного брата как-то передавалось Павлу, но не очень: кто-то умер, о ком Павел сроду знать не знал, ну, так и пусть земля будет ему пухом, хотя Роман говорит, что земля там заполярная, с вечной мерзлотой, она никому пухом не бывает. Плохо, конечно, что на том свете выпивки нет, но – вспомнил Павел не столь уж далекое прошлое – она и на этом свете тоже не всегда есть, не все же здесь императоры, сношари, президенты и так далее, и так далее...

Далее бутылка кончилась, Джеймс с готовностью полез за новой, но Павел решил, что хватит. Опираясь на голову Джеймса, встал и запечатлел на челе друга монарший поцелуй. «Кого хочу – того целую», – подумал император, вспомнив адмиральские домогательства. А что пьет Роман, так пусть пока пьет. Прикажу только, чтобы никакого Абдуллу к Кате на порог не пускали, а Клюля тем более. Кому приказывать? Старухам разве, эти молодцы у меня...

Павел вышел от Джеймса и куда-то повернул. Наткнулся на лестницу в три ступеньки, поднялся, пошел дальше, опять свернул наугад. Еще раз поднялся по каким-то ступенькам. Подумал, что можно бы и еще грамм сто у Романа принять, но возвращаться... Павел огляделся. Он стоял в пустом и плохо освещенном коридоре своего особняка и совершенно не знал, куда идти дальше. Император самым позорным образом надрался с другом-конфидентом, а после того еще и заблудился в собственном доме. Он толкнулся в первую попавшуюся дверь – оказалось не заперто, но дверь вела еще в один коридор. «Была не была», – подумал Павел и вошел неведомо куда.

Дорога в никуда оказалась на диво короткой, она уперлась в новую дверь. Эту Павел открыл с большим трудом, было за ней совсем темно. Павел двинулся наощупь, и скоро больно ушибся коленкой об унитаз. Кажется, он попал в одну из ваннных комнат. Вспомнив какой-то старинный, у Марка Твена, что ли, вычитанный совет о том, как выходить из темного помещения, он отошел к стене, приложил к ней левую руку, и медленно-медленно стал двигаться вперед: авось, дверь да появится снова. Вместо двери Павел нащупал крюк, и не сразу понял, что на нем висит полотенце. Павел ухватился за крюк, и долго отдышал, но потом не смог вспомнить, правую он руку клал на стену или левую. Решил, по старой памяти, что нужно класть левую. Двинулся дальше. И скоро нащупал что-то вроде двери, Павел открыл ее – и попал в стенной шкаф с вениками, швабрами и какими-то ячеистыми решетками. Остаться в шкафу императору не захотелось – не по чину. Павел с трудом вылез, снова двинулся влево, через сколько-то километров ему опять попала дверь, но запертая. Павел разозлился: темно, как в кишечнике у дириозавра, да еще дверей понатыкали дурацких, одна в сортир, другая в шкаф, третью вообще заперли. Павел приналег плечом и дверь все-таки отжал. За ней опять шел коридор, пришлось двинуться по нему, больше было некуда. Павел уже сильно устал, опять толкнулся в первую попавшуюся дверь, обрадовался, что прямо против нее, в комнате, есть диван, направился к нему и улегся. Как человек улегся, даже ботинки с ног сбросил и курткой-венгеркой укрылся.

Тоня засиделась со старухами, а когда спохватилась, в спальне Павла не обнаружила. Рванула к дежурному, к Абдулле, Ключь сегодня, намаявшись экзекуцией, спал без задних ног прямо в дежурке. Абдулла доложил, что император особняка не покидал, охрана сообщила то же самое, стали проверять часовых, и шестой по счету, тот, что возле флигеля, доложил, что только что осматривал объект, император в комнате у друга Екатерины Васильевны, и все в порядке. Тоня успокоилась и пошла подремать в ожидании Павла, устала она за день, да еще выпила со старухами.

Шестой часовой доложил то, что ему велел начальник. Начальник этот, побагровевший от усердия Милада Половецкий, весь вечер системой скрытых камер отслеживал путь императора, уже предвкушая плечами новую звездочку на погонах, а то и нововведенный орден «За служебное рвение», который уже утвердили, но никому пока еще не дали. Вот бы славно стать кавалером этого ордена номер один!.. Стоило Миладе обнаружить по системе слежения, что император ушел к приятелю и выпивает там, на полу сидя, он немедленно выслал машину-«мигалку» за Иудой Ивановной, машинисткой-надомницей, и ту через сорок минут доставили к нему ни живую, ни мертвую. Милада сидел в полной форме, и машинистка сразу поняла, что попала отнюдь не на киностудию к знаменитому Парагваеву, хотя боялась именно этого, она-то знала, что не просто перепечатала парагваевские сценарии, а во многих местах изрядно их подредактировала по своему вкусу. А Половецкий оказался вовсе не просто голубой, хотя это, конечно, тоже, а синий, даже темно-синий. Синий голубой мигом влил в Иуду полстакана коньяка и приказал готовиться к исполнению правительственного поручения. У машинистки-надомницы сильно

отлегло от сердца, она-то готовилась к тому, что предложат дать объяснения, а это вещь куда более грозная, чем исполнять что угодно. К исполнению Иуда стала совсем готова, когда Половецкий добавил ей еще полстакана. Затем он мягко разъяснил ей, что в определенной комнате на определенном диване прикорнул сейчас молодой и приятный человек, вот ей халат, вот тапочки, вот рюмки, вот бутылка, уже открытая, ее задача – человеку этому, его Павел зовут, понравиться, а ванная комната, когда понадобится – следующая дверь по коридору, там все современное и очень простое, педаль для подогрева справа, душ висит над унитазом. И дверь вон там, ну, еще на доньшке, во дура, да, переодеться в халат здесь. Милада отвернулся сам, боясь, что об этом не попросят: на голых баб он смотреть как-то брезговал.

Павлу снилась Тоня, но спал он тяжело, все время выныривая на поверхность сна, тогда он протягивал руку, убеждался, что Тоня рядом, на месте, значит, все в порядке, можно спать дальше. Но Тоня вела себя как-то необычно настойчиво, словно хотела провести инспекцию всего императорского тела, от головы до пят. Павел как всегда был не против, но явно с непривычки перегрузился у Джеймса. Все-таки он сделал попытку ответить Тоне, что-то предпринял, ни черта не вышло, с чего бы это, и опять не вышло – тут Павел что-то расщупал. У Тони размер лифчика был большой, но тут – отчего бы – еще более большой. Тьфу!

– Ты кто? – заорал Павел.

– Я – Иуда.

Ответ повис в воздухе, словно гроб Магомета. Павел успокоился, запахнул венгерку, все равно сил идти никуда не было, и устроился на диване снова.

– Не моя ты деревня. Не моя, – убежденно сказал он, засыпая.

Голая Иуда Ивановна выскочила из разомкнувшихся императорских объятий, при этом она была оскорблена в лучших чувствах. Чтоб ее да не захотели? Чтоб ее восьмой номер да не?.. Да и вообще, кто смеет ей приказывать? Ее что, купили? Где тут ванная, всю эту гадость отмыть с себя? Машинистка-надомница декоративным образом набросила халат на плечи, вырвалась из комнаты и влетела в ванную. В ту самую, из которой с таким трудом выбрался, не зажигая света, пройдя ее насквозь, через две двери, Павел. Именно об этой ванной Иуде рассказывал голубой офицер. Зажечь свет не удалось, но все равно. От омерзения ей тут же пришлось искать унитаз, она обняла его с любовным пылом, и оставила в нем и съеденный вечером кефир с батоном, и Миладин коньяк – все, что не успело перевариться. Полегчало.

Иуда Ивановна вслепую нашарила край ванной, вспомнила слова, что педаль для подогрева справа, нашла ее и нажала. Кран как-то не нашелся, Иуда откинула зачем-то брошенный на ванну полиэтилен, обнаружила, что емкость полна, и не просто водой, а с какой-то густой добавкой, вроде давно забытого «бадусана», скинула неудобный, не по ее восьмому номеру халатик – и ласточкой погрузилась в пока еще холодную жидкость, которая быстро теплела, повинувшись воздействию столь точно указанной Половецким нагревательной педали.

Тоня очнулась от дикого страха – Павла не было не только в постели, но и в

комнате. Его нигде не было! Что-то набросив на себя, Тоня рванула в гостиную – пусто! В дежурку – нет, не пусто, но Абдулла там мирно спал, и его храп-тенор звучал ровно на октаву ниже, чем Клюлев контртенор. Тоня сообразила, что есть еще диспетчерская, где сидит синемундирный Милослав Половецкий, рванула туда. Увы, Милада не только спал на дежурстве, но, убаюканный поначалу так гладко шедшей процедурой, он не отключил ни один из пылающих перед ним инфракрасных экранов. На одном Тоня быстро высмотрела Павла, точнее, его венгерскую куртку, под которой он прикорнул в угловой комнатке эркера. А на другом увидела клубы пара, шипящие даже в немом исполнении. С трудом поняв, что видит она на экране изображение большой ванной комнаты, где для Павлинки с вечера старухи полную мраморную посудину желтков накокали, Тоня рванула туда, только и успела, что дать Миладе по затылку. Тоня расположение комнат в особняке выучила прекрасно, это она, а не вшивые часовые, стерегла покой императора Павла Второго! Милада очнулся, пискнул, потрусил следом, но ему ли было угнаться за разъяренной женщиной – что-то случилось с Павлинкиными желтками, кто ответит?..

С порога было ясно, что тут баба: халатик валяется, и в биде наблевано. А над желтковой ванной висел пар, жидкость в ней скворчала и пахла яичницей. Из нее только торчали выпученные, раскрытые в немом вопле глаза Иуды Ивановны, сама ванна была раскалена, яичница по краям нагло подрумянивалась. Тоне было плевать на любую бабу, которая сюда влезла, Павлинку-то никакая баба у нее не отнимет – но желтки! В тщетной попытке спасти работу старух Тонька ухватила Иуду Ивановну за волосы.

Тяжелая, тяжелей самой Антонины, очень похожая на нее внешне, но вся в клочьях недожаренной яичницы, вывалилась Иуда Ивановна из старинной ванны господина Вардовского, который поставил ее тут в начале века для своих эстетских нужд. Антонина поняла, что желтки все равно пропали, и решила спасти хотя бы эту жареную дуру. Она сунула Иуду головой в биде и включила самую сильную струю. Волосы у Иуды были длинные, желток в них запекся полностью – по особняку пополз такой яростно-съедобный запах, что правнук эс-бе Володи, эс-бе Витя, сидевший в дежурке возле спящего гвардейца, не утерпел и покинул пост. Он неслышно пробежал коридорами особняка в Староконюшенном и, проливая слюну, потому что был с примесью боксера, достиг ванной комнаты. Блюющий вой Иуды Ивановны был в басовых тонах, яростный рев ограбленной Тони – в баритональных. Безумное лопотанье Абдуллы попадало, как всегда, в тенор, а чукотский голос Клюля – в контртенор. Глубоким дискантом заливался потерявший надежды на орден за первым номером Милада, а вот приличного сопрано не было. Хотя партия у Вити была в принципе другая, но он, предчувствуя немалую порцию приличной жратвы, решил включиться в общий хор – и завыл на высокой-высокой ноте.

Долго выть Витя оказался не в силах. С Тониной руки отлетел кусок яичницы эдак на полкило, извлеченный из каких-то интимных глубин печеной Иуды. Витя сглотнул его на лету.

Все же вот какая подлость, вот что люди-то едят! А часто ли перепадает

яичница из чистых желтков заслуженному служебно-бродячему кобелю? Он ее, чтоб вы знали, годами даже не нюхает.

## Павел II Пригоршня власти Часть 4

*Евгений Витковский*

IV

Был в это время при нашем дворе собака <...> не пойму каким образом возвысившийся из телохранителей, мы же <...> сравнивали его с вельможами, надеясь на верную службу.

Иван Грозный. Первое послание князю Андрею Курбскому

Небеса понемногу сизели. Точней не опишешь. Впрочем, какого цвета считаются баклажаны по-русски, Аракелян не знал, и название-то у овоща, похоже, турецкое, но, помнится, где-то на юге, кажется, в Одессе, их называют синенькими. А помидоры – красненькими. Усталый ректор Военно-Кулинарной академии переводил взгляд со своего белого, наброшенного поверх униформы халата, на красную, ярко подсвеченную прожектором внутреннюю часть Кремлевской стены, что виднелась за окном, а потом выше – на сизое, ну, скажем, условно-синее небо. В левом верхнем углу окна реял флаг из полосок трех очень похожих расцветок, сообщая фактом своего реяния, что кончилось время похабно-румяное, пришло время имперски-трехцветное, сливочное, клубничное и баклажанное. Но непослушный взгляд ректора скользил дальше, и в поле зрения оказывалась груда самых настоящих баклажанов на разделочном столике у окна. И вот эти-то овощи цветом своим в точности повторяли ноябрьское сырое небо в три часа утра: именно столько пробили недавно куранты на Спасской башне. Проклятый свояк опять загнал Аракеяна в цейтнот. Потому что заставил ректора провести весь вечер, ставя семьдесят четыре подписи разными почерками. Под поздравительно-коронационным адресом императору от верноподданнейших губернаторов; но ладно бы просто поставить подписи, а то ведь еще только пятеро назначены на свое место в действительности, прочие даже не подобраны. Аракелян злорадно вспомнил, что семь раз, разными почерками, поставил фамилию «Никифоров». Вот пусть теперь у Георгия ноет его толстая башка, пусть подбирает семь человек с такой фамилией. Придется брать людей из картотеки, хоть из своей, хоть из той, что у Глущенко. Вообще-то так, конечно, надежней, когда и губернатор, и компромат на него – сразу комплектом. Это ладно. А вот отнять весь вечер накануне коронации у ректора Военно-Кулинарной – это как? Баклажаны кому поручить можно? Помощников много, у всех руки золотые, да только растут из задницы. Даже почистить не сумеют. Аракелян посчитал на пальцах, сколько блюд еще не готово. Пальцев не хватило, но в этот момент подозрительно запахло с края главной плиты, и ректор кинулся спасать монументальное едиво, разлегшееся на каменной сковороде. Шел четвертый час утра, хотя до часов ли было нынче? Сколько блюд, сколько блюд! Первым делом позаботился Аракелян о



сохранности собственной шкуры, а именно о том, чтобы остался доволен его стряпней на коронационном обеде великий князь Никита Алексеевич. Князь-сношарь заказал для себя в качестве главного блюда мысли с подливой.

Способность удивляться у Аракеяна давно атрофировалась, он сверился с книгами, узнал, смиренно попросил проведать у князя: говяжьи мысли, бараньи либо же свиные. Настасья-вестовая мигом слетала в деревню, разузнала, вернулась, отрапортовала натуральным голосом князя: «Свинячьи воняют, говяжьи сам лопай». Стало быть, годились только бараньи мысли.

На деликатном поварском языке мыслями именовались бараньи тестикулы, то бишь яйца. Аракеян это блюдо в жизни стряпал не однажды, когда мысли бывали, и недурно стряпал, надо отметить, хотя вот подлива эта – дело новое и сложное. Так что в целом за княжьи мысли полковник был спокоен, как и за бастурму, на которую шли освобожденные от мыслей ягнята. С ней весь день возился вчера третий сын полковника, Цезарь, умаялся мальчик до полоумия, даже выйти к императорскому столу прислуживать не сможет. Но зато по линии бастурмы порядок. Зарик просто не способен испортить бастурму.

С осетриной более или менее тоже надежно, стерлядь привезли экспортную, едва ли плохую, но ее готовить – прямо перед подачей. Только негр все ходит по кухням, нюхает, нюхает, ни слова не говорит. Впрочем, по крайней мере он же, негр, сам за суп и отвечает. А за дроздов печеных отвечать кто будет?

Аракеян не понимал, как со всем успеет управиться – особенно с баклажанами. Аракеян помчался к другой сковородке, холодной, заранее отставленной на подоконник возле телевизора; в нее он час назад плеснул ананасового уксуса, а теперь вспомнил: давно ж вынимать пора!..

– Же т'атан... – промурлыкал Аракеян любимый такт французского шансона, хватая сковородку. Ананасным духом так и шибануло.

– Я не знал, что вы знаете французский, – прозвучал голос за спиной. Ректор обернулся: посреди кухни, по-птичьему наклонив голову к плечу, стоял в смокинге посол-ресторатор Доместико Долметчер.

– Это не французский, – с достоинством парировал Аракеян, – это армянин поет!

Долметчер перебросил голову к другому плечу.

– Армянин? – он с сомнением разглядывал ректора. – Да, армянин... – добавил он с рассеянной интонацией, потому что вспомнил национальность Азнавура, с которым давно не виделся, хотя обедал певец в Сан-Сальварсане только в «Доминике». Для Долметчера Азнавур был посетителем номер два по степени почетности, после президента. Но если Павел заглянет – придется Азнавуру стать посетителем номер три. Первое и второе будут делить император с президентом. А если Спирохет припожалует? Ну нет, уж пусть удовольствуется четвертой ступенью почетности. Азнавур поет неплохо, хотя и фальшивит... Нет, это Аракеян фальшивит. Потому что ему телевизор мешает.

Долметчер опять глянул на баклажаны, потом в окно, на стену и на небо. Он сам приметил, как схож цвет овощей и небес, и тоже мельком подумал: «Очень по-одесски, баклажаны с помидорами». Интересно, кто заказал к коронационному обеду баклажанную икру? Меню целиком он читать не стал,

его интересовали только те блюда, кои подадут в Грановитую палату. Еще его интересовало мнение одного знаменитого старика-кулинара, которого по настоянию посла-ресторатора пригласили за главный стол: Долметчера – слаб человек! – очень интересовало мнение великого старца о его собственнойстряпне. Об ухе. Посреди всех московских стадионов уже стояли котлы с готовой императорской ухой, саморазогревающиеся; для развоза на воздушных шарах уху как приготовили в Сальварсане, так и привезли готовую. Для Грановитой палаты Долметчер готовился варить свежую, до десяти утра ему поэтому делать было нечего. Пока что посол бродил по бескрайним боярским поварням, отдавая должное организаторскому таланту ректора, – думалось, что голодных нынче не будет. Долметчер отвернулся от окна, достал из кисета кусочек сухой сливы ткемали и разжевал его. Ему нравился вкус ткемали. Он полагал, что в Сальварсане высоко оценят реконструированные им древние ацтекские и аравакские рецепты с использованием этой восхитительно кислой сливы. Она, впрочем, требовала еще мыслей, мыслей.

Телевизор гремел неизбежным «Прощанием славянки» и мыслям мешал. В нескольких километрах от Кремля он мешал еще больше, работать под эту «Славянку» было совершенно невозможно. Рука Мустафы потянулась и убавила звук, не совсем, но так, чтоб чуть слышно. Литератор-негр немного подождал, покуда голова придет в порядок. Потом вздохнул и с налета вдарил по клавишам.

« – Шестьдесят семь килограммов гуталина, – после долгого молчания промолвил дядя Исаак, – и, сколько там, девяносто косячков. Все на правую ногу, на левую не надо.

Майор Сент-Джеймс внутренне охнул. Такой цены Исаак Матвеев не заламывал еще с памятного дела «Браганца», с истории о похищении главного бриллианта португальского королевского дома: тот был по рекомендациям дяди-ассирийца найден, подвергся экспертизе и, как дядя и предупреждал, оказался топазом. Неужели жизнь этого полуцветного миллионера, убитого в Кейптауне во время карнавала, стоила шестьдесят семь килограммов гвоздей и почти сто косячков, что равно одному хоть и липовому, но все же бриллианту португальской короны?

Но дядя Исаак цену и не думал снижать. Он сидел на своем прирожденном месте в будке, обеими волосатыми лапами держа свежую бархотку, коей полировал правый ботинок Сент-Джеймса. Майор заранее слышал скрип зубов интерполового начальства: за гвозди-то деньги дяде полагалось получить немедленно, но микрофон-то из будки проведен прямо на Лубянку, кто ж не знает, что богато инкрустированный кочедык, укрепленный на задней стенке...»

Мустафа засомневался и полез в словарь. Ну, опять, ясное дело, проврался, кочедык – это для лаптей, а откуда на Ярославском вокзале лапти?

Приключения сюрр-сыщика Исаака Матвеева, работающего на Интерпол по лицензии от КГБ, не покидая поста в будке на вокзале, пока еще увлекали самого Мустафу. Законом работы дяди Исаака было то, что область преступления самому чистильщику с его начальным образованием и ассирийским акцентом непременно оказывалась тем ясней, чем была

неизвестней. Чем бредовой был мотив преступления, чем экзотичней страна – тем более наверняка дядя Исаак раскрывал преступление. Из-за небольшого природного дефекта речи, – его, признаться, не имелось на самом деле, но иной раз он бывал выгоден – ни одной фамилии он правильно не выговаривал, однако приметы давал верные: скажем, указывал, что убийца имеет на копчике родинку в виде серпа, либо же шрам от удара молотом. Дальше начиналась работа Интерпола, а КГБ сдирал с этой невинной международной организации миллион зеленых за каждый Исааков килограмм, своего рода комиссионные; Мустафа знал, что о каком-нибудь таком доходе Шелковников как раз мечтает. Мустафа сочинял то ли повесть, то ли роман – он еще не решил, сколько времени будет водить за нос читателя, а заодно издателя, Брауна: сюжет попался богатый. Во время карнавала капских клубов в Кейптауне убит белый миллионер, который, оказывается, был не очень белым, мама у него была цветная, но такой уж светлокожий уродился, что выдавал себя за белого, жил в Оранжезихте, квартале богатых белых, к тому же и миллионером только прикидывался, а был миллиардером – и так далее, в чужих детективах материала про Южную Африку отыскивалось до фига и больше. Ну, а живущий на другой стороне планеты ассириец-чистильщик, понятно, не только не знал всей этой специфики, он вряд ли вообще отличал Южную Африку от Северной. Вот тут-то и должна была проявить себя неповторимая ассирийская интуиция. Вообще-то использование имени и профессии ассирийского чистильщика и сапожника Исаака Абрамовича Матвеева сперва грозило большими неприятностями. Прослышав об этой легендарной личности, он с чего-то решил, что в народе возник такой вот очередной Василий Джанелидзе, полковник, такой вот Петр Кириллович, половой, такой вот Ваня Теркин, солдат, такой вот Чуркин, разбойник, такой вот Василий Иванович, он же Петька – и так далее. Но после выхода первой же книги оказалось, что мышка-рыбка, в койке подсунувшая Мустафе этого дядю Исаака, подложила ему даже не свинью, а такого вот кабанища на полтонны, что лучше тут не думать. Ассириец оказался лицом куда более реальным, чем разбойник Чуркин, куда более историческим, ибо был и живым, и действующим, разве только вот не на Ярославском вокзале трудящимся, а на углу Кудринской и Большой Никитской. И запахло международными осложнениями с Ассирией. А она империя в прошлом и, не ровен час, в будущем.

Шеф как-то уладил: и ему некуда деваться было, и Матвеев выгоды не упустил. Мустафа слышал, что в Москве теперь есть Ассирийский Двор со своим храмом, школой, детским садом и много еще чем. Потребуй патриарх космодром – пришлось бы идти навстречу. Но обошлось дело, как в романах Мустафы – чудесами и финансовым участием.

Ламаджанов знал, что и при новой власти его никуда шеф не отпустит, и будет Евсей Бенц издавать свои регулярные две книги в год, однако Мустафе было все равно. Смена власти означала для него только смену литературного героя. Помнится, после известия о дате коронации он налил себе фужер икарийского хереса, провозгласил своему отражению в зеркале: «Ильич умер – да здравствует Исаак!» – и... Надо полагать, просто выпил. Что еще сделаешь!

Первые два небольшие романа Мустафа загнал под одну обложку: «Дядя Исаак Беспощадный» и «Проклятие дяди Исаака». Третью книгу хотел назвать «Дядя Исаак разбушевался», но потом вспомнил, что пишет не про Фантомаса, книгу переименовал – стало «Гвозди дяди Исаака», – но первый вариант не забыл и решил сочинить что-нибудь под названием «Дядя Исаак против Фантомаса». Раз пошло такое дело – нечего церемониться, в кино потеха выйдет, Жак Морель в синей кожуре и Кичман-заде в майке, с усами и татуировкой на Ярославском. Пусть попробует Фантомас, пусть только на Каланчевку сунется, там как раз татары живут, хоть и не икарийские. А пока что нужно эту дописать, про шестьдесят семь килограммов гвоздей. Цифру эту Мустафа вовсе не с потолка взял, хотя смотрел на него часто и подолгу. Шестьдесят семь килограммов весил нынче с утра он сам, Мустафа Шакирович Ламаджанов: проснулся и сразу взвесился. Интересно, а сколько нынче на самом деле стоит килограмм настоящих сапожных айсорских гвоздей? Власть теперь другая, цену не Моссовет назначает. Объявим от балды какие-нибудь двенадцать долларов за килограмм. Это, кажется, по нынешнему курсу – меньше империаля, перчик давно уже дороже десятки баксов. Однако дядя Исаак никогда не запрашивает лишнего. Кстати, отчего это империяль, то бишь пятнадцатирублевую монету, называют нынче «перчик»? Ах да, «имперчик». Интересно, пишет кто-нибудь сейчас роман про нынешнее время? Так чтобы все, как есть, про нового царя? Вряд ли. Но если кто пишет – тот сам это все и придумал. Больше никто в этой каше не разберется. Так что лучше уж сочинять про дядю Исаака.

Об Ильиче Мустафа не жалел. Ильича отменил шеф: неудобно как-то ворошить наконец-то втихую похороненного в родовом Кокушкине дворянина. Об этом никто пока не знал, мавзолей числился на профилактическом ремонте. Шеф отменил прежнего героя, впрочем, по другой причине: последний, ламанчский роман режиссер еле-еле согласился ставить, бурчал, что очень дорого стоит Ленин на роль Дон-Кихота. Браун готов издавать и дальше, но без кино для шефа получалось невыгодно, вот и пустил он Ильича на мыло. Деньги еще сильнее растолстевшему шефу требовались куда более солидные, чем прежде. Нет, совсем не на мундиры, по мундиру на каждое звание у него уже есть, а, дико сказать, на выплату карточных долгов. Не своих. Шелковников даже в детстве питал к азартным играм отвращение. И не Павловы это были долги: в прежние годы нынешний царь мог проиграть разве что пятерку в преферанс, а теперь кто с ним играть осмелится?.. Тем более не стал бы Шелковников – а уж и подавно Павел – платить ни за советский картёж, ни за продутое «младшей ветвью». Но долги были.

Лично Дмитрий Владимирович привез Мустафе записку императора. «Любезный Георгий, прими к сведению такую мысль Артура Шопенгауэра: есть только один долг, который должен быть непременно уплачен, – долг карточный, называемый долгом чести; остальные долги можно вовсе не платить – рыцарская честь от этого не пострадает». А наш августейший прапрапрапрадедущка изволил наоставлять таковых несколько более той суммы, которую дозволила бы забывчивость без вреда рыцарской чести. Проверьте, не восстановлен ли этот долг, упаси Господи. Все нужно заплатить,

деньги возьмите где-нибудь, но не из казны. Павел».

Не из казны! Для Шелковникова это означало – из собственного канцлерского кармана. Мустафа разобрался, что «восстановленным» долг бывает тогда, когда не возвращен в срок, – и поэтому возникает снова, хоть и отдан. Мустафа вздохнул, посчитал «пра-пра» и обнаружил, что Павел имеет в виду долги Петра Великого. Когда же царь-плотник умудрился наделать долгов, да и кому? Мустафа запросил документы и наутро получил пачку ксерокопий. Отношения у Петра Первого к картам было какое-то неясное. Еще в 1696 году, до всех поездок во всякие Голландии, сделал царь игрокам подарочек: приказал всех обыскивать, кто заподозрен в желании играть, и «у кого карты вынут, бить кнутом». В 1717 году играть на деньги не просто запретил – приравнял это дело к государственному преступлению. Неспроста!.. Мустафа еще копнул и узнал, что в 1693 году, в Архангельске, Петр кому-то действительно продулся и, видимо, долгов не заплатил. Накануне 1717 года их с него, надо думать, потребовали: видимо, потому, что кредитор помер, а долг перешел по наследству. Мустафа засел за машинку и состряпал запрос в Институт изучения величия Петра Великого, – если нет такого института, пусть создадут, – кому там государь продулся, в какую игру и на какую сумму, и сколько это нынче со всеми процентами и коэффициентами.

Институт спешно основали, но ковырялись с запросом целых две недели. Подлинного имени банкомета не установили, но прозвище этого норвежского шкипера по сей день помнили на Соломбале: Пер Длинный. Имелся, увы, ряд свидетельств, что как раз такое прозвище норвежские моряки дали самому Петру Алексеевичу. Но ведь играл же Петр с кем-то, кому-то проиграл? Или он сам с собой в «пьяницу» дулся?

Из Норвегии пришло подтверждение, что наследник капитана с таким прозвищем взорвался вместе с кораблем и все его деньжата ухнули в казну, а нынче попали в фонд Нобелевской премии мира. Немалые бабки задолжал нынешний император, коль скоро своего прадеда признал – можно сказать, удедил. А платить будет как раз Шелковников, раз уж он из армии подал в отставку, чтобы занять статский пост канцлера. И то ведь звучит: генерал-фельдмаршал в отставке, канцлер Георгий Шелковников. За такое звание надо платить. А платить, как следовало из глубокой мысли Шопенгауэра... Вот именно.

Ну, и усадил шеф Мустафу за производство коммерческой прозы. Самое ходовое-коммерческое, что есть на свете, Евсей Бенц писать не мог – он не мог сочинять задушевные дамские романы «за любовь», кто стал бы читать о любви Евсея Бенца? Да и не переплюнул бы Мустафа «Заметенных поземкой». И к тому же очень длинные книги писать вообще невыгодно. Фантастика – товар стабильный, но тогда писать надо сразу по-английски, иначе никто в твой талант не поверит, а Мустафа не умел. Оставался старый добрый детектив. Нужно было лишь придумать сыщика для сериала, и вот здесь Мустафа был как щука в реке. У него буквально выросли крылья, то есть плавники. Он сочинил дядю Исаака. Впрочем, не столько сочинил, сколько приплел к имени подлинного айсора приключения, которые в одночасье произвели на Западе

фурор, и знаменитый киноактер Айзек Мэтьюз мгновенно получил «Оскара». Вот и все перемены в жизни Мустафы. Выходить из дома шеф так и не разрешил. Да и не хотелось никуда, очень уютно в доме, за пишущей машинкой. Мустафа от машинки оторвался, несмотря на очень ранний утренний час, пошлепал на кухню: съесть принудительный коронационный завтрак. Сегодня еще дважды полагалось хлебать уху, привезенную накануне; Мустафа попробовал ее тогда же. Ничего, хорошая уха, особенно если под коньяк. Однако пока что нельзя, хотя бы до одиннадцати нужно лудить дядю Исаака. Мустафа принципиально не желал перебираться за компьютер, года его не те, облучение, вообще вся электроника гнусность, даже телевизор, который хоть и тихонько со своей славянкой прощается, но сколько ж тянуть с этим делом можно. То ли дело, когда стучишь по клавишам, русское слово собственной рукой чувствуешь. Любил, любил Мустафа свой природный второй родной русский язык, плевать он хотел на древнюю татарскую книжную премудрость, он и без ее уловок скормил самиздату и мировому кинозрителю семь романов и две детских повести об Ильиче. Но с Ильичом покончено. Во всех смыслах. Книжки Бенца в букинистических теперь меньше чем по три империи не водятся, а Ильича настоящего, сколько хотел, получил музей в Кокушкине и больше не принимает.

Надо писать, притом хорошо писать, иначе вся жизнь неизвестно зачем прожита. Пусть ставит шеф под этими творениями хоть свою фамилию, хоть псевдоним, хоть вообще яйцом это дело подпишет, пусть гребет за это Нобелевские премии каждый год, но именно он, Мустафа, будет писать, будет творить свое абсолютное добро: писать о плохом – плохое, но хорошо писать. Вдруг да что интересное будет. Ходынка, или там какое-нибудь торжественное покушение, словом, все, что для сюжетной пользы дела пригодится. Мустафа прошаркал к телевизору и хотел переключить программу. Но тут оркестр скоропостижно допрощался со своей славянкой, экран на мгновение стал синим, а потом возникла надпись: художественный фильм. В ту же минуту фильм пошел, и Мустафа рухнул в кресло. В титрах ясно значилось, что сейчас покажут американскую комедию «Ильич в Ламанче», в главной роли Амур Жираф, режиссер тот же, что и всегда, по одноименному роману Е. Бенца...

А сизое небо вовсе еще не светлело, потому как второй четверг ноября темен в Москве даже тогда, когда уже давно в метро пускают. Но утро неутолимо заявляло свои права на весь простор столицы всеобщей родины, столицы Российской Советской Социалистической Империи. Еще не застыли в синий камень, но уже выстроились вдоль всего Петербургского шоссе и Тверской улицы многоверстные шеренги имперской гвардии, десятки тысяч бравых парней истинно славянского вида и образа мыслей. Закончили доить коров бабы центростолничного села Зарядье-Благодатское и пошли ставить тесто на грядущие пироги в честь праздника, тем более что сношарь-батюшка обедать будет не дома, а в Кремле, так вернется-то, поди, не накушавшись? Бабам сейчас было определено не до сизых небес. С тех небес где-то над северной окраиной города рискнул пойти снег, но убоился благостного величия первопрестольной, скоренько убрался назад, в облака. Да и те мало-помалу

стали разбредаться, боясь, видать, возможных для себя неприятностей в небесах над Кремлем: там толклось неслыханное с начала столетия количество черного и белого духовенства. Представители основных неглавных для России конфессий были допущены в коронационный кортеж, сейчас формировавшийся в районе бывшей Военно-воздушной академии, ныне же вновь Петровского дворца, где среди костюмов и гримеров с вечера восседал осоловевший самодержец. Шутка ли сказать – коронация!

Как же не могли посмотреть на свои календари представители различных духовных конфессий, ведь отныне – и надолго – этот день должен был надолго стать праздничным как день коронации императора всея Руси. Для православных это был день тридцатого октября по Юлианскому календарю, для иудеев это был день пятнадцатого хешвана года пять тысяч семьсот сорок второго от сотворения мира, для мусульман – день йаум аль-хамис четырнадцатого мухаррама года тысяча четыреста второго по Хиджре, для персов – день панджшанбе двадцать первого абана, месяца воды, года тысяча триста шестидесятого, для индусов – день брахаспативар врат, день почитания гуру, святых и сиддхов, двадцать первое месяца карттика, года тысяча девятьсот третьего эры Сака и, что важнее всего, для всех многочисленных российских майя это был день Цолькин четыре эцнаб, или Хааб шестнадцать сак, что, разумеется, точнее. И это был день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы Зиновии, о котором известно, что если на него волки ходят стаями, то это к голоду, мору или войне.

Вот из-за этого последнего, еще ничего не зная о волках, – собираются они в стаи или нет, – конфессии тихо молились, чтобы эта, первая в столетии коронация, была для Москвы последней. Царь-то молодой, не на четыре его года, как у американцев, не на семь лет, как у французов: мы его по древнему православному обычаю коронуем пожизненно! Доколе хватит живота его! А доколе? «Кто наследник?..» – летело по толпе из уст в уста, порождая самые невероятные предположения, тут же превращавшиеся в точно известные факты: у императора, сказывают, есть жена, так что вполне еще может родиться цесаревич, но сын этот будет непременно квелый, хилый, больной, поэтому престолонаследие в аккурат перейдет к старшей дочери. Есть ли у государя дочь – никто не спрашивал, само собой разумелось, что наверняка есть, а если нету, так это ничего еще не значит. «Ну и что?» – вопрошала себя Москва в таких случаях, пожимала плечами и полагала, что ответ этот остроумный и окончательный. А ко всему же ведь и братья, и сестры императора тоже имели какие-то права на престолонаследие; откуда-то все знали, что сестру императора зовут Софья, и многие сожалели, что не успела коронация к тридцатому сентября, то-то был бы двойной повод выпить. Тем более, что на одном едком и странном языке в Бискайском заливе – как сказала радиостанция «Ухо Москвы» – четверг, день коронации, называется «бариква», «день без ужина». Какой тут ужин после такого обжорства за обедом?..

Хватало, впрочем, и не удвоенного повода. Москва была пьяна в дымину с утра шестого числа, когда всех с работы отпустили и утешили, что праздники переходят на понедельник-вторник, а в среду чтоб все готовились навскидку.

Москва – и далеко не одна – была этим очень довольна, ей давно такая лафа не выпадала, Москва с пьяных глаз даже не обращала внимания на то, как заполняют ее улицы и переулки синие, одинаковые, словно мультиплицированные мундиры. Москва была пьяна, перманентно пьяна, и неустанно опохмелялась во славу царя и отечества, хотя цен на водяру никто не снижал, и продавали ее только в диких очередях, но как не постоять, имелся точно проверенный слух, что через три дня ее повысят, поэтому надо сейчас же выпить как можно больше по старой цене. Москва ликовала, по мере умения это делать в непривычное число: не первое, не седьмое, не восьмое. Если быть точным – Москва истово училась ликовать, да так, чтобы умения на тысячу лет хватило.

В местах предполагаемого скопления народа заранее были установлены колоссальные мониторы, чтобы те, кто не остался дома, у родных экранов, могли видеть во всех деталях торжественную коронацию императора Павла Федоровича. Две тысячи продолговатых воздушных шаров, окрашенных в дружественный национальный цвет шаровой молнии, ждали сигнала из Кремлевской Военно-Кулинарной академии, чтобы сняться с якорей и неторопливо поплыть над Москвой, время от времени опускаясь к счастливым толпам, дабы оделить императорской ухой всех тех, кто не доберется до котлов на стадионах. Утро было еще сизым, но Москва – уже синей. Мундиры императорской гвардии, только что сшитые московской фабрикой «Его Императорского Величества Верноподданнейшая Большевичка», блистали на десятках тысяч прапорщиков и корнетов, ибо рядовых в гвардии пока не имелось, можно ли быть рядовым в такой торжественный и незабываемый день!.. Вдоль всей кольцевой автомобильной дороги, у постов новонавербованной ИАИ – Императорской Автоинспекции – рядом с полосатыми шлагбаумами стояли котлы-термосы, подлежащие освобождению от пломб в шесть утра, когда коронационная процессия двинется от Петровского дворца в Кремль; ну, а как все будет происходить – можно посмотреть на размещенном поблизости передвижном мониторе. Телебашня в Москве была старенькая, переставили с Шаболовки, – новую дириозавр унес и выбросил, – но работала спутниковая связь; Москву заставила своими экранами и камерами американская корпорация, за дикие деньги перекупившая у сальварсанского эс-ти-ви право исключительного показа коронации. Кто-то в Сальварсане, заключив сделку, облегченно вздохнул и добавил подарков кузену, направил два десятка грузовых самолетов с мороженой пирайей, чтобы императорской ухой могли насладиться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и в Ревеле, и в Вильне, и в Тифлисе, и в Эривани, и даже в Паульбурге, бывшем Калининграде.

Преступность в Москве за последнюю неделю почти вовсе сошла на нет, ибо все профессиональные уголовники были заранее изолированы и усажены на валдайских просторах за столы с императорской ухой в том варианте, который рецептурно именовался «допель-скоромный», то есть в нее перед подачей на стол вливали половник водки на миску, блюдо это грешники лопали с утра шестого, поэтому валдайским хлебателям ухи было сейчас ни до коронации, ни



до поножовщины, вообще ни до чего. Между их скамей ходили служебно-бродячие и периодически вытаскивали одного-другого падшего элемента из-за стола в сторонку, чтобы тот поспал под навесом. Угоны машин в Москве давно стали невозможны: ни по одной улице нельзя было проехать; стрекотали вертолеты, но их пока что не угоняли. По другим преступлениям сводки не было, поэтому – так считалось официально – этих преступлений нет вовсе. Москва ждала своего царя, Москва расставляла бутылки и сажала в духовки свои пироги с пирайевой, пайковой вязигой. И по всей Москве мерцали телеэкраны, на которых гениальный Амур Жираф что-то орал с лопасти кастильской мельницы, прилаженной к бронекарете, а бедный Феликс, чернокожий Дэнни де Вито, пытался поймать его брыкающуюся штанину. Часы, личные Его Императорского Величества куранты, пробили на Спасской башне шесть раз.

И не как-нибудь, а именно по их повелению, когда прозвучали первые три такта временного гимна, в Москве настало утро, – хотя светлей от этого не стало, но коронация началась. Император, маленький и прямой, сошел со ступеней дворца и шагнул в открытый ЗИП. В такие же ЗИПы сели: Антонина в сопровождении свиты старух, канцлер Шелковников в сопровождении тоже очень толстого Половецкого, маргинальная жена императора Екатерина, а с нею Джеймс, и еще немногие счастливицы. ЗИП царя был дивной чагравой, то бишь темно-пепельной масти, прочие машины были караковые, каурые, гнедые, чалые, мухортые и чубарые, но уж никак не чагравые, эту масть решено было закрепить за царем, раз уж белый цвет лошадей – одна подделка, ибо под белой шерстью у таких жеребцов-кобылок кроется черная кожа. Впрочем, тем, кому ЗИП был не по чину, садиться пришлось на настоящих лошадей без особого внимания к масти, лишь для представителей верноподданных сект подобрали что-то такое в яблоках. Рязанский конный завод и без того встал на уши, чтобы доставить в Москву нужное количество смирных кобыл: лошадь не ЗИП, ее не только перекрашивать вредно, ее даже переименовать трудно.

В сторонке от кортежа, во главе которого восседал на могучем тяжеловозе московский обер-полицмейстер, генерал-полковник Алтуфьев-Деревлев, стоял Сухоплещенко. Сегодня был последний его армейский день, уходил бывший слуга двух господ в статские, меняя свой два дня тому назад полученный чин бригадира на звание статского советника: без повышения, конечно, но не в чинах счастье, а счастье все-таки в деньгах, конечно, если деньги очень большие. Сухоплещенко уже оформил на свое подставное лицо останкинский молочный комбинат, но какое ж это имущество? Вот пройдет коронация как надо – тогда и прикинут кошель-другой с императорского плеча, тогда и развернется он, Д. В. Сухоплещенко, во всю свою денежную силу, и хлынут на все прилавки потоки нового продукта «масло сливочное птичье».

«Четвертыми, – бормотал бригадир почти одними губами, – сотня лейб-гвардии почетных казаков... Потом депутаты азиатских, это муллы, они на осликах, хорошо, что про попоны вспомнил. Выехали уже. Буддийская советская община как раз трогается, потом – секты». За этих бригадир побаивался, вдруг кто лишнее вздохнет, засопит, а то и нагадит? Но по нынешней погоде, по тому

черному киселю, который растекался вдоль асфальта, никто не разглядит даже и навоз. Только вот запах... Ну, это уж неизбежно, кобыл терпеть не заставишь. Император еще удивился – почему одни кобылы. Зеленый он, царь Павел, не знает, куда жеребец рванет, если кобылу в соку почует. Это только Юрия Долгорукого напротив покойного Моссовета долбороб-скульптор на жеребца усадил. Сухоплещенко даже предлагал этот памятник снять, но напоролся на неумолимо развивающуюся в императоре бережливость, уже сейчас граничащую со скупостью. Павел просто приказал, и Юрия, и буревестника без гагары, и поэта, того, что по старым водопроводам специализировался, задрапировать, – ну, а Пушкина просто отставить на его историческое место. Сухоплещенко их задрапировал и переставил, но с тревогой думал насчет Дзержинского, Маркса и прочих неудобных, заистуканенных прежней властью. Их полагалось бережно отвезти на Его Императорского всякого там хозяйства выставку и расставить возле памятника Мичурину, так оно по чину будет. На это времени не хватило; всех, конечно, задрапировали, накрыли то есть. Но было беспокойно.

Проехал Брянский обком, потом иудеи. Где-то между ними была депутация родовитого дворянства, но ее бригадир не разглядел, да и Бог с ними – эти сами знают, когда возникать, когда прятаться. Затем – шестьдесят вооруженных, в бронежилетах на куньем меху лакеев. Проехали очень лихо. Напротив, Его Императорского Величества палестинские арапы подкачали, с ночи нарезались, на кобылах еле держатся. Гнать их всех на историческую родину! Потом, неустанно наявивая на влагоустойчивых инструментах, проехал на чалых лошадаках ансамбль скрипачей Его Императорского Величества Большого Театра, а следом, почти наступая скрипачам на копыта, двинулся Его Императорского Величества хор имени Пятницкого, поющий что-то неслышимое за топотом и лязгом.

Номером двадцатым в процессии значился верховный церемониймейстер с жезлом, то есть сам Сухоплещенко. Но куда ж ему было с этим самым жезлом соваться, не отследив весь порядок? Его место пустовало, на почтительном расстоянии за девятнадцатыми, за парой двухметровых зам. верховных церемониймейстеров с большими дубинками, ехали двадцать первые: камер-юнкеры, две дюжины в ряд. А следом – очень важные лица. Двадцать вторыми ехали члены Политбюро КПРИ, а следом секретари ЦК. Невзирая на все слезы, Павел заставил их рассестся по кобылам, под угрозой строгача с занесением и отправки на пенсию; только и разрешил, чтобы при каждом шло два лакея: один лошадь ведет, другой члена придерживает, не ровен час, падет глава партии рожей в навоз, вон сколько лошадей, верблюдов и павлинов впереди. Ничего, пока что никто не шлепнулся. Но не верил Сухоплещенко, что так вот все бюро до Успенского собора благополучно и доедет, дай-то Бог, половина останется на дистанции. Прочие сами виноваты, что так рано родились, не смогли встретить утро коронации в расцвете сил.

Да хрен с ними. И с дипкорпусом тоже хрен, сами знают, когда и в каком месте ехать, и кто у них дуайен, старый дурак из Народно-Демократической, как ее, забыл название, пусть сам вспоминает. Потом опять лакеи, а вот номер тридцать

второй – это важно поглядеть. Сухоплещенко вытянул шею и увидел, как двинулся в путь мухортый ЗИП с застывшим на переднем сиденье канцлером, над которым, точно сзади пристроившись, держал огромный зонтик Милада Половецкий. А дальше – опять лакеи в синем, с семиствольными «толстопятовыми» наперевес. Заряды – боевые. Не боится император своей гвардии. Лакей – он только тогда настоящий лакей, когда он лакей верный и хозяин ему доверяет. И царь доверяет. К примеру – ему, Сухоплещенко. И нет ничего зазорного в том, чтобы служить лакеем великому человеку.

Следом – кавалергарды, эти быстро, потому что элита. А дальше верблюдогвардейцы. Эскадрон двугорбых верблюдов – да видала ли такое старушка-Москва? Если не видала, то теперь увидала, если не лично, то по телевизору. Ах, как хороши эти синие с золотом погоны! Какие кивера! Ментики! Шпоры! Подперся! Мундштуки! Мартингалы! Прочая упряжь, всякая униформа, которую по названиям разве что портные и шорники помнят!.. Верблюды ушли быстро. И тогда неторопливо, как приличествует масштабам империи и торжественности происходящего, стартовал от Петровского дворца чагравый ЗИП с государем. Зрелище, конечно, далеко до верблюда. Однако же царь!!!

Позади царя на удивительно спокойном жеребце ехал человек, почти никому не известно откуда взявшийся. Это был Авдей Васильев, а жеребец Воробышек, чалый, шел нехотя, и лишь одно его утешало, то, что в поводу Авдей вел его давнего приятеля, белого жеребца Гобоя. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: захочет царь из ЗИПа на белого коня – вот он, конь. Но Сухоплещенко знал, что Павел себе не враг и на лошадь не полезет. Тем более на жеребца. За то, что он полезет на коня, не поставил бы Сухоплещенко даже ломаной золотой копейки. Со вчерашнего дня все копейки в империи имели хождение только золотом. То есть золотой двухкопеечник. Были в России когда-нибудь золотые копейки? Вот пускай теперь нумизматы и стонут.

Потом еще кое-что проехало, а потом – ЗИП с Тонькой и старухами. По рангу Тонька числилась обер-шенком, но вряд ли об этом знала. На заднем сидении притулились две старухи, насчет которых в народе сразу возникла легенда, что, мол, это великие княжны от прошлого раза. Княжны так княжны.

Сухоплещенко интересовали номера сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий. Важные позиции. Главная из них – ЗИП с крытым верхом, потому что их высочество князь Никита Алексеевич решительно не желал простудиться, утверждал, что у него вечером еще срочная работа, а все Зарядье-Благodatское, как одна баба, стояло на его стороне. Пришлось уступить, хотя даже Павел на закрытый ЗИП согласие дал нехотя: не по-русски как-то, не по-православному, чтобы в такой праздник да в закрытом ЗИПе. С князем ехала небольшая женская охрана, ну, и фланкировали его машину тоже еще два десятка баб на лошадях. Баб этих было много больше, чем требовалось для охраны сношаря, поэтому они, чтобы как-то отработать свое участие в коронации, стерегли заодно еще и каурый ЗИП, стыдливо приткнувшийся в процессии номером следующим. Там подремывал на подушках великий князь Ромео Игоревич, уложив голову на лохматые и липкие от плеснутого в них

вчера шерри волосы великого князя Гелия Станиславовича; прочие места в машине были плотно заняты отечными скопцами, даже шофер был из их числа. Этот ЗИП спокойствия ради ехал с поднятым верхом, да и стекла в нем, что греха таить, были тонированные, пуленепробиваемые. Голубые. Народ тут же пустил на этот счет ехидную шуточку, содержащую, как обычно, чистую правду, но именно поэтому кто ж в нее поверит? На это Сухоплещенко и рассчитывал, он знал, что иезуитский закон Лойолы – «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется» – сущее вранье, ибо если говорить правду – только тогда уж точно ничего не останется.

В следующем ЗИПе, открытом, торчали двое великих князей: один был тощий, очень молодой, это появился на людях впервые незаконный сынок царя Иоанн Павлович. За ним ехал еще более тощий, хотя не такой молодой, великий князь Георгий Никитович Романов-Гренландский, – а между ними притулилась уже очень опохмеленная гражданская жена Георгия, урожденная Безвредных Дарья Витольдовна, почти уже Романова. Еще две бабы торчали на средних сидениях, личности их были пока что секретны. На переднем сидении восседал ражий охранник с «толстопятовым» наперевес; не поймешь, баба, мужик, скопец, – словом, эдакая куча голливудского мяса с семью стволами.

В следующем ряду ехал ЗИП с остервеневшим от злости по поводу неудачно подsunутого титула ханом Бахчисарайским, компанию коему составлял неутешно рыдающий граф Свиблов. Сюда же хан забрал и четных внуков, нечетные были сейчас не в его ведении: старший женился, третий без задних ног отсыпался в Кремле, в личных покоях посмертно разжалованного и столь же посмертно высланного в родовое Кокушкино вождя. Цезарь уже носил погоны младшего лейтенанта КС и получил эту квартирку во временное пользование просто для близости к месту жарения бастурмы, по которой готовился защитить диссертацию, – и не ведал, что за много-много лет был первым человеком, официально, пусть и временно, прописанным в Кремле! Ну, следом за ханским автомобилем на верблюдах протопал Его Императорского Величества Московский зоопарк: то ли верблюды на коронацию пошли, то ли погонщики на верблюдах поскакали?.. Ну, потом иностранные князья и главы правительств, вооруженные лакеи обоего пола, батальон охотников с противотанковыми ружьями, словом, недурная охрана.

А следом, в неприятном постороннем взгляде, тащилась гнедая машина с маргинальной, то бишь невенчанной и не особо нужной супругой императора – Екатериной Васильевно-Власьевно-Вильгельмовной, в сопровождении безымянного телохранителя-фаворита-друга, а проще – Джеймса. Следом на разных транспортах двигались дружественные гренландцы, сальварсанцы, атапаски с Аляски и прочие дружественные явные яванцы. Потом толпой валили Настасьи; хоть и числились они выборными, но тут были все, кто не суетился в хате при блинах и курниках. Много этих Настасий стало в Москве, ох, много, поговаривали, что уже тайком на рынках появляются, сметану продают, а на них лица восточного вида так и падают, а они этих лиц сторонятся и правильно делают. За Настасьями ехали теоретические губернаторы, но, увы, чуть не всех пришлось набрать в театре

оперетты и на массовках в Мосфильме, Никифоровых с вечера не нашли, мерзавец ректор, мог бы и попроще фамилию подсунуть. Но он теперь лицо – лицо важное, ему выговор не вставишь. За него – долма горой! И, опять-таки, кюфта тоже...

Ну, потом правители лимитрофных предприятий, эскадрон лейб-гвардии Гусарского полка, а потом – гордость армии: Его Императорского Величества личная имени князя Антиоха Кантемира мотострелковая дивизия. Ну, а за ней, за тихо проехавшим Ключем Джереми, алеутом, все еще чукотствующим, хотя и давно разоблаченным, подъехал открытый ЗИП любимой сухоплещенской масти, караковой. Шофер выметнулся и отдал честь. Его место занял сам бригадир – и весь кортеж сформировался. И тронулся. В честь такого события на дальних заставах ухнули прямо в небо парадные «римские свечи», намекая, что Третий Рим своего звания и теперь никому не уступит.

По Третьему Риму невозможно было проехать уж совсем, он был запружен синими мундирами, трехцветными бэтээрами и ликующими толпами, всюю хлебающими императорскую уху; поговаривали, впрочем, что наша стерлядь куда как наваристей будет и круче, но толпа всегда толпа, схлебают что дадут. Однако ж пробежать по Москве было все-таки можно, особенно если быть росточку небольшого, а передвигаться на четырех лапах. Можно и на двух, но это уж только с помощью колдовства и шаманства. Именно так двигался сейчас от Кузнецкого Моста к Петровским воротам молодой человек с окладистой бородой, держа в обеих руках хозяйственную сумку. Из сумки торчал голенищем вверх огромный валенок, эдак шестидесятого размера, черный, и парный валенок был на него голенищем вниз надет. Человек с трудом удерживал эту конструкцию в руках, она норовила качнуться, вырваться – проявляла все черты живого существа, но человек ее из рук все-таки не выпускал и успешно шел по Петровке. На человеке тоже были валенки, притом неподшитые, но сразу было видно, что они не промокают, несмотря на всю московскую грязно-снежную раскислость. Человек шел от центра прочь, коронацией нимало не интересуясь; в жизни его звали обычно – Никита Глюк. Возле парадно реконструированного Петровского пассажа он ненароком наступил на что-то, пробормотал какую-то фразу и пошел дальше.

Следивший за ним из-за оголенных осенним ветром кустов рыжий пес с мордой лайки и телом овчарки даже присел, когда это увидел. Да, понятно, кто-то съел продающееся рядом в длинной очереди турецкое мясное лакомство «шаурма», да с пьяных глаз обронил лепешку, но колдун с занятыми руками хлеб мог бы и не топтать, хлеб мог бы и обойти-то. Лепешка совсем не поганая, свежая она, мясным духом пропитанная, бараньим. Пес уронил слюну, обнажил желтые клыки – резцы он по старости давно утратил – и рванул к лепешке, чтоб никакой кавалер своим валенком нашу родную русскую лепешку не топтал, чтоб не пропадало наше кровное, русское, хоть из канадской пшеницы, хоть в соку турецкого барана, но!.. Одним глотком эс-бе отправил хлеб к себе в желудок и вернулся в закустовье, к дальнейшему несению бродячей службы. Но через кусты продрасться не смог, отчего-то передние лапы запутались в ветках. Володя зарычал, но вместо собачьего рыка издал лишь какое-то рассерженное

птичье шелканье с намеком на рык. Володя глянул на свои непослушные лапы и обомлел. Они стремительно, словно небо над Средиземным морем на рассвете в ясный день, покрывались лазурью. И шерсть удлинялась на них, и не шерсть это уже вовсе была, а перья. И рычать Володя пытался не пастью, а изогнутым клювом. Володя с возмущением рванулся из кустов, обломав в прыжке ветки, – но из прыжка так и не вышел. Ибо повис в воздухе, загребая его огромными синими крыльями, отчего взлетал все выше и выше. Молодой, могучий самец-попугай, всемирно известный орнитологам гиацинтовый ара, взмыл с Петровки, и сейчас птичьими глазами взирал на крышу Центрального банка. Сколько раз Володя бегал вокруг этой твердыни советского портмоне, а вот видел ее сверху впервые. С высоты попугайного полета.

Старый-старый пес, уже отметивший свой шестнадцатый день рождения, по меркам попугаев, живущих дольше человека, был не только не стар, он был юн и даже девствен, ибо сроду не общался ни с одной самкой своего попугайного племени. Володя с трудом соображал, что произошло, потому что и собачий радикулит, и беззубость, и слабеющий нюх – все это покинуло его вместе с личиной собаки. Впрочем, попугаю было холодно, он бессознательно стремился согреться движением, а двигаясь – летел все дальше и дальше к Сретенке, к Спасской, к трем вокзалам, к Яузе, бессознательно избирая привычный маршрут от помойки к помойке, но уже не обращая на них никакого внимания.

Попугай летел невысоко, но плавно, полетом напоминая более всего светлой памяти кондора Гулю, списанного из московского зоопарка вместе с прежним директором. Лефортовская тюрьма, парк в Кузьминках с конями скульптора Клодта на берегу пруда, спальные кварталы – все оставалось где-то внизу, Володя уже и думать забыл, что его место на Петровке, он понимал, что валенок Никиты и турецкая лепешка распечатали в его дряхлом собачьем теле способности оборотня, а значит – жизнь хороша и только начинается, хоть и придется ее, эту новую и прекрасную жизнь, просидеть, то есть пролетать, сидя на диете, не то превратишься сам не узнаешь потом во что.

Как ни странно, с земли Володю почти никто не заметил, разве что гвардеец у ворот тюрьмы, зевая от бессонного дежурства, набожно перекрестил рот и глянул на небо, там увидел синюю птицу цвета собственного мундира, сравнил их окраску, то есть перевел глаза с птицы на свой же рукав, а когда снова глянул на небо – там ничего не было, там было лишь серо-сизое ноябрьское небо, заложненное плотными, хотя и высокими облаками. Гвардеец тряхнул головой, наваждение пропало, а точнее – сам гвардеец пропал, истаял наваждением со страниц этой книги и российской истории, исчез из того великого дня, когда кортеж его императорского величества, двигаясь в направлении московского Кремля, достиг Тверской заставы, где со всеми подобающими почестями был встречен московским генерал-губернатором, светлейшим князем Егором Ливериевичем Дорогомилловским, коего сопровождали офицеры и адъютанты. Конские и верблюжьи копыта, сверкающие бронзой шины караковых, каурых, гнедых, чалых, мухортых, чубарых ЗИПов, не считая дивного императорского, того, что был чагравой масти, – все они продолжали неукротимое движение к центру первопрестольной столицы, и в районе Старых Триумфальных ворот,

близ наспех задрапированного памятника водопроводному поэту, были столь же торжественно встречены московским городским головой светлейшим князем Устином Кузьмичом Бибиревым-Ясеновым, а также гласными Государственной Думы, членами управы, секретарями райкомов, представителями купеческой, мещанской и ремесленной управ, а также с трудом допущенным сюда Биржевым комитетом во главе с действительным статским советником Гавриилом Назаровичем Бухтеевым, на котором дворянский мундир сидел хуже, чем на корове верблюжье седло, ибо в статском этот еще вчера военный человек показался на людях впервые, для куражу принял три четвертушки и жаждал дополнить их хотя бы еще одной, даст Бог, не последней в такой замечательный праздничный день. Качаясь на послушном мерине, Бухтеев присоединился к хвосту кортежа, голова коего уже находилась в районе спешно восстанавливаемого на бывшей площади Пушкина Страстного монастыря, где ее, голову кортежа, а с ней, разумеется, и императора лично, приветствовал председатель Московской земской управы, его императорского величества почетный олигарх Харлампий Илларионович Крылатский-Отрадный и прочие члены той же управы, которая в кои-то веки нашлась на Моссовет, ныне ликвидированный, посмертно осужденный и расформированный по важным государственным ведомствам. Крылатский-Отрадный с удивлением искоса глянул на Бибирева-Ясенева, про которого точно знал, что еще полгода тому назад тот написал на него, тогда еще тоже отнюдь не князя и не Бибирева, а освобожденного первого секретаря, донос по поводу развращения им и растления комсомольского бюро обоего пола. Но потом вспомнил Крылатский-Отрадный, что тогда и у него самого фамилия была другая, и решил зла не таить, хотя бы ради такого светлого праздника. Праздника светлейшего, как данный ему давеча княжеский титул; просто князь государь изволил почти все экспроприировать в личное пользование, как некогда его пятиколенный дедушка, ибо отличие князя светлейшего от просто князя такое же, как отличие государя милостивого от... вот именно. А у дома генерал-губернатора, то бишь покойного Моссовета, уже встречал царя, поставив с пьяных глаз на каравай не солонку, а стопку зеленой тархунной водки, предводитель дворянства Московской губернии князь Иван Иванович Петровско-Разумовский, с отборным племенным той же губернии дворянством. Хвост кортежа еще мотался у Бульварного кольца, а голова втискивалась в Воскресенские ворота, между Городской думой имени В. И. Ленина и личным Его Императорского Величества Историческим музеем ордена Трудового Красного Триколора. Там кортеж тоже встречали, там топтался губернатор московской губернии, которого в спешке забыли возвести в древнее дворянское достоинство, отчего он нынче не знал даже собственной фамилии, он толкся среди чинов губернских административных и судебных учреждений, тоже в спешке и халатности безымянных, хотя уже давно и капитально нетрезвых. Всем им хотелось глянуть на императора, но видели они в основном синие спины гвардейского оцепления, и лишь изредка мелькали поверх них то наглая верблюжья морда, то ствол лакейской базуки, то ярко раскрывшийся в руках верноподданого курда-езида павлиний хвост. Увы, никакой часовни здесь еще

не было, поэтому чин нарушался, Его Величество никуда не мог войти и удовольствовался полученным через борт благословением, которое в надлежащий миг и с должным почтением дал ему совершенно трезвый и невообразимо злой архиепископ Аделийский Архипелагий, коего за иностранное происхождение не допустили в Кремль на таинство миропомазания. Со зла он окропил императора куда более обильно, чем того требовали правила, но в сыром воздухе ноябрьского четверга излишка влаги не заметил никто.

На Красной площади кортеж сделал передышку. Мавзолей снесен не был, его тактично прикрывало панно с нарисованными голубыми, светлей обычного мундира, елочками, зато на Лобном месте, как на исторически-естественной трибуне, стояло возвышение, и на нее были устремлены все допущенные к показу торжества телекамеры. Сюда по чуть заметному мановению канцлера торжественно поднесли на высоко поднятых носилках тестя, то есть его вассальное величество хана Корягина Эдуарда Феликсовича. Он, и никто другой, должен был напутствовать главу империи прежде, чем тот вступит на священную землю Кремля.

Хан, облаченный в жаркую лисью шубу и такую же шапку, слез с носилок и поднялся на Лобное место. Его борода торчком и его мрачные глаза возникли крупным планом на экранах миллиарда телевизоров, а сам хан безмолвно шевелил губами, чем очень смутил глухонемых у себя в родной Латвии, ибо там, и только там, умели прочесть по губам и понять все то, что истинно думал в это мгновение хан. Думал он о своем титуле.

Тут их величество изволили впрямь допустить изрядный ляп. Да, настоящие икарийские ханы в лице Шагин Герая, конечно, отреклись от престола почти двести лет тому назад, но их род не пресекался, Гераи имелись нынче и на Востоке и на Западе и даже просто в Икарии и претендовали не только на Икарийский престол, но и на Константинопольский, ибо по древнему уложению им, и никому другому, в случае исчезновения Османов, как династии во главе Османской империи, переходил трон Порты. Дед Эдуард был вовсе не Гераем, а Корягиным, и менее всего мусульманином. Казань и Бахчисарай представлял он себе не иначе как старинные русские поселения – при чем тут татары?

Розалинда на яйцах, пятеро по жердочкам, внуки тоже расфасованы, тут бы и жить как человеку, так нет же, ввязывайся в монаршие дела с ханским титулом, да еще приветствуй царя от имени всех мусульманских подданных, стоя на Лобном месте. Горящим взором хан напоминал сейчас известного стрельца с известной картины Сурикова, только тот держал в руке зажженную свечу, а Эдуард Феликсович в руке не держал ничего. Все заученные накануне слова вылетели у него из головы. Корягин долго мусолил микрофон, потом прокашлялся и проговорил:

– Мучительно прожитые годы... – мир замер, а хан почуял в своих словах что-то неладное, решил начать с другого места. – О необходимости которых так дол...

– Гоу-га-га-гав-гав! – раздалось из миллиарда телевизоров. В ту же секунду образ суриковского стрельца обрел полноту. На руке хана увесисто восседал



мощный лазурный самец, привычный корягинским рукам гиацинтовый ара, отчего-то яростно пытающийся залаять в микрофон. Оставив до времени вопрос, откуда в Москве берутся по осени перелетные попугаи нужной породы, хан в привычном обществе приободрился и закончил в микрофон: – Государь наш батюшка! Государь ты наш Павел Федорович! Все идущие на Русь приветствуют тебя!

Хан, хоть и ляпнул нечто несуразное, приободрился окончательно и пересадил попугая к себе на плечо. Площадь, а с нею вся процессия, вся Москва и все телевизоры земного шара разразились громовым «ура»: государь медленно проехал по Красной площади к Спасским воротам, где уже отвешивал ему почти земной поклон комендант Москвы, его превосходительство генерал-лейтенант Богдан Афанасьевич Гальяно-Выхинский, оставленный временно без княжеского титула; отвешивать поклоны ему было легко, а поднимали его верные офицеры. Государь на коменданта не глянул, лишь поднял очи к курантам, подумал, что все-таки зря утвердили «Прощание славянки» государственным гимном, еще раз о том, как, однако же, Спасская башня похожа на себя, и въехал в Кремль. Ударили колокола Кремля, и не только Кремля, канцлер Шелковников мелко, но так, чтоб подчиненным заметно было, перекрестился, Тонька стиснула зубы, – впрочем, старухи синхронно похлопали ее по плечам, – Катя почувствовала, как Джеймс крепко сжал ее локоть, Дмитрий Сухоплещенко причмокнул от удовольствия.

Время летело неприметно, шел двенадцатый час, уже и перекусить пора бы, но весь церковный чин, Святейший Синод и Политбюро пока стояли на ступеньках главного собора, главные епископы всяких поместных церквей трепетали на ступенях срочно восстановленного Красного Крыльца дожидались выхода венценосца от таинства к трапезе. Застыл там же без выражения на лице верховный маршал коронации, граф Петр Лианозов-Теплостанский, лично оскорбленный и раздробленностью родовых поместий, из-за которой власти у него оказалась едва ли горстка, несмотря на красивую фамилию, и самой фамилией он был тоже оскорблен, потому что от рождения он был Палин из села Палина Паленского уезда. Хлеб-соль ему держать не дозволили: и дождь пойти может, и от алкоголизма сперва вылечись.

В Успенский мало кого пустили, даже телевидения только самую малость. Чин венчания должен был занять часа два, и был он содран определенно из двадцати разных мест. Пользуясь прецедентом венчания на царство первого из Романовых, Михаила Федоровича, когда Патриарха в России не было и царя венчал митрополит Казанский Ефрем, на этот раз царя венчал митрополит Опоньский и китежский Фотий. Царя подвели к алтарю, долго пели. Потом на голову положили тяжеленную корону с таким количеством синих брильянтов, что можно бы на них «Титаник» из океана поднять и плавать на нем. Потом опять пели. Сунули в руки тяжеленные скипетр и державу. На плечи тоже навалили неожиданно тяжелую шубу-порфиру. Вот уж тяжела и шапка и вся эта ноша.

Народ был взволнован: не случится ли во время коронации какой-нибудь вещи приметы, вот, когда Николая Второго Незаконного венчали, то не только

Ходынка приключилась, а еще прямо у плащаницы на царе порвалась сапфировая цепь. На Павла тоже надели цепь тяжелых синих камней, и накануне он распорядился, чтобы ее на много ниток особой прочности вздели. И с утра еще проверил. Не должна порваться. Но береженого царя не только Бог бережет, его еще пуще народ любит. Среди кремлевских гвардейцев пробежал шепоток: «Не порвалась?» А от врат собора ответной волной набегал ответный, успокаивающий шепот: «Нет, цела, цела, цела! Даст-то Господь, не порвется!»

Митрополит-местоблюститель неторопливо читал молитвы, коленопреклоненные дворяне, олигархи и кинооператоры делали свое дело, а Павел уже давно нестерпимо устал, да к тому же зверски хотел есть. Он помнил, что в три часа начало коронационной трапезы и салюта, даже меню заранее знал наизусть, и сейчас, в духоте ладана и телесофитов, мечтал об одном – не потерять сознания. Хрен с ними, с сапфирами. Но вот уж если царь сам рухнет в алтаре на коронации – все, тогда можно обратным назад ехать в Свердловск преподавать в школе. Да какое там – еще и на работу обратно не оформят... Или навесят нагрузку, вести кружок по истории Дома Романовых...

– Многая лета!.. – мощным бас-профундо ревел народный артист Империи, на нынешний день временно возведенный в архидиаконы, и хор почти столь же народных отвечал с клироса: – Многая-многая!.. – да так, что в телекамерах лопались объективы, а контр-теноры с противоположного клироса тоже пели женскими голосами. Цепь не рвалась. Бесконечный обряд осыпания золотыми монетами под «Многую лету» вообще, как догадался император, скопировали из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», но там хоть на мягкую шапку все сыпалось, а тут на тяжелую корону в брильянтах, и думалось, что их сейчас повредят по неаккуратности.

Наконец к Павлу пришло второе дыхание: митрополит, поддерживаемый за локотки Шелковниковым и каким-то очень семитским старцем, снял с него корону, и возложил вместо нее легкий и изящный, специально для такого случая отлитый лавровый венец. Миропомазание совершилось. Колокола грянули так, что Павел испугался за перепонки в ушах.

Медленно сошел новый император с соли, опять выдержал долгое осыпание золотыми империялами с собственным профильным портретом, сунул пригоршню в карман – и, по ритуалу, двинулся в крестный ход. Его качало от голода, но был он отныне уже настоящий, совершенно законно коронованный император Всея Руси Павел Второй.

Путь в Грановитую, с заходом на Красное крыльцо, был выстелен трехцветными черно-желто-белыми коврами дорожками. Павел с наслаждением вдохнул чистый кремлевский воздух, широко перекрестился на Ивана Великого и куда быстрее, чем того требовал этикет, прошел на Красное Крыльцо. Оттуда полагалось отвесить народу тоекратный поясной поклон. Из колоколов не звонил, кажется, только Царь-Колокол. «Надо будет отдать в ремонт, пусть звонит за государево здравие», – подумал Павел, откланялся и поспешил в Грановитую палату, где, как он надеялся, все-таки дадут императору пожрать. Для начала обязательно горячего супа. Иначе непременно будет простуда.

У входа в Грановитую аккуратной толпой стояли дипломаты, из их рядов вышагнул сухой старик и с поклоном протянул царю большой сверток на подносе. С удивлением признал Павел невинно дрыхнувшего в его, хозяйском присутствии русского спаниеля Митьку, оставленного им в родном Свердловске на Катино попечение. Павел отвернул фланель и слегка погладил пса, видать, накачанного снотворным, чтобы не мешал, с благодарностью пожал дипломату руку – и почти бегом устремился на запах накрытого стола. Алая мантия жутко мешала, и царь с удовольствием скинул ее на спинку трона. Трон был один, место царицы не обозначалось даже наличием второго сидения; на одном конце стола – митрополит, на другом – канцлер, посерединке царь, поблизости – другие владыки, среди коих выделялся хан Бахчисарайский с синим попугаем на плече. Вроде бы не по протоколу, но красиво, пусть поклует. И Митьке с тарелки надо будет чего-нибудь сунуть, раз уж он тут, – Павел на время отложил вопрос, откуда Митька появился. Но ведь не ел, поди, Митька стерляди никогда? Павел удивленно понял, что и он сам ее тоже никогда не ел, хотя в последние полгода мог бы ее затребовать хоть среди ночи. Ничего: нынче стерляди на всех хватит. То есть пирайи, но это, кажется, на вкус одно и то же. Среди дипломатов Павел заметил Долметчера, аккуратно поправляющего белые перчатки: нынче посол не гнушался побыть у царя в официантах. За спиной посла маячил персонаж, лицо коего было бледно почти как долметчеровская перчатка, до такой расцветки нынче дотрудился ректор Аракелян. А рядом с ними стоял человек, Павлу вовсе незнакомый: старикан лет семидесяти, костюмчик фабрики «Большевичка» пятьдесят второго года, перелицованный, а вместо галстука бабочка. «Кто сей?» – спросил царь через плечо у Сухоплещенко. «Сбитнев!» – восхищенно прошептал бригадир, Павел ничего не понял, но переспрашивать не стал. Раз тут – значит, достоин.

Император, пытаясь все-таки не упасть от голода, опустился на трон и дал знак к началу трапезы. На столе мало что стояло из еды, только посуда, солонки-уксусники, Павел подумал, что даже горчицы съел бы сейчас, если б к ней хоть сухарь отыскать. «Ничего себе мысли на коронации!..» – пристыдил Павел сам себя. Главные лица империи и гости постепенно усаживались на отведенные места, депутация же породистого дворянства тихо топталась у дверей. Долметчер беззвучно переместился к государю и встал позади двухметрового отрока-рынды, эти белокафтаные спецгардейцы с алебардами и золотыми значками импсомола смотрелись очень хорошо, служа и охраной и вроде бы как мебелью в довольно пустой палате. Официанты в древнерусских кафтанах заскользили с кухни, и наконец-то перед Павлом водрузили что-то вроде малой супницы, не то глубокой тарелки с крышкой. Долметчер молниеносно открыл ее, обдав себя и царя рыбным духом, снял пробу – он не то что Ключю тут не доверял, но даже Тоньке, и она с этим мирилась – а затем степенно придвинул уху к царю.

Павел отхлебнул, нашел, что горячо, но отхлебнул еще раз и еще раз. Потом вспомнил, что по этикету должен теперь попросить пить. Протянул руку к бокалу. В чарку, вырезанную из целого куска горного хрусталя, хлынул древний русский напиток – понятно, шампанское.

– Здоровье его императорского величества, государя нашего батюшки Павла Федоровича! – провозгласил Лианозов-Теплостанский. В тот же миг по всей Москве ухнули пушки, начав первые торжественные тридцать четыре залпа, по числу лет императора. Дворянство по тому же сигналу, откланиваясь, попятилось ко входу, не смея показать государю спину; для них был накрыт стол в Большом Кремлевском, уха там была точно такая же, а закуска хоть и не такая тонкая, зато от пуза. Павел выпил шампанеи и вернулся к ухе. Канцлер во втором приглашении нуждался меньше всех, а в таком случае прочим сам Бог велел: митрополит благословил, элита принялась рубать уху под шампань. А пушки гремели.

Поскольку ни завалящей вдовствующей королевы-матери, ни императрицы-жены у государя не имелось, второй тост был абстрактный: за здоровье августейшего семейства; третий тост был еще более неопределенный: за славную нашу коммунистическую партию. Долметчер от трона удалился; вместе с ухой кончались его официальные функции; прочими блюдами русской национальной кухни покормят царя соотечественники. Теперь чисто профессионально уроженца Доминики интересовал другой человек, примостившийся на дальнем, митрополичьем конце стола, – старик с бородой лопатой, настороженно катающий порцию ухи от щеки к щеке: он дегустировал.

– Вильгельм Ерофеич, – с отменным вежеством обратился дипломат-ресторатор к знаменитому старику, – позвольте мне выразить восхищение вашим творчеством. Заверяю вас, что во всех моих «Доминиках» немалая часть блюд, особо любимых господином президентом, стряпается с эксклюзивным использованием вашей рецептуры.

Старик сглотнул уху и поднял глаза.

– Тех же щей да пожиже лей... – пробормотал старик, игнорируя шампанское. – Ну, а чем твой супец закусывать?

Креол извлек – из рукава, что ли? – пару заранее свернутых, горячих тортильяс и подал старцу на салфетке. Тот надкусил.

– Расстегай застегнутый, значит... Мясо тут зачем, когда уже рыба есть? Это ж не караси с бараниной, иль я чего не знаю?... русский карась не рыба, если не знаешь, пирожок это...

– Наша национальная сальварсанская кухня гордится сочетаниями рыбы с мясом! Впрочем, тут филе путанского армадильо, к императорскому столу я их не предложил. Все-таки блюдо очень нерусское. – Мнение старца определенно весьма волновало креола.

– Вообще-то, – старик дожевал, – сюда еще рюмку водки, огурец, и очень даже можешь подать царю. Если б у меня, милоч, такой повар имелся, как ты, я бы не сидел в двух комнатах в Подольске без телефона и с остолопом-сыном на голове. – Сбитнев откинулся, ожидая заказа. Креол налил ему водки, стал искать огурец. Наконец, напротив светлейшего князя Воробьевогорского-Ленинодачного нашел банку корнишонов и с поклоном подал.

Глаза старика расширились от ужаса.

– Нет, нет, это невозможно... Их же умучили в уксусе, их же погубили, все из них вытянули... Ну, все испорчено... – запричитал почетный гость. Креол

сверкнул глазами на ректора, тот через мгновение подал на золотом блюде крупный, вялый огурец, – другого не нашел, и ждал, что сейчас голова его полетит в далекие края. Но старик огурцом не побрезговал, только отметил – нежинский! – выпил водку из венецианского бокала семнадцатого века и закусил. Потом откинулся в кресле и полуприкрыл глаза. Долметчер понял, что аудиенция у кулинарного князя окончена, поклонился и скользнул к другому концу стола, где чавкал ухой великий князь-сношарь Никита Алексеевич, нимало не смущаемый тем, что над ним порхает слетевший с расположенного поблизости ханского плеча синий попугай и нагло таскает куски рыбы прямо из его тарелки, как-то влаивая при взлетах к потолку, где им совершался процесс глотания.

Пушки бухали уже вторую порцию залпов, тридцать два, великому князю шепнули, что это сейчас за его деревню бухают и пьют. Князь дохлебал уху и увидел перед собой дивный пирог-курник, отборная Настасья уже лила в его личную, из дома принесенную братину деревенское пиво. Долметчер, одобренный сношарем раз и навсегда, в похвалах своей ухе тут не нуждался, но он отлично знал, что поклон отцу сальварсанского президента полагается отвесить. Против ожидания, сношарь его заметил, кивнул в положительном смысле и стал шарить под столом. Вынул оттуда четвертную бутылку черешневой, а дивной полнотелости Настасья подставила граненый стакан.

– Закусить не забудь! – отрывисто бросил сношарь, берясь за курник. За пушками он не попевал, да и вообще о них не думал. О них с ужасом думал маршал коронации Петр Лианозов-Теплостанский, он открывал и закрывал рот, но и только: отменить третий залп он не мог, убрать вторую перемену со стола – тоже, синхронность трапезы шла коту под хвост. Вообще все было как-то несолидно, – ну что стоило, в частности, заказать к коронации специальный сервис? А то натаскали что поизящней из Кускова, из Эрмитажа, из Гусь-Хрустального и поставили на стол. А, ладно, кажется, никто не жалуется.

Но генсек-канцлер все-таки был недоволен, и коронация, и обед со всех сторон его устраивали – кроме одной. Он сидел перед пустой тарелкой и жадно шарил глазами по столу. В поле зрения попадали маленькие голубцы с аджикой – и голубцов как не бывало, каперсы – и они туда же, а когда же, однако, тридцать один залп за родную и любимую, как ее, Советскую Социалистическую Империю? Холодцу бы... Наконец, Шелковников плюнул на приличия и полез в карман за портсигаром. Но при нынешнем напряжении что ему была эта пара бутербродов?..

Дамы вели себя на редкость непринужденно, кроме разве что непомерно военизированных Настасий. Катя пила шампанское, заедая маслятами: и то, и другое подсовывал ей Джеймс, отталкивая официантов. Елена Эдуардовна пригубляла и отведывала, но не более, она берегла фигуру, а еще зорко следила, чтобы ни единый кусок не попал к Павлу иначе как из рук весьма близко посаженной к нему Антонины, – Елена ей верила, а к тому же знала, что та по своему интересному положению нынче не напьется. «А это еще кто?» – спросила себя баронесса Учкудукская – будь оно неладно, это звание, но уж с ним как-нибудь потом разберемся, – рассмотрев близ митрополита некое

дружное семейство. Она не верила глазам: там совершенно безнаказанно жевал шашлык лично изменник Витольд – государь дружественной Народно-демократической Гренландии, потому и присутствует на трапезе в честь коронации. Верноподданное дворянство рубало халяву под двадцать девять залпов за собственное здоровье, рубал ее и Витольд и гордился, что стерлядей дрессированных к нынешнему столу из своих садков поставил он, и подарок был принят, и все семейство усажено на весьма почетные места: все четыре дочери-алкоголички, и мужья их, даже Дарьин задохлик, которому дозволили привезти с собой из Пуэрто-Рико и сестрицу свою, приволокшую с собой цельную копченую свинью, требовавшую, чтобы этот деликатес целиком предложили императору, чего, впрочем, не допустил армянин-повар, – и матушку, гримзу еще поискать такую вторую. Вот одна только эта матушка отчего-то за столом не пила и не ела, явно нарушая этикет.

Елена волновалась не зря. Едва лишь начались двадцать семь за доблестное российское воинство под разварного барашка, – в теории, конечно, потому что никто за столом уже не знал, что ест его сосед, – Дарьина свекровь поднялась со своего места, хлопнула бокал шампанеи, видимо, для бодрости, да и для того, чтобы сухости во рту не было при разговоре, и двинулась в направлении великого князя и его избранных Настасий.

В это же время там разворачивалось своеобразное действо. Сложившись пополам, ректор Военно-Кулинарной академии снял с сервировочного столика и водрузил перед сношарем порционный заказ – мысли с подливой. Князь придиричиво поглядел на кучу мыслей, на аппетитную корочку и на дымящуюся подливу, выбрал одну мысль и разжевал.

Женщина меж тем спокойно миновала царя, тот был огорожен рындами, а за прочих охрана не отвечала. Один лишь лазурный попугай беспокойно завис над женщиной, готовый в любое время поступить с ней по-пушкински. Но женщина через кордон Настасий ломиться не стала, она просто окликнула князя:

– Лукаш, а Лукаш? Лукаш?..

Мысль застряла у князя в горле. Этот голос он узнал бы даже и еще через сто лет. Он понял, что зря нарушил правило есть только свое, деревенское, зарядскоблагодатное, зря выбрал не придвинутую к нему стопку блинов, а острую и весьма скоромную мысль: до добра эта мысль его, конечно, не довела. Обычный его бледно-голубой, мутный и ласковый взгляд стал наполняться ужасом. Настасьи оцетинились семистволками. Сношарь отвел рукой ближайшую пушку и привстал.

– Тина!.. – выдохнул он, падая в кресло.

Перед ним стояла родная мать Георгия и Ярослава Романовых, а следовательно, – законная жена сношаря, великая княгиня Устинья Романова. Настасьи были готовы расстрелять эту чужую бабу на месте – за попытку покушения на их кровное добро, на сношаря Луку Пантелеича, но тот сделал слабый знак рукой: мол, отставить, все путем. Женщина не двигалась, а князь, помедлив, совершил нечто, никем не виданное доселе: взял четвертную бутылку черешневой да и присосался к горлышку. Испив не менее пивной кружки, просветлел взором и вновь глянул на жену.

– Ну, Тина, судьба, стало быть... Настя, подвинься, пусть княгинюшка сядет... Садись, Тин, сказывай, кто Георгий, кто Ярослав.

Княгиня дождалась, что от гренландского семейства ей переставили кресло, степенно опустила в него и наконец-то соизволила переменить выражение своего кикиморного лица на более благостное. Она взяла с тарелки мужа блин, обмакнула в сметану и конвертиком опустила его к себе в широкую, по-американски зубастую пасть. Настасьи посмурнели, но им своего мнения не полагалось. Между супругами пошел какой-то разговор, не слышимый даже тем, кто был поблизости, ибо артиллерия сейчас грохотала на полную катушку, двадцатью пятью громовыми раскатами под антреме, прославляя все сущее на Руси свободное и добровольное надворно-крепостное землепашество.

Павел заметно надрался. Пил он то шампанское, то «Белый аист», то сношареву черешневую, то «Ай-Даниль», то бастр, то мальвазию, то личного сбитневского настаивания виноградную граппу, то еще один Господь знает что.

Собеседником его стал тот единственный гость, которого он нашел рядом: это был великий князь Ромео Игоревич, неизвестно почему получивший место ошую царя. Князь был один, без супруги, нарезавшейся до положения риз еще когда царь был в Успенском, – Гелия тогда же увели и уложили поспать где-то в заднекремлевских покоях. Ромео своим подчеркнuto кавказским видом навел царя на размышления по прежней профессии – по истории.

– Урарту... – говорил Павел заплетающимся языком, откусывая ломтик оленьей печени, пошедшей под двадцать два бабаха за подвластные разнообразные верноподданнейшие меньшинства. – Распрекрасная была страна, надо бы ее снова собрать и привести под наш скипетр. Язык, ничего, выучу, я уже много выучил...

Ромео деликатно кивал и чокался с царем: ему чарку шампанского было еще пить и пить – жена окончательно довела его до отвращения к пьянству, он с тоской мечтал о разводе, но вспоминал скопцов с зубилами, и мечты исчезали. Молодость его увядала, едва расцветши: изменять жене он боялся, да и любил ее до сих пор. Ромео впадал в меланхолию, но в этом смысле сегодняшнее действо было в самый раз, какое-никакое, а развлечение. Да еще место досталось прямо возле царя, потому что Ивана с матушкой в Грановитую вообще не допустили, и по беглому подсчету среди младших великих князей Ромео мог считаться условно старшим. К тому же придворные герольдмейстеры полагали, что в силу своего армянского происхождения именно этот царевич не очень-то сможет и захочет претендовать на трон.

– Шумер там, Аккад... – бормотал царь, – мне что, я и по-шумерски могу, я и по-аккадски могу...

А за стенами Кремля грохотал заключительный залп в двадцать один бабах: за весь русский народ. Москва давно обожралась и упилась, лишь синие гвардейцы были трезвей трезвого и свежи, как парниковые овощи. Пройти по городу было, как и утром, почти невозможно, хотя сейчас уж никто и не пытался, ухой все наблевались, да и кончалась она на раздаточных пунктах. Проекторы чертили премудрые фигуры в сморкающемся, вновь сизеющем небе, и снег пока что чуть-чуть, но все более наглея, сыпался на московские

окраины. А за окраинами – так и вовсе начиналась метель. Подмосковье сидело перед телевизорами, где по всем каналам гнали сейчас бесконечный сериал «Федор Кузьмич», снятый в мексиканской тайге. Впрочем, по пятому каналу шел «Элиасэ», голливудско-японская кинокомедия по Евсею Бенцу. Владельцы видеомагнитофонов смотрели кто что мог, но отчего-то никто не смотрел порнуху: воздух, видимо, не располагал. Тянулись почти пустые электрички в оба конца губернии, то бишь из Москвы и в Москву, быстро замерзал лед в канавах раскисшего сердца великой Московии. Недвижно чернели леса под Раменским и Серпуховым, но кое-где, в самых дальних от проезжих путей местах на опушках, хорошо вооруженный и должным образом заколдованный взор мог наблюдать одну и ту же картину.

Среди малой полянки всегда стоял пенёк, притом непременно слегка тронутый огнем, еловый или сосновый. В пенёк был воткнут нож, охотничий, непременно ржавый, – эдак внаклон воткнут. Каждые четыре-пять минут из леса выходил волк, серый, с прижатыми ушами, с висящим палкой хвостом, делал короткую разбежку, перекувыркивался в воздухе над пнем через голову, пролетал над ножом и приземлялся на две ноги. Именно на две – потому что теперь это был человек. Высокий ли, низкий ли, чаще обутый в кроссовки, реже в датские полуботинки, одетый в куртку-аляску, иной же раз в теплый плащ на гороховой подкладке. Человек бегло, еще по-волчьи зыркал по сторонам – и уходил прочь. А потом из чащи выходил следующий волк, разбежался, и... вот именно.

Они нигде не шли из лесов толпами, лишь поодиночке и в разных местах, но были их тысячи. Они шли весь вечер и всю ночь, в российских лесах давно должны бы иссякнуть волки, но волки не сякли, они шли и шли, оборачиваясь деловитыми нестарыми парнями, – шли к ближайшей электричке. У большинства топорщились карманы, и кассирши на малых станциях нередко ругались, не находя сдачи с крупной купюры. Никто не ехал зайцем: не по чину, не по званию, не по происхождению. Пришло их время, они вышли дело делать, хватит бегать по лесу, того и гляди в красные флаги упруешься.

Но красных флагов больше не было. Бывшим волкам не нравилось, Впрочем, и трехцветное полотнище, но его, хоть и с трудом, они готовы были потерпеть. Побаивались они только московских эс-бе, но тех все же было не очень много. Уж как-нибудь. Не так, так эдак.

В государевых покоях тоже была тишина. Мирно посапывал надравшийся царь. Подремывала охраняющая его покой Тонька. Не спал один лишь престарелый русский спаниель, на всю оставшуюся жизнь отоспавшийся в холодильнике американского посольства и уставший лаять на сомнительного попугая, который за обедом мотался над столом. Пес наконец-то обрел хозяина. И Россия тоже. Формально, во всяком случае.

...Открылось метро.

В первом Риме Папа Римский Павел VII заочно благословил президента Романьоса.

Во втором Риме прозвучал азан, мусульмане занялись намазом, а в тайной комнате под древним казначейством, на острове Антигони, группа сторонников византийских императоров Ласкарисов начала совещание о русском престоле.



В третьем Риме Исаак Абрамович Матвеев произнес «Отче наш» на арамейском языке – и перекрестился.

...В четвертом Риме...

Его не было.

И вовеки не будет.

А точно не будет?..

А?..

#### IV

Был в это время при нашем дворе собака <...> не пойму каким образом возвысившийся из телохранителей, мы же <...> сравнивали его с вельможами, надеясь на верную службу.

Иван Грозный. Первое послание князю Андрею Курбскому

Небеса понемногу сизели. Точней не опишешь. Впрочем, какого цвета считаются баклажаны по-русски, Аракелян не знал, и название-то у овоща, похоже, турецкое, но, помнится, где-то на юге, кажется, в Одессе, их называют синенькими. А помидоры – красненькими. Усталый ректор Военно-Кулинарной академии переводил взгляд со своего белого, наброшенного поверх униформы халата, на красную, ярко подсвеченную прожектором внутреннюю часть Кремлевской стены, что виднелась за окном, а потом выше – на сизое, ну, скажем, условно-синее небо. В левом верхнем углу окна реял флаг из полосок трех очень похожих расцветок, сообщая фактом своего реяния, что кончилось время похабно-румяное, пришло время имперски-трехцветное, сливочное, клубничное и баклажанное. Но непослушный взгляд ректора скользил дальше, и в поле зрения оказывалась груда самых настоящих баклажанов на разделочном столике у окна. И вот эти-то овощи цветом своим в точности повторяли ноябрьское сырое небо в три часа утра: именно столько пробили недавно куранты на Спасской башне. Проклятый свояк опять загнал Аракеляна в цейтнот. Потому что заставил ректора провести весь вечер, ставя семьдесят четыре подписи разными почерками. Под поздравительно-коронационным адресом императору от верноподданнейших губернаторов; но ладно бы просто поставить подписи, а то ведь еще только пятеро назначены на свое место в действительности, прочие даже не подобраны. Аракелян злорадно вспомнил, что семь раз, разными почерками, поставил фамилию «Никифоров». Вот пусть теперь у Георгия ноет его толстая башка, пусть подбирает семь человек с такой фамилией. Придется брать людей из картотеки, хоть из своей, хоть из той, что у Глущенко. Вообще-то так, конечно, надежней, когда и губернатор, и компромат на него – сразу комплектом. Это ладно. А вот отнять весь вечер накануне коронации у ректора Военно-Кулинарной – это как? Баклажаны кому поручить можно? Помощников много, у всех руки золотые, да только растут из задницы. Даже почистить не сумеют. Аракелян посчитал на пальцах, сколько блюд еще не готово. Пальцев не хватило, но в этот момент подозрительно запахло с края главной плиты, и ректор кинулся спасать монументальное едиво, разлегшееся

на каменной сковороде. Шел четвертый час утра, хотя до часов ли было нынче?

Сколько блюд, сколько блюд! Первым делом позаботился Аракелян о сохранности собственной шкуры, а именно о том, чтобы остался доволен его стряпней на коронационном обеде великий князь Никита Алексеевич. Князь-сношарь заказал для себя в качестве главного блюда мысли с подливою. Способность удивляться у Аракеяна давно атрофировалась, он сверился с книгами, узнал, смиренно попросил проведать у князя: говяжьи мысли, бараньи либо же свиные. Настасья-вестовая мигом слетала в деревню, разузнала, вернулась, отрапортовала натуральным голосом князя: «Свинячьи воняют, говяжьи сам лопай». Стало быть, годились только бараньи мысли.

На деликатном поварском языке мыслями именовались бараньи тестикулы, то бишь яйца. Аракелян это блюдо в жизни стряпал не однажды, когда мысли бывали, и недурно стряпал, надо отметить, хотя вот подлива эта – дело новое и сложное. Так что в целом за княжьи мысли полковник был спокоен, как и за бастурму, на которую шли освобожденные от мыслей ягнята. С ней весь день возился вчера третий сын полковника, Цезарь, умаялся мальчик до полоумия, даже выйти к императорскому столу прислуживать не сможет. Но зато по линии бастурмы порядок. Зарик просто не способен испортить бастурму.

С осетриной более или менее тоже надежно, стерлядь привезли экспортную, едва ли плохую, но ее готовить – прямо перед подачей. Только негр все ходит по кухням, нюхает, нюхает, ни слова не говорит. Впрочем, по крайней мере он же, негр, сам за суп и отвечает. А за дроздов печеных отвечать кто будет? Аракелян не понимал, как со всем успеет управиться – особенно с баклажанами. Аракелян помчался к другой сковороде, холодной, заранее отставленной на подоконник возле телевизора; в нее он час назад плеснул ананасового уксуса, а теперь вспомнил: давно ж вынимать пора!..

– Же т'атан... – промурлыкал Аракелян любимым такт французского шансона, хватая сковородку. Ананасным духом так и шибануло.

– Я не знал, что вы знаете французский, – прозвучал голос за спиной. Ректор обернулся: посреди кухни, по-птичьим наклонив голову к плечу, стоял в смокинге посол-ресторатор Доместико Долметчер.

– Это не французский, – с достоинством парировал Аракелян, – это армянин поет!

Долметчер перебросил голову к другому плечу.

– Армянин? – он с сомнением разглядывал ректора. – Да, армянин... – добавил он с рассеянной интонацией, потому что вспомнил национальность Азнавура, с которым давно не виделся, хотя обедал певец в Сан-Сальварсане только в «Доминике». Для Долметчера Азнавур был посетителем номер два по степени почетности, после президента. Но если Павел заглянет – придется Азнавуру стать посетителем номер три. Первое и второе будут делить император с президентом. А если Спирохет припожалует? Ну нет, уж пусть удовольствуется четвертой ступенью почетности. Азнавур поет неплохо, хотя и фальшивит... Нет, это Аракелян фальшивит. Потому что ему телевизор мешает.

Долметчер опять глянул на баклажаны, потом в окно, на стену и на небо. Он сам заметил, как схож цвет овощей и небес, и тоже мельком подумал: «Очень

по-одесски, баклажаны с помидорами». Интересно, кто заказал к коронационному обеду баклажанную икру? Меню целиком он читать не стал, его интересовали только те блюда, кои подадут в Грановитую палату. Еще его интересовало мнение одного знаменитого старика-кулинара, которого по настоянию посла-ресторатора пригласили за главный стол: Долметчера – слаб человек! – очень интересовало мнение великого старца о его собственной стряпне. Об ухе. Посреди всех московских стадионов уже стояли котлы с готовой императорской ухой, саморазогревающиеся; для развоза на воздушных шарах уху как приготовили в Сальварсане, так и привезли готовую. Для Грановитой палаты Долметчер готовился варить свежую, до десяти утра ему поэтому делать было нечего. Пока что посол бродил по бескрайним боярским поварням, отдавая должное организаторскому таланту ректора, – думалось, что голодных нынче не будет. Долметчер отвернулся от окна, достал из кисета кусочек сухой сливы ткемали и разжевал его. Ему нравился вкус ткемали. Он полагал, что в Сальварсане высоко оценят реконструированные им древние ацтекские и аравакские рецепты с использованием этой восхитительно кислой сливы. Она, впрочем, требовала еще мыслей, мыслей.

Телевизор гремел неизбежным «Прощанием славянки» и мыслям мешал. В нескольких километрах от Кремля он мешал еще больше, работать под эту «Славянку» было совершенно невозможно. Рука Мустафы потянулась и убавила звук, не совсем, но так, чтоб чуть слышно. Литератор-негр немного подождал, куда голова придет в порядок. Потом вздохнул и с налета вдарил по клавишам.

« – Шестьдесят семь килограммов гуталина, – после долгого молчания промолвил дядя Исаак, – и, сколько там, девяносто косячков. Все на правую ногу, на левую не надо.

Майор Сент-Джеймс внутренне охнул. Такой цены Исаак Матвеев не заламывал еще с памятного дела «Браганца», с истории о похищении главного бриллианта португальского королевского дома: тот был по рекомендациям дяди-ассирийца найден, подвергся экспертизе и, как дядя и предупреждал, оказался топазом. Неужели жизнь этого полуцветного миллионера, убитого в Кейптауне во время карнавала, стоила шестьдесят семь килограммов гвоздей и почти сто косячков, что равно одному хоть и липовому, но все же бриллианту португальской короны?

Но дядя Исаак цену и не думал снижать. Он сидел на своем прирожденном месте в будке, обеими волосатыми лапами держа свежую бархотку, коей полировал правый ботинок Сент-Джеймса. Майор заранее слышал скрип зубов интерполового начальства: за гвозди-то деньги дяде полагалось получить немедленно, но микрофон-то из будки проведен прямо на Лубянку, кто ж не знает, что богато инкрустированный кочедык, укрепленный на задней стенке...»

Мустафа засомневался и полез в словарь. Ну, опять, ясное дело, проврался, кочедык – это для лаптей, а откуда на Ярославском вокзале лапти?

Приключения сюрр-сыщика Исаака Матвеева, работающего на Интерпол по лицензии от КГБ, не покидая поста в будке на вокзале, пока еще увлекали самого Мустафу. Законом работы дяди Исаака было то, что область

преступления самому чистильщику с его начальным образованием и ассирийским акцентом непременно оказывалась тем ясней, чем была неизвестней. Чем бредовой был мотив преступления, чем экзотичней страна – тем более наверняка дядя Исаак раскрывал преступление. Из-за небольшого природного дефекта речи, – его, признаться, не имелось на самом деле, но иной раз он бывал выгоден – ни одной фамилии он правильно не выговаривал, однако приметы давал верные: скажем, указывал, что убийца имеет на копчике родинку в виде серпа, либо же шрам от удара молотом. Дальше начиналась работа Интерпола, а КГБ сдирал с этой невинной международной организации миллион зеленых за каждый Исааков килограмм, своего рода комиссионные; Мустафа знал, что о каком-нибудь таком доходе Шелковников как раз мечтает. Мустафа сочинял то ли повесть, то ли роман – он еще не решил, сколько времени будет водить за нос читателя, а заодно издателя, Брауна: сюжет попался богатый. Во время карнавала капских клубов в Кейптауне убит белый миллионер, который, оказывается, был не очень белым, мама у него была цветная, но такой уж светлокожий уродился, что выдавал себя за белого, жил в Оранжезихте, квартале богатых белых, к тому же и миллионером только прикидывался, а был миллиардером – и так далее, в чужих детективах материала про Южную Африку отыскивалось до фига и больше. Ну, а живущий на другой стороне планеты ассириец-чистильщик, понятно, не только не знал всей этой специфики, он вряд ли вообще отличал Южную Африку от Северной. Вот тут-то и должна была проявить себя неповторимая ассирийская интуиция. Вообще-то использование имени и профессии ассирийского чистильщика и сапожника Исаака Абрамовича Матвеева сперва грозило большими неприятностями. Прослышав об этой легендарной личности, он с чего-то решил, что в народе возник такой вот очередной Василий Джанелидзе, полковник, такой вот Петр Кириллович, половой, такой вот Ваня Теркин, солдат, такой вот Чуркин, разбойник, такой вот Василий Иванович, он же Петька – и так далее. Но после выхода первой же книги оказалось, что мышка-рыбка, в койке подсунувшая Мустафе этого дядю Исаака, подложила ему даже не свинью, а такого вот кабанища на полтонны, что лучше тут не думать. Ассириец оказался лицом куда более реальным, чем разбойник Чуркин, куда более историческим, ибо был и живым, и действующим, разве только вот не на Ярославском вокзале трудящимся, а на углу Кудринской и Большой Никитской. И запахло международными осложнениями с Ассирией. А она империя в прошлом и, не ровен час, в будущем.

Шеф как-то уладил: и ему некуда деваться было, и Матвеев выгоды не упустил. Мустафа слышал, что в Москве теперь есть Ассирийский Двор со своим храмом, школой, детским садом и много еще чем. Потребуй патриарх космодром – пришлось бы идти навстречу. Но обошлось дело, как в романах Мустафы – чудесами и финансовым участием.

Ламаджанов знал, что и при новой власти его никуда шеф не отпустит, и будет Евсей Бенц издавать свои регулярные две книги в год, однако Мустафе было все равно. Смена власти означала для него только смену литературного героя. Помнится, после известия о дате коронации он налил себе фужер икарийского

хереса, провозгласил своему отражению в зеркале: «Ильич умер – да здравствует Исаак!» – и... Надо полагать, просто выпил. Что еще сделаешь! Первые два небольшие романа Мустафа загнал под одну обложку: «Дядя Исаак Беспощадный» и «Проклятие дяди Исаака». Третью книгу хотел назвать «Дядя Исаак разбушевался», но потом вспомнил, что пишет не про Фантомаса, книгу переименовал – стало «Гвозди дяди Исаака», – но первый вариант не забыл и решил сочинить что-нибудь под названием «Дядя Исаак против Фантомаса». Раз пошло такое дело – нечего церемониться, в кино потеха выйдет, Жак Морель в синей кожанке и Кичман-заде в майке, с усами и татуировкой на Ярославском. Пусть попробует Фантомас, пусть только на Каланчевку сунется, там как раз татары живут, хоть и не икарийские. А пока что нужно эту дописать, про шестьдесят семь килограммов гвоздей. Цифру эту Мустафа вовсе не с потолка взял, хотя смотрел на него часто и подолгу. Шестьдесят семь килограммов весил нынче с утра он сам, Мустафа Шакирович Ламаджанов: проснулся и сразу взвесился. Интересно, а сколько нынче на самом деле стоит килограмм настоящих сапожных айсорских гвоздей? Власть теперь другая, цену не Моссовет назначает. Объявим от балды какие-нибудь двенадцать долларов за килограмм. Это, кажется, по нынешнему курсу – меньше империаля, перчик давно уже дороже десятки баксов. Однако дядя Исаак никогда не запрашивает лишнего. Кстати, отчего это империяль, то бишь пятнадцатирублевую монету, называют нынче «перчик»? Ах да, «имперчик». Интересно, пишет кто-нибудь сейчас роман про нынешнее время? Так чтобы все, как есть, про нового царя? Вряд ли. Но если кто пишет – тот сам это все и придумал. Больше никто в этой каше не разберется. Так что лучше уж сочинять про дядю Исаака.

Об Ильиче Мустафа не жалел. Ильича отменил шеф: неудобно как-то ворошить наконец-то втихую похороненного в родовом Кокушкине дворянина. Об этом никто пока не знал, мавзолей числился на профилактическом ремонте. Шеф отменил прежнего героя, впрочем, по другой причине: последний, ламанчский роман режиссер еле-еле согласился ставить, бурчал, что очень дорого стоит Ленин на роль Дон-Кихота. Браун готов издавать и дальше, но без кино для шефа получалось невыгодно, вот и пустил он Ильича на мыло. Деньги еще сильнее растолстевшему шефу требовались куда более солидные, чем прежде. Нет, совсем не на мундиры, по мундиру на каждое звание у него уже есть, а дико сказать, на выплату карточных долгов. Не своих. Шелковников даже в детстве питал к азартным играм отвращение. И не Павловы это были долги: в прежние годы нынешний царь мог проиграть разве что пятерку в преферанс, а теперь кто с ним играть осмелится?... Тем более не стал бы Шелковников – а уж и подавно Павел – платить ни за советский картёж, ни за продутое «младшей ветвью». Но долги были.

Лично Дмитрий Владимирович привез Мустафе записку императора. «Любезный Георгий, прими к сведению такую мысль Артура Шопенгауэра: есть только один долг, который должен быть непременно уплачен, – долг карточный, называемый долгом чести; остальные долги можно вовсе не платить – рыцарская честь от этого не пострадает». А наш августейший прапрапрапрадедушка изволил наоставлять таковых несколько более той

суммы, которую дозволила бы забывчивость без вреда рыцарской чести. Проверьте, не восстановлен ли этот долг, упаси Господи. Все нужно заплатить, деньги возьмите где-нибудь, но не из казны. Павел».

Не из казны! Для Шелковникова это означало – из собственного канцлерского кармана. Мустафа разобрался, что «восстановленным» долг бывает тогда, когда не возвращен в срок, – и поэтому возникает снова, хоть и отдан. Мустафа вздохнул, посчитал «пра-пра» и обнаружил, что Павел имеет в виду долги Петра Великого. Когда же царь-плотник умудрился наделать долгов, да и кому? Мустафа запросил документы и наутро получил пачку ксерокопий. Отношения у Петра Первого к картам было какое-то неясное. Еще в 1696 году, до всех поездок во всякие Голландии, сделал царь игрокам подарочек: приказал всех обыскивать, кто заподозрен в желании играть, и «у кого карты вынут, бить кнутом». В 1717 году играть на деньги не просто запретил – приравнял это дело к государственному преступлению. Неспроста!.. Мустафа еще копнул и узнал, что в 1693 году, в Архангельске, Петр кому-то действительно продулся и, видимо, долгов не заплатил. Накануне 1717 года их с него, надо думать, потребовали: видимо, потому, что кредитор помер, а долг перешел по наследству. Мустафа засел за машинку и состряпал запрос в Институт изучения величия Петра Великого, – если нет такого института, пусть создадут, – кому там государь продулся, в какую игру и на какую сумму, и сколько это нынче со всеми процентами и коэффициентами.

Институт спешно основали, но ковырялись с запросом целых две недели. Подлинного имени банкомета не установили, но прозвище этого норвежского шкипера по сей день помнили на Соломбале: Пер Длинный. Имелся, увы, ряд свидетельств, что как раз такое прозвище норвежские моряки дали самому Петру Алексеевичу. Но ведь играл же Петр с кем-то, кому-то проиграл? Или он сам с собой в «пьяницу» дулся?

Из Норвегии пришло подтверждение, что наследник капитана с таким прозвищем взорвался вместе с кораблем и все его деньжата ухнули в казну, а нынче попали в фонд Нобелевской премии мира. Немалые бабки задолжал нынешний император, коль скоро своего прадеда признал – можно сказать, удедил. А платить будет как раз Шелковников, раз уж он из армии подал в отставку, чтобы занять статский пост канцлера. И то ведь звучит: генерал-фельдмаршал в отставке, канцлер Георгий Шелковников. За такое звание надо платить. А платить, как следовало из глубокой мысли Шопенгауэра... Вот именно.

Ну, и усадил шеф Мустафу за производство коммерческой прозы. Самое ходовое-коммерческое, что есть на свете, Евсей Бенц писать не мог – он не мог сочинять задушевные дамские романы «за любовь», кто стал бы читать о любви Евсея Бенца? Да и не переплюнул бы Мустафа «Заметенных поземкой». И к тому же очень длинные книги писать вообще невыгодно. Фантастика – товар стабильный, но тогда писать надо сразу по-английски, иначе никто в твой талант не поверит, а Мустафа не умел. Оставался старый добрый детектив. Нужно было лишь придумать сыщика для сериала, и вот здесь Мустафа был как щука в реке. У него буквально выросли крылья, то есть плавники. Он сочинил

дядю Исаака. Впрочем, не столько сочинил, сколько приплел к имени подлинного айсора приключения, которые в одночасье произвели на Западе фурор, и знаменитый киноактер Айзек Мэтьюз мгновенно получил «Оскара». Вот и все перемены в жизни Мустафы. Выходить из дома шеф так и не разрешил. Да и не хотелось никуда, очень уютно в доме, за пишущей машинкой.

Мустафа от машинки оторвался, несмотря на очень ранний утренний час, пошлепал на кухню: съесть принудительный коронационный завтрак. Сегодня еще дважды полагалось хлебать уху, привезенную накануне; Мустафа попробовал ее тогда же. Ничего, хорошая уха, особенно если под коньяк. Однако пока что нельзя, хотя бы до одиннадцати нужно лудить дядю Исаака. Мустафа принципиально не желал перебираться за компьютер, года его не те, облучение, вообще вся электроника гнусность, даже телевизор, который хоть и тихонько со своей славянкой прощается, но сколько ж тянуть с этим делом можно. То ли дело, когда стучишь по клавишам, русское слово собственной рукой чувствуешь. Любил, любил Мустафа свой природный второй родной русский язык, плевать он хотел на древнюю татарскую книжную премудрость, он и без ее уловок скормил самиздату и мировому кинозрителю семь романов и две детских повести об Ильиче. Но с Ильичом покончено. Во всех смыслах. Книги Бенца в букинистических теперь меньше чем по три империи не водятся, а Ильича настоящего, сколько хотел, получил музей в Кокушкине и больше не принимает.

Надо писать, притом хорошо писать, иначе вся жизнь неизвестно зачем прожита. Пусть ставит шеф под этими творениями хоть свою фамилию, хоть псевдоним, хоть вообще яйцом это дело подпишет, пусть гребет за это Нобелевские премии каждый год, но именно он, Мустафа, будет писать, будет творить свое абсолютное добро: писать о плохом – плохое, но хорошо писать. Вдруг да что интересное будет. Ходынка, или там какое-нибудь торжественное покушение, словом, все, что для сюжетной пользы дела пригодится. Мустафа прошаркал к телевизору и хотел переключить программу. Но тут оркестр скоропостижно допрощался со своей славянкой, экран на мгновение стал синим, а потом возникла надпись: художественный фильм. В ту же минуту фильм пошел, и Мустафа рухнул в кресло. В титрах ясно значилось, что сейчас покажут американскую комедию «Ильич в Ламанче», в главной роли Амур Жиофф, режиссер тот же, что и всегда, по одноименному роману Е. Бенца...

А сизое небо вовсе еще не светлело, потому как второй четверг ноября темен в Москве даже тогда, когда уже давно в метро пускают. Но утро неутолимо заявляло свои права на весь простор столицы всеобщей родины, столицы Российской Советской Социалистической Империи. Еще не застыли в синий камень, но уже выстроились вдоль всего Петербургского шоссе и Тверской улицы многоверстные шеренги имперской гвардии, десятки тысяч бравых парней истинно славянского вида и образа мыслей. Закончили доить коров бабы центростолничного села Зарядье-Благодатское и пошли ставить тесто на грядущие пироги в честь праздника, тем более что сношарь-батюшка обедать будет не дома, а в Кремле, так вернется-то, поди, не накушавшись? Бабам сейчас было определено не до сизых небес. С тех небес где-то над северной

окраиной города рискнул пойти снег, но убоился благостного величия первопрестольной, скоренько убрался назад, в облака. Да и те мало-помалу стали разбредаться, боясь, видать, возможных для себя неприятностей в небесах над Кремлем: там толклось неслыханное с начала столетия количество черного и белого духовенства. Представители основных неглавных для России конфессий были допущены в коронационный кортеж, сейчас формировавшийся в районе бывшей Военно-воздушной академии, ныне же вновь Петровского дворца, где среди костюмов и гримеров с вечера восседал осоловевший самодержец. Шутка ли сказать – коронация!

Как же не могли посмотреть на свои календари представители различных духовных конфессий, ведь отныне – и надолго – этот день должен был надолго стать праздничным как день коронации императора всея Руси. Для православных это был день тридцатого октября по Юлианскому календарю, для иудеев это был день пятнадцатого хешвана года пять тысяч семьсот сорок второго от сотворения мира, для мусульман – день йаум аль-хамис четырнадцатого мухаррама года тысяча четыреста второго по Хиджре, для персов – день панджшанбе двадцать первого абана, месяца воды, года тысяча триста шестидесятого, для индусов – день брахаспативар врат, день почитания гуру, святых и сиддхов, двадцать первое месяца карттика, года тысяча девятьсот третьего эры Сака и, что важнее всего, для всех многочисленных российских майя это был день Цолькин четыре эцнаб, или Хааб шестнадцать сак, что, разумеется, точнее. И это был день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы Зиновии, о котором известно, что если на него волки ходят стаями, то это к голоду, мору или войне.

Вот из-за этого последнего, еще ничего не зная о волках, – собираются они в стаи или нет, – конфессии тихо молились, чтобы эта, первая в столетии коронация, была для Москвы последней. Царь-то молодой, не на четыре его года, как у американцев, не на семь лет, как у французов: мы его по древнему православному обычаю коронуем пожизненно! Доколе хватит живота его! А доколе? «Кто наследник?..» – летело по толпе из уст в уста, порождая самые невероятные предположения, тут же превращавшиеся в точно известные факты: у императора, сказывают, есть жена, так что вполне еще может родиться цесаревич, но сын этот будет непременно квелый, хилый, больной, поэтому престолонаследие в аккурат перейдет к старшей дочери. Есть ли у государя дочь – никто не спрашивал, само собой разумелось, что наверняка есть, а если нету, так это ничего еще не значит. «Ну и что?» – вопрошала себя Москва в таких случаях, пожимала плечами и полагала, что ответ этот остроумный и окончательный. А ко всему же ведь и братья, и сестры императора тоже имели какие-то права на престолонаследие; откуда-то все знали, что сестру императора зовут Софья, и многие сожалели, что не успела коронация к тридцатому сентября, то-то был бы двойной повод выпить. Тем более, что на одном едком и странном языке в Бискайском заливе – как сказала радиостанция «Ухо Москвы» – четверг, день коронации, называется «барикау», «день без ужина». Какой тут ужин после такого обжорства за обедом?..

Хватало, впрочем, и не удвоенного повода. Москва была пьяна в дымину с утра



шестого числа, когда всех с работы отпустили и утешили, что праздники переходят на понедельник-вторник, а в среду чтоб все готовились навскидку. Москва – и далеко не одна – была этим очень довольна, ей давно такая лафа не выпадала, Москва с пьяных глаз даже не обращала внимания на то, как заполняют ее улицы и переулки синие, одинаковые, словно мультиплицированные мундиры. Москва была пьяна, перманентно пьяна, и неустанно опохмелялась во славу царя и отечества, хотя цен на водяру никто не снижал, и продавали ее только в диких очередях, но как не постоять, имелся точно проверенный слух, что через три дня ее повысят, поэтому надо сейчас же выпить как можно больше по старой цене. Москва ликовала, по мере умения это делать в непривычное число: не первое, не седьмое, не восьмое. Если быть точным – Москва истово училась ликовать, да так, чтобы умения на тысячу лет хватило.

В местах предполагаемого скопления народа заранее были установлены колоссальные мониторы, чтобы те, кто не остался дома, у родных экранов, могли видеть во всех деталях торжественную коронацию императора Павла Федоровича. Две тысячи продолговатых воздушных шаров, окрашенных в дружественный национальный цвет шаровой молнии, ждали сигнала из Кремлевской Военно-Кулинарной академии, чтобы сняться с якорей и неторопливо поплыть над Москвой, время от времени опускаясь к счастливым толпам, дабы оделить императорской ухой всех тех, кто не доберется до котлов на стадионах. Утро было еще сизым, но Москва – уже синей. Мундиры императорской гвардии, только что сшитые московской фабрикой «Его Императорского Величества Верноподданнейшая Большевичка», блистали на десятках тысяч прапорщиков и корнетов, ибо рядовых в гвардии пока не имелось, можно ли быть рядовым в такой торжественный и незабываемый день!.. Вдоль всей кольцевой автомобильной дороги, у постов новонавербованной ИАИ – Императорской Автоинспекции – рядом с полосатыми шлагбаумами стояли котлы-термосы, подлежащие освобождению от пломб в шесть утра, когда коронационная процессия двинется от Петровского дворца в Кремль; ну, а как все будет происходить – можно посмотреть на размещенном поблизости передвижном мониторе. Телебашня в Москве была старенькая, переставили с Шаболовки, – новую дириозавр унес и выбросил, – но работала спутниковая связь; Москву заставила своими экранами и камерами американская корпорация, за дикие деньги перекупившая у сальварсанского эс-ти-ви право исключительного показа коронации. Кто-то в Сальварсане, заключив сделку, облегченно вздохнул и добавил подарков кузену, направил два десятка грузовых самолетов с мороженой пирайей, чтобы императорской ухой могли насладиться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и в Ревеле, и в Вильне, и в Тифлисе, и в Эривани, и даже в Паульбурге, бывшем Калининграде.

Преступность в Москве за последнюю неделю почти вовсе сошла на нет, ибо все профессиональные уголовники были заранее изолированы и усажены на валдайских просторах за столы с императорской ухой в том варианте, который рецептурно именовался «допель-скоромный», то есть в нее перед подачей на

стол вливали половник водки на миску, блюдо это грешники лопали с утра шестого, поэтому валдайским хлебателям ухи было сейчас ни до коронации, ни до поножовщины, вообще ни до чего. Между их скамей ходили служебно-бродячие и периодически вытаскивали одного-другого падшего элемента из-за стола в сторонку, чтобы тот поспал под навесом. Угоны машин в Москве давно стали невозможны: ни по одной улице нельзя было проехать; стрекотали вертолеты, но их пока что не угоняли. По другим преступлениям сводки не было, поэтому – так считалось официально – этих преступлений нет вовсе. Москва ждала своего царя, Москва расставляла бутылки и сажала в духовки свои пироги с пирайевой, пайковой вязигой. И по всей Москве мерцали телеэкраны, на которых гениальный Амур Жираф что-то орал с лопасти кастильской мельницы, прилаженной к бронекарете, а бедный Феликс, чернокожий Дэнни де Вито, пытался поймать его брыкающуюся штанину. Часы, личные Его Императорского Величества куранты, пробили на Спасской башне шесть раз.

И не как-нибудь, а именно по их повелению, когда прозвучали первые три такта временного гимна, в Москве настало утро, – хотя светлей от этого не стало, но коронация началась. Император, маленький и прямой, сошел со ступеней дворца и шагнул в открытый ЗИП. В такие же ЗИПы сели: Антонина в сопровождении свиты старух, канцлер Шелковников в сопровождении тоже очень толстого Половецкого, маргинальная жена императора Екатерина, а с нею Джеймс, и еще немногие счастливицы. ЗИП царя был дивной чагравой, то бишь темно-пепельной масти, прочие машины были караковые, каурые, гнедые, чалые, мухортые и чубарые, но уж никак не чагравые, эту масть решено было закрепить за царем, раз уж белый цвет лошадей – одна подделка, ибо под белой шерстью у таких жеребцов-кобылок кроется черная кожа. Впрочем, тем, кому ЗИП был не по чину, садиться пришлось на настоящих лошадей без особого внимания к масти, лишь для представителей верноподданных сект подобрали что-то такое в яблоках. Рязанский конный завод и без того встал на уши, чтобы доставить в Москву нужное количество смирных кобыл: лошадь не ЗИП, ее не только перекрашивать вредно, ее даже переименовать трудно.

В сторонке от кортежа, во главе которого восседал на могучем тяжеловозе московский обер-полицмейстер, генерал-полковник Алтуфьев-Деревлев, стоял Сухоплещенко. Сегодня был последний его армейский день, уходил бывший слуга двух господ в статские, меняя свой два дня тому назад полученный чин бригадира на звание статского советника: без повышения, конечно, но не в чинах счастье, а счастье все-таки в деньгах, конечно, если деньги очень большие. Сухоплещенко уже оформил на свое подставное лицо останкинский молочный комбинат, но какое ж это имущество? Вот пройдет коронация как надо – тогда и прикинут кошель-другой с императорского плеча, тогда и развернется он, Д. В. Сухоплещенко, во всю свою денежную силу, и хлынут на все прилавки потоки нового продукта «масло сливочное птичье».

«Четвертыми, – бормотал бригадир почти одними губами, – сотня лейб-гвардии почетных казаков... Потом депутаты азиатских, это муллы, они на осликах, хорошо, что про попоны вспомнил. Выехали уже. Буддийская советская община

как раз трогается, потом – секты». За этих бригадир побаивался, вдруг кто лишнее вздохнет, засопит, а то и нагадит? Но по нынешней погоде, по тому черному киселю, который растекался вдоль асфальта, никто не разглядит даже и навоз. Только вот запах... Ну, это уж неизбежно, кобыл терпеть не заставишь. Император еще удивился – почему одни кобылы. Зеленый он, царь Павел, не знает, куда жеребец рванет, если кобылу в соку почует. Это только Юрия Долгорукого напротив покойного Моссовета долбороб-скульптор на жеребца усадил. Сухоплещенко даже предлагал этот памятник снять, но напоролся на неумолимо развивающуюся в императоре бережливость, уже сейчас граничащую со скупостью. Павел просто приказал, и Юрия, и буревестника без гагары, и поэта, того, что по старым водопроводам специализировался, задрапировать, – ну, а Пушкина просто отставить на его историческое место. Сухоплещенко их задрапировал и переставил, но с тревогой думал насчет Дзержинского, Маркса и прочих неудобных, заистуканенных прежней властью. Их полагалось бережно отвезти на Его Императорского всякого там хозяйства выставку и расставить возле памятника Мичурину, так оно по чину будет. На это времени не хватило; всех, конечно, задрапировали, накрыли то есть. Но было беспокойно.

Проехал Брянский обком, потом иудеи. Где-то между ними была депутация родовитого дворянства, но ее бригадир не разглядел, да и Бог с ними – эти сами знают, когда возникать, когда прятаться. Затем – шестьдесят вооруженных, в бронежилетах на куньем меху лакеев. Проехали очень лихо. Напротив, Его Императорского Величества палестинские арапы подкачали, с ночи нарезались, на кобылах еле держатся. Гнать их всех на историческую родину! Потом, неустанно наявивая на влагоустойчивых инструментах, проехал на чалых лошадах ансамбль скрипачей Его Императорского Величества Большого Театра, а следом, почти наступая скрипачам на копыта, двинулся Его Императорского Величества хор имени Пятницкого, поющий что-то неслышимое за топотом и лязгом.

Номером двадцатым в процессии значился верховный церемониймейстер с жезлом, то есть сам Сухоплещенко. Но куда ж ему было с этим самым жезлом соваться, не отследив весь порядок? Его место пустовало, на почтительном расстоянии за девятнадцатыми, за парой двухметровых зам. верховных церемониймейстеров с большими дубинками, ехали двадцать первые: камер-юнкеры, две дюжины в ряд. А следом – очень важные лица. Двадцать вторыми ехали члены Политбюро КПРИ, а следом секретари ЦК. Невзирая на все слезы, Павел заставил их рассестся по кобылам, под угрозой строгача с занесением и отправки на пенсию; только и разрешил, чтобы при каждом шло два лакея: один лошадь ведет, другой члена придерживает, не ровен час, падет глава партии рожей в навоз, вон сколько лошадей, верблюдов и павлинов впереди. Ничего, пока что никто не шлепнулся. Но не верил Сухоплещенко, что так вот все бюро до Успенского собора благополучно и доедет, дай-то Бог, половина останется на дистанции. Прочие сами виноваты, что так рано родились, не смогли встретить утро коронации в расцвете сил.

Да хрен с ними. И с дипкорпусом тоже хрен, сами знают, когда и в каком месте

ехать, и кто у них дуайен, старый дурак из Народно-Демократической, как ее, забыл название, пусть сам вспоминает. Потом опять лакеи, а вот номер тридцать второй – это важно поглядеть. Сухоплещенко вытянул шею и увидел, как двинулся в путь мухортый ЗИП с застывшим на переднем сиденье канцлером, над которым, точно сзади пристроившись, держал огромный зонтик Милада Половецкий. А дальше – опять лакеи в синем, с семиствольными «толстопятовыми» наперевес. Заряды – боевые. Не боится император своей гвардии. Лакей – он только тогда настоящий лакей, когда он лакей верный и хозяин ему доверяет. И царь доверяет. К примеру – ему, Сухоплещенко. И нет ничего зазорного в том, чтобы служить лакеем великому человеку.

Следом – кавалергарды, эти быстро, потому что элита. А дальше верблюдогвардейцы. Эскадрон двугорбых верблюдов – да видала ли такое старушка-Москва? Если не видала, то теперь увидела, если не лично, то по телевизору. Ах, как хороши эти синие с золотом погоны! Какие кивера! Ментики! Шпоры! Подперсыя! Мундштуки! Мартингалы! Прочая упряжь, всякая униформа, которую по названиям разве что портные и шорники помнят!.. Верблюды ушли быстро. И тогда неторопливо, как приличествует масштабам империи и торжественности происходящего, стартовал от Петровского дворца чагравый ЗИП с государем. Зрелище, конечно, далеко до верблюда. Однако же царь!!!

Позади царя на удивительно спокойном жеребце ехал человек, почти никому не известно откуда взявшийся. Это был Авдей Васильев, а жеребец Воробышек, чалый, шел нехотя, и лишь одно его утешало, то, что в поводу Авдей вел его давнего приятеля, белого жеребца Гобоя. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: захочет царь из ЗИПа на белого коня – вот он, конь. Но Сухоплещенко знал, что Павел себе не враг и на лошадь не полезет. Тем более на жеребца. За то, что он полезет на коня, не поставил бы Сухоплещенко даже ломаной золотой копейки. Со вчерашнего дня все копейки в империи имели хождение только золотом. То есть золотой двухкопеечник. Были в России когда-нибудь золотые копейки? Вот пускай теперь нумизматы и стонут.

Потом еще кое-что проехало, а потом – ЗИП с Тонькой и старухами. По рангу Тонька числилась обер-шенком, но вряд ли об этом знала. На заднем сидении притулились две старухи, насчет которых в народе сразу возникла легенда, что, мол, это великие княжны от прошлого раза. Княжны так княжны. Сухоплещенко интересовали номера сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий. Важные позиции. Главная из них – ЗИП с крытым верхом, потому что их высочество князь Никита Алексеевич решительно не желал простудиться, утверждал, что у него вечером еще срочная работа, а все Зарядье-Благодатское, как одна баба, стояло на его стороне. Пришлось уступить, хотя даже Павел на закрытый ЗИП согласие дал нехотя: не по-русски как-то, не по-православному, чтобы в такой праздник да в закрытом ЗИПе. С князем ехала небольшая женская охрана, ну, и фланкировали его машину тоже еще два десятка баб на лошадях. Баб этих было много больше, чем требовалось для охраны сношаря, поэтому они, чтобы как-то отработать свое участие в коронации, стерегли заодно еще и каурый ЗИП, стыдливо приткнувшийся в

процессии номером следующим. Там подремывал на подушках великий князь Ромео Игоревич, уложив голову на лохматые и липкие от плеснутого в них вчера шерри волосы великого князя Гелия Станиславовича; прочие места в машине были плотно заняты отечными скопцами, даже шофер был из их числа. Этот ЗИП спокойствия ради ехал с поднятым верхом, да и стекла в нем, что греха таить, были тонированные, пуленепробиваемые. Голубые. Народ тут же пустил на этот счет ехидную шуточку, содержащую, как обычно, чистую правду, но именно поэтому кто ж в нее поверит? На это Сухоплещенко и рассчитывал, он знал, что иезуитский закон Лойолы – «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется» – сущее вранье, ибо если говорить правду – только тогда уж точно ничего не останется.

В следующем ЗИПе, открытом, торчали двое великих князей: один был тощий, очень молодой, это появился на людях впервые незаконный сынок царя Иоанн Павлович. За ним ехал еще более тощий, хотя не такой молодой, великий князь Георгий Никитович Романов-Гренландский, – а между ними притулилась уже очень опохмеленная гражданская жена Георгия, урожденная Безвредных Дарья Витольдовна, почти уже Романова. Еще две бабы торчали на средних сидениях, личности их были пока что секретны. На переднем сидении восседал ражий охранник с «толстопятовым» наперевес; не поймешь, баба, мужик, скопец, – словом, эдакая куча голливудского мяса с семью стволами.

В следующем ряду ехал ЗИП с остервеневшим от злости по поводу неудачно подsunутого титула ханом Бахчисарайским, компанию коему составлял неутешно рыдающий граф Свиблов. Сюда же хан забрал и четных внуков, нечетные были сейчас не в его ведении: старший женился, третий без задних ног отсыпался в Кремле, в личных покоях посмертно разжалованного и столь же посмертно высланного в родовое Кокушкино вождя. Цезарь уже носил погоны младшего лейтенанта КС и получил эту квартиркуво временное пользование просто для близости к месту жарения бастурмы, по которой готовился защитить диссертацию, – и не ведал, что за много-много лет был первым человеком, официально, пусть и временно, прописанным в Кремле! Ну, следом за ханским автомобилем на верблюдах протопал Его Императорского Величества Московский зоопарк: то ли верблюды на коронацию пошли, то ли погонщики на верблюдах поскакали?.. Ну, потом иностранные князья и главы правительств, вооруженные лакеи обоего пола, батальон охотников с противотанковыми ружьями, словом, недурная охрана.

А следом, в неприятном постороннему взору одиночестве, тащилась гнедая машина с маргинальной, то бишь невенчанной и не особо нужной супругой императора – Екатериной Васильевно-Власьевно-Вильгельмовной, в сопровождении безымянного телохранителя-фаворита-друга, а проще – Джеймса. Следом на разных транспортах двигались дружественные гренландцы, сальварсанцы, атапаски с Аляски и прочие дружественные явные яванцы. Потом толпой валили Настасьи; хоть и числились они выборными, но тут были все, кто не суетился в хате при блинах и курниках. Много этих Настасий стало в Москве, ох, много, поговаривали, что уже тайком на рынках появляются, сметану продают, а на них лица восточного вида так и падают, а

они этих лиц сторонятся и правильно делают. За Настасьями ехали теоретические губернаторы, но, увы, чуть не всех пришлось набрать в театре оперетты и на массовках в Мосфильме, Никифоровых с вечера не нашли, мерзавец ректор, мог бы и попроще фамилию подсунуть. Но он теперь лицо – лицо важное, ему выговор не вставишь. За него – долма горой! И, опять-таки, кюфта тоже...

Ну, потом правители лимитрофных предприятий, эскадрон лейб-гвардии Гусарского полка, а потом – гордость армии: Его Императорского Величества личная имени князя Антиоха Кантемира мотострелковая дивизия. Ну, а за ней, за тихо проехавшим Ключом Джереми, алеутом, все еще чукотствующим, хотя и давно разоблаченным, подъехал открытый ЗИП любимой сухоплещенской масти, караковой. Шофер выметнулся и отдал честь. Его место занял сам бригадир – и весь кортеж сформировался. И тронулся. В честь такого события на дальних заставах ухнули прямо в небо парадные «римские свечи», намекая, что Третий Рим своего звания и теперь никому не уступит.

По Третьему Риму невозможно было проехать уж совсем, он был запружен синими мундирами, трехцветными бэтээрами и ликующими толпами, всюду хлебающими императорскую уху; поговаривали, впрочем, что наша стерлядь куда как наваристей будет и круче, но толпа всегда толпа, схлебают что дадут. Однако ж пробежать по Москве было все-таки можно, особенно если быть росточку небольшого, а передвигаться на четырех лапах. Можно и на двух, но это уж только с помощью колдовства и шаманства. Именно так двигался сейчас от Кузнецкого Моста к Петровским воротам молодой человек с окладистой бородой, держа в обеих руках хозяйственную сумку. Из сумки торчал голенищем вверх огромный валенок, эдак шестидесятого размера, черный, и парный валенок был на него голенищем вниз надет. Человек с трудом удерживал эту конструкцию в руках, она норовила качнуться, вырваться – проявляла все черты живого существа, но человек ее из рук все-таки не выпускал и успешно шел по Петровке. На человеке тоже были валенки, притом неподшитые, но сразу было видно, что они не промокают, несмотря на всю московскую грязно-снежную раскислость. Человек шел от центра прочь, коронацией нимало не интересуясь; в жизни его звали обычно – Никита Глюк. Возле парадно реконструированного Петровского пассажа он ненароком наступил на что-то, пробормотал какую-то фразу и пошел дальше.

Следивший за ним из-за оголенных осенним ветром кустов рыжий пес с мордой лайки и телом овчарки даже присел, когда это увидел. Да, понятно, кто-то съел продающееся рядом в длинной очереди турецкое мясное лакомство «шаурма», да с пьяных глаз обронил лепешку, но колдун с занятыми руками хлеб мог бы и не топтать, хлеб мог бы и обойти-то. Лепешка совсем не поганая, свежая она, мясным духом пропитанная, бараньим. Пес уронил слюну, обнажил желтые клыки – резцы он по старости давно утратил – и рванул к лепешке, чтоб никакой кавалер своим валенком нашу родную русскую лепешку не топтал, чтоб не пропадало наше кровное, русское, хоть из канадской пшеницы, хоть в соку турецкого барана, но!.. Одним глотком эс-бе отправил хлеб к себе в желудок и вернулся в закустовье, к дальнейшему несению бродячей службы. Но

через кусты прodrаться не смог, отчего-то передние лапы запутались в ветках. Володя зарычал, но вместо собачьего рыка издал лишь какое-то рассерженное птичье щелканье с намеком на рык. Володя глянул на свои непослушные лапы и обомлел. Они стремительно, словно небо над Средиземным морем на рассвете в ясный день, покрывались лазурью. И шерсть удлинялась на них, и не шерсть это уже вовсе была, а перья. И рычать Володя пытался не пастью, а изогнутым клювом. Володя с возмущением рванулся из кустов, обломав в прыжке ветки, – но из прыжка так и не вышел. Ибо повис в воздухе, загребая его огромными синими крыльями, отчего взлетал все выше и выше. Молодой, могучий самец-попугай, всемирно известный орнитологам гиацинтовый ара, взмыл с Петровки, и сейчас птичьими глазами взирал на крышу Центрального банка. Сколько раз Володя бегал вокруг этой твердыни советского портмоне, а вот видел ее сверху впервые. С высоты попугайного полета.

Старый-старый пес, уже отметивший свой шестнадцатый день рождения, по меркам попугаев, живущих дольше человека, был не только не стар, он был юн и даже девствен, ибо сроду не общался ни с одной самкой своего попугайного племени. Володя с трудом соображал, что произошло, потому что и собачий радикулит, и беззубость, и слабеющий нюх – все это покинуло его вместе с личиной собаки. Впрочем, попугаю было холодно, он бессознательно стремился согреться движением, а двигаясь – летел все дальше и дальше к Сретенке, к Спасской, к трем вокзалам, к Яузе, бессознательно избирая привычный маршрут от помойки к помойке, но уже не обращая на них никакого внимания.

Попугай летел невысоко, но плавно, полетом напоминая более всего светлой памяти кондора Гулю, списанного из московского зоопарка вместе с прежним директором. Лефортовская тюрьма, парк в Кузьминках с конями скульптора Клодта на берегу пруда, спальные кварталы – все оставалось где-то внизу, Володя уже и думать забыл, что его место на Петровке, он понимал, что валенок Никиты и турецкая лепешка распечатали в его дряхлом собачьем теле способности оборотня, а значит – жизнь хороша и только начинается, хоть и придется ее, эту новую и прекрасную жизнь, просидеть, то есть пролетать, сидя на диете, не то превратишься сам не узнаешь потом во что.

Как ни странно, с земли Володю почти никто не заметил, разве что гвардеец у ворот тюрьмы, зевая от бессонного дежурства, набожно перекрестил рот и глянул на небо, там увидел синюю птицу цвета собственного мундира, сравнил их окраску, то есть перевел глаза с птицы на свой же рукав, а когда снова глянул на небо – там ничего не было, там было лишь серо-сизое ноябрьское небо, заложненное плотными, хотя и высокими облаками. Гвардеец тряхнул головой, наваждение пропало, а точнее – сам гвардеец пропал, истаял наваждением со страниц этой книги и российской истории, исчез из того великого дня, когда кортеж его императорского величества, двигаясь в направлении московского Кремля, достиг Тверской заставы, где со всеми подобающими почестями был встречен московским генерал-губернатором, светлейшим князем Егором Ливериевичем Дорогомиловским, коего сопровождали офицеры и адъютанты. Конские и верблюжьи копыта, сверкающие бронзой шины караковых, каурых, гнедых, чалых, мухортых, чубарых ЗИПов, не считая дивного императорского,

того, что был чагравой масти, – все они продолжали неукротимое движение к центру первопрестольной столицы, и в районе Старых Триумфальных ворот, близ наспех задрапированного памятника водопроводному поэту, были столь же торжественно встречены московским городским головой светлейшим князем Устином Кузьмичом Бибиревым-Ясеньевым, а также гласными Государственной Думы, членами управы, секретарями райкомов, представителями купеческой, мещанской и ремесленной управ, а также с трудом допущенным сюда Биржевым комитетом во главе с действительным статским советником Гавриилом Назаровичем Бухтеевым, на котором дворянский мундир сидел хуже, чем на корове верблюжье седло, ибо в статском этот еще вчера военный человек показался на людях впервые, для куражу принял три четвертушки и жаждал дополнить их хотя бы еще одной, даст Бог, не последней в такой замечательный праздничный день. Качаясь на послушном мерине, Бухтеев присоединился к хвосту кортежа, голова коего уже находилась в районе спешно восстанавливаемого на бывшей площади Пушкина Страстного монастыря, где ее, голову кортежа, а с ней, разумеется, и императора лично, приветствовал председатель Московской земской управы, его императорского величества почетный олигарх Харлампий Илларионович Крылатский-Отрадный и прочие члены той же управы, которая в кои-то веки нашлась на Моссовет, ныне ликвидированный, посмертно осужденный и расформированный по важным государственным ведомствам. Крылатский-Отрадный с удивлением искоса глянул на Бибирева-Ясенева, про которого точно знал, что еще полгода тому назад тот написал на него, тогда еще тоже отнюдь не князя и не Бибирева, а освобожденного первого секретаря, донос по поводу развращения им и растления комсомольского бюро обоюбого пола. Но потом вспомнил Крылатский-Отрадный, что тогда и у него самого фамилия была другая, и решил зла не таить, хотя бы ради такого светлого праздника. Праздника светлейшего, как данный ему давеча княжеский титул; просто князь государь изволил почти все экспроприировать в личное пользование, как некогда его пятиколенный дедушка, ибо отличие князя светлейшего от просто князя такое же, как отличие государя милостивого от... вот именно. А у дома генерал-губернатора, то бишь покойного Моссовета, уже встречал царя, поставив с пьяных глаз на каравай не солонку, а стопку зеленой тархунной водки, предводитель дворянства Московской губернии князь Иван Иванович Петровско-Разумовский, с отборным племенным той же губернии дворянством. Хвост кортежа еще мотался у Бульварного кольца, а голова втискивалась в Воскресенские ворота, между Городской думой имени В. И. Ленина и личным Его Императорского Величества Историческим музеем ордена Трудового Красного Триколора. Там кортеж тоже встречали, там топтался губернатор московской губернии, которого в спешке забыли возвести в древнее дворянское достоинство, отчего он нынче не знал даже собственной фамилии, он толкся среди чинов губернских административных и судебных учреждений, тоже в спешке и халатности безымянных, хотя уже давно и капитально нетрезвых. Всем им хотелось глянуть на императора, но видели они в основном синие спины гвардейского оцепления, и лишь изредка мелькали поверх них то наглая



верблюжья морда, то ствол лакейской базуки, то ярко раскрывшийся в руках верноподданого курда-езида павлиний хвост. Увы, никакой часовни здесь еще не было, поэтому чин нарушался, Его Величество никуда не мог войти и удовольствовался полученным через борт благословением, которое в надлежащий миг и с должным почтением дал ему совершенно трезвый и невообразимо злой архиепископ Аделийский Архипелагий, коего за иностранное происхождение не допустили в Кремль на таинство миропомазания. Со зла он окропил императора куда более обильно, чем того требовали правила, но в сыром воздухе ноябрьского четверга излишка влаги не заметил никто.

На Красной площади кортеж сделал передышку. Мавзолей снесен не был, его тактично прикрывало панно с нарисованными голубыми, светлей обычного мундира, елочками, зато на Лобном месте, как на исторически-естественной трибуне, стояло возвышение, и на нее были устремлены все допущенные к показу торжества телекамеры. Сюда по чуть заметному мановению канцлера торжественно поднесли на высоко поднятых носилках тестя, то есть его вассальное величество хана Корягина Эдуарда Феликсовича. Он, и никто другой, должен был напутствовать главу империи прежде, чем тот вступит на священную землю Кремля.

Хан, облаченный в жаркую лисью шубу и такую же шапку, слез с носилок и поднялся на Лобное место. Его борода торчком и его мрачные глаза возникли крупным планом на экранах миллиарда телевизоров, а сам хан безмолвно шевелил губами, чем очень смутил глухонемых у себя в родной Латвии, ибо там, и только там, умели прочесть по губам и понять все то, что истинно думал в это мгновение хан. Думал он о своем титуле.

Тут их величество изволили впрямь допустить изрядный ляп. Да, настоящие икарийские ханы в лице Шагин Герая, конечно, отреклись от престола почти двести лет тому назад, но их род не пресекался, Гераи имелись нынче и на Востоке и на Западе и даже просто в Икарии и претендовали не только на Икарийский престол, но и на Константинопольский, ибо по древнему уложению им, и никому другому, в случае исчезновения Османов, как династии во главе Османской империи, переходил трон Порты. Дед Эдуард был вовсе не Гераем, а Корягиным, и менее всего мусульманином. Казань и Бахчисарай представлял он себе не иначе как старинные русские поселения – при чем тут татары?

Розалинда на яйцах, пятеро по жердочкам, внуки тоже расфасованы, тут бы и жить как человеку, так нет же, ввязывайся в монаршие дела с ханским титулом, да еще приветствуй царя от имени всех мусульманских подданных, стоя на Лобном месте. Горящим взором хан напоминал сейчас известного стрельца с известной картины Сурикова, только тот держал в руке зажженную свечу, а Эдуард Феликсович в руке не держал ничего. Все заученные накануне слова вылетели у него из головы. Корягин долго мусолил микрофон, потом прокашлялся и проговорил:

– Мучительно прожитые годы... – мир замер, а хан почуял в своих словах что-то неладное, решил начать с другого места. – О необходимости которых так дол...

– Гоу-га-га-гав-гав! – раздалось из миллиарда телевизоров. В ту же секунду образ суриковского стрельца обрел полноту. На руке хана увесисто восседал мощный лазурный самец, привычный корягинским рукам гиацинтовый ара, отчего-то яростно пытающийся залаять в микрофон. Оставив до времени вопрос, откуда в Москве берутся по осени перелетные попугаи нужной породы, хан в привычном обществе приободрился и закончил в микрофон: – Государь наш батюшка! Государь ты наш Павел Федорович! Все идущие на Русь приветствуют тебя!

Хан, хоть и ляпнул нечто несуразное, приободрился окончательно и пересадил попугая к себе на плечо. Площадь, а с нею вся процессия, вся Москва и все телевизоры земного шара разразились громовым «ура»: государь медленно проехал по Красной площади к Спасским воротам, где уже отвешивал ему почти земной поклон комендант Москвы, его превосходительство генерал-лейтенант Богдан Афанасьевич Гальяно-Выхинский, оставленный временно без княжеского титула; отвешивать поклоны ему было легко, а поднимали его верные офицеры. Государь на коменданта не глянул, лишь поднял очи к курантам, подумал, что все-таки зря утвердили «Прощание славянки» государственным гимном, еще раз о том, как, однако же, Спасская башня похожа на себя, и въехал в Кремль. Ударили колокола Кремля, и не только Кремля, канцлер Шелковников мелко, но так, чтоб подчиненным заметно было, перекрестился, Тонька стиснула зубы, – впрочем, старухи синхронно похлопали ее по плечам, – Катя почувствовала, как Джеймс крепко сжал ее локоть, Дмитрий Сухоплещенко причмокнул от удовольствия.

Время летело неприметно, шел двенадцатый час, уже и перекусить пора бы, но весь церковный чин, Святейший Синод и Политбюро пока стояли на ступеньках главного собора, главные епископы всяких поместных церквей трепетали на ступенях срочно восстановленного Красного Крыльца дожидались выхода венценосца от таинства к трапезе. Застыл там же без выражения на лице верховный маршал коронации, граф Петр Лианозов-Теплостанский, лично оскорбленный и раздробленностью родовых поместий, из-за которой власти у него оказалась едва ли горстка, несмотря на красивую фамилию, и самой фамилией он был тоже оскорблен, потому что от рождения он был Палин из села Палина Паленского уезда. Хлеб-соль ему держать не дозволили: и дождь пойти может, и от алкоголизма сперва вылечись.

В Успенский мало кого пустили, даже телевидения только самую малость. Чин венчания должен был занять часа два, и был он содран определенно из двадцати разных мест. Пользуясь прецедентом венчания на царство первого из Романовых, Михаила Федоровича, когда Патриарха в России не было и царя венчал митрополит Казанский Ефрем, на этот раз царя венчал митрополит Опоньский и китежский Фотий. Царя подвели к алтарю, долго пели. Потом на голову положили тяжеленную корону с таким количеством синих брильянтов, что можно бы на них «Титаник» из океана поднять и плавать на нем. Потом опять пели. Сунули в руки тяжеленные скипетр и державу. На плечи тоже навалили неожиданно тяжелую шубу-порфиру. Вот уж тяжела и шапка и вся эта ноша.

Народ был взволнован: не случится ли во время коронации какой-нибудь вещи приметы, вот, когда Николая Второго Незаконного венчали, то не только Ходынка приключилась, а еще прямо у плащаницы на царе порвалась сапфировая цепь. На Павла тоже надели цепь тяжелых синих камней, и накануне он распорядился, чтобы ее на много ниток особой прочности вздели. И с утра еще проверил. Не должна порваться. Но береженого царя не только Бог бережет, его еще пуще народ любит. Среди кремлевских гвардейцев пробежал шепоток: «Не порвалась?» А от врат собора ответной волной набегал ответный, успокаивающий шепот: «Нет, цела, цела, цела! Даст-то Господь, не порвется!» Митрополит-местоблюститель неторопливо читал молитвы, коленопреклоненные дворяне, олигархи и кинооператоры делали свое дело, а Павел уже давно нестерпимо устал, да к тому же зверски хотел есть. Он помнил, что в три часа начало коронационной трапезы и салюта, даже меню заранее знал наизусть, и сейчас, в духоте ладана и телесофитов, мечтал об одном – не потерять сознания. Хрен с ними, с сапфирами. Но вот уж если царь сам рухнет в алтаре на коронации – все, тогда можно обратным назадом ехать в Свердловск преподавать в школе. Да какое там – еще и на работу обратно не оформят... Или навесят нагрузку, вести кружок по истории Дома Романовых...

– Многая лета!.. – мощным бас-профундо ревел народный артист Империи, на нынешний день временно возведенный в архидиаконы, и хор почти столь же народных отвечал с клироса: – Многая-многая!.. – да так, что в телекамерах лопались объективы, а контр-теноры с противоположного клироса тоже пели женскими голосами. Цепь не рвалась. Бесконечный обряд осыпания золотыми монетами под «Многую лету» вообще, как догадался император, скопировали из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», но там хоть на мягкую шапку все сыпалось, а тут на тяжелую корону в брильянтах, и думалось, что их сейчас повредят по неаккуратности.

Наконец к Павлу пришло второе дыхание: митрополит, поддерживаемый за локотки Шелковниковым и каким-то очень семитским старцем, снял с него корону, и возложил вместо нее легкий и изящный, специально для такого случая отлитый лавровый венец. Миропомазание совершилось. Колокола грянули так, что Павел испугался за перепонки в ушах.

Медленно сошел новый император с соли, опять выдержал долгое осыпание золотыми империалами с собственным профильным портретом, сунул пригоршню в карман – и, по ритуалу, двинулся в крестный ход. Его качало от голода, но был он отныне уже настоящий, совершенно законно коронованный император Всея Руси Павел Второй.

Путь в Грановитую, с заходом на Красное крыльцо, был выстелен трехцветными черно-желто-белыми ковровыми дорожками. Павел с наслаждением вдохнул чистый кремлевский воздух, широко перекрестился на Ивана Великого и куда быстрее, чем того требовал этикет, прошел на Красное Крыльцо. Оттуда полагалось отвесить народу троекратный поясной поклон. Из колоколов не звонил, кажется, только Царь-Колокол. «Надо будет отдать в ремонт, пусть звонит за государево здравие», – подумал Павел, откланялся и поспешил в Грановитую палату, где, как он надеялся, все-таки дадут

императору пожрать. Для начала обязательно горячего супа. Иначе непременно будет простуда.

У входа в Грановитую аккуратной толпой стояли дипломаты, из их рядов вышагнул сухой старик и с поклоном протянул царю большой сверток на подносе. С удивлением признал Павел невинно дрыхнувшего в его, хозяйском присутствии русского спаниеля Митьку, оставленного им в родном Свердловске на Катино попечение. Павел отвернул фланель и слегка погладил пса, видать, накачанного снотворным, чтобы не мешал, с благодарностью пожал дипломату руку – и почти бегом устремился на запах накрытого стола. Алая мантия жутко мешала, и царь с удовольствием скинул ее на спинку трона. Трон был один, место царицы не обозначалось даже наличием второго сидения; на одном конце стола – митрополит, на другом – канцлер, посередке царь, поблизости – другие владыки, среди коих выделялся хан Бахчисарайский с синим попугаем на плече. Вроде бы не по протоколу, но красиво, пусть поклует. И Митьке с тарелки надо будет чего-нибудь сунуть, раз уж он тут, – Павел на время отложил вопрос, откуда Митька появился. Но ведь не ел, поди, Митька стерляди никогда? Павел удивленно понял, что и он сам ее тоже никогда не ел, хотя в последние полгода мог бы ее затребовать хоть среди ночи. Ничего: нынче стерляди на всех хватит. То есть пирایی, но это, кажется, на вкус одно и то же. Среди дипломатов Павел заметил Долметчера, аккуратно поправляющего белые перчатки: нынче посол не гнушался побыть у царя в официантах. За спиной посла маячил персонаж, лицо коего было бледно почти как долметчеровская перчатка, до такой расцветки нынче дотрудился ректор Аракелян. А рядом с ними стоял человек, Павлу вовсе незнакомый: старикан лет семидесяти, костюмчик фабрики «Большевичка» пятьдесят второго года, перелицованный, а вместо галстука бабочка. «Кто сей?» – спросил царь через плечо у Сухоплещенко. «Сбитнев!» – восхищенно прошептал бригадир, Павел ничего не понял, но переспрашивать не стал. Раз тут – значит, достоин.

Император, пытаясь все-таки не упасть от голода, опустился на трон и дал знак к началу трапезы. На столе мало что стояло из еды, только посуда, солонки-уксусники, Павел подумал, что даже горчицы съел бы сейчас, если б к ней хоть сухарь отыскать. «Ничего себе мысли на коронации!..» – пристыдил Павел сам себя. Главные лица империи и гости постепенно усаживались на отведенные места, депутация же породистого дворянства тихо топталась у дверей. Долметчер беззвучно переместился к государю и встал позади двухметрового отрока-рынды, эти белокафтаные спецгвардейцы с алебардами и золотыми значками импсомола смотрелись очень хорошо, служа и охраной и вроде бы как мебелью в довольно пустой палате. Официанты в древнерусских кафтанах заскользили с кухни, и наконец-то перед Павлом водрузили что-то вроде малой супницы, не то глубокой тарелки с крышкой. Долметчер молниеносно открыл ее, обдав себя и царя рыбным духом, снял пробу – он не то что Ключю тут не доверял, но даже Тоньке, и она с этим мирилась – а затем степенно придвинул уху к царю.

Павел отхлебнул, нашел, что горячо, но отхлебнул еще раз и еще раз. Потом вспомнил, что по этикету должен теперь попросить пить. Протянул руку к

бокалу. В чарку, вырезанную из целого куска горного хрусталя, хлынул древний русский напиток – понятно, шампанское.

– Здоровье его императорского величества, государя нашего батюшки Павла Федоровича! – провозгласил Лианозов-Теплостанский. В тот же миг по всей Москве ухнули пушки, начав первые торжественные тридцать четыре залпа, по числу лет императора. Дворянство по тому же сигналу, откланиваясь, попятилось ко входу, не смея показать государю спину; для них был накрыт стол в Большом Кремлевском, уха там была точно такая же, а закуска хоть и не такая тонкая, зато от пуза. Павел выпил шампанеи и вернулся к ухе. Канцлер во втором приглашении нуждался меньше всех, а в таком случае прочим сам Бог велел: митрополит благословил, элита принялась рубать уху под шампань. А пушки гремели.

Поскольку ни завалы вдовствующей королевы-матери, ни императрицы-жены у государя не имелось, второй тост был абстрактный: за здоровье августейшего семейства; третий тост был еще более неопределенный: за славную нашу коммунистическую партию. Долметчер от трона удалился; вместе с ухой кончались его официальные функции; прочими блюдами русской национальной кухни покормят царя соотечественники. Теперь чисто профессионально уроженца Доминики интересовал другой человек, примостившийся на дальнем, митрополичьем конце стола, – старик с бородой лопатой, настороженно катающий порцию ухи от щеки к щеке: он дегустировал.

– Вильгельм Ерофеич, – с отменным вежеством обратился дипломат-ресторатор к знаменитому старику, – позвольте мне выразить восхищение вашим творчеством. Заверяю вас, что во всех моих «Доминиках» немалая часть блюд, особо любимых господином президентом, стряпается с эксклюзивным использованием вашей рецептуры.

Старик сглотнул уху и поднял глаза.

– Тех же щей да пожиже лей... – пробормотал старик, игнорируя шампанское. – Ну, а чем твой супец закусывать?

Креол извлек – из рукава, что ли? – пару заранее свернутых, горячих тортильяс и подал старцу на салфетке. Тот надкусил.

– Расстегай застегнутый, значит... Мясо тут зачем, когда уже рыба есть? Это ж не караси с бараниной, иль я чего не знаю?... русский карась не рыба, если не знаешь, пирожок это...

– Наша национальная сальварсанская кухня гордится сочетаниями рыбы с мясом! Впрочем, тут филе путанского армадильо, к императорскому столу я их не предложил. Все-таки блюдо очень нерусское. – Мнение старца определенно весьма волновало креола.

– Вообще-то, – старик дожевал, – сюда еще рюмку водки, огурец, и очень даже можешь подать царю. Если б у меня, милоч, такой повар имелся, как ты, я бы не сидел в двух комнатах в Подольске без телефона и с остолопом-сыном на голове. – Сбитнев откинулся, ожидая заказа. Креол налил ему водки, стал искать огурец. Наконец, напротив светлейшего князя Воробьевогорского-Ленинодачного нашел банку корнишонов и с поклоном подал.

Глаза старика расширились от ужаса.

– Нет, нет, это невозможно... Их же умучили в уксусе, их же погубили, все из них вытянули... Ну, все испорчено... – запричитал почетный гость. Креол сверкнул глазами на ректора, тот через мгновение подал на золотом блюде крупный, вялый огурец, – другого не нашел, и ждал, что сейчас голова его полетит в далекие края. Но старик огурцом не побрезговал, только отметил – нежинский! – выпил водку из венецианского бокала семнадцатого века и закусил. Потом откинулся в кресле и полуприкрыл глаза. Долметчер понял, что аудиенция у кулинарного князя окончена, поклонился и скользнул к другому концу стола, где чавкал ухой великий князь-сношарь Никита Алексеевич, нимало не смущаемый тем, что над ним порхает слетевший с расположенного поблизости ханского плеча синий попугай и нагло таскает куски рыбы прямо из его тарелки, как-то взлаивая при взлетах к потолку, где им совершался процесс глотания.

Пушки бухали уже вторую порцию залпов, тридцать два, великому князю шепнули, что это сейчас за его деревню бухают и пьют. Князь дохлебал уху и увидел перед собой дивный пирог-курник, отборная Настасья уже лила в его личную, из дома принесенную братину деревенское пиво. Долметчер, одобренный сношарем раз и навсегда, в похвалах своей ухе тут не нуждался, но он отлично знал, что поклон отцу сальварсанского президента полагается отвесить. Против ожидания, сношарь его заметил, кивнул в положительном смысле и стал шарить под столом. Вынул оттуда четвертную бутылку черешневой, а дивной полнотелости Настасья подставила граненый стакан.

– Закусить не забудь! – отрывисто бросил сношарь, берясь за курник. За пушками он не поспевал, да и вообще о них не думал. О них с ужасом думал маршал коронации Петр Лианозов-Теплостанский, он открывал и закрывал рот, но и только: отменить третий залп он не мог, убрать вторую перемену со стола – тоже, синхронность трапезы шла коту под хвост. Вообще все было как-то несолидно, – ну что стоило, в частности, заказать к коронации специальный сервис? А то натаскали что поизящней из Кускова, из Эрмитажа, из Гусь-Хрустального и поставили на стол. А, ладно, кажется, никто не жалуется.

Но генсек-канцлер все-таки был недоволен, и коронация, и обед со всех сторон его устраивали – кроме одной. Он сидел перед пустой тарелкой и жадно шарил глазами по столу. В поле зрения попадали маленькие голубцы с аджикой – и голубцов как не бывало, каперсы – и они туда же, а когда же, однако, тридцать один залп за родную и любимую, как ее, Советскую Социалистическую Империю? Холодцу бы... Наконец, Шелковников плюнул на приличия и полез в карман за портсигаром. Но при нынешнем напряжении что ему была эта пара бутербродов?..

Дамы вели себя на редкость непринужденно, кроме разве что непомерно военизированных Настасий. Катя пила шампанское, заедая маслятами: и то, и другое подсовывал ей Джеймс, отталкивая официантов. Елена Эдуардовна пригубляла и отведывала, но не более, она берегла фигуру, а еще зорко следила, чтобы ни единый кусок не попал к Павлу иначе как из рук весьма близко посаженной к нему Антонины, – Елена ей верила, а к тому же знала, что та по своему интересному положению нынче не напьется. «А это еще кто?» –

спросила себя баронесса Учкудукская – будь оно неладно, это звание, но уж с ним как-нибудь потом разберемся, – рассмотрев близ митрополита некое дружное семейство. Она не верила глазам: там совершенно безнаказанно жевал шашлык лично изменник Витольд – государь дружественной Народно-демократической Гренландии, потому и присутствует на трапезе в честь коронации. Верноподданное дворянство рубало халяву под двадцать девять залпов за собственное здоровье, рубал ее и Витольд и гордился, что стерлядей дрессированных к нынешнему столу из своих садков поставил он, и подарок был принят, и все семейство усажено на весьма почетные места: все четыре дочери-алкоголички, и мужья их, даже Дарьин задохлик, которому дозволили привезти с собой из Пуэрто-Рико и сестрицу свою, приволокшую с собой цельную копченую свинью, требовавшую, чтобы этот деликатес целиком предложили императору, чего, впрочем, не допустил армянин-повар, – и матушку, гримзу еще поискать такую вторую. Вот одна только эта матушка отчего-то за столом не пила и не ела, явно нарушая этикет.

Елена волновалась не зря. Едва лишь начались двадцать семь за доблестное российское воинство под разварного барашка, – в теории, конечно, потому что никто за столом уже не знал, что ест его сосед, – Дарьина свекровь поднялась со своего места, хлопнула бокал шампанеи, видимо, для бодрости, да и для того, чтобы сухости во рту не было при разговоре, и двинулась в направлении великого князя и его избранных Настасий.

В это же время там разворачивалось своеобразное действо. Сложившись пополам, ректор Военно-Кулинарной академии снял с сервировочного столика и водрузил перед сношарем порционный заказ – мысли с подливой. Князь придиричиво поглядел на кучу мыслей, на аппетитную корочку и на дымящуюся подливу, выбрал одну мысль и разжевал.

Женщина меж тем спокойно миновала царя, тот был огорожен рындами, а за прочих охрана не отвечала. Один лишь лазурный попугай беспокойно завис над женщиной, готовый в любое время поступить с ней по-пушкински. Но женщина через кордон Настасий ломиться не стала, она просто окликнула князя:

– Лукаш, а Лукаш? Лукаш?..

Мысль застряла у князя в горле. Этот голос он узнал бы даже и еще через сто лет. Он понял, что зря нарушил правило есть только свое, деревенское, зарядскоблагодатное, зря выбрал не придвинутую к нему стопку блинов, а острую и весьма скоромную мысль: до добра эта мысль его, конечно, не довела. Обычный его бледно-голубой, мутный и ласковый взгляд стал наполняться ужасом. Настасьи оцетинились семистволками. Сношарь отвел рукой ближайшую пушку и привстал.

– Тина!.. – выдохнул он, падая в кресло.

Перед ним стояла родная мать Георгия и Ярослава Романовых, а следовательно, – законная жена сношаря, великая княгиня Устинья Романова. Настасьи были готовы расстрелять эту чужую бабу на месте – за попытку покушения на их кровное добро, на сношаря Луку Пантелеича, но тот сделал слабый знак рукой: мол, отставить, все путем. Женщина не двигалась, а князь, помедлив, совершил нечто, никем не виданное доселе: взял четвертную бутылку черешневой да и

присосался к горлышку. Испив не менее пивной кружки, просветлел взором и вновь глянул на жену.

– Ну, Тина, судьба, стало быть... Настя, подвинься, пусть княгинюшка сядет... Садись, Тин, сказывай, кто Георгий, кто Ярослав.

Княгиня дождалась, что от гренландского семейства ей переставили кресло, степенно опустилась в него и наконец-то соизволила переменить выражение своего кикиморного лица на более благостное. Она взяла с тарелки мужа блин, обмакнула в сметану и конвертиком опустила его к себе в широкую, по-американски зубастую пасть. Настасьи посмурнели, но им своего мнения не полагалось. Между супругами пошел какой-то разговор, не слышимый даже тем, кто был поблизости, ибо артиллерия сейчас грохотала на полную катушку, двадцатью пятью громовыми раскатами под антреме, прославляя все сущее на Руси свободное и добровольное надворно-крепостное землепашество.

Павел заметно надрался. Пил он то шампанское, то «Белый аист», то сношареву черешневую, то «Ай-Даниль», то бастр, то мальвазию, то личного сбитневского настаивания виноградную граппу, то еще один Господь знает что.

Собеседником его стал тот единственный гость, которого он нашел рядом: это был великий князь Ромео Игоревич, неизвестно почему получивший место ошую царя. Князь был один, без супруги, нарезавшейся до положения риз еще когда царь был в Успенском, – Гелия тогда же увели и уложили поспать где-то в заднекремлевских покоях. Ромео своим подчеркнуто кавказским видом навел царя на размышления по прежней профессии – по истории.

– Урарту... – говорил Павел заплетающимся языком, откусывая ломтик оленьей печени, пошедшей под двадцать два бабаха за подвластные разнообразные верноподданнейшие меньшинства. – Распрекрасная была страна, надо бы ее снова собрать и привести под наш скипетр. Язык, ничего, выучу, я уже много выучил...

Ромео деликатно кивал и чокался с царем: ему чарку шампанского было еще пить и пить – жена окончательно довела его до отвращения к пьянству, он с тоской мечтал о разводе, но вспоминал скопцов с зубилами, и мечты исчезали. Молодость его увядала, едва расцветши: изменять жене он боялся, да и любил ее до сих пор. Ромео впадал в меланхолию, но в этом смысле сегодняшнее действо было в самый раз, какое-никакое, а развлечение. Да еще место досталось прямо возле царя, потому что Ивана с матушкой в Грановитую вообще не допустили, и по беглому подсчету среди младших великих князей Ромео мог считаться условно старшим. К тому же придворные герольдмейстеры полагали, что в силу своего армянского происхождения именно этот царевич не очень-то сможет и захочет претендовать на трон.

– Шумер там, Аккад... – бормотал царь, – мне что, я и по-шумерски могу, я и по-аккадски могу...

А за стенами Кремля грохотал заключительный залп в двадцать один бабах: за весь русский народ. Москва давно обожралась и упилась, лишь синие гвардейцы были трезвей трезвого и свежи, как парниковые овощи. Пройти по городу было, как и утром, почти невозможно, хотя сейчас уж никто и не пытался, ухой все наблевались, да и кончалась она на раздаточных пунктах.



Прожекторы чертили премудрые фигуры в сморкающемся, вновь сизеющем небе, и снег пока что чуть-чуть, но все более наглея, сыпался на московские окраины. А за окраинами – так и вовсе начиналась метель. Подмосковье сидело перед телевизорами, где по всем каналам гнали сейчас бесконечный сериал «Федор Кузьмич», снятый в мексиканской тайге. Впрочем, по пятому каналу шел «Элиасэ», голливудско-японская кинокомедия по Евсею Бенцу. Владельцы видеомагнитофонов смотрели кто что мог, но отчего-то никто не смотрел порнуху: воздух, видимо, не располагал. Тянулись почти пустые электрички в оба конца губернии, то бишь из Москвы и в Москву, быстро замерзал лед в канавах раскисшего сердца великой Московии. Недвижно чернели леса под Раменским и Серпуховым, но кое-где, в самых дальних от проезжих путей местах на опушках, хорошо вооруженный и должным образом заколдованный взор мог наблюдать одну и ту же картину.

Среди малой полянки всегда стоял пень, притом непременно слегка тронутый огнем, еловый или сосновый. В пень был воткнут нож, охотничий, непременно ржавый, – эдак внаклон воткнут. Каждые четыре-пять минут из леса выходил волк, серый, с прижатыми ушами, с висющим палкой хвостом, делал короткую разбежку, перекувыркивался в воздухе над пнем через голову, пролетал над ножом и приземлялся на две ноги. Именно на две – потому что теперь это был человек. Высокий ли, низкий ли, чаще обутый в кроссовки, реже в датские полуботинки, одетый в куртку-аляску, иной же раз в теплый плащ на гороховой подкладке. Человек бегло, еще по-волчьи зыркал по сторонам – и уходил прочь. А потом из чащи выходил следующий волк, разбежался, и... вот именно.

Они нигде не шли из лесов толпами, лишь поодиночке и в разных местах, но были их тысячи. Они шли весь вечер и всю ночь, в российских лесах давно должны бы иссякнуть волки, но волки не сякли, они шли и шли, оборачиваясь деловитыми нестарыми парнями, – шли к ближайшей электричке. У большинства топорщились карманы, и кассирши на малых станциях нередко ругались, не находя сдачи с крупной купюры. Никто не ехал зайцем: не по чину, не по званию, не по происхождению. Пришло их время, они вышли дело делать, хватит бегать по лесу, того и гляди в красные флаги упруешься.

Но красных флагов больше не было. Бывшим волкам не нравилось, впрочем, и трехцветное полотнище, но его, хоть и с трудом, они готовы были потерпеть. Побаивались они только московских эс-бе, но тех все же было не очень много. Уж как-нибудь. Не так, так эдак.

В государевых покоях тоже была тишина. Мирно посапывал надравшийся царь. Подремывала охраняющая его покой Тонька. Не спал один лишь престарелый русский спаниель, на всю оставшуюся жизнь отоспавшийся в холодильнике американского посольства и уставший лаять на сомнительного попугая, который за обедом мотался над столом. Пес наконец-то обрел хозяина. И Россия тоже. Формально, во всяком случае.

...Открылось метро.

В первом Риме Папа Римский Павел VII заочно благословил президента Романьоса.

Во втором Риме прозвучал азан, мусульмане занялись намазом, а в тайной

комнате под древним казначейством, на острове Антигони, группа сторонников византийских императоров Ласкарисов начала совещание о русском престоле. В третьем Риме Исаак Абрамович Матвеев произнес «Отче наш» на арамейском языке – и перекрестился.

...В четвертом Риме...

Его не было.

И веки не будет.

А точно не будет?..

А?..

## Павел II Пригоршня власти Часть 5

*Евгений Витковский*

V

Когда добычи становится мало, особенно зимой, волки, словно сознавая всю выгодность кооперативного труда, соединяются в стаи.

Альфред Брэм. Жизнь животных

Роман зиме назначатель. А Роман – это первое декабря по советскому стилю; старый календарь царь-батюшка пока не ввел. Так что жить пока будем, как Роман велит. Пенсий никому не платят, трудодней нету, да вот еще холодога на Романа. И совсем бы плохо, да вот сношарь-батюшка вспомнил про неимущих блюстителей засморозинных далей и всего остального, чего вывезти со знаменитым поездом не смог. Прислал с оказией сотню полушубков, да новых монет, имперялов, на Матренин день, на двадцать второе: помнит, помнит батюшка, по какому дню будущую зиму прознают: если туман на Матрену, то быть холодной зиме, а если снег – сырой весне. И была на Матрену холодога даже хуже, чем нынче на Романа. Полушубки поделили сразу же, по дюжине на душу, все, что сверх того осталось, Николай Юрьевич запер в управе, бывшем сельсовете. Имперялов сношарь-батюшка из личных средств уделил целую тысячу, Николай Юрьевич всем, кто в селе жить остался, по десять штук выдал, а прочие припрятал: не ровен час, опять кто из военных забредет, из тех, что в сентябре удумали в Нижнеблагодатском квартироваться. В октябре их, правда, выгнали, но кто знает, далеко ли. Уж не в танке ли их Николай Юрьевич у себя спрятал, в том, в котором на болото ездит, домашних уток стрелять? Хорошо, если так, а то ведь, может быть, что спрятать-то спрятал – а где, сам потом не вспомнит. Но вообще-то остепенился мужик. С утра два стакана огреет, и до обеда ни-ни, ни капли. В обед, конечно, тоже только два стакана. Ну, за ужином. Да перед сном. И все. Совсем справный мужик стал. А то ведь и «толстопятова» в руках удержать не мог. Теперь вот все на утку с базукой пойти хочет; ему прежний милиционер, тихий человек Леонид Иванович, сказал, что так противотанковое ружье называется. Запропал куда-то Леонид Иванович, приехали за ним из Старой Грешни на газике, увезли – и как не было. Все же хороший человек был, он бы старосте эту самую базуку в наилучшем виде, в

смазанном, непременно представил: он в военной части хоть что хошь укупить мог. А теперь они там все злые, что их в село не пустили, форма у них новая, синяя, на погонах двуглавые орленки.

Перебивая подобными мелочами обычную свою невеселую думу, шла Маша Мохначева к стародевьему дому, где и по сей день жили поповны. Обе старухи были крепки, близняшки года эдак двадцатого. Когда их папаню-попа, непротивленца, раскулачили, то девчушек не тронули, позабыли: изба у батюшки была хоть и с резными наличниками, да вся насквозь гнилая, тогда уж, так венец обтрухлявел, – а вот поди ж ты, стоит и поныне, переживши и войну, и коллективизацию, и, прости Господи, советскую власть. Так и жили поповны в отцовском доме; кабы не остались старыми девами, так уж давно были бы бабушками. Звали их Марфа Лукинична да Матрена Лукинична, а вот как отца их, попа-непротивленца, звали – того на селе уж давно никто не помнил. В Москву сестры не поехали; вообще-то не слишком их с собою сношарь-батюшка зазывал, не числил, видать, кровными. Но по десять империялов им Николай Юрьевич лично отвез на танке. Взяли поповны и полушубки, и золото. Чай, к Николе зимнему, это через три недели как раз, без них не обойдешься. Вон, Смородина, того гляди, до дна промерзнет. Теплую Угрюм-лужу сношарь-батюшка с собой увез, а в ней, видать, и золотоперого подлещика, и того рака большого, что однажды на Верблюд-горе свистнул. Где ж теперь мелкому пескарю от лютого мороза таиться?

Маша Мохначева три дня в голос ревела, как узнала, что Лука Пантелеевич к подмастерью в Москву наострился. Коронуют того подмастерья, Пашу, русским царем. А уж кто, как не Маша Мохначева, знала на деревне лучше всех, когда и как у Паши сердечко бьется. Решила не ехать никуда. Все мохначевское семейство, напротив, все пятнадцать душ, снялись и поехали. Машу за то, что осталась, обозвали вековухой. Ну и вековуха, ну и вышла у нее младшая сестра замуж, а Маша не вышла – будто не у одного и того же Луки Пантелеича и начальное, и среднее специальное образование получали. Будто маменька не там же науку проходила. Будто бабка Степанида в коллективизацию не ту же академию кончала. Будто... Маша в который раз сбилась со счета и вновь решила, что покойная прабабка Марья все же где-то еще, в другом месте обучалась: она ведь еще в гражданскую померла, кажись, от тифа. Ну, да и три поколения – немало: бабка Степанида, даром что ей семьдесят шесть стукнуло, с печи слезла, барахло собрала и в тот поезд, что и вся деревня: ту-ту. А Маша осталась. Проявила характер.

А сейчас Маша несла старухам-поповнам кошелку с шестью десятками яиц. На нее, на Машу-вековуху, бросило семейство полсотни лишних кур и петушка. Вроде бы и зима, вроде бы и не должны куры нестись, обычно в такой курятне в декабрь одно-два яйца бывает, не более, – а у Маши, как в издевку, неслись все куры кряду, а иные по два раза в день. Ну куда столько яиц девать одинокой бабе, когда семья вся уехала, а любимый человек с золотой монеты только и смотрит, да и то рожу эдак отворотил, профилем, будто по-новой понравиться хочет? Ехать продавать и далеко, и опасно, и невыгодно, и ненужно, когда сношарь-батюшка такое большое пособие назначил. Раз в неделю относил

Маша авоську с яйцами старосте Николаю Юрьевичу, заранее сварив их вкрутую: сырые он не пьет, а вареные очень уважает, закусывает ими, даже лично облупить может, если с утра. А то ведь у него по хозяйству, кроме водки, хоть шаром покати, собаку нечем заманить. В другой день несла Маша такую же авоську с яйцами, – впрочем, сырыми, – в дом к поповнам. У тех куры были, но по зимнему времени, понятно, нести не умели. В третий раз относилась она яйца в убогую избенку старика Матвея, что Николаю Юрьевичу танк отремонтировал да уток на охоте в трубу ему пускал. Тот держал со своей старухой индюшат, возил на рынок в Брянск либо же в Москву. И все равно много у Маши яиц просто пропадало.

На Матрену зимнюю, кстати, были у одной из поповен именины. К обычной авоське прибавила Маша еще один подарок: привезла на санках полсажени колотой березы. Старухи не удивились даже дефицитной березе: им ли после коллективизации, войны и советской власти было удивляться. Одна старуха все больше коротала дни за рукодельем, другая стряпала и варила пиво: по наследству от своего батюшки были поповны великие до него охотницы. Дрова, впрочем, пришлось очень по делу: холодно, зима только-только на ноги встала, может, ей так и положено в эти дни, да тепло-то нужно. Пива, поспевшего накануне, старухи и половины не употребили, так что Маша им помогла. Жаль, старые они девы, неужто секрет ихнего питья так и уйдет с ними вместе? Брусники они подбавляют, морозом битой, либо рябины горькой, что ли? Словом, вся деревня рада б это пиво пить, да никто его варить не умел, сношарь-батюшка их за людей не считал, он и сам неплохое варил, да ведь и он своим рецептам никого не обучал, он население вовсе другому учил!.. Так что были поповны к сношарю во всех отношениях в демократической оппозиции, как теперь телевизор говорит: это значит, когда кому на другого плевать с высокой колокольни.

Маша обогнула так и недоремонтированную колокольню водокачки Пресвятой Параскевы-Пятницы, засемила к частоколу, за которым стоял резной дом поповен. Старухи Маше, бывшей Настасье, как всегда, не удивились и не обрадовались: несмотря на то, что жила та на другом конце села. Марфа сидела под окошком, вышивала на пальцах болгарским крестом двуглавого орла. Старшая, Матрена, опять варила пиво.

– Самого хорошего ячменю... – бормотала она себе под нос, повторяя навек затверженный рецепт, – доброго хмелю. И вари с хмелем, покамест весь потонет...

– Да уж тонет, бабушка Матрена, – сказала Маша, заглянув через плечо.

– Не слепая, не слепая, вижу, не встречай. Тако-сь. Было чтобы так, как парное молоко... Хороших дрождей...

Сухопарая Матрена бережно принялась кидать в котел кусочки привезенных из самого Брянска индюшатником Матвеем дрожжей: это ж надо, какое богатство на Руси при царе настало: запросто теперь в любом магазине дрожжи продают, и дешево.

– Светлое варишь, бабушка Матрена?

– Покуда укипит пятая часть... Светлое, милая, светлое, в наши года темное не

полезно. А от светлого здоровье. Английское белое у меня пробовала, а? Вещь! Да пробовала ты, мы с тобой на моих же именинах две корчаги убаюкали. Нет, я тогда не английское варила. Ох, чан большой потребен бы, до ста ведр, а куда его? – Старуха обвела плечом непросторную горницу. – Погодь, погодь. Вот, чтобы хорошенько укипело... Три часа, не очень тихо, да и не пылко...

Маша тихо присела к другой старухе, вышивающей – и чуть не залилась слезами: та брала рисунок с нового империаля, из тех, что привез Николай Юрьевич. К счастью, монета лежала Пашиным портретом вниз, а то Маша уж точно не утерпела бы. Старуха тихо, по-деревенски заунывно напевала неизвестную песню, в которой лишь самый дотошный музыковед распознал бы «Прощание славянки», замедленное эдак раз в восемь. Все в этой резной избе было неторопливо, полвека прошли как одна пятилетка, да и ту пятилетку старухи сумели бы сосчитать лишь по тому, сколько раз поспело пиво, притом отбросив все разы, когда пиво получалось, по их мнению, не наивысшего сорта. Раньше бабка Марфа вышивала петухов и павлинов, теперь, не моргнув глазом, перешла на давно забытую птицу – на двуглавых орлов, хоть гладью, хоть простым крестом, хоть болгарским. С утра начнет, к вечеру вот он уже, орел, три короны, семь гербов на грудке, скипетр-держава, а внизу вензель «П», посередине которого – две палочки. Индюшатник Матвей навозил бабкам за эти вышивки всяких городских разностей: свечек, лампочек, деревянного масла к лампадкам, опять же дрожжей и прочего, чего требовалось. Изредка появлялся у дома с наличниками человек еще и с единственным необходимым дорогим товаром: приезжал лесничий аж из-под Почепа, привозил старухам небольшой мешок скобленого оленьего рога, который в пивоварении расходовался у Матрены за милую душу. Он менял товар на товар, привозил два десятка пустых бочек, менял на полные, грузил на телегу и отбывал до следующего раза. Его старухи даже на порог не пускали, по запаху знали, что не пиво тот пьет, ох, не пиво, а значит, берет он Матренино питье на продажу, бандюга. Ну, так и нечего ему свежего подносить, добро только переводить. А с другой стороны и погнать в шею лесничего было нельзя: как же в деле без скобленого, без оленьего, да свежего притом?

Свою крохотную государственную пенсию старухи тратили вовсе уж неизвестно на что, а скорей не тратили вовсе. Зато нынешние деньги, империаля, вот поди ж ты, нашли у них-таки применение – сгодились Марфе для вышивок. Маша с трепетом ждала, когда спрос на двуглавых орлов упадет, старуха перевернет монетку и станет шить болгарским крестом царские портреты. Тогда прямо хоть в гости не ходи, выть в голос ведь захочется. Хоть и в сторону смотрит, а все равно Паша.

Матрена тем временем бормотала очередную инструкцию самой себе: – Потом в закрытой заторник запустить чистую метлу и оною мешать четверть часа...

Метла, ростом с саму старуху, была наготове. Матрена просунула ее в котел и с девичьей легкостью стала размешивать зелье, от которого уже валил густой дух, щипало в носу и в глазах.

– Яйца-то, бабушка, я в сенях оставила...

Матрена, не прекращая ворочать метлой, обернулась:

– А есть от сегодня?

Маша поняла: для чего-то нужно было яйцо, снесенное именно нынче, не давешнее. Слетала в сени, отобрала четыре темных, от пестренских кур – про них она точно знала, что нынешние: только утром собрала.

– Вот, бабушка...

– Так, так. Возьми свежее яйцо, в тот день снесенное, когда бочку начинать хочешь. Да положи ты их на столешницу, я домешаю. В аккурат четыре. Это чтобы пиво бочкою не пахло, Маша, учись. Так... Дикой рябинки, того-сего, а еще... Во! Четыре свежие, вгустую сваренные яйца, с которых скорлупы не слупливай... Маш, а Маш, ты в сенях свари на керосинке, а? Мне от метлы несподручно, а сеструха и вовсе в делах. А мне надо пиво осветлить. Давешнее. Потому как к совершенству пив принадлежит и то, чтобы они были чисты и прозрачны...

Отлично разбираясь в старушечьем хозяйстве, Маша вышла в сени. Разожгла, приготовила кастрюльку, но воды в ведрах не оказалось. Маша взяла коромысло и вышла за порог. Услыхала где-то наверху звук вертолета, глянула – да так и села, где стояла. Прямо на деревенскую улицу опускался огромный вертолет, а под ним, прочно захлестнутый когтями железного чудища, висел беспомощный танк. На мгновение вертолет показался Маше отчего-то даже двуглавым.

Но и с другого конца улицы грохот несся тоже, очень знакомый грохот: это ехал на танке на охоту сам генеральный деревенский староста Николай Юрьевич, по случаю воскресенья и привычки. Дело подошло к полудню, старосте в общем-то было все равно, сколько он там на замерзших по-заполярному мхах домашних уток со штатива побьет, все равно организм его утятини не принимает, все утки идут на жарево Матвею. Старенький танк, скрывать нечего, оттого такое большое тарахтение. Непостижимым, десятым бабьим чувством Маша поняла, что это сношарь-батюшка, а может, даже и царь-батюшка прислал и Николаю Юрьевичу тоже специальный гостинец: новый танк. А может быть, что и вертолет тоже, чтобы он на нем на верхнюю, поднебесную охоту летал – ну, к примеру, по четвергам.

Маша в общем-то была права, но на меньшую, так сказать, половину. Танк был и вправду подарочный, но не новый, а как раз очень старый, только хорошо сохраненный и подреставрированный. И подарок это был отнюдь не от сношаря-батюшки, даже не от царя-батюшки, а от лица, которое очень и очень хотело бы остаться неизвестным. Дмитрий Владимирович Сухоплещенко полагал, что удача не изменит ему и очередной перелетно-танковый рейд сойдет ему с рук. Потому что прежний, хотя с рук и сошел, но оказался с сильными недоделками. Выбора не было, пришлось доделывать за собой же.

Получилось так, что американцы, которых не допустили на коронацию с телекамерами, очень ее неплохо сумели пронаблюдать со своих спутников. В их клеветнических теленовостях мелькнул синий попугай, летящий над противотанковыми заграждениями Зарядья-Благодатского, карусель воздушных шаров опасного цвета, летающих над Москвой с рыбным супом, блеск фейерверка и всякое другое; потом еще и Подмосковье показали; и вот какой-то

сучий потрох с орбиты разглядел, что танк на знаменитой колонне, которая по личному проекту канцлера воздвигнута, пушкой тычет прямо в московский стадион «Лужники». Хоть и фиговый калибр, сто двадцать пятый, а символично и противно; хватит того, что в Киеве, бабушке городов русских, дурья башка поставила над Днепром бабищу с мечом – так она этим холодным табельным оружием прямо на Москву и размахнулась, трезуб ей в то место. Мечом и пушкой, выходит, Москве угрожает. Ну, за бабищу ответит кто ставил, а дело с танком Сухопещенко вызвался уладить лично. Так ретиво возмущился халатностью исполнителей проекта его высокопревосходительства, что даже приказ о собственной отставке попросил пока не подписывать, а дать возможность по-армейски все это дерьмо уладить. Сел в личную «девятку» и рванул в Троицк, на любимый аэродром, где генерал Бухтеев все еще сдавал дела, тоже собираясь навеки вылезти из мундира, – очень его влекла коммерческая деятельность, очень хотелось в олигархи.

На Тверской Сухопещенко попал в пробку. Возле Телеграфа, притом на полчаса; въезда на Манежную не было, хоть умри; сегодня торжественно вывозили из-под Кремлевской стены что-то там под ней ранее захороненное. В народе шел слух, что в могиле Хрушова, вместо покойного вождя, захоронили контейнер с радиоактивными отходами, которые выборочно облучают неискренних посетителей мавзолея. Вскрытие могилы пришлось произвести поэтому в присутствии представителей ОЗОН, международного движения синеньких, да еще сдерживая протесты кое-каких престарелых красеньких. Всем этим Сухопещенко, озабоченный неправильным танком, заниматься был не обязан, он-то знал, что в могиле Хрушова лежит самый настоящий бальзамированный Хрушлов, а сплетню про радиоактивный ящик он своей личной головой сочинил, чтобы клевету была возможность опровергнуть и за вертолетами нынче не очень следили. И стало все, как он задумал, – и вот он сам же влип в автомобильную пробку на Тверской.

Со скуки Сухопещенко закурил третью подряд, открыл окошко и выглянул. Он был почти прижат к резервной полосе, и все, что мог он рассмотреть сзади и спереди фургона, везущего мороженую рыбу куда-то в сторону Петербурга, были две большие буквы слева: «БУ», и одна буква поменьше справа: «Я». Сухопещенко сообразил, что перед ним голова и хвост вывески новейшего молочного магазина «Бухтеев и Компания». «Я», стало быть, означало «компаниЯ», и это было правильно: никакой другой компании покорному Бухтееву Сухопещенко никогда не позволил бы, – ну, Бог с ней, еще кроме своей жены. Молочный магазин торговал прекрасно, но доходов пока не давал. Ничего. Чтоб дойная коровушка да на Тверской денежку не принесла – быть того не может. Очень правильно он тогда Останкинский молокозавод к рукам прибрал. А Бухтеев что? «Бу». Б/у. Вывеска.

Вывеска немного сместилась, кажется, открывали выезд на Манежную. К концу четвертой сигареты его и вправду открыли. Сухопещенко выехал на набережную и двинулся за город, в тихую Троицкую обитель. Как было наперед согласовано, «Сикорский» стоял целиком заправленный. Сухопещенко проверил запасы: бутылки с джином «Бифитер», респираторы, противогазы,

кусачки, фомки, резиновые перчатки и прочее. Нелегкая работа – ставить танки на стометровые колонны. Еще хуже эти танки переставлять заново. По мысли Сухопещенко, «Луку Радищева» со всеми уликами нужно было убрать с колонны и вообще с глаз долой, спрятать так, чтоб никто не видел. А не видит никто только то, что у всех на виду; стало быть, куда девать сам танк – ясно. Откуда взять другой танк, не снижая боеспособность армии, – за это последнее голову бригадиру открутил бы лично император, – тоже совершенно ясно, потому как возле академии бывшего Фрунзе на пьедестале маршировался маршальский запасной. Танк с постамента – на место танка на колонне. Танк на колонне – уже придумано куда убрать. А вот как быть с начинкой колонного танка? Сухопещенко и на этот счет все обдумал, но дело это определенно плохо пахло. Большая от этого дела собиралась пойти вонь, увы.

Рейс в Москву, к Академии, прошел спокойно, «Сикорский» с маршальским баром в когтях удалился на личную бригадирскую дачу. Теперь предстоял рейс на сто первый километр. Сухопещенко проверил захваты и с тяжелым сердцем взмыл в небо. Погода была совсем зимняя; после коронационного раздрызга настали прочные морозы, ясно демонстрируя стране и миру, что русский холод есть неотъемлемая собственность Российской Империи и чем он будет сильнее, тем сильнее будет Русь, тем меньше гудерианов и абдул-гамидов с наполеонами осмелится на нее пасть разевать.

Чем ближе был сто первый километр, тем больше свербил бригадира мысль о том, что же он обнаружит внутри «Луки Радищева»: а ну как прежний хозяин жив? Тогда, впрочем, только и делов, чтобы из этого состояния его перевести в следующее. Оно, следующее, всегда предпочтительней. Если же маршал готов и так, то – сколько он уже там месяцев? Сухопещенко стал считать на пальцах, и «Сикорский» опасно наклонился. Бригадир выругался, подсчеты отбросил, и медленными кругами повел машину к колонне. Спокойствия ради вскрывать эту гадость бывший слуга двух господ решил тоже у себя на даче. Он был неуязвим именно потому, что никогда никому ничего секретного не поручал, никому не верил и считал, что полагаться можно лишь на самого себя. Но в результате вся грязная работа ему же и доставалась.

При свете единственного прожектора, уже глухой ночью, поставил Сухопещенко несчастного «Луку» на лужайку посреди заднего двора. Два танка, одна полянка. Не ровен час, сфотографируют американцы, доказывая потом, что не вел комплектовку антигосударственной дивизии. Сухопещенко завел безымянный танк-бар в ангар, замаскированный под дровяной сарай, затем выключил прожектор, натянул респиратор, приступил к самой неприятной части дела. Лихо орудуя фомкой и зубилом, он вскрыл люк «Луки». И даже сквозь респиратор понял, что стрелять не придется. Живыми маршалами так не пахнет.

Сухопещенко выгрузил припасенный «бифитер». Бутылки остались от коронации, оба ящика, но все ж таки каждая нынче почти империя стоит. А свой джин, особой древнерусской марки «Мясоед», принадлежащий бригадиру джино-водочный завод не обещал даже к Новому году, – линия не отлажена. Жаль добро переводить, но не формалином же танк мыть, и не водкой. На



формалине попадешься, водярой неправильный дух не вышибешь, – джина туда! Влив шестую бутылку, бригадир рискнул и посветил фонариком в люк. Все было так, как он ожидал. Хотя ожидал он зрелища даже еще менее аппетитного.

Бригадир провозился до утра, вытаскивая труп, раздевая, обезображивая, заворачивая в брезент, заталкивая в багажник. Под сиденьем в «Луке» нашелся запас грузинского коньяка; бригадир заботливо смыл этикетки и отнес в погреб: будет случай, можно на стол поставить. Претворив таким образом вылитый джин в обретенный коньяк, Сухоплещенко даже сердцем повеселел: коли тут убыток, так там – прибыль. Все по-правильному, по-умному, по-русски. По-православному.

Экран-дисплей пришлось выломать, – тот, кто в этот танк залезет, глядишь, лбом ушибется. Вместо экрана бригадир укрепил полку с бутылками, – об это пусть ушибается. Поместилось много. Шатаясь, вылез Сухоплещенко из танка, отошел в сторонку, снял перчатки. Потом достал из кармана стакан и решил принять грамм сто пятьдесят. Налил, но вовсе от усталости одурел – ткнул прямо в джин респиратором.

Откашлявшись, отматерившись, Сухоплещенко сбросил пришедший в негодность респиратор к прочему излишку вещей на брезенте. Опять забыл, что свиным рылом лимонов не нюхают, а с кувшинным рылом – и так далее. Своим кувшинным рылом сын банкира из Хохломы уже теперь не особенно гордился, по нынешним доходам он мог всю родную Хохлому купить до последнего горшка. А, кстати, не купить ли? Надо подумать. Бригадир решил все-таки выпить, взял стакан с джином... Тут его вывернуло. Запах можжевельника не только перебил все остальные, но теперь бригадир знал, что именно этот запах будет он ненавидеть до конца дней своих. «А джин «Мясоед», по древнерусской технологии?..» – мелькнуло в голове. Но тут же забылось. «Луку Радищева» и безымянный танк в непросторном ангаре-сараяе поменять местами было вовсе непросто: по нынешнему устройству «Лука» не имел ни обзора, ни управления, ни самоходной тяги – словом, почти ничего. Он мог двигаться лишь как прицеп к другому танку. Что Сухоплещенко и осуществил, замирая от страха за свое кровное добро: как-никак в дальнем углу стоял его собственный, работы Непотребного, памятник. Хорошо укутанный, да что танку все укуты? Заденешь – каменных крошек не соберешь. Но обошлось. Сухоплещенко запер ангар на цифровой замок, а сверху навесил еще и амбарный.

Сухоплещенко устал, как сорок тысяч эков, но предстояла еще одна ездка и две лётки, притом все – срочное. Сухоплещенко сел в свою «девятку» и принялся за вторую часть плана ликвидации остатков останков. Дорога привела его снова в Москву, на Ломоносовский проспект, где работал дальний знакомый. Знакомый этот раньше был летчиком, но попался в Киргизии на загрузке ста тонн дикой конопли, был за очень большие деньги бригадиром выкуплен и спрятан до лучших времен сюда, в мастерскую, в которую по доброй воле ни один нормальный человек на экскурсию не попросится. Называлась она какими-то деликатными и умными словами про «изготовление учебных наглядных пособий», а на самом деле тут шла выварка, очистка,

скрепление, фиксация, упаковка установка на роликовые подставки, отправка заказчиком. Тут мастерили из неопознанных, а также из завещавших свое тело науке на ее нужды, учебные пособия на проволочках. Ну, скелеты, скелеты, чего уж там, прямо вот так все вам надо назвать своими именами.

Бывший летчик встретил его в одних плавках. Другой одежды в мастерской не носил никто, да и в этой было жарко. Тяжелая это работа – варить части, собирать нужное, лучше в технологию не вдаваться. Летчик похвалил бригадира за то, что тот привез все целиком, не частями, как другие норовят.

Сухоплеценко получил квитанцию, потому что и скелет здесь неизвестно кому дарить тоже не собирался, найдется еще какой-нибудь антрополог, начнет по черепу портрет восстанавливать, отвечай потом за убийство Ивана Грозного или какой там еще неандерталец скульптору на ум придет. Проследив, как бранные останки маршала погрузились в кислотный бассейн, Сухоплеценко вышел в предбанник, долго блевал, а потом упорно пытался у себя на даче напиться, но так и не сумел.

Природное, наследственное здоровье бригадира неизбежно – как и во всех прочих жизненных ситуациях – брало свое. Сухоплеценко съел что-то консервированное, выпил две таблетки сальварсанского аспирина – и вновь был готов. «Сикорский», снабженный горючим для перелета на сто первый километр, стоял посреди двора; горючее, увы, пришлось брать из собственных запасов. Покуда в дачном ангаре-сарая оставался хоть один танк – Сухоплеценко считал себя не вправе уходить в штатские. В сарае мог стоять только шедевр Непотребного, ну, и другие аналогичные ценности, если появятся, потому что избыток денег хозяин секретной дачи и дальше намеревался помещать в ритуальную скульптуру. Хорошо бы пробить у царя указ, чтобы надгробия налогом не облагались. А то, пронеси Господи, какие-нибудь еще акцизы на них введет, он мастер налоги сочинять, и хорошо это, и плохо, и хорошо, и плохо...

Озабоченный мыслями о возможных и невозможных налогах, Сухоплеценко едва не уронил танк мимо колонны. Стиснув зубы, бригадир поднялся на несколько метров, прицелился, сверился с приборами – и водрузил танк на столб. Теперь жерло пушки с математической точностью смотрело на Киев. Пусть машет теперь, чем хочет, грозя Москве, их уродина. Сухоплеценко совершил дополнительный облет, фотографируя вторично-рукотворный шедевр. Новое искусство – имп-арт, что ли? Перекуем мечи на орла! На двуглавого! И на танки тоже. А в сарае места много. Только вот налоги чертовы, налоги...

Оставалась часть последняя всей операции: сбить с рук омытого можжевелевым духом «Луку Радищева». Вообще-то простая, как все гениальное, идея вернуть «Луку» в родное село пришла в голову Сухоплеценко далеко не сразу, а лишь после того, как он точно сформулировал задачу: «Куда деть?», а потом мысленно с кавказским акцентом, которого, кстати, у Аракеяна вовсе не было ответил сам себе: «Палажи на мэсто!» Ну, а где место? Не тащить же в Москву, князю под стенами Кремля если танк потребуется, то всегда доставить можно. Пока пусть будет на Брянщине. В конце концов, даже Петр

Первый на Брянщине гребную флотилию построил. И Петропавловский монастырь в Брянске есть, в честь, стало быть, святых покровителей величайших российских государей – Петра Первого и Павла Второго: в самый раз. А танк построен как раз на деньги великого князя Никиты Алексеевича еще в 1941 году, а жил тогда князь в Нижнеблагодатском, Старогрешенского уезда; село, конечно, нынче в Москве, но земля-то, земля на месте! Вот и вернуть танк на родную землю. Однако ж снова придется волоочь эту махину по воздуху, а до Брянщины из Подмосковья – ох, не близко. Раза два придется садиться для дозаправки, накладные на танк выписаны как на полезный сельскохозяйственно-мемориальный груз. И вновь запрапляться для обратного пути – но это можно уже прямо там, в Верхнеблагодатском аэродром есть, там часть квартирует, которую сперва хотели в княжьей деревне разместить, да сразу же и выгнали. Танк предстояло отдать местоблюстителю Нижнеблагодатского-старого, бывшему председателю сельсовета, а нынче генеральному старосте Николаю Юрьевичу, пусть сам его блюдет дальше. Про Николая Юрьевича Сухопещенко знал, что он страстный охотник. На уток. И что один танк у него уже есть. Ну, если великий князь не против, то и быть по сему. Но лететь далековато. Упаришься.

И пришлось упариться. Сухопещенко подумал, что даже те дни, когда он до потери сознания трудился над проблемами памятников и озадачиваний, дались ему легче. Да, танковая колонна да вареный маршал – это вам не государством управлять!

Утешение было в том, что трофейный «Сикорский» слушался каждого движения, как лошадка-пони. Хорошая вещь, американская, хотя, если в корень посмотреть, то, конечно, русская – а кем, спрашивается, был сам Сикорский? Чай, не чукчей. Да и что вообще-то такого у американцев есть своего? Телевизор цветной им Зворыкин сделал, Бруклинский мост Олег Керенский построил, сын того, который на белом коне ездил. Даже однодолларовую бумажку – тьфу! – и ту им русский нарисовал, Сергей Макроновский, был такой. Вот и вся Америка. Нет, забыл, у них еще и писатель главный есть, недавно умер, как его, про Лолиту Торрес роман неприличный сочинил, надо почитать. Да, уж тут почитаешь, не пропустить бы дозаправку. И все, черт подери, без единого помощника. А то вози потом его на Ломоносовский... целиком или частями, все одно хлопотно. Нет, в первую голову сделать, – и с плеч долой.

Однако даже безотказный механизм здоровья бригадира начинал от таких нагрузок скрипеть. Миновав стороной Алешню и Старую Грешню, «Сикорский» шел напрямую на Нижнеблагодатское. А там, в результате визуального наблюдения, был обнаружен едущий по главной улице села старый-старый танк. Сухопещенко решил приземляться немедленно: без ведома генерального старосты никакие танки по селу разъезжать не имели права. А было нынче – ах ты, Господи, как время летит! – уже воскресенье. «Сикорский», виляя хвостом, пошел на посадку.

Маша оцепенела, когда увидела, как на улице, уставясь пушками друг в друга, возникли два танка, один поновей, другой погрязней, но почти одинаковые.

Однако на том, что поновей, коршуном сидел большой вертолет, и лопасти его бешено крутились, впрочем, замедляясь. Мгновением позже что-то щелкнуло, тросы отлетели и вертолет – будто курица с яйца, но почему-то назад – отпрыгнул. Тихая, заледеневшая деревенская улица загроздила военной техникой советского и американского производства. Сухоплещенко открыл дверь, и буквально задохнулся чистым деревенским воздухом. Организм бригадира все яростней требовал отдыха.

Организм железно-нетрезвого Николая Юрьевича, напротив, ничего не требовал на ближайшие двадцать минут. Но проехать по улице стало невозможно, прямо на него смотрел танк, а позади танка просматривалась еще и вертящаяся чуда-юда. «Наши, что ли, пришли?» – подумал генеральный староста, отщелкнул люк и с трудом стал вылезать.

– Ты мне только задень по наличнику! – раздался над улицей старческий голос бабки Марфы. Не выпуская пальцев с двуглавым орлом, она шла прямо на Сухоплещенко, неудобно усевшегося в сугроб. Наличники она имела в виду оконные, весь дом раскулаченного попа был покрыт резьбой, пережившей и раскулачивание, и войну, и кукурузу, и, Господи прости, советскую власть. А вот если бы лопасть «Сикорского» по наличнику проехала – глядишь, стала бы изба безналичной. За такое дело старухи разобрали бы вертолет на винтики, да заодно уж и оба танка на железки. Резьбу эту, да и всю гнилую избу, как деревенские бабы сказывали еще до своего уезда в столицу, чудотворная водокачка Параскевы-Пятницы оберегает, да еще золотоперый подлещик из Угрюм-лужи охранительные слова нашептывает. Впрочем, золотоперого подлещика сношарь-батюшка увез, как и всю Угрюм-лужу. Но сами старухи-то покамест ого-го!

Лопасты постепенно остановились. Бабка Марфа присмотрелась к бригадиру, разглядела на его погонах двуглавых орлов – ну точь-в-точь, как сама вышивала! – и потеплела.

– Да на тебе, милок, лица нет!

– Нет лица – первым делом винца! – встрял староста, слезая с танка.

Старуха на него окрысилась:

– Я тебе винца! Я тебе пушку твою знаешь куда?.. А ну, Маша, помоги человека в избу завести. Винца не будет, а пиво у Матрены поспело, да и запас есть. Она у нас по пивам мастерица. Шевелись ты!

– Да я за рулем... – попробовал отнекнуться Сухоплещенко, но его никто не слушал, да и не очень-то он был за рулем. Бригадир с трудом, опираясь на Машу, перешел в резную избу, где вторая старуха уже держала наизготовку ковш с тепловатым, но на редкость духовитым пивом.

– Английское белое! В самый смак с морозцу! – объявила Матрена, не утерпела и почала ковш. Сухоплещенко тоже приложился. И немедля решил к молочному заводу докупить еще и пивоваренный. Такое вот английское пиво? Его в Англию экспортировать запросто можно, там такого не пробовали!

– Ублажила, бабушка, ублажила, – поблагодарил бригадир, умело и привычно приспособившись к любой обстановке и потому вслед за словами отвесив почти поясной поклон. – А ведь и на другой манер, поди, сварить сумеешь?

Старуха расцвела.

– Сосновое? – предложила она. – Есть третьедневошное, совсем еще не закисло. Плюнь ты на свой вертолет, так его? Никто его отсель не улетит. Проходи, проходи. Вынеси, Маша, Николая Юрьевича угости, а то он там у себя в танке отморозит что-нибудь. Нет, туда вынеси, в нашу избу председателей не пускаю.

– Да староста я! – попробовал вякнуть бедняга, сидя на танке и видя, как дверь закрывается.

– Видала я тебя... Член коммуниста! – рывкнула Матрена, и дверь окончательно захлопнулась.

Николай Юрьевич полез обратно. Охоту ему загородили, выпивки не вынесли, но у него и свой запас кой-какой был. Не был он охотником до этих самых старухиных пив. Он был другим охотником. Эх, уток бы сейчас пострелять со штатива... Он свернулся калачиком и собрался заснуть до новых событий. Однако же люк над ним снова открылся, и Маша Мохначева, добрая душа, сунула ему в руку стакан со сметаной. Тоже неплохо... Через секунду староста уже уснул, обнимая пожалованный поповнами гостинец. Он искренне хотел от него отпить, но уснул. Вообще-то он иной раз по две, по три недели не ел ничего, кроме яиц, которые ему по доброте душевной варила вкрутую все та же Маша.

А в избе Сухоплещенко, вспомнив далекое хохломское детство, вылез из сапог и сел на табуретку. Одной старухе в нем понравились погоны, другой то, что он пивную двухлитровку, бровью не поводя, опростал да похвалил. Маше в нем ничего не понравилось так чтобы особенно, но ясно было, что человек столичный: может, Пашу видал?

Матрена, отставив метлу, вытащила с ледника корчагу соснового, третьедневошного, наилучшего.

– Брюхо-то с холоду не залубенеет? Ты, гляди, поспешай не спеша, у меня еще три сорта есть, даже английского красного малость, – Матрена словно помолодела на тридцать лет. – Вертолет потом только не урони... – Тут она вдруг засомневалась. – Нет, погоди. Тебе с холодрыги сейчас плохо пойдет. Погоди, по-нашему, по-благодатскому изопьешь...

Поповна слегка разогрела корчагу в печи, отлила в ковш, сунула в пиво деревянную ложку с верхом чего-то подозрительно пахнущего на всю избу горчицей – и поставила перед бригадиром. Тот, не глядя, хлебнул, но целиком не осилил, закашлялся. Матрена, поколачивая его по спине, запричитала:

– Ну куда ж все сразу, я ж тебе полгарнца плеснула, да с горчицею, чтобы пот прошиб, – а пот, кажется, бригадира и вправду прошиб: поповна повела носом, – да что ж за дух такой? Сосна, понятно, горчица, а вот почему так пахнет, будто еще и помер кто?.. Маша, ты поди, глянь, член коммуниста дуба там еще не дал? Еще и можжевельный дух откуда-то...

Бригадир очень хорошо знал, какой-такой можжевельник из него пошел, и каким-таким несвежим покойником повеяло. Таким потом не прошибало его никогда, ни в какой бане; впрочем, в баню он и не ходил никогда, предпочитал мыться у себя, по-домашнему, бухтеевская жена коньяк хорошо подает... Дочь ее, наверное, тоже научится. Но это через годок-другой, сейчас не выспела еще.

А что джином запахло да покойником – фиг с ними, маршал давно выварен, джин в танке стоит, – ну, кокнулась одна бутылка, две бутылки...

На пороге стояла Маша, за собой она тащила белую обезьяну.

– Аблизнян-снеговик! – ахнула Марфа, мигом догадавшись, что бывает с сельским старостой, опрокинувшем на себя стакан сметаны в силу неспособности таковой выпить, – давай соснового остаток!

– В сени его, в сени! – возразила чистюля-Матрена. Один мужик ледяной-пьяный, другой разопревший-подпоенный, статочное ли дело двум поповнам, двум старым девам, такое у себя в избе терпеть? Впрочем, бригадира Матрена сама же и упоила, – да нет, давай-ка их обоих в баньку, там тепло не ушло еще. Пусть поспит член коммуниста, охотиться завтра будет. Только ни-ни!

Насчет «ни-ни» совет был явно лишний: Николай Юрьевич давно уже ни к каким подвигам насчет женского пола способен не был; напрямую по наследству лукипантелеичево искусство не передавалось. А бригадир... Там видно будет. Маша вытащила старосту в баньку, зажгла лучину. С лица ни на мать, ни на отца, ни на великого князя похож не был. Маша с трудом искала в его мятой, не до конца отмытой от сметаны харе сходства с Пашей – не было его, не было.

Две поповны с трудом ввели в баньку бригадира, почти отрубившегося с непривычного питья да с деревенского воздуха. В свете лучины Маша видела, что лица обеих старух покрывал густой румянец.

– Сполоснуть бы ему хоть морду-то, Маша, негоже нам, девушкам, с мужиками, а ты, поди, обыкла...

Маша рассердилась.

– А я вам не девушка? Двух мужиков на одинокую бабу?

– Да уж прости, прости, Машенька, мы грех за тебя замолим, век молиться будем! – пролопотала Марфа, видимо, хорошо понимавшая, что репутация их девичья под большой угрозой, да уже, почитай, погибла, если только Маша не согласится молчать как золотая рыбка, притом неговорящая. Маша оглядела бригадира. Нет, и этот на Пашу ничуть похож не был. Ну, стошнило человека, развезло, так с непривычки ведь, разве он у себя в городе сосновое пиво пробовал? Там и сосен-то нет, поди...

Бабки, мелко крестясь, но не забывая и Машу перекрестить и прочих, затворили дверь и оставили бедолагу наедине с двумя отрубившимися мужиками почти в полной темноте. На улице, хоть и декабрь, было еще светло. Ну, что с мужиками делать-то? Николая Юрьевича Маша бережно раздела, задвинула в теплый угол, прикрыла мешковиной. Бригадиру только ополоснула лицо, но раздевать побоялась: вдруг очнется, поймет неправильно... то есть правильно, но не так, как надо.

Маша еще раз оглядела мужиков: дышат ровно. Делать ей тут явно было больше нечего, яйца принесла, а больше ни в чем обязательств не имела. С другой стороны, дел на сегодня у нее самой еще хватало, да еще каких важных. Оставив дотлевать угли, Маша огородами удалилась на другой конец деревни. Между темных изб мелькнул рыжий собачий хвост.

Сухопещенко спал недолго, проснулся мгновенно. Он вспомнил, как поили его тут качественными сортами древнерусского пива, потом вроде бы куда-то

несли. Очень быстро признал он, что оказался в бедной деревенской баньке. В углу кто-то храпел под грудой тряпок; заглянув под них, бригадир немедленно узнал генерального старосту Николая Юрьевича, танкообладателя, хотя и дрых тот в чем мать родила. Баб в бане не наблюдалось, сам он, к счастью, был полностью одет, хотя чувствовал, что пропах не тем, чем надо: вся усталость, весь хмель и все события предыдущих дней ушли у него через потовые железы. Бригадир накинул шинель, вышел во двор, умылся снегом, вспомнил детство. Кажется, он был вполне готов к последней части операции – вернуть «Сикорский» на аэродром под Троицком. Впрочем, зачем? Постоит и на даче. Строевым шагом направился бригадир к поповнам.

Старухи открыли только после очень долгого и настоятельного стука. Не то чтоб Сухопещенко боялся просто так вот сесть в вертолет да и улететь, он всего лишь не любил, чтоб хорошие вещи без должного определения пропадали. А у старух такая вещь была, и Д. В. Сухопещенко не собирался оставлять ее здесь, на Брянщине, в неведомых пропадипропадах.

Все же открыли. Матрена с метлой стояла впереди, вовсе перепуганная Марфа выглядывала из-за ее плеча. Военный человек вылез из баньки за какие-то минуты: чего ж ему теперь-то надо?

– Прощевайте, мастерицы! А на посошок бы? – не особо искусно подделываясь под деревенскую речь, произнес протрезвевший бригадир. Матрена мигом плеснула в ковшик соснового, подала. Сухопещенко выпил, крикнул, утерся.

– Ну, к весне-то ко мне в Тверь прошу! – бросил он пробный шар.

Старухи оцепенели. Сроду они из родной деревни дальше Верхнеблагодатского нигде не бывали, да и туда по осени на плотину только ведро-другое яблочка на продажу относили; а тут – Тверь какая-то? И где она?..

– Завод хороший там. Пивоваренный. Старшими технологами будете. Английское, белое, красное, нижнеблагодатское – словом, какое скажете, такое варить будут. Под вашим руководством, – продолжал улещивать старух бригадир; наконец, вспомнил главное: – А уж сосновым-то весь мир честной напоим!.. Пусть пропотеет! С горчицей!..

Матрена взяла себя в руки: хоть и была она дочерью попа-непротивленца, но как сопротивляться с помощью непротивления знала не хуже Махатмы Ганди.

– Спасибо на добром слове, мил человек, но... никуда мы с сеструхой отсюда не ездуньи.

Бригадир не сдавался.

– Ну, это беда полбедовая. Тогда мы к весне тут... – он глянул куда-то в сторону реки и Верблюд-горы, – пивоварню вам сами заделаем. И вас – главными технологами. Английское белое, красное, нижнеблагодатское, всякое... Воду будем возить нужную.

Матрена обреченно вручила бригадиру еще полковника соснового. Тот опохмелился, одернул на себе форму – все одно послезавтра из армии прочь – отдал старухам честь и пошел к «Сикорскому». Огромные лопасти повернулись раз, другой, слились в ревуший круг – и как не бывало на старогрешенско-нижнеблагодатской земле никаких бригадиров. Только вот танков при селе стало два. И один из них, который поновее, украшала свежая надпись: «Лука

Радищев». Танк-бомж был водворен по месту зарождения. Еще когда-когда оклемается генеральный староста, когда еще заглянет в этот новый, хотя очень старый танк да обнаружит, что тот, хотя и несамоходный, но можжевельной водкой доверху заставлен. А старухи, постигнув неизбежность своего печального жребия, – никакая власть их на себя заставить работать не могла, а при царе попробуй да не вкальвать! – убралась в горницу: вспоминать рецепты редких пив. Ясно было старухам, что лучше уж с рецептами расстаться, чем с честью. Да ведь и то верно, без нижебогодатской смородинской воды какое пиво? Вари не вари, все будет оно жигулевское... Матрена даже сплюнула при мысли об этой гадости, которую после войны разок попробовала, – а Марфа мелко-мелко закрестилась и снова взялась за пяльцы.

Рыжий собачий хвост, мелькнувший перед Машиными глазами в проулке, был хвостом очень непростым. По Нижнебогодаскому уже несколько часов рыскал мощный, с телом овчарки и мордой лайки, пес, но вовсе не эс-бе Володя, тот нынче из собак уволился, ушел на стажировку к хану Бахчисарайскому. Это был Володин правнук, эс-бе Витя, тот, что прежде сидел на охране дома Вардовского в Староконюшенном переулке; по случаю коронации он получил лейтенантский чин и пятинедельный отпуск: беги куда охота. А охота у молодого и сильного Вити была одна – полая; надоели ему московские дворняжки, да и породистые надоели – он хотел попробовать волчицу. У людей, говорят, тоже такое бывает: подавай мужику негритьянку, особенно если он злостный расист. И бегаёт, бедняга, негритьянку себе ищет, а зачем она ему – сам не знает, и дорвется, так потом всю жизнь тошнить его будет, а вот поди ж ты, испробовать хочется. Примерно такая же страсть обуяла Витю. Не насчет негритьянок, понятно, – каждому кобелю свои желания назначены. И вот он, эс-бе Витя, в чьих жилах, к слову сказать, текла восьмушка натуральной волчьей крови, свесил хвост, как палку, и побежал на прадедовы уголья, на Брянщину, где, по слухам, прадед употребил прошлой зимой волчих видимо-невидимо. Витя бежал без спешки, никакой железнодорожной услугой не пользуясь, напротив, он забегал в каждый лес, поводил носом, искал волчьего духа. Задача предстояла непростая, как и его хвост: хоть у волков и собак одинаковое число хромосом, но собаки известные промискуиты, а волки давно и прочно моногамны. Так что суки Вите требовались незамужние, драться с волками-кобелями у него не было охоты, это только люди в отпуску дракой занимаются вместо дела.

Но ни волков, ни волчих на Брянщине, да и нигде пока что Витя не встретил. Ни единого. Ни единой. Куда они делись – Витя в общих чертах понимал, но как же так, чтобы все до единого?.. Спокон веков на Руси ведомо: заяц дорогу перебежит – к худу, волк перейдет – к добру. Так кто ж теперь ходить к добру будет, откуда люди добрые узнают, что есть надежда ждать чего хорошего? «А и не надо ждать, – думал Витя. – Зайцев перекушать надо, только и всего».

Порядка ради по задворкам пробежал Витя и на двор к поповнам, хотя какие ж там волчицы. Там он сунул нос в баньку, попытался разобраться в сложном букете сосны, можжевельника, водки, лучины, сметаны, мешковины, застарелой человечьей невинности и многого другого. И вдруг слабо-слабо почувствовал, что



здесь не без волков. Самих волков тут, конечно, нет никаких, но еще недавно был кто-то, кто с ними общался. Витя опустил нос к земле, с трудом удержал желание спеть что-нибудь победительное своим знаменитым сопрано, но удержался – и рванул по Машиному следу.

След привел его к довольно исправной избе на самом дальнем краю села, вытянувшегося вдоль реки. Витя осторожно подполз к серому заборчику так, чтобы все запахи плыли к нему. Не удержался, заскреб лапами снег: тут пахло волками, притом вовсю. Еще пахло пригоревшим шашлыком. Еще бензином. Еще – Машей, которую по имени он, впрочем, не знал. А еще таким всяким разным, что собачья его голова окончательно шла кругом. Вдалеке, на дворе у Матвея, громко кулдыкнул индюк, но на это Вите сейчас было плевать. Он собрал все свои профессиональные навыки и зарылся в глубь сугроба, наметенного к заборчику. И не ошибся, лаз нашелся почти сразу. Ввинчиваясь в снег, Витя подполз к крыльцу, умело продышался и обонянием заглянул в дом. Оттуда разило так, словно два десятка волков собрались потолковать насчет загона какого-нибудь вшивого, но больно уж надоедливого охотоведа. Еще пахло грибной лапшой. Айвой почему-то. Медом еще, кажется?.. Черт знает чем. Но более всего – волками.

В избе сидел десяток голых до пояса мужиков, недавно похлебавших лапши с грибами: грязные миски стопкой стояли возле раскаленной русской печки. В печке что-то жарилось, да притом – Боже собак и волков, отпусти нам грехи наши! – в старом корыте! Во главе стола сидел сухопарый, сильно небритый мужик с прической ежиком: видать, был он тут за главного, но ясно было также и то, что это его не радует. У печи на табуретке, сгорбившись, с двумя зверского вида ножами и неполнозубой вилкой, сидела Маша Мохначева. Хотя в собственной фамилии уверенности у нее нынче уже не было. Сухопарый, жилистый мужик во главе стола еще вчера сказал, что имя его – Тимур, а фамилия – Волчек. Не самая плохая фамилия. На столе, подозрительно чистом после обеда – словно языками все подлизали, – лежала засаленная книга; Витя нюхом прочел автора и название: Вильгельм Сбитнев. Российский пиршественный стол от Гостомысла до Искандера. На последних именах у Вити даже в носу засвербело от усилия – кто такие? Но стол, за которым сидели мужики, мало был похож на пиршественный. Витя обполз вокруг избы и на заднем дворе уже обычным зрением, не обонятельным, увидел аккуратный фургон-полутонну со старогрешенским номером. По серому боку фургона шла свежая, еще пахнущая автомобильной краской надпись:

**ПЕРЕКУСИ!**

А ниже – буквами помельче:

Быстро Братьев Волковых.

В правое ветровое стекло была вправлена изнутри кабины новенькая лицензия, выданная Брянской гордумой, с размашистой подписью какого-то Вуковича. Витя был не робкого десятка, но и на его загривке зашевелилась шерсть, когда он понял, кто именно сидит в избе. Это были волки-оборотни, всерьез и надолго принявшие человеческий облик, волколаки. Никогда Витя их не видел, но мать его, старая сука, выдавая виды, про них кое-что рассказывала, когда щенки

очень уж шалить начинали в сарае в Сокольниках, где Витя и был оцenen не в такие давние времена. Только зачем в той же избе сидит самая натуральная баба и резать ее, похоже, никто не собирается? Что бы это значило?

А вот что.

Промозглым ноябрьским вечером, три недели тому назад, вывела старая, совсем седая сука по кличке бабушка Серко, стаю своих внучков на окраину засморозинного леса. Там, как и положено, уже торчал из пенька ржавый нож; как и положено, бабушка первая же прыгнула, перекувырнулась над пнем и приземлилась в виде морщинистой, жилистой, однако крепкой старухи в джинсах «Монтана» и выдавшей вида шубейке из синтетической лайки. Следом за ней через равные промежутки времени стали прыгать ее внучатки, из них получались жилистые, как волки, парни кто помоложе, кто постарше, но все достаточно дюжие для того, чтобы выжить среди людей. Сук в стае бабушки Серко не было, она их заедала. Зато внуков вела к жизненной цели неукоснительно: и в лесу им было не очень голодно, и в городе тоже все должно было хорошо получиться.

Когда вся стая собралась, бабушка вырвала нож из пня и забросила в дальний снег. Чтоб соблазна в лес бежать ни у кого не было. Хочешь в лес глядеть – гляди себе до опупения, а жить теперь будешь с людьми. «С людьми жить – обществу полезно служить!» – не раз повторяла бабушка внукам свою любимую пословицу. У людей сытней и спокойней, а то жди каждый день облавы. Нет уж: с волчьей жизнью завязано.

Стая, тьфу, команда бабушки Серко аккуратно наведальась сперва в Верхнеблагодатское, купила там полутоннажный фургон, потому что на первых порах собирались волколаки открыть передвижную жральню для нужд господ трудящихся. Запаслись и разрешением. Сухие грибы купили у лесника, который, смешно сказать, никого из них не признал. Дальше нужна была еще кулинарная книга, бензин, и – сто дорог открыто, кати по Руси, корми народ, живи в свое удовольствие. Но вот беда – все оказалось чертовски дорого, особенно фургон и грибы, у стаи кончились деньги. Внуки с надеждой поглядели на бабушку. Старуха сверкнула глазами, поджала губы и велела ехать в брошенное село Нижнеблагодатское: она чуяла, что деньгами пахнет отчего-то именно оттуда.

Старуха не ошиблась: как раз накануне этого события председатель Николай Юрьевич отнес империалы к себе в погреб и спрятал среди заготовленных впрок Машей крутых яиц, которыми единственно он только и мог закусывать водку. Фургон остановили на краю села, был вечер, хотя село стояло совсем пустое, бабушка велела всем сидеть тихо и никуда не ходить: в поход по деньгам она решила идти одна. Ежели что случится, велела она, то ты – она ткнула ла... то есть рукой, конечно, в одного из внуков, – иди на подмогу, не ровен час, кого резать придется, ну, так мы еще не такое видывали.

В погреб к генеральному старосте старуха залезла запросто, хозяин давно отсыпал свою дозу. Деньги она нашла запросто, даже зубом цыкнула, последним своим: это ж надо, целых семьсот империалов! Ежели на зайчатину перевести, это... Старуха стала перемножать и внезапно проголодалась. Вместе с деньгами

лежала куча куриных яиц, хотя и непривычных, сваренных вкрутую, люди так почему-то любят, но чем не еда? Бабушка достала из лохани сразу пяток и отправила в рот вместе со скорлупой. И сглотнула.

Высшего образования бабушка, понятно, не имела, да и думала, что в ее-то годы без него обойдется. Знать того не знала бабушка, что есть на свете штат Колорадо, а в нем институт Форбса, а в нем – сектор оборотней, которые до того, как приступить к работе, год зубрят сложнейшую формулу Горгулова-Меркадера, лишь исходя из которой единожды переоборотившемся оборотню можно съесть в дальнейшей жизни хоть что-нибудь без риска. Да может, и сошли бы бабушке Серко с ла... тьфу, с рук эти крутые яйца, но, как на грех, одно из них было сверхъядренным: было оно двухжелтковым, из таких цыплята не вылупляются. Любой оборотень, узнай, что предстоит ему такое съесть, сперва потребовал бы у начальства гарантий и пятикратного оклада. Но у бабушки начальства не было – ей кушать хотелось, вот и все.

Когда через два часа обеспокоенный внук, присвоивший себе имя Тимура Волчека, забрался в погреб к Николаю Юрьевичу, он обнаружил там лишь старую курдючную овцу, грустно стоящую над кучей золотых монет. Волчек сгреб монеты, оглядел овцу, которая только бляла да бляла, чем грозила разбудить начальника села. Что с ней делать, если она только «бе» да «бе»? Неужто это бабушка Серко и есть – чего ж тогда она такое невероятное съела? Но оставлять ее бекать было уж совсем опасно, а назад в человечесье состояние пути для нее Тимур, хоть умри, не знал. Обливаясь слезами, Тимур прирезал бабушку, взвалил на себя тушу, прихватил лохань с деньгами – и вот так, еле живой, дотащился до фургона.

Положение грозило стать отчаянным. Пока что из человеческой еды братья Волковы и наименовавший себя Тимуром Волчком старший среди них ели только грибную лапшу: ничего плохого от нее с ними не случилось, хотя сытости особой тоже не наблюдалось. Жрать бабушку хоть сырой, хоть жареной было страшно до нестерпимости: бабушка все ж таки, но это бы полбеда, а ну как превратишься... Думать даже страшно, но ведь может же так случиться, что превратишься?... Да к тому же и сама бабушка не простая все-таки, а курдючная овца!..

Тимур поразмышлял, подкатил фургон к крайней избе села, заведомо покинутой. Деловито вскрыл ее, внес бабушку, велел всем собираться. Тут, за столом собираться. И решать – что делать дальше. В одиночку, без бабушки, вся дальнейшая жизнь, только-только распланированная, подергивалась туманом сомнительности. Мужики с волчьей тоской глядели друг на друга, опасаясь перевести взгляд на овцу, брошенную у печки.

– Ладно, мужики, – сказал Тимур, только чтоб не висело тягостное молчание. – Дело будем делать. Положим, жрать нам ее... нельзя, но будем учиться стряпать по-людски. – Он достал из сумки за дорого купленную в Верхнеблагодатском кулинарную книгу, долго ее листал и, наконец, нашел «Блюда из баранины». Ох, сколько там всего требовалось! В поисках приправ Тимур облазил весь дом и на чердаке, в соломе, отыскал десяток забытых даже в конце ноября зеленых-презеленых плодов, в которых не без труда опознал айву, о ней Сбитнев в своей

мудрой книге писал, что ее еще называют «квитовое яблоко» и служит она символом плотской любви. Со слезами Тимур Волчек выпотрошил бабушку, нафаршировал нарезанной айвой, кое-как зашил суровыми нитками. Волков-старший тем временем, как умел, растопил русскую печь. На печи нашлось корыто, в него фаршированную бабушку запихнули, поставили жариться. Вообще-то по рецепту нужен был еще репчатый лук, нужны были сахар, соль, корица и еще чего-то. Но жуть была не в этом. Кто-то ведь должен будет это попробовать – а ну как человеку это вовсе есть невозможно и вся волчья суть поваров полезет мигом наружу?

– Ладно, мужики, – снова сказал Тимур, вспомнив, чем именно он бабушку нафаршировал, встал и пошел искать в свою команду соучастницу. Идею ему подала айва: как волк, он мог предложить любой бабе волчью верность до гроба, а как человек – место шеф-повара в их кооперативе. После очень недолгих поисков Тимур постучал в окошко Маши, радуясь тому, что еще не окончательно утратил нюх.

– Хозяюшка... – проговорил он простуженным голосом, – такое вот дело... Маша в мужиках кое-что понимала. Этот был чужой, тощий, неухоженный, словно только что освободившийся с химии или того похуже, но была в нем сдержанная мужская сила и решимость и не было никакой злобы, чувствовалось, что за свою подругу – буде такая появится – он чужим глотку готов перегрызть. В общем, не Паша, но где ж взять Пашу?

Маша, почти не колеблясь, согласилась попробовать кооперативную еду. Придя в избу, где раньше жило семейство Антона-кровельщика, она пришла в ужас: мужики наворотили такого!.. Недожаренную овцу она мигом вытащила из печи, сварила одичавшей артели, как та просила, грибной лапши, предложила яичек, даже курочку, но мужики смущенно отказались; она быстро пришла в уверенность: сектанты. Между Машей и мужиками почти все время оказывался Тимур, и Маше как-то даже не было страшно. Мужики собрались серьезные, даже при кулинарной книге. Маша прибрала в избе, сказала, что баранину она завтра переделает, только не рано с утра, с утра ей яичек надобно поповнам отнесть. Жаль было Маше этих мужиков, видать, сто лет не выдавших бабьей ласки, так по-щенячьи они все на нее глядели. В свою избу она вернулась уже затемно. Как она и ожидала, вскоре послышалось царапанье в дверь. Маша погасила свечу, откинула с двери крючок и нырнула под одеяло в одинокую свою постель. А потом до самого утра мучила Машу одна мысль: где же взять лезвия, или электробритву, чтоб мужик побриться мог, ведь это ж не борода, это ж какая-то проволока, это ж какая-то волчья щетина!..

...Витя снова приполз к крыльцу.

– Готово, что ли? – угрюмо спросил один из братьев Волковых, машинально облизывая деревянную ложку, которой недавно лапшу хлебал.

Маша открыла печь, потыкала ножом.

– Твердовато еще, – ответила она, – уж больно айва зеленая. Да не тревожьтесь, по науке все, по книжке.

– Да что там... – не сдавался унылый Волков.

Тимур цыкнул:

– А ты думаешь, гарнир не наука? Сам, что ни лето, лопух жуешь, так уж думаешь, что к баранине тоже лопух сойдет. Нет, айва – дело тонкое...

– Ладно, хватит собачиться...

Витя в ужасе отпрянул. Кто, кроме волка, мог употребить – пусть даже человеческими словами – такое мерзкое слово, «собачиться»? Прочь, прочь отсюда, в Москву, к другим эс-бе! Витя вспомнил, что, несмотря на всю свою породность, прадед Володя подался вот в попугаи, а ведь по другой линии в его, Витиных, жилах тоже текла восьмушка волчьей, а ну как вервольфьей крови? Сожрешь чего не надо, обернешься, этим, как его, страшно подумать...

Поросенком? Куренком? Витя вспомнил съеденного с утра на задворках у Матвея индюшонка, и его затошнило. Нет уж, скорей в Москву, найти добрую суку, и – к ней под бок, тут волки правы, так спокойней. А на досуге – петь можно, вон какое сопрано, сколько не занимался... Хотя бы сольфеджио...

Витя улепетывал в сторону Москвы, а братья Волковы, обретя вожака да еще и вожачиху, уже успокаивались, уже мечтали, как заработают много денег, купят себе шубы из настоящей... росомахи, узнают у кого-нибудь секреты правильного питания, словом, начнут жить по-человечьи. Тимур не сводил глаз с Маши. А Маша, хоть и чувствовала на затылке его взгляд, хоть и была всецело занята бараниной, но с грустью поглядывала на кучку золотых монет, вытряхнутых для нее на завтра. Некоторые из них лежали – и ничего. А другие лежали так, что на них отчетливо был виден Пашин профиль. Хотя за Тимуром она теперь могла чувствовать себя надежней, чем за кремлевской стеной, но Паша, Паша...

Какой там Паша. Государь Всея Руси Павел Второй. Нечего пустую мечту и мечтать-то. А то, глядишь, баранина пригорит.

Дурная, однако, баранина попалась. Жесткая очень.

## Павел II Пригоршня власти Часть 6

*Евгений Витковский*

VI

На самой вершине стоял спящий Собственник, случайно, помимо своей воли ставший владельцем полумира, всесильный и безвольный, последнее воплощение Гамлета на земле.

Герберт Уэллс. Грядущие дни

Софья понимала, что очень по-глупому попалась в крепость на Буяне, но долго оставаться тут не планировала. То, что практически из любой тюрьмы можно сбежать – это она прямо здесь, в келье, вычитала из книг, которые угрюмо приносил ей губернатор – единственный человек из внешнего мира, с которым она могла общаться.

Можно, к примеру, вызвать вертолет. Можно убить тюремщика. Можно уплыть на резиновом плоту. Можно сделать подкоп... хотя это едва ли. Да и соблазнить тюремщика не вышло бы – губернатор, кажется, вовсе никаким сексом не

интересовался. В целом она разобралась, что просто так сбегать глупо – надо еще и решить, куда бежать. Тетку она возненавидела. О России, где власть захватил подлец-братец, сейчас и думать было нельзя. Однако королевских домов в мире все еще хватало, она решила сперва разобраться – с которым из них будет всего надежней вступить в союз, а пока что приходилось терпеть башню и утешаться тем, что ей оставлена не одна камера, а шесть, да еще и свободный выход на продуваемую свежим ветром смотровую площадку. Говорят, нечисть живет в комнатах, если в них есть прямые углы. В круглом донжоне прямых углов не было и быть не могло, но Софья скоро поняла: она живет среди призраков. Башня была заселена ими, как московский барак двадцатых годов комсомольцами. Притом в отведенных ей двух этажах их было еще не так много, они вели себя относительно смирно, а вот на смотровой площадке, меж зубцов и выше, в небе, хозяйничали сразу все германские, кельтские и славянские пантеоны. Среди них Дикая Охота, прилетавшая в грозу каждый раз с той стороны, с которой дул ветер, была не самым страшным чудищем. Присоединиться к ней и умчаться Софья не могла по скованности положения, а то, наверное, умчалась бы. Хотя, как говорили по телевизору, опасно это, но все-таки не хуже, чем сидеть в башне под стражей из немых баб при проклятом телевизоре, где чуть не одна реклама по двадцати каналам. Башня была тесна, как новогодняя головная боль, а ведь зима только еще началась. Хорошо, что в комнатах было только по три угла. У призраков было меньше места, но голова пленницы только сильнее от этого болела. С ней оставалась одна сила воли.

Персонажи ужаса, несущегося по небу, отправили бы в обморок человека вовсе не суеверного, но не таковы были нервы у Софьи. Вотан и Холда Софье казались неинтересными, мужик с нечесаной бородой на восьминогой лошади, баба за ним поперек себя шире, голодные собаки – короче, смотреть не на что. Одноногий киношный пират, еще пьяный монах, опять же всадники, почти половина без голов, как в детской книжке. Правда, полететь бы она согласилась и с такими. Но не получалось это у нее, как не получалось некогда и у Фроси, к которой прилипло погоняло «Ярославна», та тоже так на башне стоять и осталась, но та рыдала, а Софья пребывала в ярости.

Бывало, что охота не торопилась: по небу степенно проезжал катафалк, неторопливо двигались могильщики и факельщики, на козлах горбился возница. Потом старая ладья, из которой торчала высокая мачта с латинским парусом, – правда, Софья не знала, что он латинский. Иной раз проезжал ветхий кэб, на запятках стоял человек в одежде священника, с кнутом и в шляпе, Софья догадывалась, что он прикрывает рога, но запряжен кэб был огромными собаками, это настораживало Софью, но она понимала, что в тучах не возьмешь такси.

Иной раз, как Стенька Разин без княжны, выкатывался из туч король Вальдемар Аттердаг, статую которого Софья углядела возле здешней бухты, и у Софьи подступали слезы бешенства. Именно по вине этого короля она попала в ловушку: если б он не построил тут башню, она бы в ней не сидела! Софья не знала, что башня была моложе Вальдемара лет на двести, но он все равно был

виноват.

На острове некогда жили племена славян. Хотя Софья была в таких делах темна, как дебри Борнео, с башни были отлично видны стоящие на севере маяки у входа в бухту, знаки древних племен правичей и левичей. От капищ мало что осталось, теперь там были устроены маяки, но призракам тамошним ютиться где-то надо было, вот они и перебрались в Карстенбург, и заселили донжон от подземелья до последнего зубца.

Призраки германских времен чувствовали себя здесь бедными родственниками. Они переселялись на Готланд, на Борнхольм, – слишком много злого славянского духа скопили славяне на древних капищах, когда полторы тысячи лет назад стали их теснить отсюда древние германцы. Но к этому времени языческие жертвенники славян уже тысячу лет чадили на острове, и никто не звал его иначе, как Буян.

К тому же лет семьсот германцы и славяне сосуществовали, периодически продавая друг друга в рабство, причем в основном друг другу. Рабы вполне годились для жертвоприношений, и те, кого тут сжигали, – хорошо бы верить, что еще и не съедали, – довольно часто превращались в призраков, притом всегда недобрых. Идти с острова им, как и Софье, было некуда. Даже Дикая Охота не брала их с собой.

Трудно сказать – умнела ли Софья. Но сочетание романовского и керзоновского склада мыслей все-таки давало о себе знать, и смирять в себе ненависть царевна училась. она дала себе слово, что судьбу предшественницы, той, что при Петре облажалась, она так или иначе не повторит. Проживи та лет на десять дольше – глядишь, при очередной попытке переворота все могло быть иначе. Но для этого надо было всего лишь выжить, и она не забывала: в монахини-то постричь ее забыли.

На острове толпились, помимо призраков жертв, куда более злые существа – дохристианские боги. Они переговаривались ночами на почти понятном языке, рокочущем, как грузинский, шипящем, как польский, свистящем, как испанский язык на Канарских островах, и не давали Софье спать. Столетиями им не приносили жертв, а если приносили, то слишком мало. В конце нового тысячелетия угасли сперва пыл инквизиции, позже пыл христианства, и в богах проснулась надежда на воскрешение в новых обликах. Святовита уже чтили под именем Витого Свата. Чернобог потемнел лицом и теперь его звали Чернобурк. Великий Водага, бог вагров, уже давно принял имя Водагры и почти торжествовал. Ярила даже и не сомневался, что будет признан, как Ядрила. Стрибог скромно выбрал имя Стрибай Майданович. Наконец, Перун уже вполне воплотился в новую женскую ипостась под именем Порнуха. Жертвы многим из них уже приносились, хотя приходилось делиться: каждая подхваченная в мире венера, понятно, была жертвой именно Венере.

Между тем боги не могли покинуть башню, как тролль не может покинуть мост, как Софья не могла покинуть донжон Карстенбурга, как ее предшественница, царица с тем же именем, не могла покинуть Новодевичий. Но за ту боролись стрельцы, а нынче сама Софья находилась под стражей у стрельчих. Это было даже не подло, это было примитивно и глупо. Все, чего она добилась пока что –

это книги на русском и французском из довольно богатой библиотеки замка. На французском тут имелись на выбор либо юридические документы и справочники по ним, либо, как ни странно редкие издания колдовских гримуаров, правда, набитых латынью, но и остальное в них было забавно. В них нашлось немало того, что могло пригодиться и в ее нынешнем положении. Некая книга «Великий гримуар, или искусство управления воздушными, земными и подземными духами», давала толковые советы о том, как общаться с мертвыми, выигрывать в лотерею, находить скрытые сокровища и прочее, тоже полезное в жизни. При этом давалась масса инструкций, в ее одинокой жизни легко исполнимых.

Например, предлагалось провести четверть месяца, избегая любого общества женщин или же девиц, чтобы не впасть в нечистоту. Софья и так со своими сторожихами не общалась, и предпочла бы плюнуть каждой в рожу, но это тоже получилось бы какое-никакое общение, так что лучше не надо. Еще надо было поститься. но с этим как-нибудь. Предлагалось зарезать козленка, но Софья полагала. что если это и впрямь может подействовать, то за козла сойдет губернатор.

Дальше шло много всякой фигни, которую наверняка можно было пропустить. Правда, еще требовалось помолиться Люциферу, Астароту, Саламандру и прочим нечестивым персонажам, но Софья понимала. что любой из них все-таки порядочней, чем ее тетушка и братец.

А еще ей достали гримуары про черную бутылку, черную куру, черную сову, черную икру и много всякого другого черного. Со скуки она их все прочла и, как ни странно, много поняла. Отчего-то все это чтение отбивало сон, но она этого не замечала. Интересней же всего были две или три книги, переведенные с английского, одного автора и все на одну тему: о том, как выйти из тела и свободно перемещаться куда угодно, видеть и слышать все, что надо, а потом вернуться назад в тело. Эта идея «астрального тела», в котором, оказывается, даже сидя в Карстенбурге неплохо гулять по белу свету, Софью захватила сразу. Она потребовала у губернатора бумагу и авторучку, тот не нашел повода отказывать – не станет же она «самолетиками» просить о помощи своих сторонников – и бумагу принес. Софья восприняла книгу американца, совсем свежую, буквально как инструкцию, потому что молиться Люциферу ей пока не хотелось.

В книге советовали прежде всего не отгонять от себя сны, стараться их запомнить и даже направлять в них действие, а после пробуждения быстро записывать. Сны непостоянны, говорилось в книге, словно лодка, одновременно плывущая в разные стороны, словно флюгер, указующий путь по всем тридцати двум румбам, словно король, ставший военным министром вражеской страны после того, как проиграл все сражения, словно камень, летящий ниоткуда в никуда, непрерывно меняя не только свою форму, но и форму бросившей его руки. Софье нравилась мысль автора, что тот, кто обрел внетелесный опыт, становится и радостнее, и могущественней обычного человека, да еще и способен предвидеть ближайшие события. Он может увидеть не только ветер, и не только изнанку ветра, он может коснуться и грани ветра, и танцевать на ней



лучами всех пяти звезд Кассиопеи. Много было для нее бесполезно, хотя интересно, например, возможность для художника видеть картины, которые он написал бы через два года после своей смерти, или все же написал, но уже в другой жизни. Софья не была художником, но ведь и царицей еще не была, а там ведь кто знает – все может случиться.

Чем-то был важен для нее с трудом вызываемый в третьей четверти луны сон о трех смежных комнатах: человек тут живет всегда в средней, где Настоящее, а в две других может лишь пытаться заглянуть, – там, конечно, Прошлое и Будущее, но они прикрыты твердым, как мрамор, туманом, стеной стоящим тогда, когда на него не смотришь, эти комнаты почти не зависят от нас, а средняя, где живет Настоящее, нестабильна, норовит лишить нас паркета под ногами, и нам остается прыгать по нему, стараясь не поскользнуться. И это так и только так, лишь не надо думать, что в комнате, где Прошлое, мы рождаемся, а в комнате, где будущее – умираем: ведь может быть и совсем наоборот, а точно откуда нам знать? Мы не знаем, где прошлое, и где будущее, как не знаем, где север и юг, ибо стрелка компаса вертится и указывает путь по всем тридцати двум румбам.

Удивительней всего было то, что затуманенный советской жизнью ум Софьи, хотя и медленно, но стал приоткрываться всему, что возникало перед ее бессонным, внетелесным зрением. Словно гусеница, начинающая превращаться в имаго, о котором никогда и не слышала и не думала, она постепенно превращалась в куколку, все меньше спала и все больше видела снов.

В каком-то из них ей явился безымянный предсказатель и велел ждать: во сне ее пригласит к себе старый маленький голландец Ондеркант ван Дромен, он столетиями пишет натюрморты, он снимет один с холста, он предложит ей тарелку холодной баранины по-валлийски и сладкий пирог, и неважно, примет ли она из его рук пищу, только не надо смотреть на картину, с которой он возьмет тарелку, вовсе не надо смотреть на старую голландскую живопись у него в мастерской, об остальном время само позаботится. Насчет баранины Софья ничего не поняла, особенно почему она по-валлийски, если и слова она такого не понимает, но вспомнила русскую мудрость о том, что «подольше поспится – и медведь приснится», применила ее к баранине по-валлийски – и решила, что она, наверное, слишком много спит. Она между тем спала все меньше. Да и декабрь к тому же кончился.

Случай с именем художника – его она его ясно расслышала – был в ее снах наяву одиночным, другие имена тоже звучали. но разобрать их ей не удавалось. Видимо, они звучали на разных языках, а в этой области у Софьи больших познаний не имелось. Губернатор принес ей учебники и словари, какие нашлись, но нашлось немного, и не то, что ее интересовало, да и трудно учить языки без преподавателя. Появлявшийся в ее снах безымянный предсказатель успокаивал: все в свое время.

Софья подсчитывала: ее предшественница провела в монастыре девять лет. Значит, попала в монастырь в тридцать два. Софью Вторую заточили в башню в тридцать семь. не такая уж большая разница. Девять лет она тут, конечно. не пробудет, но год-другой, возможно, потерпеть придется. Значит, пока

что надо качать права. Для начала она решила потребовать регулярного посещения церкви. Потребовать соблюдения праздничных дней. Каких? Нового года, Рождества, Пасхи, дня рождения, первого мая там, что еще положено. Обсудим. Прогулок...

По первым двум пунктам Морейно не нашел, что ответить, заметно скис. Насчет прогулок отказал сразу: к ее услугам обширная смотровая площадка с самым чистым балтийским воздухом. Софья сдалась, но куда губернатор ломал голову над проблемами церковными и праздничными, стала размышлять – чего еще вправе требовать. И тут ей неожиданно пригодилась французская справочно-юридическая литература, – отыскался текст Римской конвенции о правах заключенных тридцатилетней давности, причем, как следовало из прочих источников, никто эту конвенцию не отменял. Неважно, подписывал ее Советский Союз или нет: формально Софья сейчас находилась на территории Датского королевства. Прежде всего конвенция запрещала пытки и рабство. Далее: Софье не были продиктованы ее права и обязанности, как заключенной. Ей не предоставили защитника. Ее лишили права менять религию, а также права менять мнение, лишили права вступления в брак и его расторжения, права на справедливую компенсацию. Ей отказано в праве на образование. Наконец, смертная казнь в Европе запрещена. А заключение в башне даже хуже смертной казни.

Если первый демарш Софьи цели более или менее достиг, то новые требования, видимо, посоветовавшись с кем-то, губернатор отверг решительно. Как член императорской фамилии, что ею было многократно признано, она имеет право на справедливую защиту от возможных покушений на жизнь и здоровье: хоть и с большим трудом, но пока что их величеству Кнуду Седьмому удается держать террористов на безопасном расстоянии от Роделанда, но если она считает принятые меры недостаточными – придется и в самом деле ограничить доступ к ней еще больше, установить камеры наблюдения на лестницах и этажах, кстати, верхний этаж вообще закрыть, как и площадку, замуровать окна, кроме возможно, одного, которое надо будет сузить, поместить ее в одну комнату вместо трех, может быть, и вовсе без окна, в двух оставшихся разместить усиленные отряды стражи. Ну, а что касается образования. так он готов хоть всю библиотеку принести в ее комнаты, правда, тогда тут места и совсем не останется, там есть рукописные инкунабулы в человеческий рост, они по фехтовальным позам, очень интересные, прямо оторваться нельзя.

Софья отступилась и вернулась к прежним требованиям, минимальным, но уж тут решила стоять насмерть. Новый год ей отпраздновать не дали. Ни европейский, ни православный. Не говоря уже о Рождестве. Ну, дальше она будет в подобных случаях объявлять голодовку. А пока что она требует справедливой компенсации.

И Морейно проклял ту минуту, когда принес книги по юридическим наукам. Откуда ему было знать, что это такое, если он по-французски трех букв не понимал? А Софья отчего-то умнела с каждым месяцем.

Православных храмов на острове с давних времен осталось несколько, но службу в них вести было некому. Часовню над дюнами охранял казак

Ксенофонт, но он не был духовным лицом. С окормительскими визитами на острове периодически появлялся отец Козьма Ареопагитский из города Висбю, что на Готланде, в Швеции, и раз в полгода вместе с ним приезжал крестить и венчать немногочисленных православных греческий схимонах Никодим из города Лунда. Отца Козьму иной раз вызывали и на отпевание, но, спасибо воздуху Балтики, люди на острове жили долго. С ним губернатор и связался, и получил внятный ответ, что проблема такая часто бывает, и на этот случай имеет место богослужение мирянским чином, и оно даже предпочтительно при отсутствии священника – ибо дает право объявить место богослужения катакомбой, а тогда тут уж послабления будут значительные. Как губернатор острова Морейно немедленно объявил донжон замка темной катакомбой, и все требующиеся права получил. А отец Козьма решил подумать – кого можно благословить на богослужение православным мирянским чином в Карстенбурге. Что ж касается исповеди и прочего – то с благословения иерея крайних случаях в отсутствие священника православный человек может исповедаться даже мирянину. Случай с Софьей вполне можно считать крайним, нужно лишь позаботиться о том, чтобы мирянин не разглашал тайну исповеди. Морейно понял, что обязанность могут легко повесить на него и тактично дал время отцу Козьме подумать.

Дальше возник вопрос о праздниках. К примеру, Дания не праздновала день первого мая – но, как назло, его праздновала Швеция. Морейно менее всего хотел оказаться между двух огней, точнее, между двух королей. Как следовало из буквы закона, Кнуд Седьмой Датский к этому празднику не относился никак – но Софья для себя его уже потребовала. И была в своем праве: их величество Густав Седьмой Шведский тоже праздновал это самое распроклятое первое мая. А ведь Швеция лишь потому не трогала Роделанд, что подобных конфликтов до сих пор не было. Морейно решил, что лучше пойдет на конфликт с претенденткой на императорский престол и выплатит ей разумную компенсацию из своего кармана, чем перессорится с двумя законными королями. О том, что в России уже существует праздник 12 ноября – день коронации императора Павла – он предпочитал не думать: это было еще не скоро.

Покуда Морейно маялся законными требованиями царевны, она все глубже погружалась в сны наяву. Она уходила в них даже за обедом, который в горячих суждениях из харчевни «У Тьяцци» таскали ей мрачные стрельчихи после того, как она без большого нажима выразила недовольство датской привычкой весь день жевать бутерброды. Однако против обычной курятины с печеной картошкой она не возражала, хотя бы в этом пункте с ней было легко. Но вскоре она согласилась бы и на бутерброды и вообще на что угодно – у нее стало атрофироваться чувство вкуса.

Софья, сама того не понимая, незаметно овладевала техникой глубокой медитации, осознанного сна, в котором при известном усилии вполне можно выйти из своего тела и, как говорится, гулять по буфету. В этом состоянии непонятные сущности языческих богов, прижившихся в стенах донжона, не только обретали реальность и, если не плоть, то видимый облик, и с ними

можно было общаться. Конечно, разум этих лавкрафтовских персонажей – хотя Софья и не знала, кто такой Лавкрафт, но ведь и кот не знает, кто такой Шредингер – этот разум лишь едва-едва мог соприкоснуться с рассудком царевны, но столь мал был горизонт событий в донжоне, что всем высоко обитающим сторонам приходилось, хочешь не хочешь, договариваться. Однако чаще всего приходил к Софье отнюдь не древний бог, а немолодой моряк в скандинавском костюме – в сером кафтане с зеленой обшивкой, в коротких штанах с пришитыми чулками, в металлическом поясе с подвижными звеньями и еще в чем-то, чего Софья не могла опознать. На плечах морехода всегда лежал тяжелый рыбацкий плащ, но голова его была непокрыта, и рыжие кудри напоминали меховую шапку. Чертами лица он походил на своих детей, которыми так и не обзавелся, и на правнуков, в которых его род все равно бы неизбежно угас. Софья догадалась, что был этот мореход давним узником того же донжона, что и она, здесь умер, здесь, возможно, и похоронен. Он не говорил, все время что-то старался показать на пальцах, с десятого раза царевна поняла: у него вырезан язык, а рисует он в воздухе корабль, лежащий на дне и куда-то буксируемый. Бывало, моряк садился за стол и просто смотрел на нее, исчезая лишь при достаточно редкостном на зимней Балтике прямом солнечном освещении.

Напротив, чуть не все время торчавший в одном из внешних углов комнаты древний какой-то бог, точно что из важных, бормотал непрерывно, и его даже можно было понять, он лепетал на каком-то старинном славянском наречии. Общий смысл его слов сводился к тому, что посмертием своим он не очень тяготится, что все зло на земле ему подвластно, что если захочет он, то его призовет, а захочет, так и отзовет, что он скоро воскреснет, даже Софье выйти на свободу поможет, если она согласится поставить ему жертвенник и поклониться, как положено. Она соглашалась, увы, не соображая, что именно будет ценой такой услуги.

Еще из стены порою выходила высокая, несуразная птица. что-то среднее между страусом, гусем и вороной, и назойливо начинала обходить комнату – притом любую из шести. Когтей на лапах птицы не было, они скорей напоминали сильно вытянутые кошачьи лапы. Крылья были слабы и вечно сложены, где таким поднять тяжелую их обладательницу. Птица шелкала клювом и тоже все время говорила что-то, говорила, говорила. Она точно была богом. Кто ее знает – у кого, где, когда и чего?

А отец Козьма тем временем надумал. Видать, все-таки под счастливой звездой родился губернатор. Священник позвонил в Карстенбург и попросил пригласить в замковый офис хранителя часовни святого равноапостольного епископа Ансария – Ксенофонта Бурундука. Губернатор понял, что хоть одну беду с большой головы на здоровую перебросить вроде бы удастся. Послал с мальчиком приглашение, чтоб казак явился официально к его телефону. Точнее – к отводной трубке.

Ближе к вечеру, в потемках уже, Ксенофонт объявился в Карстенбурге и безропотно взял телефонную трубку, чтобы получить инструкции. Однако, когда иерей завел монолог о том, что мирянский чин богослужения связан и с

отсутствием евхаристии и с тем, что как таковой порожден репрессиями советской власти, губернатор осознал, что угодил из небольшого огня в большое поле. Ругаться с быстро становящейся вполне советской, но чрезвычайно православной империей, нельзя было категорически именно по вопросу евхаристии: царица начнет требовать причастия сразу после исповеди. а как раз этого он обеспечить не мог. По новым границам Роделанд определенно переходил в подчинение столице восстанавливаемого герцогства Мекленбург, Шверину. Но даже кошки знали о том, что одним из реальных претендентов на мекленбургскую корону был опять-таки российский император – коему по отцу его узница все же приходилась сестрой – положение губернатора становилось уж совсем шатким. Он с ужасом понял, что родился под очень несчастливой звездой и в грязной рубашке.

Короче, хоть умри, но на Роделанде требовался настоящий православный священник. Постоянный! Притом до восемнадцатого апреля. До православной Пасхи. интересно, есть ли хоть где-то на свете православная скорая помощь?.. Йорис понял, что нигде, даже на острове Буяне нет покоя и спасения русскому человеку, поднявшему морду от земли хоть на вершок. Даже если этот русский человек – ижорский, государя Петра Великого расфасовки и едва ли не производства, империя достанет тебя везде. Не отойдет Роделанд к России, ладно, но кто бы ни встал во главе Мекленбурга-Гюстрова, с Россией он ссориться не захочет. Не выполнить пожелания сестры императора – значит, проявить преступное неуважение к высшей власти. Совсем избавиться от Софьи каким-нибудь апоплексическим образом – погибнуть с гарантией. Остается лишь выполнить ее приказ. Морейно сообщил узнице, что у нее будет свой духовник еще до Пасхи, но она почти не слышала его.

Вокруг нее замыкалась невидимая сфера сна и сновидений, а призраки и духи образовывали медленно движущееся кольцо, напоминавшее кольцо Сатурна. Персонажи Дикой Охоты чередовались тут с постоянными жильцами башни, среди которых адмирал Карстен Роде, Чернобог и Симаргл даже не были самыми заметными. Круг сливался и превращался в тяжело вращающийся диск, похожий на огромную медную или латунную монету, напоминающую луну, идущую на ущерб, но не вертикально, как видится людям на земле, а так, как изображают побежденный полумесяц на маковках церквей под крестом – рогами вверх.

Круг наполнился шепотами.

«Усни, царевна».

«Сон лучше страдания».

«Сон лучше ожидания».

«Сон лучше печали».

«Сон лучше молитвы».

«Сон не даст постареть»

«Сон даст надежду».

«Усни, царевна».

«Усни, царица».

Вокруг Софьи исчезла смена дня и ночи. Она перестала есть, перестала вставать

с постели, не отзывалась, когда к ней обращались. Врач-датчанин, которого привел к ней губернатор, много раз повторил с вопросительной интонацией «Letargi? Letargi?» Морейно по-датски понимал крайне мало, но тут знание языка не требовалось. «Только вот этого не хватало», – думал он, – «Спящая красавица на мою голову...»

Пока с царевны снимали энцефалограммы и прочее, губернатор стал готовиться к худшему. Если еще вчера некуда было бежать царевне, то теперь в том же положении был он сам. Спасти его могло только самое деятельное вмешательство в дело спасения узницы. Он лично посетил часовню святого Ангария и молился о выздоровлении рабы Божией, о каковом его посещении и о каковой молитве казак Ксенофонт проинформировал администрацию в Копенгагене, а на всякий случай и будущую столицу почти уже вновь рожденного Великого Герцогства Мекленбург – Шверин. С немецким у казака было похуже, но в герцогстве его, кажется, поняли. Новости в наш век разносятся быстро, а то, что в жилах русского царя и его сестры немалая часть крови принадлежит именно мекленбургской династии, наводило на серьезные размышления.

Между тем врачи пришли к относительно успокоительному для губернатора выводу – у больной синдром крайней усталости от советской жизни, ей надо выспаться, такие случаи хорошо известны науке именно у тех, кто выбрал свободу и стал на Западе невозвращенцем. Губернатор стал интересоваться: возможно, этот синдром получил особенно широкое распространение среди лиц императорской крови? Да, подтвердили медики, среди лиц благородных фамилий особенно распространено стремление проспаться все неприятности. У постели Софьи, не исчезая ни на миг, стоял незримый телесным оком Безымянный Предсказатель. Тихонько шептал, запуская руки по локоть в ее сны ощупывая все, что в них находил. А лежали там, как на антресолях, пыльные мечты советской жены директора автобазы о шестикомнатной квартире и домработнице, такой, чтобы и не стоила ничего и чтоб не воровала и все делала, о даче в Цхалтубо, чтобы минеральные воды, и чтоб в Африку, и чтоб в Америку, и чтобы колбаса не дороже чем по два девяносто, чтобы горбуша не по три а по два двадцать, и чтоб «Кристина» меньше двух тысяч, нечего гадов баловать, а еще чтоб Витька пить бросил или хоть чтобы пусть бы стояло хоть иногда, а еще чтобы в Большом Кремлевском Дворце прямо вот Георгиевский зал и Грановитая палата оружейная...

Предсказатель недовольно расталкивал весь этот мусор, удлинял руку и по самое плечо лез еще глубже, туда, где у человека сны лежат двойные, мужские и женские, белые и черные, светлые и темные, левые и правые, приговоренные и помилованные, но никогда не поднимающиеся из глубины души, разве только в полной кататонии, когда организм готов к смерти, и лишь сила воли держит тело живым и требует если не сейчас, то в будущем непременно пробуждения, – там предсказатель и нашел тот главный сон, который позвал к себе царевну, сон о том, как она, старшая сестра, перестанет стариться и для подлого брата станет младшей, молодой сестрой, перед которой будут открыты дороги к светлому грядущему тогда, когда сам он иссохнет и станет дряхлым

стариком, пусть уж лучше такое будущее, чем смотреть на этого гада, торжествующего в своем Кремле, пропади он пропадом...

У призрачного провидца при всем его бессмертии начинало иссякать терпение. Гусеница не просто хотела стать куколкой, она метила сразу и в Спящие Красавицы и во Владычицы Морские, в махаоны, в агриппины, в Князя Тьмы, в павлиноглазку, бабочку огромную и ослепительно прекрасную, как любой Князь Тьмы. И противиться этому было так же невозможно, как разбудить царевну, не убив ее при этом. Но даже в последнем провидец уверен не был, — возможно, убить ее не позволили бы древние боги и призраки Дикой Охоты, вменившие себе в обязанность охранять ее временный, ни в коем случае не вечный, покой. Оставалось объяснить все это губернатору, тоже ночевавшему которую ночь в донжоне в ожидании хоть каких-нибудь новостей.

Предсказатель нащупал сновидение, отворил клапан и протиснулся в душу к Морейно.

Здесь его встретил персонаж неожиданный — цветастый геральдический грифон, шествующий влево, с золотым мечом и таким же круглым щитом. Провидец человеком не был и сразу почувствовал, что перед ним герб. Вполне законный, хотя и поздний герб Дома Романовых. Провидец пошуровал вокруг, перебирая кошмарные сны былого проктолога, сделал выводы и стал подниматься из глубин к поверхности. Вывод был краток и неоспорим: Йорис Морейно со страху повторял судьбу подопечной — засыпал так же, как она. Мало было острову Буяну одной спящей красавицы, так на ней решил самозародиться еще и Кашей Бессмертный, мужик ижорский, не ровен час, грядущий то ли Хам, то ли Распутин, — провидец и мог бы понять, кто именно, но ему за такое понимание не платили, вот и нечего тут было понимать, он оттолкнул грифона и вышел вон. Не зря, видимо, хотя бы формально дело происходило именно в королевстве Хольгера Датчанина, великого короля Ауткариуса, правившего во времена Карла Великого, знаменитого тем, что как ушел он спать в пещеру под горой, так и спит в ней до сих пор. Предсказатель знал, что лучше сейчас помолчать, ибо даже боги не могут отменить того, что предсказано, того, что написано на роду, тем более, если случилось оно в городе, некогда носившем имя Родовода.

Время в донжоне постепенно стало замедляться даже по сравнению с небыстрым временем жизни островного городка. Если раньше сердце царевны делало шестьдесят ударов в минуту, то теперь ударов стало тридцать, завтра — двадцать, всего шесть — через неделю. Но это не была смерть, кстати, и у губернатора тоже: казалось, будто *spiritum pro morbo*, дух болезни места, дух морового поветрия, который за много столетий скопила в себе башня, заразил их, и приговорил к сну. Ксенофонт, по счастью, сообразил, что именно делать с самой Софьей: официально ей принадлежал дворец Ведере близ Копенгагена, вот там пусть король о ней и заботится. что ж касается губернатора. то здесь не выйдет ничего, он по определению гражданин России, ибо не отказывался от советского паспорта. Пусть государь сам с ним разбирается. Казак обратился в русское консульство в Шверине и попросил забрать с Рауберинзеля, — слово какое, не выговоришь, — приболевшего российского подданного, — тем вся

история приключений дома Романовых на острове Буяне надолго и окончилась. По крайней мере, на те тридцать семь лет, которые и Софье, и поддельному губернатору было суждено проспать в капсульном отеле, куда поместил их приказ уважаемого всем миром короля Кнуда Седьмого.

## Павел II Пригоршня власти Часть 7

*Евгений Витковский*

VII

И где это он так в орденах вывалился?  
Аркадий Аверченко. Хлебушко

Ни в жизнь бы на эту работу не пошел, если б знал наперед, что здесь ни выходных, ни праздников, ни отгулов, а один сплошной рабочий день по четырнадцать часов, никаких доплат за сверхурочные, одни сплошные общественные нагрузки. Не говоря уже о том, что отпуск – только в могилу. Император смертельно уставал; даже в школе, после двух смен и кружка по истории города Свердловска, никогда он так не выматывался. Павел засыпал, вконец обессилев, и таким же просыпался. Никакого просвета на этой каторге не предвиделось: царь понимал, что груз державной ответственности он сам на свои плечи взвалил, сам должен и тащить, – а что делать, если кругом никто ни хрена не делает, все норовят на царя спихнуть?

Сегодня, как уже много дней подряд, Павел просыпался именно с такими вот мыслями. Пробуждался он с трудом и очень медленно, оттого, что спал неглубоко, три или четыре раза ночью просыпался, что-то все передумывал. Снотворные не помогали, принимать что-нибудь посильнее он боялся. Он вынужден был беречь здоровье, – как еще вести себя царю, у которого и наследника-то нет? Лечащий врач, которого подарил Павлу его южноамериканский дядя, очень ворчал на эти перегрузки. Забавный такой человек, раньше у Георгия возглавлял Институт искусственного инфаркта, потом его чуть не шлепнули за слишком-много-знание, но дядя его вызволил, дал пожить у себя на курорте, а теперь вот подарил; сказал, что доверять ему можно на все сто, потому что, проверено, об инфаркте этот тип знает столько, сколько все прочие медики вместе взятые, а больше Павлу всерьез ничто в ближайшие десятилетия не угрожает, это дядя узнал у верных людей. Этот самый лекарь Цыбаков не имел даже докторской степени, да и кандидатскую защитил давным-давно за открытие целебных вод на Брянщине, над чем Павел посмеивался, он-то знал, откуда и куда в тех краях вода течет. Первое время на врача очень косился канцлер, а потом попросил у Павла разрешения: проконсультироваться насчет состояния здоровья. Павлу было этого товара не жалко, пусть пользуется, не деньги, не чины, не ордена – последних Шелковников определенно перебрал – и заслал канцлера в кабинет, устроенный возле царской спальни. Провел там канцлер часа два, а вышел мрачнее тучи. Вечером Павел требовал с лекаря доклад о здоровье канцлера и долго в душе



злорадствовал: Цыбаков намерил у пациента лишних сорок килограммов веса, повышенное давление, гипертрофию аппетита на почве начинающегося диабета и еще черта в ступе. В частности, Цыбаков строго запретил армянский рисовый суп «брндзи шорва», а также все хлебобулочное, кроме пресных сухарей. Павел знал привычку канцлера носить при себе два портсигара с бутербродами: теперь из этих бутербродов предстояло вычесть и бутер-масло, и брод-хлеб. Наутро Павел позвонил Елене Шелковниковой, и вместе они придумали, как быть с пропитанием для непутевого ее мужика. По заказу Павла в императорских мастерских изготовили именные «георгиевские», то есть Георгие-Шелковниковские портсигары, особо глубокие, с золотой ложечкой на цепочке: пусть жрет одну икру без прилагательных. Впрочем, поразмышляв, Павел прибавил к портсигарам именную бухарскую шашку и звание «Почетный джигит России»: все это он барону Учкудукскому в присутствии баронессы и презентовал. В глазах канцлера стояли слезы, но на него строго смотрела жена, он и пикнуть не смел. Пикнуть при Павле с самой коронации вообще никто не смел.

Ох уж эта коронация! Павел помнил, как проснулся наутро в пятницу прямо на троне, за неубранным столом; Тонька с вечера Грановитую опечатаала, боялась покушений на нетрезвого царя, и Преображенский полк поставила палату сторожить. Но царем себя Павел отчего-то вовсе не чувствовал, он чувствовал себя очень несчастным, очень похмельным человеком. «Если я царь, то почему у меня похмелье?» – мучительно вопрошал он, а ответа не было. Он с трудом открыл глаза и увидел, что канцлер-генсек ходит вокруг стола, шарит жадными глазами и подбирает с блюд кусочки. «Опохмелиться бы...» – пролепетал Павел, и чего-то ему чуткая Тонька мигом поднесла. Полегчало, но на канцлерскую жадность Павел затаил злобу.

Вымещение злобы на канцлере стало теперь чуть ли не единственным развлечением царя. Свободного времени не было и быть не могло. Тоня к тому же нелегко переносила беременность, этого не скроешь, когда шестой месяц пошел. Павел приставил к ней роту врачей и узнал, что будет мальчик. Придумать Тоне титул да прямо и топтать под венец было сейчас никак невозможно, ребенок так и так оказывался «привенчанным», а Катерина-дура все никак не начинала разговор насчет гражданского развода. Ну, ладно, пусть Тоня родит, можно будет восстановить ее подлинную генеалогию, на то специалисты есть в империи, даже верховный блазонер, тот, что гербы выдает – тогда с ней и повенчаться можно, а что сын привенчанным будет, так при дедушке Петре обе дочери такими были, ничего, унаследовали империю. А вот Катю тогда придется все-таки в монастырь. Ну, Джеймса к ней для охраны и прочего, но что ж это за жизнь им будет в Суздале? Вовсе не хотел он такой гадости ни морганатической супруге, ни молочному, так сказать, брату.

Куда проще сделать что-нибудь для кого-нибудь постороннего. Попросила Тоня возвести в хорошее дворянское достоинство свою давнюю подругу, алкоголичку Татьяну. Павел только бросил взгляд на список островов, предназначенных к пожалованию, и нашел там маленький арктический архипелаг к северу от Северной Земли – острова Демьяна Бедного. Графиня

Демьяно-Бедная?.. Фу, пошлость какая. Острова переименовать, к примеру, будет это Земля Святой Татьяны, кстати, проверить, что за Святая, – она, помнится, мученица, и еще Татьянин день как-то со студентами связан. Ну, наша Татьяна университетов не заканчивала, так ведь это вовсе и не ее имени земля, а всего лишь древнее ее родовое поместье. А будет она теперь – Павел еще раз глянул на карту – м-м-м... княгиня Ледовитая. Очень ей подойдет. Павел помнил, что волен раздавать настоящие княжьи титулы только на те земли, на которые русское княжение прежде не простиралось. По слухам, пожаловал же Иван Грозный Ермака Тимофеевича, личность сомнительную и в семи могилах похороненную, званием князя Сибирского. Разгильдяй был царь Иван, даром что Сибирь присоединил с Казанью, но чтоб одному холопу да всю Сибирь! Павел поразмышлял, не много ли будет для Таньки – Ледовитая. Да нет, не особенно. Звучит к тому же хорошо, Танькину сущность выражает. Павел росчерком пера возвел Татьяну в ледовитое достоинство и записал для памяти, что надо дать приказы: генеалогам – восстановить родословную, блазонеру – составить герб, Половецкому – подобрать ей подмосковное поместье. Ох, не справляется этот Половецкий, Сухоплещенко куда лучше дело знал, да вот ушел со службы в статские, не выдержал напряжения. Где только кадры взять, где? Пушкин писал, что бедная Россия – в ней даже Кочубея некем заменить. А у Павла вот и Кочубея-то не было.

Все эти мысли распирала голову медленно пробуждающегося Павла, и если б только они. От военной доктрины, экономики, аграрной политики, здравоохранения, внешнеполитической гадости голова шла колесом. А тут еще всякие государственные тайны. Прежде Павел наивно полагал, что, как только станет императором, так сразу все эти тайны чохом узнает. Черта с два! Получалось так, что ни один министр по своему ведомству никаких тайн не знает, все засекречено даже от него самого, разве что кое-что иной раз по другим ведомствам прямым шпионажем выведывает и с доносом к императору тут же мчит на всех парах. Павел заподозрил, что перед ним оригинальный способ ничего не делать на службе, то есть прямой саботаж. Проверил – так и есть, и референты не лучше, а узнать что-нибудь толком можно лишь из передач заграничных радиостанций. Вот, стало быть, еще и министров меняй... Хоть блазонер толковый, и то хорошо...

На этой мысли Павел проснулся окончательно, сел в постели. Спальней он выбрал себе небольшую комнатку в наспех отстроенном специально для него дворце, в память о прапрадедушке названном Ассамблейным. Велел обставить комнату попроще, хотя – не выдержал – кровать заказал все-таки двуспальную, Тоня иначе, того гляди, обиделась бы. А вот как насчет... Павел судорожно глотал подкисленную воду, мысли уже лихорадочно мчались по ежедневной тропе, двигались в привычном беличьем колесе. Так вот, как мысль насчет лицензионного права на антисемитизм? Возьмем на женском примере. Доказала ты, голубушка, что тебя пять евреев бросили – получи право быть антисемиткой, лицензия бесплатная, с отметкой, что пятеро было их, подлецов. Четверо евреев тебя бросили – плати пол-империала в месяц. Трое – цельный, с портретом государя и его инициалом. И так далее. А если вовсе тебя никакие

евреи не бросали, а хочешь ты быть антисемиткой, или там антикорейкой – плати свои пять в месяц, они же семьдесят пять рубликов золотом, и будь кем тебе приспичило... Казне очень даже полезно, вовсе в ней не густо. Опять же и штрафы за неоформленную лицензию.

На десять Павел вызвал верховного блазонера. Глупость какая это название, нельзя уж было эту должность просто и по-русски назвать – герольдмейстер? Так нет же, блазонер, по-французски, сам ненароком и утвердил. Чего только не наподписывал с устатку. Гнать бы этих референтов, тьфу, дьяков, да новых взять негде. Ну, сам-то блазонер не виноват, он все по науке делает, великий старик. Павел его еще на коронации приметил, с ним креол разговаривал, кормил его чем-то. Свинская была коронация, прямо какие-то поминки в коммунальной квартире, даже посуду одинаковую поставить не могли, перед блазонером стыдно. Он, блазонер верховный, говорят, еще и книги по теоретической кулинарии пишет, дипломы за это свое хобби получил уже все, какие есть. Ну, это его хобби, за хобби места за царевым столом не положено, будь ты хоть сам ректор Военно-Кулинарной академии Аракелян. А блазонера как же не пригласить? Он ведь гербораздатчик верховный, древних-символов-и-девизов подтвердитель. Павел все никак не находил в себе смелости попросить блазонера: не мог бы тот лично для него, для царя, заварить этот самый напиток, из-за которого кто-то из ранних царей ему фамилию придумал: сбитень. Прежде Павел пил только тот, что приносила в термосе Маша Мохначева, славный у нее напиток получался. Где ты, Маша? Агенты Павла немало удивили его сообщением, что среди сношаревых Настасий Маши в Зарядье-Благодатском нет. Что это она? Говорят, не поехала. Ну, ладно. Может, и к лучшему, того гляди, Тоня бы заревновала, а это ей нынче, на шестом месяце, ну никаким образом не нужно.

Павел умывался сам: камердинера, который будет про него все знать, а потом прирежет, он не хотел, – истинно верного взять было негде. Завтрак теперь готовила для него Мария Казимировна: после того, как та перешла из компартии в православие, Тоня стала ей доверять. Павел прошел в кабинет и прямо за письменным столом съел неизбежные блинчики, выпил кофе, глянул на часы: ох, без четверти десять. Справа на столе высилась гора бумаг на подпись, слева еще какая-то дрянь. Павел вызвал секретаря. Подобрал ему этого длинного блондина Половецкий, звали его Анатолий Маркович, и был он, если верить Половецкому, человеком совершенно гражданским. «А в армии служил?» – спросил Павел. «У него левая нога короче правой», – скромно потупясь, сообщил толстый управделами. «Ну, и пусть будет Анатолий, но почему Маркович?» – «А его отца звали Марк Иванович, его поп крестил по святцам». – «Ну, раз по святцам, и левая нога...» Так Павел получил молчаливого, исполнительного, хотя и хромого секретаря.

Секретарь доложил, что его превосходительство действительный статский советник Вильгельм Сбитнев изволили прибыть пять минут назад, от чая изволили отказаться устно, от кофий – гневным взглядом, а сейчас изволят сидеть в кресле напротив кабинета. «Проси», – сказал Павел и придал лицу выражение бессонно проведенной ночи, что недалеко было от

действительности, хоть и проспал царь сколько-то там часов. Секретарь почтительно ввел старика с бородой веником, и Павел невольно встал, чтобы поздороваться; он не помнил ни одного человека, ради которого ему это хотелось бы сделать. А здесь само получалось, что старец такое желание вызывал, ничего не было в этом для русского царя унижительного.

– Вы просили меня, Павел Федорович, материалы на государственную символику Республики Сальварсан. Я не ошибаюсь?

– Нет, нет, Вильгельм Ерофеевич, именно эти материалы я просил.

– Ну, тако-сь, – старик полез в старую хозяйственную сумку и выудил из нее пачку мятых бумаг, – национальная эмблема государства – тринадцатилучевая звезда, лучи по числу добродетелей, присущих истинному сальварсанцу. Могу перечислить все, если нужно. Цвет – национальный, цвет шаровой молнии. Посредине герба размещен южноамериканский броненосец-армадильо, шагающий вправо, что символизирует все большую и большую правоту сальварсанского броненосца. Расположенное под броненосцем изображение гармоник типа бандонион традиционно считается энигматическим, то есть необъяснимым. Ввел его в герб двадцать лет назад... ваш дядя. Считается, что ниже гармоник изображен символ национального траура Сальварсана, ледяной метеорит, но он по природе своей невидим, поэтому фактически в гербе отсутствует. Да... вот он, полный эскиз герба, работы сальварсанского художника, как его... Матьего Эти.

– Спасибо, Вильгельм Ерофеевич, спасибо, – нетерпеливо прервал старца император, – а зернышки эти по кругу что значат?

Старик вскинул бороду.

– Государство Сальварсан получило независимость в одна тысяча девятьсот седьмом году, в результате небезызвестных мышьяковых препаратов. Таким образом, размещение зерен мышьяка в гербе символизирует независимость государства и одновременно небезопасность покушения на его границы: вредно, скажем так, кусать мышьяк. Кроме того, зернышки имеют круглую форму, дополнительно символизируя как национальное бедствие, так и национальную гордость Сальварсана: больше нигде в мире шаровые молнии не собираются в стаи...

– А, Вильгельм Ерофеевич, этот прямоугольник с ручкой на заднем плане, вроде бы как, простите, огнетушитель?

Старик замешкался. Ответ был ему неприятен, но давать его пришлось. Видимо, эта деталь герба блазонера не устраивала.

– Это, ваше величество, простите... атрибут аллегории, так сказать, отчасти... энигматический. Это шприц, ваше величество. Это как бы вещь, которую Сальварсан готов предложить врагу. Сложно, не совсем традиционно... Кстати, сперва нынешний президент объявил, что гербом государства будет зеркало, но этот его художник, как его... Матьего Эти, пригрозил покончить жизнь самоубийством, тогда президент разрешил ему скомбинировать вот эти символы. Так я продолжу толкование?

Павел и без того не отдохнул, а от слов-чудовищ, наподобие никогда не слышанного «энигматический», голова начинала болеть дополнительно.

– Спасибо, Вильгельм Ерофеевич, спасибо. Теперь вот что: мы пожаловали одной особе титул княгини Ледовитой, по месторасположению ее родового поместья на Земле Святой Татьяны, ну, вы знаете, к северу от Северной Земли. Герб в ее роду утрачен, но, как гласят предания, в нем почему-то было, – Павел испытал нечто вроде прилива злорадного вдохновения, которое побуждало его предков давать боярам фамилии Дураковых и Обалдуевых, – в нем было восемь бутылок. Больше ничего не известно.

Старик сосредоточился.

– Щит, вероятно, белый, по цвету льда – что равно серебряному. Поскольку она княгиня, корону не вводим. Поскольку женщина – шлема тоже не нужно. Щитодержатели... Ну, при подобном расположении поместья возможны или два белых медведя, или два моржа.

– Конечно, конечно, именно два моржа. Э... зеленых.

– Так... Щит, конечно, традиционный французский, прямоугольный, а то с моржами путаница будет, если круглый вводить. На восемь полей делим просто: прямым и косым крестом один поверх другого, это как на английском флаге. И в каждом поле – бутылка. Предположим, золотого цвета.

– А можно зеленого? – Павел поморщился от идеи «золота на серебре».

– Нетрадиционно... но можно. Горлышками к центру, так получится изящно. Остается девиз.

Павел поблуждал глазами по кабинету, остановил взор на высоком аквариуме возле окна, вдохновенно сочинил, представив себе раз или два виденную им Татьяну, всегда нетрезвую, но полную любви:

– «Сохну, не просыхая».

– Отлично, ваше величество. От любви к России сохну. Вот и весь герб.

Закажем художнику?

– Будьте так добры, Вильгельм Ерофеевич. Всегда рад вас видеть.

Старик откланялся, ни о чем, как обычно, не попросил и удалился. Павел нажал на кнопку два раза, что для секретаря Толика означало: «Пять минут не беспокоить». Павел встал, подошел к аквариуму. Там, Бог знает кем подаренные на коронацию, плавали три некрупных морских конька, не то с Аляски, не то из Австралии; рыбок поначалу было пять, но две погибли в первые же дни, после чего Павел приставил к аквариуму профессора-ихтиолога, лауреата Ленинской премии; государеву предложению пойти в смотрители царских рыбок он противился ровно до той минуты, когда Половецкий назвал ему сумму оклада. Теперь в опрятном вертикальном аквариуме неизменно висели три темные рыбки, немного печальные, но отчего-то трогавшие сердце Павла: не то шахматная фигурка в морской воде ожила, не то впрямь морской конь на дыбы встал. Наблюдение за этими рыбками не просто успокаивало Павла, оно даже головную боль ему снимало. Бесконечное спокойствие старика-благонера, флегматичная красота морских коньков – все это резко контрастировало с бешеным темпом жизни Павла. Так он и стоял, глядя на рыбок, – хотя рыбки самого императора, кажется, игнорировали вовсе. Лишь пузырьки кислорода всплывали со дна аквариума, лопались, лишь чуть-чуть колыхались красноватые водоросли – а больше не двигалось ничего. Мысли у Павла в такие

минуты исчезали вовсе.

Герб для Тони Сбитнев давно заготовил, какой-то сложный и очень древний, чуть ли не в самом деле чей-то подлинный. Девиз себе Тоня выбрала сама, – Павел мимоходом ее спросил, есть ли у нее для себя в жизни что-то вроде девиза; про герб, понятно, не заикнулся. «Хочу и буду!» – не задумываясь, выпалила Тоня. Весьма неплохой девиз, решил Павел тогда же, и Сбитнев тоже одобрил. Единственное, о чем Павел пока что боялся разговаривать с блазонером, так это о своем собственном гербе, потому что нынешний романовский ему очень не нравился, грифон с мечом и щитом, он хотел возвращения древнего герба Московского княжества, где, кажется, просто конь помещен был – но царь боялся проявить невежество, да и наплевать ему вообще-то было на такие вещи, живой морской конек в аквариуме был ему во сто раз дороже всех колец геральдических.

Кони, кони... «Запрягай-ка, хлопцы, кони...» То есть там, кажется, «распрягай», но Павлу требовалось именно запрягать – а кого? Прямо хоть коньков из аквариума вытаскивай да запрягай, других нету. Где кадры взять, чтоб и верные, и умелые, и выносливые, как кони? Павел с тоской вернулся за письменный стол. Он давно не курил, разве что один-два «Салема» в неделю, потому что мята, – но пепельницу на столе держал, это был совершенно очаровавший его подарок посла Мальты: над чашей пепельницы стоял на хвосте ярко-синий, словно мальтийское Средиземное море, стеклянный морской конек, впрочем, мало похожий на тех, что в аквариуме, ибо те были тихоокеанские. «Вот и этого конька запрячь бы», – глупо и тоскливо подумал император. Кадров патологически не хватало. Шелковников знай себе орденами обвешивается, Сухоплещенко сбежал в коммерцию, Аракелян на кухню, – впрочем, там ему и место, больше он ничего и не умел никогда. А Половецкий со своими Толиками, у которых ноги неравной длины, – так это даже для секретаря райкома негодный материал; где, спрашивается, прежние цари кадры для себя брали? Из парикмахеров, из конюхов, из друзей по детсаду? Ничего подобного у Павла не было. А родственникам он довериться не мог. Кроме дяди, к которому собирался в гости – в качестве первого визита за границу.

Словом, нужен для империи прежде всего отдел кадров. Кто там еще служил по тому ведомству, которое романовскими делами занималось? Павел взял слева заготовленную папку, открыл. Так. Заев. «Этого я убил», – удовлетворенно подумал царь. А Глеб Углов, это еще кто такой? Получалось так, что этот тип уже много месяцев как в психушке – за религиозное диссидентство. На фига ж его там держат? Пусть Фотий съездит и заберет – может, пригодится. Павел начертал: «Доставить лично», стал перебирать остальных сотрудников, но там оказались только малоспособные стукачи и разноногие Толики, это в лучшем случае, – словом, ничего интересного. А где тот, который за канцлера доклады и прочее пишет? Следов Мустафы не имелось, и Павел записал для памяти: «Спросить у Елены насчет референта Ш.» Опять все упиралось в канцлера. Павел подумал и решил, что пора брать барона за рога. Чем бегать за новыми кадрами – сперва нужно отремонтировать те, что есть.

Павел позвонил секретарю один раз, резко и длинно. Долгие две секунды

Анатолий Маркович Ивнинг извлекал из уха шарик, через который слушал голос любимого певца, специально для него записанный Половецким: «Песня посвящается для Толика... Гонит ветер опять листья мокрые в спину...» Певца уже не было в живых, и запись эту Анатолий Маркович, молодой блондин с ногами разной длины, дневной секретарь императора, слушал с утра до вечера. В третью секунду Анатолий Маркович уже стоял в кабинете царя, в полупоклоне обратив к владыке не столько лицо, сколько покрытое редееющими волосами темя. Павлу и самому гордиться шевелюрой не было повода, так что хотя бы в этом секретарь императора не раздражал.

– Верительных грамот не принимаю, – отрывисто сказал Павел. – Ирландию на завтра. Бюджетников тоже не завтра. Дело об угоне поезда вообще на понедельник, если к тому времени не найдут, а если найдут, то это все на Петровку, пусть Всеволод расхлебывает. Канцлера ко мне.

Секретарь пошел вишневыми пятнами.

– Их высокопревосходительство на даче...

– Это хорошо, что на даче. Дышит воздухом. Через десять минут ко мне.

– Невозможно, государь, оттуда час езды.

– Это хорошо, что час езды. Через полчаса пусть будет здесь. Вертолет пусть возьмет. Только на Ивановскую площадь пусть садится, не на Соборную. Я жду.

Секретарь знал, что после этой фразы с царем беседовать бесполезно, и кинулся вызывать канцлера. При нынешнем весе канцлера еще, глядишь, не каждый вертолет и поднимет, так что возможны технические трудности. Мнение самого канцлера мало интересовало не только Павла, но даже колченогого Толика.

Шелковников попался на горячем. На том горячем, которое обязательно входило в меню его второго завтрака. Оторваться от тарелки для него было невыносимо, впрочем, он был полностью одет, как раз примерял мундир генерал-фельдмаршала в отставке, чем и воспользовался: прихватил тарелку с незаконными для его диеты равиолями и, доедая на ходу, потопал к вертолету. Пустую тарелку, чтобы не оставлять улики, он выбросил из окна вертолета с высоты эдак метров в пятьсот, она пробила крышу новому «фиату», принадлежащему главному редактору журнала «Его Императорского Величества Пионер», – и, увы, убила редактора на месте. Впрочем, тарелка при этом осталась цела, а поскольку была с личным баронским гербом Шелковникова, то дело быстро замяли; в печати мелькнуло сообщение, что редактор, по всей видимости, стал жертвой летающей тарелки.

Павел ждал уже не десять минут, а все двадцать, но пока об этом не знал, ибо смотрел не на часы, а на аквариум: лишь эти шахматные коньки давали его воспаленному сознанию подобие отдыха. Поданный в службы Кремля сигнал «Первый вызвал Второго» мгновенно заморозил всю деловую жизнь правительственной крепости; никакой звонок младшие секретари не должны были пропускать даже к Толику, – секретарей этих Половецкий всех до единого подобрал из числа верных приверженцев романса «Гонит ветер опять листья мокрые в спину», они пользовались сейчас передышкой и слушали этот романс, и Толик тоже слушал. Напротив его стола располагалась ниша в стене, из которой всего полгода назад вывезли статую кокушкинского вождя; ниша как

нельзя лучше годилась под аквариум, и Толик все ломал голову – попросить его для себя у царя, или у Половецкого, или как-нибудь через лауреата-смотрителя. А породу рыбок пусть подберут такую, чтобы царь не обиделся: у него-то лошади, так пусть здесь какие-нибудь морские ослики живут, или пони, или там вообще что угодно. А то сиди и смотри на пустое кресло в этой нише. И хорошо, если пустое, а ну как в нем сидит жуткий старик-блазонер? Сбитнева Толик боялся до дрожи и не знал причины страха. Его и Половецкий боялся и не стеснялся в этом Толику признаться, благо весь роман у них выдохся уже два года тому назад, да и вообще амурные дела Милада приказал на службу не таскать, раз уж царь «не наш», – хотя Милада все-таки надеялся, что с возрастом это у царя пройдет. И тогда, может быть, тогда... Но такие мечты Милада позволял себе только дома, – хотя дома у него, собственно говоря, не было, а жил он в вечно пустующей парагваевской квартире, куда нынче допускал далеко не всех завсегдатаев. Особенно он страшился того, что припрется неожиданно вознесшаяся в принцы шалашовка Гелий, но та, похоже, давно остепенилась и от подруг отбилась, стала тихой мужней женой. Тут, увы, Милада ошибался, ибо муж тщательно прятал Гелия на даче, сам за ним ухаживал, опохмелял, укладывал спать, даже, если было нужно, кормил и дальше, кормил с ложечки, ибо Гелий переваливался из предпоследней алкогольной формы в последнюю; Ромео все собирался жену лечить от пьянства, но по всем учебникам получалось так, что лечение это эффективно только для мужчин. Так стоит ли время тратить? «Овдовею...» – непременно хоть раз в день приходило в голову Ромео. Порой ни с дедом, ни с братьями принц не мог повидаться по нескольку недель – все жену выхаживал. И начинало принца грызть одиночество, от коего спастись нельзя ничем, разве что тупым сидением перед телевизором. Даже любимый киносериал про агента 0,75 уже не развлекал. Да и какое тут кино, когда Гелий просыпается каждые четверть часа от того, что ему кошмары снятся, и снова его опохмелять надо.

Вертолет выгрузил Шелковникова на Ивановской площади, от которой до кабинета Павла предстояло топтать полкилометра своими ногами, да еще местами по лестнице, – а после тройной порции равиолей для Георгия Давыдовича это было весьма и весьма непросто. Израсходовав массу энергии, ни о чем уже не в силах думать, кроме как о непечатых портсигарах в кармане мундира, канцлер вступил в приемную царя. Толик уже стоял навтыжку за своим столом на той ноге, которая была длиннее, и склоненной головой свидетельствовал свое почтение ко второму человеку в империи. Тот на секретаря не глянул, вообще забыл про хороший тон, вломился в кабинет к императору, не то что без доклада, а даже без стука. Но и царь ответил ему тем же: не повернулся, даже взгляд от аквариума не отвел. Впрочем, в боковой стенке визитер прекрасно отразился, очень забавно конек сквозь него проплыл.

– Ты не пунктуален, Георгий, – ровным голосом сказал царь, – я жду тебя сорок минут.

– На дорогах заносы... – брякнул канцлер невпопад, напрочь забыв, что именно царь велел подать ему вертолет. Павел и ухом не повел.

– Значит, поменяй того, кто у тебя там чисткой дорог занимается. Сколько



можно в России все беды списывать на плохие дороги? Я, что ли, колдобины в них долблю?

– Нет, государь, никак нет, вы... не долбите.

– А что я, спрашивается, делаю?

– Вы, государь, правите... то есть повелеваете.

Павел повернулся в кресле. Шелковников все еще стоял на ногах, и это могло быть угрозой канцлерскому здоровью.

– Садись, Георгий, – сжалился венценосец, – сейчас я кофе вызвоню. – Толик, – сказал он в селектор, – пусть Мария Казимировна кофе сварит. Мне с сахаром, канцлеру зеленый чай без сахара. Мацы хочешь? Вещь диетическая, – спросил он у гостя, не отпуская клавишу. – Капуста кислая есть, ананас квашеный, брюква – все для твоего здоровья.

– Если можно... – робко сказал канцлер, он готов был и мацу съесть, и что угодно, лишь бы хоть чем-то компенсировать своему организму путешествие с Ивановской площади, где Царь-пушка была на месте, а Царь-колокол почему-то отсутствовал, кто-то его в реставрацию отправил. Маца так маца, калорий в ней немного, но все-таки!..

– Опять наелся с утра пораньше? – сказал Павел и спокойным голосом перечислил все, поглощенное Шелковниковым с момента просыпа, включая равиоли, которые канцлер полагал государственной тайной. Хотя какие ж тайны от царя? Все он знает, все он видит, обо всем и обо всех заботится, никого не оставит, никому спуска не даст, Русь-матушка за ним как за каменной стеной, – Шелковников, пока готовили кофе и чай, мысленно бормотал всю эту пропагандистскую, им же самим для народа сочиненную ахинею и не сознавал, что он Павлу просто молится. Но откуда ж царь про равиоли-то узнал? Ведь Елена их сама варила, чтоб никакие повара... Тут появился чай и обидно тонкая стопка мацы.

– Мацу специально для тебя заказываю, – назидательно сказал Павел, – твое здоровье принадлежит государству. Хотя она тоже триста двенадцать калорий, почти как свинина. Но один раз можно. Врач говорит, что тебе нужно сбросить сорок килограммов. А ты пельмени жрешь. Тесто вареное, тяжелое. Еще пончиков бы наелся.

Шелковников представил горку аппетитных, жареных и посыпанных сахарной пудрой пончиков – и сглотнул слюну. Павел кивнул.

– Вот, и слюни глотаешь. Давай худеть. Бег, фитнес, уборка по дому...

– Я готов, государь...

– Ни черта ты не готов. Думаешь, отсидишься на диете? Тебе двигаться нужно, а вместо еды свои жиры-углеводы использовать. Выбирай – из Петербурга в Москву – или из Москвы в Петербург?

У канцлера поплыло перед глазами.

– Из Москвы...

– Ну, чтоб все же без витаминов тебя не оставлять, – будут тебе по дороге, – государь глянул в списки – сельдерей, огурцы парниковые, ревень, репчатый лук, латук, лимон, зеленый чай, треска там по пятницам... Еще сыроежки!

Сбитнев для похудения очень!... Капуста морская – ну, этого вволю, ну, шпинат,

сам выбирай, что тут посытней будет.

Хорошо соображающий канцлер прикинул, что треска с сыроежками и сельдереем – еще не худшая участь, и смирился.

– Мне надо будет бежать?

Павел криво ухмыльнулся.

– Еще чего. Не ровен час – загнешься. Нет, сердце побережем. Просто пройдешь дорогу пешком. Не торопясь. Быстрее дойдешь – быстрее вернешься. Сбросишь десять кило на первый раз, и ладно. А там посмотрим, надо будет, так и еще сходишь, дорога-то знакомая. А пока что давай лучше подберем для тебя подходящие активному похуданию мантры. Покруче чтобы худеть. Ну, или выбирай – что двести грамм фиников, что час занятий сексом – примерно одно... В дороге неудобно, а так смотри, что больше нравится.

Теперь перекосило Шелковникова. Нет, лучше из Москвы в Петербург. Как Пушкин.

«Ну да, недоволен, что страна у нас большая. Ничего, привыкнет, мы еще больше будем», – отметил Павел про себя.

Внимание Павла привлекли множественные ордена, которыми канцлер увешал свой мундир почти до пояса. Порыскал глазами: где Св. Анна? Где Св.

Владимир? Где все четыре солдатских ордена Славы? Все это в прошлую встречу Павел на канцлере видел. Павел жестоким тоном спросил – где, мол, все это?

– На другом мундире, государь, – с горечью ответил Шелковников, – на один все не помещаются.

– Ты б еще на спину прикрутил, – брезгливо сказал царь.

Канцлер придвинулся к столу, в его глазах засветилась надежда.

– Дозволяете, государь? По крайней мере ордена дружественных социалистических теократий... А то мне придется четвертый мундир заказывать...

– Слушай, ты!.. – Павел повысил голос. – Если тебе не стыдно за Россию, то за нее стыдно мне! Елку и ту раз в год наряжают, набрался советских привычек! Все мундиры сдашь в казну, целей будут. А сам переоденешься в простой сюртук... – Павел сделал долгую паузу, размышляя. – А треуголки никакой. Из всех орденов – только орден Св. Елены, специально для тебя учреждаю. Его носят во внутреннем кармане и никому не показывают! Специально для тебя учреждаю! И никаких больше!

Шелковников успокоился; орден, названный в честь жены, был очень приятен, да еще канцлер становился кавалером этого ордена номер один. Вообще это был первый орден, учрежденный новым царем. О прочих значениях Св. Елены канцлер как-то не вспомнил, да и треуголка была ему ни к чему, можно и в фуражке походить.

– А на приемы? – неуверенно спросил он. – Как же я буду без Богдана Хмельницкого?

– Ничего, в той же Германии канцлер живет без Богдана Хмельницкого, здоровья пока не потерял. Ни в Ганновере который, ни в Берлине. А ты? Ты в зеркало на себя смотришь?

Шелковников этим занимался ежедневно по полдня, но он разглядывал покрой мундира и то, хорошо ли привинчены ордена, а царь, кажется, имел в виду зеркало в ванной.

Судьба, словом, канцлера вовсе не хранила.

\* \* \*

В последний день невисокосного февраля по юлианскому календарю, о необходимости введения которого так долго говорили православные активисты, в день Фалалея Сирийского и Прокопия Декаполита, в день Обновления Габона и Независимости Маврикия, в день рождения певца Аркадия Северного, в Москве, на Манежной площади, у знака «нулевого километра», под руководством и водительством Его Преосвященства митрополита Опоньского и Китежского Фотия (Питовранова) стартовал торжественный крестный ход в честь подвига пешествования, предпринятого канцлером всероссийским Георгием Шелковниковым из первопрестольной столицы в Северную Пальмиру. Путь длиною свыше семисот верст ему предстояло покрыть к началу июля, ночуя и отдыхая на специально оборудованных постоянных дворах. У профессиональных пешеходов такая дорога заняла бы недели три, но Шелковников был и толст, и довольно-таки в годах. Вместе с ним самую малую скоростью двигалась передвижная часовня, медицинская служба, три смены охраны и ряд журналистов, аккредитованных для освещения подвига в средствах массовой информации. Разрешение журналистам давалось строго при условии совершения ими того же подвига пешего путешествия. Соглашались не все – но многие соглашались. Государство их работу не финансировало, но из благотворительных фондов именно на нужды СМИ поступили значительные средства, и в двенадцать часов дня канцлер, приняв благословение митрополита, двинулся по Тверской на север.

Он даже рад был путешествию. Служебные заботы до середины лета его не касались, хотя в экстраординарном случае его в Москву отозвать могли. Худеть по жизни уж точно было надо, на бутербродах он наел столько жира, что врачи реально были готовы сообщить ему сроки, в которые он должен закончить все земные дела. А он полагал, что заканчивать их рано. Тем более – так считали его жена Елена, сам император, другие ответственные товарищи.

Семь-восемь верст в день при его-то толщине одолеть было непросто, но отдыха ему давалось столько, сколько попросит. Условие было одно: продолжать путь с того же места, где он был прерван. Так некогда пешествовала от Спасских ворот Кремля в Троице-Сергиеву лавру давняя родственница царя, императрица Елизавета Петровна. Конечной целью Шелковникова в Петербурге была Александр-Невская Лавра – так что древнерусские традиции соблюдались полностью. Понятно, дальше в горком – но тут котлеты отдельно, воздуха отдельно.

Первые сажен пятьсот до Старых Триумфальных ворот он прошел не спеша, бодро, читая новые вывески, разительно отличавшиеся от тех, что были здесь год назад. Вместо магазина «Подарки» справа появилась огромная вывеска новейшей молочной торговли «Бухтеев и Компания», – отлично знал Георгий

Давыдович, что это за Бухтеев – был это на самом деле хитрый хохол Сухоплещенко. Напротив, за «Националем» торчал жуткий зуб гостиницы «Интурист». Государь уже приказал гостиницу разобрать: нечего на Кремль смотреть с птичьего полета и \*\*\*\*ей в шаговой доступности у Красной площади пасти, их и так полна столица. Телеграф трогать не полагалось, а вот напротив, за Камергерским переулком на бесконечно длинном здании Главмосстроя скромно светились приемные ЕИВ Камергерской коллегии, к которой канцлер теперь имел прямое отношение – он был ее председателем. Меж священных для всякого москвича торговых зданий булочной Ивана Филиппова и гастрономической торговли Григория Елисеева попадались и незнакомые имена – первой гильдии Василий Сторублев предлагал покупателям шерстяные ткани во всю ширь и цену своей фамилии. Африкан Сказкоподателев вел себя совсем похабно – предлагал покупателям халяльное мясо; насчет него Шелковников принял твердое решение торговлишку мерзавцу прикрыть, сколько бы тот за место ни платил. Ну разве уж еще столько же заплатит, тогда ладно.

Напротив Африкана, откупившего бывший дом Мазурина, все еще располагался Английский клуб, побывавший каким-то забытым музеем, насчет клуба генерал-губернатор ничего пока не решил, предлагали мало, а вот справа сразу за Африканом, на месте уже разобранный аварийной гостиницы «Минск» шло строительство: что там собирались построить – канцлер не помнил, с фанерного ограждения смотрело крупными буквами слово «ДОРОГОКУПЛЯ», что это – название фирмы или фамилия – лень было выяснять, Шелковников уже устал, поэтому на площади с памятником поэту-водопроводчику решил сделать первый привал. Охранники вынесли кресло, врач промерил давление, посветил в зрачки. Вынесли ему и бутылку армянской минералки «Джермук», давно верой и правдой оберегавшей генерала от гастрита. Канцлер отдохнул с полчаса, пошел дальше.

В первый день прошел он то ли мало, то ли много – до метро Сокол. Для него получилось много – около восьми километров, и это была лишь одна сотая пути. Канцлер лениво глянул на спешно разбираемую башню «Гидропроекта» и отправился отдыхать на первый в пути постоянный двор, словно в насмешку названный «Джермук». Болело все, что могло заболеть. Однако император приставил к нему врачей, массажистов и диетологов, от канцлера требовалось одно – упрямо идти. В Петербурге его ждали с инспекцией, и на снисходительные тормоза могли не надеяться.

«Гидропроект» никто в нынешнем виде покупать не захотел, однако горско-еврейский миллиардер Ашер Аронашвили, взявший на семь лет в аренду канал Москва-Волга, купил его под снос. Что он там собирался строить, то его дело, что ни выстроит – все одно государь никому ничего не должен и волен отобрать, а пока пусть маленький гордый человек строит свои избушки на песке. У дощатого забора вилась километровая очередь за водкой: царь приказал в Москве с ней периодически устраивать затруднения: чтоб не продавали нигде, но через неделю завозили во все магазины по принципу «хоть залейся» – государству выходило так на так, а народ был каждый раз счастлив: выпивка-то вернулась. И торговавший тут винно-водочными товарами Олег

Паладзе был не в накладе – покуда шла стройка. Выручка в будние дни была больше, чем в выходные, что подобные магазинчики всегда ставит под угрозу – но у Паладзе был не один только этот магазинчик. Как и у Аронашвили – не один Гидропроект. Хотя едва ли был второй канал Москва-Волга.

Дорога от Москвы до Клина – первый, самый тяжелый для канцлера участок через Химки и Гомзино-Солнешную была под сто верст, если идти по-человечески, не надрываясь, верст по шесть-семь в день, то недели на две. Болели ноги и спина, болела голова, да и есть все время хотелось, но врач следил, чтобы странник не надрывался, дважды в день взвешивался, строго вовремя питался согласно диете, много отдыхал – но не чересчур. Не доходя до Гомзина, в деревушке Черная Грязь канцлер был вызван царем к телефону: он милостиво разрешал сутки отдыха. А куда торопиться? «Худеть надо, падренька, худеть». Ох уж этот «падренька» – как пошли открыто на экранах кинофильмы про Илиджа – так и налипла дурацкая выдумка татарина на языки россиян. А, чтоб его. Но «Дядя Исаак» идет отлично, ничего с татаринном не поделаешь – голова, мастер.

А ведь три килограмма-то тью-тью!

Старинный город композитора Чайковского встретил странников такой поганой погодой, что пришлось на два дня задержаться. Март для здешних мест – почти еще зима. Журналисты были счастливы, наконец-то они могли разослать по своим изданиям первые подробные и отцензурованные статьи, а еще важнее то, что для сугреву им разрешили слегонца выпить. Как всякие русские люди разрешением они немедленно злоупотребили. Первый день ушел на профессиональные обязанности и пьянку, второй, ясное дело, на опохмел и страдания: координатор экспедиции доктор Цыбаков твердо заявил, что ни один нетрезвый журналист из Клина на Тверь не выдвинется ни на шаг. Тверь – это уже большой шаг к Питеру. До нее тут верст семьдесят, и нечего язвить насчет того, что как раз придем к первому апреля. Придем, не тревожьтесь, еще и не туда придем. В Торжок придем! В Бологое тоже придем, хоть это еще полторы сотни верст. Но зато будет почти полпути! По подсчету Цыбакова, там канцлер сбросит уже килограммов десять, и государь будет доволен. А уж в Вышнем Волочке... Жаль, в Новгород не попадем.

Шелковников как-то смирился с судьбой. По хорошей погоде в день он мог осилить километров семь, по плохой не проходил и половины, но никто не торопил. Он откровенно голодал, но понимал – другого выхода нет, если хочешь жить. Жить при том хотелось еще как – теперь, когда он стал вторым лицом в империи. Только лезла в голову всякая чепуха – к примеру, то, что все мундиры теперь хоть выбрасывай. И размеры не те будут, и дырки в них от орденов, а штопать Елена не станет, а кого попросишь, кому доверишься. Впрочем, ордена-то едва ли отберут!.. И тут же отвечал себе: отберут еще как, если не похудеешь. Отберут не только ордена.

Вокруг теплело и подсыхало, было под пятьдесят по глупому Фаренгейту или десять по уже ставшему непривычным Цельсию, короче, восемь по исконно русскому Рене Антуану Реомюру. Для города погода приемлемая, для пешей прогулки вдали от родных четырех стен уже гораздо хуже. Но по дороге

путников исправно ждали трактиры с постелями и умеренными удобствами, а также бесплатная медицинская помощь, что в государстве, отказавшемся от неэффективной даровой медицины было немаловажно. А то, что любой материал в печать проходил через строгую цензуру – так привыкать ли к этому в России? К тому же погода улучшалась, на Пасху было сильно за двадцать – журналисты повеселели, а канцлер наконец-то ощутил, что талия у него начинает гнуться.

Города и деревни, через которые доводилось пройти, трясло от сознания историчности момента. Только в Твери позволил себе канцлер развлечение: посетил шутовскую избу, где некогда якобы Петр Великий съел фаршированную лимонами утку. Утку бы ему, сидящему на диете, врач не позволил бы ни в коем случае, а вот поставить автограф в книге почетных гостей запретить не мог никак. Шелковников расписался, перечислив все свои титулы и ордена. аккуратно пропустив баронский титул. Он знал, что всегда отбредется голодным недомоганием. Но на этот титул уже давно всем плевать было. Шелковников вел себя образцово. Это было выгодно всем, и первому – ему самому.

По пути встречались новостройки, все они велись какими-то повыползавшими из неизвестных нор долларовыми миллионерами, и смотрел на них канцлер с одобрением. Это ж надо, какие ресурсы скрывала в себе страна, считавшаяся такой бедной и разнесчастной, что в ней даже и украсть нечего. Нет, есть еще у нас скрытые ресурсы, если столько строят и воруют. Ничего, пусть воруют. На то и шкура у бобра, чтобы шуба теплая получилась.

На Валдае, кстати, канцлеру впервые в жизни довелось увидеть здоровенную бобровую плотину. Сами краснозубые красавцы вели ночной образ жизни, а вот пеньков от сгрызенных ими деревьев стояло видимо-невидимо. Труд бобров понравился ему больше человеческого. У этих даже отбирать ничего не хочется. А почему? А не нахлебники они. Страховка им не нужна. Пенсию не требуют. Деревья валят – так в затоках рыба плодится, опять же зайцы при них кормятся, выхухоли. ондатры, косули всякие, да и птички. Истинные государевы слуги, бескорыстные. Откуда Цыбаков все это знает? В молодости, говорят, при санатории делать было нечего. Как же, поверили мы

После обеих Вишер наконец запахло духом Петербурга. Худеть канцлеру оставалось всего ничего, он даже опередил требуемые десять кило, давно прошла Пасха, а погода стояла откровенно жаркая. Цыбаков смилоствивился и приставил к Шелковникову бегунов с зонтиками. Добавил какую-то новую минералку, канцлер уже не интересовался – которую. Аппетит у него почти пропал. Пюре из сельдерея с чесноком, которым его кормили, чтоб вовсе ноги не протянул, он воспринимал как дар небес, силы это странное блюдо поддерживало. а вкус имело так просто отличный. Может, с голоду такое? А, не все ли равно?...

Накануне вступления в Петербург канцлер задержался в Любани, на постоялом дворе «Чемульпо». Название показалось канцлеру не по-славянски звучащим. Он заподозрил, что слово это ижорское, хорошо ли сохранять под Питером финскую терминологию? Кургузый человек, губернатор городка, заверил, что

никак нет, постоянный двор носит древнее имя корейского города, в битве при котором в тысяча девятьсот четвертом году уроженец Любани, капитан известного крейсера «Варяг», путем затопления своего корабля одержал решающую победу над боевым духом японского противника. Так что название – дань славе русского оружия.

– Это удачно, что дань, – согласился канцлер. Он принял ванну, съел блюдечко тертого сельдерея и разрешил впустить приглашенного гостя.

Его он хорошо знал: и в лицо, и в смысле готовой инфарктной фабулы.

Посетитель работал в конструкторском бюро, по поручению курируемых заместителями канцлера опытных цехов занимался разработкой небольшой, но весьма подвижной субмарины «Пинагор». От лодки требовались вместительность и маневренность – лишнего внимания ни в чьих водах она не должна привлекать: она создавалась в мирных, туристических целях. Но у туристов бывает немало багажа, вот и не устроили ни канцлера, ни государя модели, которые предлагал субмаринный рынок. Пришлось заказывать свою модель. У туристов в дальнем путешествии нет времени всплывать. И еще – лодка в туристических целях непременно должна иметь хотя бы две противотанковых пушки для подводной охоты. С этим в бюро легко справились. Короче, к началу осени первые «Пинагоры» должны были уйти к солнечным берегам Урубвая, Тапробау, Западного Лингама.

Сами туристы, их экскурсоводы, суперкарго и прочие канцлера не касались.

Кроме сохранности груза туристов его ничто не интересовало. За качество груза и его выбор отвечали сотрудники бюро, спроектировавшие для этого новейшие кожаные красные чемоданы повышенной влагонепроницаемости. Как раз с таким чемоданом и вошел в горницу к канцлеру еще один кургузый человечек – сущий близнец губернатора. Вообще-то он и был его близнецом. Более того, третьим – и тоже однойцевым – их близнецом был и директор бюро. Канцлер думал, что имелось их тут больше трех – но это его тоже не касалось.

А вот касалось его то, что быстрый оборот средств давали пока что лишь прямые поставки готового телепатина и других эйфориаков на розничный российский рынок. Таскать в Россию зеленую массу чалипонги и лингамской акации и лишь тут извлекать из нее конечный препарат – выходило нереально дорого. Получалось, что обработку сырья надо вести вдалеке от отчизны. Такие возможности были, конечно, у Елены в Парамарибо – но канцлер опять попадал в зависимость от жены. А что поделаешь. Соблазнительно возить оттуда в готовой расфасовке готовую губную помаду, детские присыпки. Не так, чтобы меньше, чем госзаказ. хотя, конечно, нужно и то, и другое.

Канцлер выспался, а наутро двинулся к Александро-Невской лавре.

Петербург, понятно, ожидал скорого прибытия канцлера, об этом и телевидение сообщило, и вражьи станции, да и самого тоже видели медленно-медленно идущим со спутниками и охраной от Москвы к северу. В другое время это весь город бы сильно взбудоражило, но не нынче. Дело было в событии, ошарашившем Северную Пальмиру тремя днями ранее. Неизвестный молодой человек отстоял длинную очередь в ломбарде на Верноподданном, бывшем Гражданском, проспекте, сдал старушке-оценщице редкостные часы с

серебряной кукушкой. Покуда старушка прикидывала, серебряная кукушка или вовсе не серебряная, и сколько эта диковина в нынешних золотых деньгах может стоить, молодой человек выхватил из-за пазухи большой топор, сокрушил стойку ограждения и старушку зарубил; однако этого ему показалось мало, и он без видимой причины обратил остаток гнева на мирную очередь позади себя – зарубил в ней всех старушек, которые даже и не за деньгами многие сюда пришли, а накануне близкого лета просто зимние вещи на хранение сдать хотели. Число старушек-жертв было таково, что его не рисковали обнаружить, а в сплетнях называли заведомо неправдоподобное, столько в Питере и старушек-то никогда не было. Пользуясь полной безнаказанностью, молодой человек отворил люк засекреченного подземного хода, прорытого в те времена, когда город носил имя кокушкинского вождя, и скрылся в нем, да еще заминировал вход. Когда со дна сейфа в Смольном городской голова и губернатор светлейший князь Евстафий Илларионович Электросильный-Автов извлек план подземного хода, чтоб узнать, куда побежит преступник, было поздно. Уже весь город знал, что юноша с окровавленным топором выпрыгнул буквально из набережной против прославленного крейсера «Аврора», дико вращая топором и глазами, проник в рубку крейсера, снял его с вечного прикола, и тот, со скоростью, совсем несвойственной подобным старинным плавсредствам, вышел из Невы в Финский залив, миновал Кронштадт, а потом и Ревель, а дальше ушел в неизвестном направлении и нигде, никакими средствами более не обнаруживался. Для народа мало было утешения в том, что имел место угон «Авроры» липовой, подлинная давно нашла упокоение на дне Маркизовой лужи, – все только и твердили в Питере, что это не конец, и ломбард и крейсер подверглись нападению только «на пробу», а то ли еще потом будет!..

Говорили, что топор молодого человека поздней ночью мерцает над Пятью Углами и над Охтой, видели его на кону в казино «Дом искусств», на Невском проспекте, гуляющим в новых дорогущих кроссовках «Эйр джордан» совсем безнаказанно, и даже в руках у старшего мясника на Сытном рынке. Старушек спешно похоронили на засекреченном кладбище в Дудергофе, ломбард опечатали, на месте крейсера поставили плот, а на плоту укрепили транспарант: «Идет реставрация». Про реставрацию не только Петербург, но и вся Россия давно знала, что она, матушка, не только идет, но уж и вовсе пришла: предсказанные известной кришнаитской пророчицей Лингамсними сто дней ничего плохого императору не причинили, ни коросты, ни вшивости, ни сухости, – напротив, царя часто показывали по телевизору, говорил он мало, так он и вообще не трепло, он дело делает, он проклятые язвы искореняет. Словом, Петербург весь как один человек не работал, разве что на работу ходил, но и там, как и дома, ничем, кроме сплетен об убийце-угонщике, не пробаивался. Имело место пикетирование дома-музея Достоевского, уж заодно и мемориальную доску с дома Набокова украли, но это никак судьбы крейсера и старушек не проясняло. В свете таких потрясений мало кого интересовала инспекционная пробежка канцлера, – о ее похудательном и оздоровительном значении мало думали. Впрочем, князь Электросильный накануне его



появления осознал, что канцлер бежит именно по его княжью душу, – и не поехал из Смольного домой ночевать. Однако спокойно проспал ночь на диване в кабинете, за день уж очень сплетни умотали.

Зайдя на полчаса в Лавру, немного отдохнув в бронированном фургоне, канцлер двинулся от Знаменской к Неве, приветствуемый верноподданными петербуржцами. Впервые они видели столь высокого администратора империи. Администратор, впрочем, был не столько высокий, сколько толстый, но отчего-то куда менее толстый, чем на газетных портретах и телеэкранах.

Шелковников, хоть и уставший, как бобик, вступил на Дворцовую. С непокрытой головой стоял перед ним князь Электросильный, морщинистый ветеран не то осады, не то блокады, и в руках его был большой каравай, на каравае полотенце, на полотенце – солонка. Шелковников, по древнерусскому обычаю, отломил корочку, посолил и... положил в карман. Есть ему не хотелось. Ему хотелось работать: в частности, выполнять государевы поручения – инспектировать, инспектировать! И наказывать виновных. И награждать проявивших служебное рвение. И чтоб не одни только головы летели, а и чепчики в воздух тоже! Канцлер за эти месяцы съел шестнадцать килограммов самого себя, и сил у него сейчас было – через край.

Канцлер проигнорировал подобострастную руку князя, легко, без посторонней помощи, впрыгнул на переднее сиденье ЗИПа; скомандовал шоферу:

– В Смольный!

Шофер был привычный, его собственный: за время пути, по приказу царя, сюда доставили всю канцлерову свиту и еще усилили охрану. Откуда-то из-под арки Генерального штаба вынырнул десяток бронированных, с мигалками, князь влез в задний ЗИП, и кортеж, привычно петляя, куда-то понесся. У Шелковникова было такое впечатление, что для поездки в Смольный нет вовсе никакой нужды петлять вокруг Александро-Невской лавры, трижды носиться по Лиговке, – да и соседняя Голштинская-Полковая, как теперь называли улицу Марата, должна бы сперва заасфальтироваться, а лишь потом соваться под колеса канцлерскому ЗИПу. Словом, час петляли, наконец, выгрузились у бывшего Института Невинно-Благородных, другой резиденции голова-губернатор, даром что две должности занимал, все никак не мог себе подобрать. Да и лысину не замаскировал ничем: дурные все это вызывало мысли, и про себя Шелковников уже объявил этой лысине строгую головомойку с занесением, скажем, на завтра, как говорил замечательный актер в кинофильме, который крутили по первому каналу в день коронации.

В кабинете Шелковников сел прямо за стол, в хозяйское кресло, и лишь потом удивился – надо же, поместился!

– Ну-с, отчитывайтесь, – канцлер надел очки.

Электросильный, чувствуя себя гостем в собственном кабинете, чудес находчивости не проявил. Он смешался, да и брякнул худшее из возможного:

– Может быть, сперва отужинаем?

Канцлер бровью не повел, достал из кармана приготовленный для дураков именно на такой случай золотой георгиевский портсигар, расщелкнул, воткнул в икру золотую ложечку и протянул князю:

– Угощайтесь, если нет терпения. А мне тем временем – отчет. У вас на него месяц был, предупреждали вас.

Князь нашарил какие-то листки, принял портсигар, присел на краешек стула.

– Все меры к поимке святотатственного преступника...

– Какого святотатственного? Это который у вас баржу с прикола увел?

Похвальный поступок, хотя старушек мог бы и не трогать, мы бы, если так уж надо, их бы культурно выслали. Но, с другой стороны, с точки зрения закона, так ли уж были необходимы для нужд Российской империи старушки? Я вас спрашиваю! Отвечайте, князь!

– Да нет, в смысле бюджета социальных программ как раз наоборот, они все пенсионерки были со льготами и надбавками, но по конституции...

Шелковников потрясенно разинул рот.

– Какой конституции?

Князь чуть не выронил портсигар – он не знал ответа.

– Ну, Российской...

Канцлер встал и прошелся к окну, потом к двери, потом к столу и встал прямо перед князем, судорожно теребящим золотую ложечку.

– Да будет вам известно, – Шелковников против собственной воли заговорил с интонациями Павла, – что никакой конституции в России нет и, Бог милостив, никогда не будет! Конституции нужны юным и невинным западным демократиям, а российской державе, древнейшей в Европе, она – как севрюге подойник! Вы мне не кивайте на Саудовскую Аравию, никакая у нас не теократия, – хотя царь и глава церкви, он в ее дела не вмешивается. А демократятиной пусть Штаты балуются, им еще триста лет до своей империи подрастать да подрастать! Вы что, историю Рима не читали, милейший? Вы совсем зеленый, да?

Князь не читал истории Рима, он мало что вообще с младших классов начиная читал, он глядел кино, притом одну только порнуху, ну, еще если уж очень что смешное – про Ильича и больше ничего. Ну, доклады, бывало, еще с трибуны зачитывал. А почему демократии не нужен подойник?

Шелковникову севрюга приплыла в голову потому, что икру он сунул губернатору как раз черную, самому ему ни на какую нынче глядеть не хотелось.

– Ладно, это вы еще усвоите. А пока что где телевизионщики: здесь или в центр поедем? Лучше бы здесь, дел у нас с вами!.. – канцлер подумал и провел рукой не по горлу, а над головой: дел, значит, имеется выше головы; пальцы предательски дернулись, но он спохватился, тмени себе не посолил. Иди там знай, в какую ложу входит князь, но ясно, что звание у него не особо высокое, иначе б ему на злосчастный крейсер плевать было, да и кабинет был бы давно в Зимнем. Канцлер еще раз осмотрел стены. За спиной главного кресла размещалась большая окантованная фотография: только что коронованный Павел спускался со ступеней Успенского собора, государственно сверкая очами на зрителя. Хорошая фотография. Пусть Елена с нее портрет поганцу Даргомыжскому закажет, можно будет в своем кабинете в Большом Кремлевском повесить. Лик Павла как-то успокоил канцлера, и Шелковников

только поторопил князя: мол, где камеры, в прямом эфире выступать буду. Электросильный обрадовано помчался орать на подчиненных, камеры прибыли; покуда их ждали, канцлер успел прочесть так и не донесшему ложки до рта губернатору длинную лекцию о том, как вести себя с бунтовщиками: непременно речь свою начинать со слова матерного, то есть с трех слов, не стесняясь этой первичной силы, на которой Русь-матушка спокон веков стояла и до скончания веков простоит. Князь был рад, что хоть по этой науке ему ничего читать не надо, он еще с детства ее крепко выучил, ничего не забыл, а уж насчет того, как правильно гаркать, – то наилучший способ только что продемонстрировал сам Шелковников.

Прибыли телевизионщики, что-то прицепили к канцлерскому лацкану, только-только успели включить камеру, как помолодевший чуть не на двадцать килограммов барон Учкудукский хрюкнул кулаком по чужому столу, и его лицо заняло весь экран петербургского канала.

– Господа трудящиеся! – начал он. – Мне выпало счастье быть первым инспектором, присланным в град Петров лично от нашего государя. К вам обращаюсь я, друзья мои, жители славного града, я прибыл к вам, чтобы напомнить: не может Петербург быть городом прославленным только в прошлом, он и в будущем должен становиться все более и более прославленным! Именем государя Павла Второго...

Обновленный Шелковников мчался по стремнине чуть было не утерянному за нервными событиями последнего времени красноречия. Петербуржцы сидели, прикованные к телевизионным экранам, а в дальнем углу собственного кабинета корчился на диван-козетке светлейший князь Электросильный-Автов и с ужасом глядел на канцлера, говорившего чисто как по написанному, – он, князь, так никогда не сумел бы и не сумеет, в импровизациях не силен был князь, даже в матерных, за то в Москву и не допускался. Он только ждал конца речи, чтоб выскользнуть и позвонить в Эрмитаж: пусть распаковывают сервис Екатерины, не запасной, тот уже пококали, а главный, тащат в Таврический, вызывают поваров и готовят прием для высокого гостя. Князь наивно полагал, что канцлера можно обольстить пищей телесной. Он ведать не ведал, что это только раньше Кремль в наказаниях довольствовался обычной плеткой, ну, розгами астраханскими свежими. Теперь нерадивым предстояло испробовать железного кнута.

Тем временем стемнело, пена, покрывавшая часть Финского залива, в лучах охранных прожекторов засветилась радугой, а пограничные воды до самого Ревеля, никем не охраняемые и не нарушаемые, погрузились в черноту. Лишь очень непонятный по форме корабль, по длине почти с полдириозавра, сейчас пробивался с севера, из Ботнического залива, куда случайно попал, пытаясь взять курс на Кронштадт. По исходному статусу этот корабль не имел права нигде причаливать к материку, но вполне мог ошвартоваться у острова Котлин, на котором предок нынешнего русского царя на подобный случай запасливо основал крепость Кронштадт. Да и не корабль это бултыхался в Ботническом, а простое долбленое бревно, но не какая-нибудь осинка-березка, а настоящая бывшая калифорнийская секвойя, и командовал ее небольшим экипажем

знаменитый норвежский путешественник Хур Сигурдссон. На коронацию русского царя бревно опоздало, но визит вежливости нанести никогда не поздно. Причина опоздания была уважительная, пришлось Южную Америку огибать, не пролезала секвойя в Панамский канал, а тут еще прямо посередине Балтийского моря возле острова Роделанда незадача приключилась: столкновение.

Дня три назад, во мраке столь же гадкой северной ночи, напоролся на секвойю ржавый допотопный крейсер. Секвойе-то что, даже перила целы остались, а вот у крейсера вся носовая часть сложилась почти в гармошку и стал он тонуть на глазах. Небольшой экипаж Хура, состоявший из представителей различных рас и народов, принял самое активное участие в спасении утопающих пассажиров и матросов крейсера, но тот тонул, надежд выловить хоть кого-нибудь почти не было. Лишь когда Хур приготовился отдать приказ – всем вернуться на весла, юный полинезиец, которого уже полгода как залучил норвежец в ныряльщики, случайно затопив чей-то катамаран, рыбкой нырнул в черную воду и через полминуты выудил за фалду молодого человека с топором в руках; подтащил его к борту секвойи. Топор у парня отобрали, воду из желудка выкачали, и спасенный разразился множеством слов, которые Хур еще с войны хорошо помнил, а еще лучше понимал их судовой врач, ветеран русской плотовой и бревновой медицины Андрей Станюкевич. Врач этот прибыл на борт секвойи в позапрошлом десятилетии с мешком ржаных сухарей, и Андрей с Хуром друг в друге души не чаяли: Хур приучил его пить каждый день свой любимый напиток, морскую воду, а тот в свою очередь приохотил Хура к старинной русской игре мацзян, перенятой через Кяхту китайцами, – по-русски-то эта игра называлась «мазай», играли в нее на заячьи уши, но кто ж теперь русскую древность помнит!..

Отметим между тем, что крейсер удалось спасти. Боевых услуг от него не требовалось, он и так оставался в веках символом немеркнувшей боевой славы России, железной – хотя и ржавой – колыбелью многочисленных русских революций. Его радостно принимали впоследствии во многих странах мира. Как почетный гость входил он в гавани Суринама и Колумбии, принимал на борт тонны наилучшего местного и боливийского кокаина и доставлял их на историческую родину к общей радости всех совладельцев и потребителей привозимого продукта, – петербургские старушки могли теперь спать спокойно. Но это так, между делом.

Но это все образовалось потом, а вот нынче слишком уж переусердствовал тип с топором, глотая национальное Хурово питье. Андрей уволок пойманного бедолагу в свою каюту, уютно втиснутую в один из секвойных корней, и долго приводил парня в чувство.

– Где я? – наконец-то выдавил из себя молодой человек.

– У друзей, – успокоительно ответил Андрей с приобретенным за много лет международным акцентом; он уж и забыл, когда такие чистые матюги, как нынче, слыхивал, – прямо на сердце теплеет.

– В России?

– Нет, пока не в России. Ты на корабле, точнее на бревне. Мы плывем.

– Куда плывем?

– В Кронштадт... Денька через два будем. Да не рвись ты никуда, я тебя канатом прикрутил, и топор не ищи, он давно в хозчасти. Не рвись, капитан у нас хуровый... суровый то есть, это я его так называю, не смей повторять, а то живо на весла сядешь.

– Да ведь я на пробу! Я их только на пробу! – молодой человек разрыдался.

– Кого?.. А, это ты, что ли, «Аврору» угнал, так это, выходит, мы ее-то и потопили? Уже вторая на дно пошла, первая давно тут где-то рядом... Ну, Хур с ней, плавсредство она была негодное, так прямо в гармошку и сложилась... Кончай бредить, а то капитан живо на весла посадит...

Молодой человек впал с беспамятство. Станюкевич проверил морские узлы, которыми прикрепил гостя к койке, и вышел на палубу.

– Жить будет? – спросил его норвежец, перебрасывая трубку из левого угла рта в правый.

– А чего ему сделается. На весла не годится. Сдадим в кронштадтскую больничку, и все... Там у нас теперь царь, авось помилует: это ж угонщик. Радио передавало, он в Питере старушек побил маленько.

– Так может, ему политическое убежище?

Станюкевич подумал.

– А давай. Нам еще по Неве, да по Ладоге, да по Мариинской системе – когда-когда в Москве будем. Пусть покуда полежит у меня. Очухается – предоставим.

Дорога секвойе и в самом деле предстояла длинная. С южной стороны горизонта сверкнул далекий маяк: Ревель пытался охранять границы империи от чужих кораблей.

Но не от бревна же!

## Павел II Пригоршня власти Часть 8

*Евгений Витковский*

VIII

Не забывайте, что русские хитры и ловки от природы.  
Шарль Корбе. Безделки. Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу (1811)

Ситцевую занавеску для Маши и для себя Тима Волчек укрепил в глубине фургона самостоятельно, – с молотком и гвоздями он теперь управлялся хорошо. Маша теперь тоже была Волчек, – по совету записавшего их в книгу гражданских актов Николая Юрьевича взяла фамилию мужа. Под изголовьем хранился мешок сушеных грибов; после остановки в каждом селе он предательски таял; если не удавалось докупить, братья Волковы иной раз сидели на лапше без добавок. Прямо в Верхнеблагодатском, где сделали они первый торговый привал, бабьего полку в фирме прибыло: старший Волков, Тема, привел Маше помощницу – рыжую, остроносую, сноровистую Стешу, с помощью которой они мигом скормили поселянам все пережаренные остатки

бабушки Серко: не пропадать же добру, да и денег в кармане прибавилось. Стеша оказалась мастерицей по курам: она могла – не глядя, хоть в полной темноте, Маша проверила! – ошипать и выпотрошить курицу, а плов с курятиной варила так, что братья-вегетарианцы только глаза отводили; Маша, когда пробу снимала, сама не заметила, как полный судок опростала. Звали Стешу необыкновенно: Степанида Патрисиевна, ну а фамилия ее, после заезда к Николаю Юрьевичу, стала Волкова: старший из братьев, Артем-Тема, такую мастерущую бабу упустить не мог. А что отчество у нее вроде как лисье прозвище, так ведь и в курах толк понимает! Сама Стеша, к слову сказать, свой плов тоже не употребляла, Машу звала пробу снимать.

В Лыкове-Дранове как раз этот плов и варили, потому что лапша кончилась, а в сельпо рис был. Тима вздрогнул, когда узнал, что лапшу нужно не из одной муки делать, а еще и яйца при этом в дело идут – он-то помнил скорлупу на полу вокруг бабушки Серко, что ненароком овцой перекинулась. Но успокоился, сообразил, что лапшу они уже ели – и ничего; может, в скорлупе дело? Или еще в чем? Эх, купить бы учебник для оборотней, да кто ж его напишет? Но плов раскупали бойко, и не поймешь даже, чем торговать выгодней. Экономиста бы! Тима все мечтал и мечтал бессонными ночами, он все никак не мог привыкнуть спать по-человечьи, норовил задремать днем, на что Артем Волков бурчал почему зря.

И было дано кооперативному бистро в аккурат по его мечтаниям. На дальней окраине Старой Грешни, куда фургон однажды прикатил и открыл торговлю, подошла перекусить не очень молодая, однако весьма серьезная, такая из себя неглупая женщина. Съела две порции лапши на трешку, сдачу взяла; на раздаче стояла Маша, ну, а других едоков пока не было, разговорились они по-простому, по-женски. Клиентка все удивлялась: отчего у перекусиховцев все и дешево так, и наваристо. Пришла в ужас, узнав, что цены тут назначают, так сказать, «от балды». Посчитала что-то на краешке газеты и сказала Маше, что ну никак меньше чем два тридцать такая порция стоить не может. Из-за фургона выбрался Тимофей Волков, стал слушать. Стеша подошла, про свой плов рассказала, попросила тоже цену сосчитать. Оказалось, что они опять-таки и пловом за полцены торговали. Ушел Тимофей с этой новой загадочной незнакомкой погулять, поучиться уму-разуму. А на завтра пришлось опять ехать, Анфису Макаровну Волковой переписывать, как у людей положено. Анфиса Макаровна оказалась женщина бывалая: двоих мужей бросила, двое от нее сбежали, как раз на перемену фамилии смотрела безразлично, зато Тимофей уперся. Ну, уперся, ладно: однако стоимость бензина на поездку в Нижнеблагодатское Анфиса Макаровна тоже в лапшу включила. Ничего, спрос не упал, горячего всем хочется. Все денежные дела теперь переехали на Анфису, она и не подпускала к ним никого.

Женатых, таким образом, в фирме «Волчек, братья Волковы и Компания» оказалось уже трое, в кузове становилось очень тесно. Ребром встал вопрос: где взять деньги, чтобы хоть один прицеп к фургону докупить. За этим вопросом ясно маячил второй: младшие братья, выскользнув из-под целомудренного и строгого надзора бабушки Серко, тоже не засидятся в невинности, баб себе

подберут. А деньги где взять? В неприкосновенный запас из погреба генерального старосты Тимур влезать не хотел – и без того на первых порах, покуда Анфиса дело по науке не поставила, двести империалов неведомо куда растрынькались. На оставшиеся пятьсот разве приличный прицеп купишь? Даже если семь тысяч пятьсот золотыми?

Но истинное золото, как понял это природно моногамный Тимур Волчек, в человеческих делах это вовсе не деньги, это – бабы. Анфиса подсчитала, Стеша пробежалась по дворам в двух-трех деревнях, пронюхала, наконец Маша пошла к деду Матвею-индюшатнику договариваться. Договорились они с дедом на ста империалах комиссионных, и тот, сладко матерясь и что-то свое предвкушая, запряг лошаденку, оставил индюшат под присмотр Маши, куда-то убыл. К вечеру приехал назад, вместе с сильно петляющим танком, – а к тому сзади был навязан канатами самый настоящий автоприцеп. Танк развернулся, канаты смотал – и давай Бог гусеницы в свою часть. Матвей принял по счету сотню комиссионных кругляшей – и больше не взял ничего. Еще не хватало ему сознаваться, сколько он калыму слупил с солдатиков за то, что от украденного еще в сентябре в соседней части прицепа, на который покупателя так и не нашлось, их избавил. Обещал еще и четыре полевых кухни взять, но спроса на такой товар пока не было, туда гречку с тушенкой заряжать полагалось, а где такие деликатесы нынче возьмешь?

Ну, тут Маша перед Анфисой, не говоря про Стешу, себя показала: внутренность прицепа отмыла, ситцами обтянула, занавесочки укрепила. Все три семейные пары переехали в прицеп, и еще для двух, с трудом даже трех, место осталось. Младших братьев отселили в основной фургон, и они голодными глазами всю первую ночь оттуда выглядывали: сильно ли прицеп у новобрачных-то качается. Во мнениях не сходились. Наутро что Тима, что Тема, что Тимоша – все выглядели как обычно, а бабы, надо признаться, невыспавшимися из прицепа вылезли. Но ничего особенного, хороший оказался фургон.

Быстро с прицепом колесило по дорогам и бездорожью Брянщины, понемногу обрастая коллективом, бабьим, само собой. Все братья Волковы слыли людьми серьезными, шел верный слух о том, что уже если не наперед, то наутро точно любой из них бабу в бывший загс-сельсовет тащит. В селе Потешном-Лодкине, что возле самого Брянска, углядел Антип-Тепя Пелагею-Пашу, – то ли она его углядела? Новая эта Волкова вдруг изругала волковские закупки сухой готовой лапши, вызвалась перекусиховцам перестроить технологию: можно ж ведь свою катать! Тима, помнивший про грозные яйца, чуть сознания не потерял: питался-то он только почти одной фирменной; ну, правда, можно было без боязни съесть и что-нибудь привычное, волчье, – древесного моха, лишаев, почек с веток пожевать. А если лапша будет самодельная, то вдруг в нее яйцо попадет как раз опасное?.. Потом не объяснишься, как тебя родные братья фаршировать станут. Но Пелагея баба дошлая была, и Анфиса подтвердила, что так и вправду дешевле: яичный порошок синтетический, и выйдет не хуже нисколько. И знает она, где его купить с черного хода... Словом, укупили два ящика порошку, шесть мешков муки. Через несколько дней Антон-Тоша раздобыл в Алешне

Варвару-Варю, стало совсем тесно, хоть палатки на ночь ставь у фургонов. А следом одна за другой появились в фирме Глафира-Глаша, Ефросинья-Фрося, Клавдия-Клаша, Аксинья-Ксюша, Аграфена-Феня; когда же самый младший из братьев, Кондрат, отхватил себе курносую Акулину-Акульку – получилось, что в дело пошли аж двадцать два рыла, да при каждой бабе барахло – словом, тесно, да еще место нужно лапшу катать и прочее. Но второго фургона дед Матвей предложить не мог, полевые же кухни, как и раньше, фирме были как зайцу пятая нога. Ну и пословицы у людей, размышлял иной раз Тимур, зайцу, может, не надо, а в смысле ням-ням, так сказать? Тимур глотал слюну, но рисковать ничем пока не хотел, хотя понимал, что на одной лапше скоро ноги протянет.

Попробовали работать в Брянске, потому как на Алешне да на Старой Грешне выручки получалось маловато. И сразу узнали, что есть у людей любимое дело, вроде как у волков на луну выть, – а у людей это «рэкет» называется. Значит, ты работай, а мне плати за то, что я в тебя не стреляю. С неохотой уплатил Тима десять золотых, но под утро, когда Маша уснула, не стерпел. Выполз из прицепа, обнюхал сырой февральский снег – и пошел по следу того поганого мужичонки.

Нюх у Тимы был все еще неплохой, природный. Он-то думал, что придет к берлоге, или конуре, – к такому месту, где сидят злобные и грозные рэкетеры, и рэкают. Или рыкают, словом, угрожают. А пришел на склад. На складе плотными штабелями хранились ящики, а далеко за ними слышался нечеловеческий запах смазочного масла. Тимур пролез под потолком, забрался на чердак. Там лежали бережно, с позапрошлой войны хранимые винтовки-трехлинейки, лежали «калашниковы», даже несколько дорогих семиствольных «толстопятовых» с оптическими прицелами. И при всем при этом – один-единственный часовой, пьяный, как... как... как Николай Юрьевич, вот как. Тима плюнул на выдуманные людишками приличия, выпотрошил часовому карманы, его самого тоже выпотрошил – хоть фаршируй – и осмотрел склад внимательно. Пять раз таскал в «Перекуси!» автоматы, с трудом доволоч ящик старинных гранат Новицкого. Принес еще припасы к автоматам и почувствовал, что устал. Тогда он склад поджег, пошел домой: когда раздевался, грохнул взрыв. «Нас тут не было! Убираемся из этого Брянска, собачья тут жизнь!» Тимур залег на койку, Маша ему двое суток спину массировала.

Потом все они в самой дремучей чащобе, какую знали братья еще по прежней жизни, стрелять учились и метать гранаты. Пелагея и тут всех переплюнула, но получила выговор от Анфисы: ну положила ты пять пуль одна в другую, так для чего туда еще пули кладешь? Вон, деверь спину и так надорвал, припасы таская, гранату поднять не в силах. Но на Анфису не сердились, все знали, что она с высшим экономическим образованием, и кабы не ее счетоводия, вся контора давно бы прогорела.

Стеша на попутках смоталась в Нижнеблагодатское, с разрешения Маши перещупала всех ее кур, оставленных поповнам на попечение, и тем, которые нестись больше не намеревались, головы посворачивала; образовался запас мороженой курятины для плова. Грибов Стеша тоже у деда Матвея прикупила,



но и братья Волковы, и Тимур от этой порции нос воротили, они привыкли к отборным боровикам, а у Матвея каждый второй – подосиновик получался, чтоб не сказать еще неприличнее. Ну, тут уж стало перекусиховцам тесно невоготу. Нужно, получалось, искать второй прицеп, либо второй фургон. А где? Матвей все отнекивается, цену, небось, набивает. Так, может, лучше без посредников? Тима попросил Машу на ночь ему спину размассировать, спал потом и ночь, и еще день, а как стемнело – пошел нюхать снег и землю вокруг дедова порога.

По давнему танковому следу пришел Тимур в расположение воинской части, пролез под оградами, понюхал кухню с тоской, порыскал на задворках... Батюшки-матушки, помяни, Боже волков и собак, бабушку Серко и сады айвовые райские, – чего там только не торчало! Годных прицепов не меньше пяти. Походных кухонь – без счета. Гранат Миллса, Стендера, Новицкого, «Ф-1» и разных других – целый сарай. Поискать еще – так тут, небось, и яичный порошок найдется. Но не до того. Тимур выбрал танк поплоше, укрепил за ним несамоходный фургон, а позади – четыре полевых кухни. И поехал к пропускной.

– Где пропуск? Куда кухни тянешь?

– На учения. Нету пропуска, срочно! – буркнул Тимур.

– А ну отцепляй, раз нету пропуска! – хрипло огрызнулся узкоглазый дежурный.

Тяжко, по-охотничьему матерясь, Тимур отвязал кухни и с одним фургоном уехал через ворота. Доволок до бетонки, там танк бросил, танк не нужен, а фургон, куда надо было, восемь верст катил. Устал, оголодал, но погони не дождался. Сметка у Тимура была прямо-таки волчья, да и хватка тоже, Маша это кому угодно подтвердила бы, она и вообще своим мужиком была довольна; хоть Артем Волков признавал Тимура главным не всегда, порывивал на него, бывало, – но это уж их мужское дело. Не пьют же. На сторону по бабам не бегают. Даже мяса не едят, хотя и зря, пожалуй.

Второй прицеп перекусиховцев жилплощадью худо-бедно обеспечил, но зато стал протестовать фургон-главный, даже на ровном шоссе быстро больше чем тридцать километров в час никак не выдавало. Лапша с грибами, плов с курицей, бульон из кубиков с лепешкой и еще компот – на таком меню волчековский и волковский поезд перевалил железную дорогу возле Дятькова и взял по проселку курс на Москву. Стояла холодина, но законным образом окруженные супружеские пары всегда имели возможность для сугрева. Женатым это проще.

В этом самом Дятькове кое-что в жизнь быстро все же вошло новое. Поздним сырым утром стояли братья с бабами посреди бедного базара, по воскресеньям служившего также и толкучкой; но было не воскресенье, и охотников до вкусно пахнувшей, однако ж дорогой лапши что-то не наблюдалось. Стоять на раздаче было скучно, Маша Волчек уныло глядела на три складных столика. Зевать Маша за прилавком себе запрещала, но сейчас ей так хотелось зевнуть, прямо невоготу.

Но Маша думала и боялась, что не вытерпит и зевнет. Этого не случилось: медленно топя в раскисшем снегу поочередно старый ботинок, деревяшку-

протез и отполированный до антикварного блеска костыль, подошел к Машиному прилавку инвалид в немалых годах. «За милостыней?» – подумала Маша, но ошиблась. Инвалид степенно снял треух и вытащил из-за его подкладки плоский, перламутром отсвечивающий предмет. Поднес к губам, и зазвучала над рынком несложная мелодия вальса «Дунайские волны», которую и по радио Маша много раз слышала: со времени коронации в средствах массовой информации немало было нажима на то, что Дунай, волны которого в этом вальсе плещутся, нашенские, и сопки Маньчжурии возведены героями русского сопкостроительства не за красивые китайские глаза, и уж вовсе забытая была песня «Земля родная, Индонезия» куда как близка сердцу каждого россиянина. Инвалид сыграл и «Волны», и «Сопки», и «Индонезию», кто-то подошел послушать, а чтоб всухую музыку не потреблять, четвертинку вынул, да у Маши лапши на оставшийся рубль попросил. Маша налила щедро, на все полтора, и второй клиент подошел, время на раздаче быстро течет, и лишь когда в третий раз затрепыхались в сыром воздухе волны неумного Дуная, сообразила, что музыканту пайка полагается. Зачерпнула со дна, погуще, позвала инвалида покушать. Тот поклонился, степенно съел заработанное дочиста. Маша хотела дать добавки, но инвалид жестом показал: пока достаточно, и выдал подряд три совсем незнакомых мелодии, демонстрируя, что ежели не за так, а за харч, то можно и репертуару прибавить. Многие, конечно, шли мимо, инвалида на базаре знали, но презрительных окриков не было; вместо орденов к пальтецу музыканта были привинчены планки, разобраться в них Маша не могла, но ясно – повоевал человек, повоевал, чай, не Ашхабад оборонял. А мелодия «Лили Марлен» так за душу и хватала, хотя подлинного ее названия не знала не только Маша, но, пожалуй, сам инвалид.

К тому времени, когда он согласился принять второй судок лапши, вернулся рыскавший неизвестно по каким делам Тимур, встал у прилавка, получил свою семейную порцию и прислушался к музыке, даже уши у него как-то вперед и вверх передвинулись. Понравилось, в общем. Тимур Волчек и в прежней жизни музыкален был, бабушка Серко ему, помнится, часто одну колыбельную напевала, даже со словами, про то, как были в лесу однажды сытые дни, большой праздник, да вот, вот как кончился праздник, все доели – печальная такая песня. В передышке между «Волнами» и «Мостом через реку Квай», который у инвалида тоже на слух был подобран совершенно точно, решил Тимур «зайти на парнус», то бишь заказать песню. Напел ее тихонько, – и вот, пожалуйста, инвалид без запинки выдал любимую мелодию «Серенького козлика». Что посетители смеялись, то Тимура не касалось. У Тимура в глазах стояли слезы, – ну как с собой всю эту музыкальную красоту, всю эту память о лесном детстве увезешь? Не нанимать же инвалида, мужики не бабы все-таки, от них много чего неожиданного бывает. Лапша в котле у Маши кончилась, выручка получилась нормальная. Тимур со своим детством расставаться не хотел и к инвалиду прилип: научи да научи, продай да продай. Инвалид вздохнул и назначил цену. А что Тимур эти два имперала за уроки, Маша на всей этой красивой музыке уже в три раза больше заработала, как потом Анфиса подсчитала.

За преподавание, да за игру на раздаче по утрам, да еще на пятый день, когда уже Тимур научился «Серенького козлика» сам играть, за свою запасную, трофейную, с войны оберегаемую гармонику инвалид взял сто рублей старыми бумажками, все еще принимавшимися на дятьковском базаре, и еще три имперIALа, видать, на те времена, когда бумажки принимать перестанут. На том и отбыли перекусиховцы из Дятькова, города захолустного, но всемирно известного не только потому, что в нем есть музей хрусталя, а и потому, что на статье о нем первый том «Географической энциклопедии» – «Ааре – Дятьково» – кончается.

На досуге мечталось братьям, а с ними и бабам ихним, о настоящем достатке, символом которого, по заветам светлой памяти бабушки Серко, считали они хорошую шубу. Желательно росомаховую. Видать, повздорила бабушка в молодые годы с какой-то росомахой и мечтала это кунье племя пустить на шкурную выделку. Спору нет, мех росомаховый теплый, но грубый, раньше его только на полости для саней употребляли, а теперь и вовсе неизвестно, нужен он кому или нет, – а скорняка-росомашика где взять? Братья наводящими вопросами узнали у всеведущей Анфисы – не из росомахи ли теперь полости для автомобилей делают. Анфиса проверила, сказала – нет. Теперь их делают из волчьей шкуры. После такой новости мечта сильно поблекла.

Анфиса из баб старшая теперь стала: и не только дело в том было, что образование высшее, а муж пятый. По профессии Анфиса была экономист и секретный товаровед, и в приданое за собой принесла она Тимофею, а значит всей фирме, многотомный раритет: четверть века тому назад выпущенный «Товарный словарь», а по тому словарю разве что цыганский язык нельзя было выучить. Долгими зимними вечерами собирались бабы в главном фургоне, Анфиса напяливала очки, раскладывала книги и преподавала экономический катехизис.

– Ну давай, Глафира, припоминай с прошлого раза: что есть баранина тушеная с гречневой кашей?

– Ох, Фиса, я вкус ее забыла. У нас все грибы да курятина, откуда баранине быть? Да и гречка?..

– Не о том я, Глафира. Помнить надо: это консервы, приготовляемые из кусков сырой баранины, без костей, хрящей, грубых сухожилий и соединительной... – бабы шевелили губами, будто молитву за Анфисой повторяли, запоминали что-нибудь или нет, неизвестно, но Фиса свое дело знала туго, – фасуют в жестяные банки весом нетто в граммах: двести пятьдесят, триста тридцать восемь, четыреста семьдесят пять...

– Фиса, это мы уж наизусть... – подавала голос самая младшая баба, Акулина. – Ты бы нам про рыбу сегодня, Тема закупать собирается воблу...

– О! – с удовольствием отзывалась Анфиса, перелистывала полтома, отодвигала его от дальноточных глаз и начинала свое: – Средний вес крупной воблы – двести пятьдесят граммов и более... Колебания жирности у самцов меньше, чем...

«Какой там жир?» – отвлеченно думала Маша, думая о жестких мужниных мышцах. Жиру Тима Волчек на себе не носил никакого, одни мускулы, жилы,

кости, ну, все прочее, что мужику носить положено. Мужик Тима был неутомимый, но удивить такой вещью можно каких угодно баб, только не нижеблагодатских: эти с младых ногтей пример имели, для того и курей так много держали. В общем, ежели золото в руки не брать, на котором Пашин портрет начеканен, то скитальческая жизнь с могутным мужиком Маше была вполне по душе, хотя вкалывала она как никогда. Чем не жребий для бабы, если уж такой выпал? Очень как хуже бывает...

Тимур Волчек, более или менее отладив экономику быстро, крепко задумался над самой тяжкой темой: ну сколько ж можно эту проклятую лапшу жрать, мхом втихую зажевывая? Волку, даже в люди пошедшему, мясо полагается. Ну – рыба. Хороша человечья жизнь, особенно в том смысле, что особь женского пола тебе не раз в год после драки, а хоть круглые сутки, только лапы с устатку не протяни, особь все равно возражать не будет. Прямо за всю жизнь добрал, думал Тимур. Но много ли доберешь на грибах с лапшой? Ну, где бы найти учебник для волков, что в люди идут? Рискнуть, что ли? Нет уж, фигушки, бабушка Серко рискнула, вот и нюхали мы айву печеную. Тот не ученый, кто айвы не нюхал печеной. А братьев, хоть они и двоюродные, Тимур жалел, а ведь мог любого из них втихую подвести под эксперимент, и, если б вышло неудачно, то совесть бы его на порционной раздаче не заела.

Пелагея, в корне сократившая расходы фирмы на лапшу, настойчиво предлагала ввести в торговлю что-нибудь рыбное. Тема, Тима и Тимоша, как старшие, решили все же не светиться – и рискнуть. Тима втихую спроворил в донельзя захолустной Жиздре, в тамошнем пивном зале, как эту конуру гордо обзывала вывеска, связку черноморской тюльки, которую тамошний директор не то для себя, не то на случай визита императора хранил. Братья кинули жребий. Ну и повезло, так сказать, с обратной стороны все тому же Тиме. Помахал он двоюродным на прощание, ушел за кусты, и стал там, зажмурясь, жевать мелкую рыбку, выбрасывая головы – как почему-то у людей принято.

Ну и ничего не случилось: тюлька в переоборачивании, видать, никакой роли не играла, так что братья смело могли включить ее в свой рацион. Братья присоединились к женам, сильно повеселев. Тима долго обсуждал с Машей, где и как он тюльку закупать будет, да что из нее сделать можно, но потом как-то увял, ослаб, захотел подремать. Маша даже встревожилась: на лбу мужа выступила сильная испарина. Потом до утра мужика тошнило, Маша только успевала снег ему ко лбу прикладывать. К утру прошло, от сердца у Маши отлегло.

Отлегло от сердца и у Волковых, знавших, что Тимур нажевался паршивой рыбешки. Опасаясь нежданного переоборачивания, Тимур самым похабным образом отравился, хорошо еще, что рыбка была мелкая и что он голову ее, наиболее ядовитую в протухании, сплевывал, – нюх сработал природный. От дурноты слабый-слабый Тимур утром, не глядя, выпил горячего, которого ему жена дала. И тоже ни во что не превратился, хотя пил настоящее молоко из-под живой коровы. Поила Маша Тимура с деревянной ложки: счастье было Тимурово, что по слабости он эту ложку не надкусил. Знал бы он, чем грозила ему эта ложка! Ее и дириозавр-то в лапу взять побоялся бы, не запасшись

лепестком раффлезии!

Но ничего, кроме испорченного желудка у Тимура, братья неприятного не извели, пока боролись за свое право питаться тюлькой. Заодно уж и про молоко узнали. За всеми такими тревогами чуть не прозевали перекусиховцы самую страшную беду, какая грозила им с самого уезда из Нижнеблагодатского.

Фургон с двумя прицепами тихо полз по Калужской губернии, заправляясь краденым бензином. Тепа, Пелагеин муж, давно придумал, как за эту вонючую жидкость не платить, раз уж без нее фургон, сколько ни пинай, ехать не хочет. Подойдет к бензоколонке эдак, поглядит на тамошних, ощерится, уйдет. Потом Антон так же. Потом Тимофей. Потом Артем. На третьем-пятом Волкове у колоночников нервы сдают – сами предлагают, сами наливают, – и даже деньги норовят сунуть вдобавок, еще не то сделаешь, когда ходят тут всякие с волчьими мордами. И никакого вымогательства. Никто из колоночников даже не спросил ни разу – отчего у гостей зубы такие большие. Сказок не читают, что ли?

Однако в рэжете, в любимом чисто человеческом способе коротать досуг, братья не понимали ничего. У очередной колонки пристроился к ним старый-престарый мотоцикл, – «Харлей», что ли. Он то уходил вперед, то отставал, выхлопная труба грохотала что твой пулемет, очень раздражая баб, катавших тесто на будущую лапшу в главном фургоне, и будила тех, кто прилег отдохнуть в прицепах на мешки с припасами, – но потом мотоцикл отстал, растаял в февральском тумане. Никто бы про эти выхлопы не вспомнил, если бы поздним вечером того же дня не загрохотали похожие звуки со всех сторон. Фургон криво и тяжело сел на дорогу: автоматная очередь прошла три шины из четырех. Тимур, сидевший на правом сиденье в кабине, чтобы никому не досаждал своими упражнениями на губной гармонике, был хоть и человек, но еще не совсем окончательно, ночное зрение сохранял и увидел, что мотоцикл размножился. Все быстро угодило в засаду. Хорошо, подумал Тимур, если это только загонщики, а ну как охотники? Это ж надо было подаваться в люди, спасать шкуру, чтобы тут же увидеть, как люди на людей же и охотятся? Эх, нет на них бабушки Серко, она бы мигом что-нибудь сообразила.

Но соображала не одна бабушка Серко, у ее внуков в головах тоже кое-что было. Тимур задрал лицо к незримой за облаками луне и подал братьям сигнал опасности: уныло, по-лесному, завыл. Мужики в прицепах проснулись мгновенно, тоже еще не все привычки утратили.

А бабы и спать-то не ложились, они лапшу катали и резали. Неистово завизжала Стеша, забила под лавку, но больше в панику не впал никто. Анфиса отвесила Пелагее шлепок и указала на пирамиду составленных в углу «толстопятовых», сама же полезла за гранатой. Нападающие взламывали дверь фургона, но Пелагея, а за ней и Варвара, и Глафира уже оцетинились оружием, Глафира даже противотанковым ружьем. Первому же, кто просунул свою обутую в шлем голову внутрь, бабы дружным залпом ее и разнесли.

– Беречь припасы! – крикнула Анфиса, прячась за мешок с мукой. Но бабам сейчас было не до ее экономий, следующие двое храбрецов вывалились на дорогу крупными кусками. Глафира высунула шмайссер наружу и дала две

очереди. Бабы посветили в сторону фургонов: те были отцеплены и стояли метрах в двадцати. Их, видимо, атаковала другая группа, доносился оттуда только мат и глухие удары вперемешку с явным хрустом костей: то ли Волковы до оружия не добрались, то ли больше полагались на свои руки.

Еще один нападающий, тоже в шлеме, но без оружия, вразвалку подошел к взломанной двери фургона.

– Выводи баб, – скомандовал он неизвестно кому, – прочих я сам, из «макарона»...

Кому он командовал – история не узнала: сперва его физиономию залепил умело пущенный Аграфеной колоб из полужидкого теста, потом в тесто кто-то выстрелил, и «макаронник», не успев достать своего «макарова», рухнул на дорогу.

– Вот те макарона! – взвигнула Стеша, ловко прыгая на крышу фургона. За ней, вместе с парой «толстопятовых», влезла Пелагея, Анфиса передала несколько гранат. Стеша только успевала ткнуть пальцем во тьму: «Там!» – и Пелагея уже всаживала в это место что-нибудь разрывное. Мужики, кажется, тоже кончали битву.

Из кабины вылез Тимур, он плевался. В руке у него за шиворот висел паренек лет пятнадцати, которому Анфиса посветила в глаза: там было совершенно стеклянно.

– Накурился? – деловито спросила она.

Тимур понюхал.

– Нет, кажись, ацетон... Или пятновыводитель... Или от моли что-то... Что делать-то с ним, Фиса, он мне в окно гранату кинул, не разорвалась, я ему ее назад, по кумполу попал, и вот... – Тима стыдливо показал на следы глубокого укуса, которым отмечены были нос и подбородок подростка.

– Пусть лежит пока, других пленных посчитаем. И хоронить ведь тоже надо. И сматываться скорей. – Анфиса, похоже, никаких других вариантов, кроме полной и окончательной победы над напавшей бандой, не предвидела, но боеприпасы все равно берегла.

– Ты гляди, гляди... – завизжала Стеша с крыши: «макаронник» сел в дорожную грязь и пытался встать. Вместо лица у него пока что был ком лапшового теста. Варвара большим тесаком очистила ему лицо; ран на нем не было, пуля куда-то ушла, но со щеки лоскут кожи сняла сама Варвара.

– Екинауз сегин!.. – внезапно выдохнул Тимур. Это страшное ругательство он тоже получил в наследство от бабушки Серко. В пленном он признал дежурного с военной базы, с которой увел прицеп к фургону. Бывший дежурный зло и кроваво глянул на него.

– Сегин... сегим... – зло буркнул он, – опознал, подлюга. А за хищение, знаешь что? – Тимур такой наглости не стерпел – и всеми четырьмя конечностями, по-волчьи, прыгнул на пленного. Бабы с трудом его оттащили. Пленный валялся на дороге, кажется, еще дышал. Но Тимур жаждал крови, и кто его знает, что натворил бы, не кинься к нему на грудь Маша с воплем: «Не убиваа-ай! Хватит убива-а-ать!»

– А кого я убил? – удивился Тимур. – Я парня малость попортил только, ну а вы

тут на меня, как борзые, навесились. – Потом огляделся вокруг: число трупов могло колебаться от трех до пяти, толстопятовские разрывные не давали возможности сосчитать, сколько тут было тел сперва. Пелагея густо покраснела, а Стеша и вовсе спряталась ей за спину. Она-то знала, кто тут был наводчиком, кто убийцей, – хоть и самозащита, а все же...

– Никого, никого ты, Тимочка, не убил, и не надо убивать, – запричитала Маша, покрывая колючее лицо мужа поцелуями. От фургона, тяжело согнувшись, пришел Антип, у него на горбу лежало еще одно тело, видать, целое.

– Остальные готовы, – выдохнул он, укладывая принесенное тело поверх экс-дежурного. Оба тела разразились ядреными, хотя и однообразными матюгами. – Не знаю сколько, много... Вот этот за елку прятался, ну, я его раза об елку, он вот только теперь и заговорил.

– Нет уж, – скомандовала Анфиса, – тащите все тулова сюда. И мотоциклы ихние тоже. Разберемся, что с собой брать. Остальное закопаем. А может, в болоте утопим.

– Замерзло болото... – подал голос подросток со стеклянными глазами, крепко укушенный Тимуром.

– Ну, тогда закопаем, – приняла Анфиса дельное решение, – тебя первого. Или уж раскалывайся.

– Бензину дайте, на тряпке, под язык... – занял подросток.

– Ну, я тебе бензину, ацетону, эфиру-кефиру!.. – озлился Тимур, которому бабушка Серко все эти гадкие запахи пересказывала. – Давай его, Антон, слегка ненадолго, чтоб не совсем, но отрубился пока.

Антон легоньким щелчком по темени просьбу Тимура выполнил. Оставались еще два тела говорящих. Тела пытались вяло ползать и ругаться, тем самым доказывая, что закапывать их без предварительной обработки негуманно. Маша всхлипывала, Стеша обшаривала карманы побежденных, прочие бабы столпились вокруг Анфисы.

– Рэкетеры как рэкетеры, у них, поди, вся милиция куплена, – резонно сказала экономистка.

– Уж точно – если дежурный с военной базы у них наводчик. Тоша, ты проверил, там ничего живого больше нет?

– Никого, – деликатно поправил притаившийся Антон, в руках он держал «толстопятова» с погнутым стволом. – Значит, копать будем?

– Ну, это как решим, – ответил Тимур. – С одной стороны, можно, конечно, копать. А с другой – можно и не копать.

– Ну не жрать же? – тихонько шепнул Антону Тимур. – А топить где? Тут ведь не меньше пяти-шести было.

– Бабам насчет жрать ни-ни... Значит, копать.

Мужики выудили из прицепа лопаты, через полчаса невдалеке от дороги вырос холмик, рядом – яма. Тимофей тем временем сволок в одну кучу мотоциклы и с невероятной скоростью разбирали их на отдельные детали, отбрасывая негодное. В яму братья сгрузили все неживое, на поверхности сбили с помощью извести пирамидку, поверх которой нацепили вырезанную из красной жести звезду; на боку пирамидки Антон нацарапал что-то такое, что прочесть было никак

невозможно.

– Э, все одно сносить скоро будут...

Но живые все ж таки еще оставались. Бывший дежурный в ужасе глядел на ловкую работу Волковых; Волчек сидел в стороне, присматривал за стеклянным юношей, перед которым ощущал что-то вроде вины.

– Ну, чего дальше с вами делать? – Тимофей деловито точил один тесак о другой. Запах от бывшего дежурного, да и от его напарника шел совершенно звериный и неприятный.

В разговор вступила Анфиса, долго изучавшая карту Калужской области.

– Значит, так. Оба вы есть дезертиры. Гоните документы.

Дежурный выложил удостоверение сразу, второй – сильно помедлив.

– Да майор он, майор, – подал голос подросток, – главный он тут, и полгода уже как фраеров на дороге потрошит, вон, подите еще метров сто, так там в яме три десятка не хуже вас...

Майор попробовал рвануть в сторону подростка, но не с Волковыми было ему тягаться. Тимофей уже сидел на нем верхом и хрустел заломленной майорской рукой. Челюсти ему Тимур разжал мигом, но кровь на рукаве изловленного проступила. Волчек забил Тимофею рот снегом и заставил плевать.

– Нельзя жрать, это кровь, помнишь бабушку! – приговаривал он, выгребая снег из Тимофеева рта. Тот, кажется, ничего не сглотнул, упоминание о бабушке действовало ужасающе. Но рука у майора была перекушена. Бывший дежурный смотрел на всю эту сцену и только лепетал:

– Знал бы, ни в жисть бы, ни в жисть бы...

– А вот понял, как с нами связываться?

– Я ж думал, это мы перекуси, а выходит, это вы перекуси...

– А это мы по обстоятельствам.

Через полчаса кое-как перевязанные жертвы поковыляли назад в воинскую часть, а подросток уныло ел холодную лапшу. Бензину ему не дали, как сказала Анфиса, «из ломки он уже вышел, нечего с ним цацкаться».

– А куда мне теперь? – заканючил парень.

– А очень просто, куда. Проспишься, будешь судомоем. Не оставлять же тебя волкам этим. А на бензин не косись. Тут нюх у нас, нюх... – Анфиса все решила. Судомой в бистро вправду нужен. Это еще в Дятькове решили, покуда Тимур уроки музыки брал. Так что ветром судьбы парня надуло, так сказать.

– Ты кто?

– Тюлька...

Тимур так и сел, вспомнив, чем отравился в Жиздре.

– Ну, «тюльпан» по фене, молодой, значит, без кликухи...

Вообще-то с трудом дознались, что бывшего детдомовца звали Пантелей, про себя ему рассказать было почти нечего. На имя он не откликался, отзывался только на «Тюльку», но от этого вздрагивал Тимур. Однако тут уж пришлось Волчеку смириться. Погоняло не закопаешь.

Долго меняли pokrышки, в запасе только три и оказалось. Тюлька был допущен к доеданию лапши из котла, который обязан был потом сам же и мыть. Тимур пошел разучивать «Мост через реку Квай». Под самое утро двинулись. Анфиса



накостыляла Тюльке за попытку добраться до бензина, ехал он с двумя фонарями на скулах. Был парень хиловатый, пожалуй, даже моложе, чем казался с виду, и старшая Анфиса взялась его опекать. Преподавать она любила один-единственный предмет – все тот же «Торговый словарь».

– Отвечай: что такое «кэ жэ и пэ»? – грозно вопрошала экономистка.

– Матерное что-то...

– Ты мне шутки не шути! Это «Книга Жалоб и Предложений»! Маша, – прерывала себя Анфиса, – а у нас она есть?

– Да откуда ж, Фиса...

Тут Тюльку оставили в покое: Анфиса хорошо знала, чем грозит путешествие без «кэ жэ и пэ». В каких-то Думиничах купили амбарную книгу и на обложке написали то самое, что требовала Анфиса. Там же из-под прилавка докупили муки, готовой лапши, покормили не очень сытый по нынешнему времени народ, выставили в ветровое стекло бумажку, что «кэ жэ и пэ» находится у водителя, ну, и поехали дальше. Все равно никто не понял, что за «кэ жэ и пэ». А если понял, то неправильно. Главное: хоть и с переплатой, но купили в Думиничах еще бидон молока. Мужики его чуть не сразу вылакали, а Фиса долго и занудно, по закону, нумеровала страницы «кэ жэ и пэ» химическим карандашом. Так, сказала она, полагается. Ну, ей видней, она баба с образованием.

Жиздра, даже Думиничи кое-какой навар дали... А вот близлежащая станция Зикеево – ни хрена: там одна железная дорога, а она кушать не просит. Стеша помолилась своим богам, затеяла плов. Анфиса скалькулировала – и назначила за порцию аж четыре с полтиной. На базаре в Сухиничах открыли торговлю. Народ как с цепи сорвался – будто год не жрамши. Маша на раздаче с ног сбилась. Тюлька язык вывесил, все мыл судки, мыл, мыл. Ну, ему за это, конечно, выдали порцию. Плов шел нарасхват.

К вечеру пришел к бистро зачуханный мужик, потоптался и сказал, что в уплату вместо денег может бистру предложить ружье для подводной охоты. Маша засомневалась, позвала Анфису. Та прикинула ружье на вес, пошевелила губами, приценилась, спросила: а гарпун трезубый где? Гость матернулся, вынул из торбы трезубцы, Анфиса насчитала пять. И велела Маше выдать две порции. Сошлись на трех. Третью гость съел с трудом, стал клянчить на выпивку, но ружье Тепа уже зарядил. Гость растворился в темноте и неизвестности. Полночи Антип с Тимофеем изучали ружье и припас к нему. Тимофею ружье нравилось, хотя где и под какой водой он из него стрелять собирался, да и в кого?

Калугу миновали стороной, а в Малоярославец решили заехать: Анфиса тут бывала, говорила, что если денег у народа нет, то можно овощей наменять. На главной площади города стоял неубранный Ильич и указывал. Тимур пригляделся – на что ж он такое указывает, и, признаться, удивился. Ильич в полный рост указывал с пьедестала на другого Ильича, на бюст. Оригинальные, однако, Ильичи. Промеж двух таких торговлю открывать не рискнули, отъехали к почтамту, в сторону вокзала. Милиционеру, конечно, дали отпробовать. Но документы он все равно потребовал. Милиционер в старом, однако перекрашенном в ярко-синий цвет имперском мундире, вообще-то

именовавшийся полицейским, собрал паспорта в стопку, стал изучать. Бабы как будто одобрил, хотя Стешин сунул куда-то вниз. А вот над паспортами братьев Волковых охренел с первого же документа. Братья стояли плотной стенкой, впрочем, – тут не засвиристишь.

– Так билеты-то... Волчьи билеты у вас!

– Ага, волчьи, – согласился Тимур, – а плова еще хочешь? Лапши?

– Ты мне лапшу-то... Не очень ты мне лапшу-то!.. – попробовал вякнуть милиционер, но почуял, что дело нехорошо: вокруг стояли на задних ногах настоящие волки. Страж закона мотнул головой, наваждение исчезло. Тимур положил на паспорта маленький столбик империалов. – А волчьи нынче не годятся? Может, лучше еще лапши покушал бы? – У Тимура из-под мышки прямо в морду полицейскому смотрел трезубый гарпун, вправленный в ружье для подводной охоты. – Так лапшу будешь кушать? А?

Полицейский сунул пачку паспортов Тимур, оба империала к себе в карман, больше его никто не видел. А к Маше уже стояла очередь. Тюлька был опять на посуде. Тимофей зашел за фургон и аккуратно разрядил ружье. Анфиса с тоской вписала в графу расходов стоимость того, что взяточник съел, и пропавшие империалы тоже. Но ружье, получается, себя уже оправдало.

Вечером решили сниматься и двигаться в Московскую область. Антон упер где-то мешок моркови, Антип – пять вязок луку. Можно бы в Малоярославце и еще поторговать, да и спереть еще что-нибудь, но как-то опасно тут, да и нет большой нужды, империалов куда предостаточно, с Анфисой, похоже, не проторгуешься. Братья очень хотели рыбки, но не самим же ее ловить, а купить пока не удавалось. С Божьей помощью как-то перевалили через границу Московской губернии. Даже сами не заметили где: Маша с Глафирой тесто месили, Тимур в кабине разучивал «Чардаш», Тюлька с устатку спал под лавкой, Антип за рулем сидел, а чем занимались бабы с мужиками в прицепах – их дело. Жизнь русской артели на колесах шла своим чередом, во всей бы России такой порядок бы!..

Слава про передвижное быстро кое-какая шла, но братья цену не заламывали, так что охотников на них поохотиться не имелось. К тому же вооружены они были не слабо: базука, ружье для подводной охоты, «толстопятовы» и прочее. Но земля слухом полнится, с воздуха их все-таки сфотографировали. И со спутника тоже. Однажды в смурное февральское утро все эти снимки легли на стол важного человека, статского советника Дмитрия Владимировича Сухоплещенко. Лицо бабы, стоящей на раздаче лапши, показалось ему очень знакомым.

Память у Дмитрия Владимировича была неплохая, а тут и вспоминать-то нужно было события недавние, тому что-то около трех месяцев. В такую историю, как тогда, попадал статский советник, тогда еще бригадир, нечасто; точнее, попал он тогда не в историю, а в деревенскую баню, да еще к старым девам-поповнам, отменным специалисткам в пивоварении, под коих собирался он весной в Нижнеблагодатском-старом, возле Верблюд-горы, завод строить. Машу, которая ему тогда в бане помогла, он хорошо запомнил именно потому, что омовением морды между ними все и кончилось; случайных романов статский

советник не крутил и не любил тех, которые их крутят: заводи романов сколько хочешь, но уж все надолго, напрочно, как «Война и мир». Вот Сухоплещенко Машу Мохначеву и запомнил. Навел возможные справки, узнал, что она теперь совершенно законная, со штампом в паспорте, Маша Волчек.

Всю историю перекусиховского бистро Сухоплещенко распутал скоро, впрочем, не вдаваясь в самое ее начало, там ему не по уму было. Ну, взялись откуда-то десять Волковых и Волчек, непристроенных баб в жены набрали, покатали с Брянщины в Москву, кормя народ по пути. Великий князь Никита Алексеевич еще до при царе примерно той же дорогой прибыл, и бабы его тоже в проезжаемых селениях народ кормили. А вот что рэкетиров по дороге пришили да закопали – это они молодцы. Умное предприятие у них, еще где-то бабу-экономистку спроворили, их и в Москве-то днем с огнем, – но плохо, что двух бандитов «за так» отпустили. Сухоплещенко шевельнул хозяйственным мизинцем, и уже через два дня прибавилось работы «Мастерской по изготовлению наглядных пособий», той, что на Ломоносовском проспекте. Ничего, там еще не такое вываривали. А вот неопознанный скелет, тот, что в ноябре был на выварку сдан, уже забирать можно. Сухоплещенко сделал пометку в календаре: как раз будет скоро случай далеко его подарить, не забыть бы.

Тюльку-Пантелея статский советник в расчет не принял, раз уж его Волковы в свое дело взяли. Но принял в расчет другое: всего в перекатном бистро окопалось двадцать три рыла. Фургон и два прицепа. В меню – лапша, плов. Дневной доход, чистый – чуть не сорок импералов, и даже свой музыкант есть, играет за бесплатно, для услаждения питающихся. Кажется, и документы ведутся учетные, даже книга жалоб в стекле у шофера объявлена. Ну, а что репу-морковку воруют, где могут, – ничего с ними не поделаешь, простые русские люди, такие же, как все...

В общем, нечего этой публике мотаться без хозяина-защитника, хотя пока вроде бы неплохо обороняются. Пусть кормят, зарабатывают, процветают, разукрупняют дело. А ездить зачем? Дать им хорошее место в Москве, как-нибудь переименовать, брать с них за аренду символический налог, или даже вовсе пусть ничего не платят, а вот название нужно им другое. Престижное. Не деньги были статскому советнику сейчас нужны, их сейчас ему хватало, – ну, не слишком, конечно, лишних не бывает, но кое-какие водились.

В границах Московской губернии перекусиховское бистро остановили какие-то пятеро в гражданском. Но без стрельбы, без угроз и без мотоциклов; так, стояла на обочине серая «волга», какой-то тип поинтересовался документами, в основном лицензией на торговлю. Попросил экономиста, кто тут вложением-недовложением занимается. Ну, ясно кто: Анфиса Волкова. Пересела она в «волгу» со всей пачкой документации, сидела там битых два часа, Антон, Антип и Артем все это время непрошенных мужиков на мушке держали, не таких, чай, закапывали. Но Фиса выглядела мирно, хотя сурово, что-то там доказывала. Потом бумажки сложила и отправилась в кузов фургона совет держать. «Волга» осталась на месте.

Пришла Фиса с деловым предложением от статского, не то действительно

статского, он, кажется, и сам не помнил какого советника Бухтеева. Предлагали перекусиховскому быстро не обычный рэкет, а культурный. Во-первых: ни гроша с них никто не требовал. Во-вторых: обеспечивали им снабжение мукой, сухими грибами, ножками какого-то вкусного президента. И место им предлагали в черте Москвы постоянное, притом какое-то хорошее, где и потребитель все время, и бандитов нет. И другие блага. Анфиса их записала, хотела список прочесть. Тут не выдержал Тимофей.

– Ну, а с нас-то, с нас-то что?..

– С нас, Тимоша, вот что, не ерепенься наперед, не такая это чепуха, как тебе кажется. Хочет советник Бухтеев, чтобы мы название сменили.

Минута молчания длилась и длилась – никаких генсеков таким долгим молчанием не читали. Нарушил молчание Тюлька, ничего не понявший, но названием заинтересовавшийся.

– А чем «Перекуси» плохо? Ну и как мы теперь будем?

– Ты погоди, будем, не будем. «Перекуси» мы останемся. А менять то, что дальше. Хотят от нас, чтоб мы кузов перекрасили и документы переоформили... Нет, переоформит он сам. Мы будем «Бухтеев и Компания».

– А «Братья Волковы и Волчек»? – возмутился Артем.

– Это если хотим, ему без разницы.

– Нет, мы хотим! – объявил почему-то Тюлька.

– Ну, а если не согласимся? – спросил Артем.

– Да ладно, начальник взялся... Я уже согласилась. Но с тем, чтобы место в Москве мы сами выбрали. В общем, если больше сказать некому и нечего, то пожалте краситься.

Артем потянул носом, нюх был все еще при нем, волчий. Он чуял, что контору во что-то втягивают.

– А если не согласимся?

Анфиса достала что-то в тряпиче и развернула. Артем увял мигом: это была та самая звездочка из красной жести, которую они с двоюродными укрепили поверх обелиска, когда мотоциклистов закапывали. Выбора никакого не было. Где и какая потайная свинья зарыта – советник Бухтеев, выходит, уже докопался.

– Ну, а пожрать с нами запахло твоему Бухтееву будет?

Анфиса, ни слова не говоря, собрала бумаги и вылезла из фургона. Бухтеев, человек совершенно подневольный, на этот случай имел инструкцию: жрать, что дадут. Дали опять-таки лапши. С тем и порешили. Потом еще долго перекрашивали фургон и прицепы, еще до утра переписывали с Анфисой бумажки, – никому не спалось. Тимур наигрывал мелодию, которая братьям больше всего полюбилась, потому что на губной гармонике выходило почти так, словно бабушка Серко поет, – вообще-то это была «Серенада» Шуберта, но откуда такое знать Артему. Волковы сидели кружком и роняли слезы, бабы даже удивлялись, какие у них мужья задушевные. По просьбе Бухтеева Артем сыграл еще и недавно выученный марш «Тоска по родине». Репертуар у Волчека был уже на два десятка номеров, потому как слух он имел абсолютный, а губную гармонику репарационную.

Так на обочине, Балабанова не доезжая, простояли еще день и еще ночь. Утром Бухтеев привез специально изготовленную для перекусиховцев круглую печать, еще треугольную печать, еще пачку фирменных бланков, трудовое соглашение с московским начальством и еще до фига всего разного. Устал Бухтеев как последняя служебно-бродячая, мечтал об одном: убраться к себе в Наро-Фоминск, где сухоплещенковская жена на связи дежурит. Ладно, что ее муж заставил Бухтеева все переговоры с быстро проворачивать, так ведь еще и завози туда муку, чтоб хорошую притом, за подмоченную, грозит, Бухтееву самому репутацию подмочат, да еще как! С него станется, и подмочит, и вовсе замочит – нет в нем, в хохле, сердобольной русской души.

Отдыха в эти дни не перепало даже Тюльке. А уж Анфиса вовсе «дошла» – из всех документов по прежнему хозяйству можно было не переделывать разве что «кэ жэ и пэ», потому что в ней вообще ни единой записи не было. Однако Бухтеев, помимо всяких формальностей, привез фирме и подъемные: пятьсот новых, кажется, даже еще теплых с чеканки импералов. И сейф к ним. Заметил, какой именно вещи в хозяйстве недостача наличествует. Бесплатно! Мужчина этот Бухтеев был из себя ничего, но куда ему до Тимофея! Словом, перекарасились, погрузились, поехали, – с тем, что место постоянной стоянки они выберут, когда Москву изучат хоть малость. А Бухтеев свалил в Наро-Фоминск.

Первую остановку сделали в Матвеевском и сразу чуть не погорели: не все рэкетеры Москвы были подчинены Бухтееву. Устроили Волковым, только они торговлишку-то начали, натуральную драку. Бабы, как было условлено, сразу в фургон деру, мужики встали стеночкой, как один все фигуристые, жилистые, небритые. Москвичи, что к ним втроем за калымом подвалили, как-то поджались и поостереглись, – впрочем, отступили с угрозами. Тема добрался до телефонной будки, ноготь в прорезь пихнул, – ну, и связался с нужным номером, про который за Балабановым условились. Мужичонки московские рассосались, но торговать в Матвеевском перекусиховцы больше не пожелали: грязно, лезет с угрозами всякая шушера, ногтей на нее не напасешься. Поехали дальше к центру.

Через центр им ехать все-таки не разрешили, хотя они собирались сразу на Красную площадь. Пришлось пилить по Садовому кольцу, – а куда? Тима еще ноготь истратил, и тут ему повезло, он попал прямо на Сухоплещенко. Тот задумался: и впрямь, куда им ехать? Раньше в Москве главным рестораном, говорят, «Яр» был, это потом который гостиница «Советская», теперь вроде бы должна стать она «Императорская», да все не перестроят ее, гнилая, как все советское. Место возле ипподрома, бойкое. Туда, что ли?.. С трудом объяснил, как проехать. Тима влез в кабину и с трудом еще большим стал втолковывать Тепе – куда. Тепа ничего понять не мог, покуда Волчек не сказал заветного слова «ипподром». Значит, туда, где лошади. Антип потянул носом – и поехал туда, куда вело. Нюх у него на это дело тоже волчий был.

Кое-как пристроились. Стеша кур села обрабатывать. Анфиса права качать пошла с помощью третьего Тиминого ногтя. Эдак скоро за губную гармонику нечем взяться будет. Примчался какой-то порученец в синем, рывкнул на

полицейских. Покуда суп да прочее, более или менее свободная от дел Маша пошла слоняться на ипподром, над которым как раз добавляли к вывеске новую строчку, был он просто «Московский ипподром», а теперь стал «имени Михаила Синельского». «А это кто?» – спросила Маша у билетерши. «Темная лошадка, не знаю...» – ответили ей. Маша пошла изучать здешнюю публику и обстановку, что такое «в беговой качалке», и чем это хуже или лучше, чем «под седлом», как ставить в тотализаторе, но успела понять только, что к тотализатору спокойней не подходить и уж подавно мужиков не подпускать, как вдруг услышала вопль: «Ах, Маша! Ох!» – и в объятия к ней кинулась добрая старая знакомая Лукерья, жена Антона-кровельщика, она же довольно известная Настасья. Нынче она была не то чтоб в увольнительной, скорей в самоволке, подменилась караулом с другой Настасьей, которой невтерпеж было сношарь-батюшку хоть покараулить, если нельзя ничего более того, – а сама рванула сюда, к лошадушкам. Очень ее эта забава в Москве увлекла, стала играть, в накладе никогда не оставалась, понимала кое-что, нутром чуяла, когда жокей лошадь на копыто посадит, и в такой заезд на ставила. А уж новостей у нее для Маши было... А уж у Маши для нее новостей было... От главной Машиной новости Лукерья несколько обалдела, узнала, что Маша больше не Мохначева, а Волчек, верная мужняя жена. «А со сношарем-батюшкой как же?..» – «А простит он меня, как Тимку моего увидит». – «А ты же вроде к подмастерью ластилась?..» Маша думала, что расплатится, но нет: Паша-подмастерье – он что, он теперь золотой. А золотых много. А Тима единственный.

Уговорила Маша плюнуть Лукерью нынче на все заезды, тем более интересных и сама Лукерья сегодня не предвидела, – и позвала ее в «Перекуси!» – может, и вправду перекусить уже готово. Пришла Лукерья, осмотрелась, даже зависть ее взяла. Отпробовала. Со вниманием осмотрела Стешу. Баба как баба, а кура почто такая жесткая? «Каких достали...» – грустно выдохнула Стеша, ей давно уж не до кур было, Анфиса норовила на них сэкономить. «Слушай, может, с нашей фермы брать будете?..» – «Так вам сношарь-батюшка и дозволил...» – «Да позволит, позволит, я к нему на послезавтра записанная!» – «Что ж у вас, нынче курей куры не клюют?» Лукерья посмотрела на Машу как на сумасшедшую. «Да ведь не велит сношарь-батюшка продавать на сторону... А сами разве ж съедим?» – «А яйца?» – «Ну, про яйца говорить не моги, это дело святое... А вот петушков лишних – невпроворот...»

Лукерья-Настасья взяла такси и срочно уехала в Зарядье-Благодатское, к противотанковым ежам. Пешком добралась до караулки – понесла новости. В караулке пара синих гвардейцев играла в неведомую карточную игру с парой окончивших дежурство Настасий. Весть о том, что Маша в Москве, и не Настасья больше, а Волчек, разнеслась по деревне со скоростью беспроводного телеграфа, даже Лука Пантелеевич изволил от работы оторваться и в окошко весь доклад о событиях выслушать. «Ну», – сказал сношарь, с трудом вспоминая, какая ж это Настасья. – «Ежели с нашего села, да Паша-подмастерье к ней благоволил... Чего уж... Чего их жалеть, петушков-то... Скажи в птичню, чтоб излишки этой харчевне отдавали, да чтоб не брали с них наценку... Как всегда, по государственной цене...» Тут сношарь убрался в избу,

вспомнив, что и он тоже уплаченную вперед цену еще не отработал.

Так обеспечилось «Перекуси!» курятиной, а Сухоплещенко – добротной точкой общественного питания, расширявшей еще далеко не столь обширный, как хотелось, спектр деятельности и влияния. Парагваевские мальчишки, коих царь старался к себе ближе селектора не подпускать, мигом повелителю про Машу из Нижнеблагодатского наступали. Настроение у Павла упало, – и жалко Машу, и радостно за нее, что все ж таки в Москву перебралась, – но и себя ведь жалко тоже, даже и повидаться-то с ней нельзя. Не то чтоб на старое тянуло, нет, но у Тони как-никак седьмой месяц пошел, не стоит, к чему прошлое ворошить... Да и себя лишними волнениями тоже обременять не надо, вон, визит за границу скоро, и чертова Гренландия вот-вот в войну с Канадой полезет, три куса льда не поделили, да еще бревно какое-то экстерриториальное посреди Ладоги мотается, а на столе одних только ходатайств о помиловании, просьб о пожаловании!.. Нет, не царское это дело – на ипподром показываться. Напротив него, конечно, Петровский дворец есть, от него как раз процессия на коронацию начиналась. Ну так то ж от него, а не к нему.

А что великий князь велел кур этому быстро по госцене продавать – вот это, простите, бесхозяйственность. Жаловаться, конечно, некому, но мясных кохинхинов можно и не базарить. Обошлись бы в харчевне орловскими и чем попроще, – ишь, мурло всякое у ипподрома мясными породами кормить. Но делать нечего. В конце-то концов, в гости лететь не абы к кому. К великого князя законному сыну. А значит – получается просто обмен птицы на рыбу. Быть по сему.

## Павел II Пригоршня власти Часть 9

*Евгений Витковский*

IX

Они передали, что огненные шары – это всего лишь предупреждение.  
Габриэль Гарсия Маркес. Осень патриарха

Потом туман и вовсе рассеялся, небо стало синим-синим, и тут, мой генерал, оно разверзлось, прямо из него на посадочные полосы аэродрома Сан-Шапиро стали вываливаться тысячеместные лайнеры, не наши, кто же знает, что самолеты компании «Эр Сальварсан» имеют зеленые крылья, пусть англичане утрутся подолами всех своих королей, если это не так, а если так, то пусть в эти подолы высморкаются, потому что зеленые рукава – это наша слава и гордость, я думаю, мой генерал, что эту сраную Англию и не открыли еще, когда наши самолеты уже летали с зелеными крыльями, – но небо и вправду разверзлось, лайнеры с двуглавыми птицами на фюзеляжах уселись на бетон аэродрома Сан-Шапиро, а кто как не Сант-Яго-де-Шапиро достоин принять подобную эскадрилью, это так же верно, как то, что у каждого сальварсанца есть задница, но ведь это еще не значит, что можно садиться ею на раскаленный бетон, так вот, разрази меня шаровая молния, если я видел что-нибудь великолепней этих

десяти брюхатых птиц, усевшихся на старый наш добрый аэродром как в собственное гнездо, ничего шикарней я не видел даже на галере, когда Мария-Лусия со своими девочками-анастезийками на задворках суринамского консульства устраивает петушино-скорпионьи бои, ведь без ее девочек ни один настоящий мужчина так и не узнает, что такое страсть мулатки, так вот, мой генерал, если вы не очень устали, добираясь из этой вашей Утренней Земли, я расскажу вам, как десять чугунных птичек сели на бетон, и будь я проклят, если сам Президент не вышел их встречать прямо на летное поле! Но даже не важно, видим мы Президента или нет, – одно и то же, он все равно всегда с тобой, если ты истинный сальварсанец и не воротишь нос от общественных харчей, да в конце-то концов Президент никогда и не покидает страны, кто же не знает, как он однажды подал себе прошение о выдаче гостевой выездной визы куда-то там и сам наложил резолюцию с категорическим отказом, ибо на фи́га же ему сдалась страна, президент которой ошивается неизвестно где, а генералы, мой генерал, не в обиду вам будь сказано, только тем и заняты, что спят и видят, как Президент нацепляет на них погоны генералиссимусов, ведь это уже случилось в нашей истории, а к чему приводит наличие двух генералиссимусов в одной стране, так об этом пусть размышляют скорпионы, когда на них выпускают боевых петухов, хотя на ближайших боях я все равно поставлю на скорпиона, потому что петух старого Рохаса потерял один глаз, да, но скорпион кривого Умберто в прошлый раз тоже ошибся, когда все ждали, что он сам себя ужалит, вместо этого он ужалил одну из девочек Марии-Лусии, пришлось вызвать колдуна из-за самой Сьерра-Капанги, колдун и сейчас еще не приехал, хотя девочка давно здорова, я как раз видел ее только что, она выходила от вас, мой генерал, ну и уделали же вы ее, ну просто зеленая в крапинку баба, шалун вы, генерал, скажу вам, так ведь не только вы, вот моя Тереса давно грозит отпилить мне яйца, если я не уймусь, а я говорю ей, что я не птицеферма Президента, чтоб яйца на ней собирать, если они ей нужны, может пойти к Президенту и попросить, у каждого сальварсанца есть такое право, слава Президенту, которого я как раз и увидел на взлетной полосе Сан-Шапиро, когда головной самолет перелетной десятки развылупился, из него вышел мужик такой толщины, что если б это была баба в заведении Марии-Лусии, то на очередь к ней записывались бы на три месяца, или, хуже того, разыгрывали бы право на встречу с ней в лотерею, и тогда фиг попал бы к ней тот, кто не купил билет-другой в Президентской лотерее, той самой, с которой связаны лучшие воспоминания самых лучших сальварсанцев, в ней не участвует разве что сам Президент, ибо он издал приказ, запретивший ему самому и всем будущим президентам участие в азартных мероприятиях, но все остальные, Боже ж ты мой, разве не играют они и не выигрывают, я сам только в прошлом году выиграл в нее медузу, смотрю на нее с утра до ночи!..

Даже стервятники смылись куда-то в это утро с площади де Армас, заполненной толпой, а великие люди уже поднимались по ступеням главной лестницы Паласьо де Льеведере, гвардейцы в батистовых мундирах с серебряными галунами образовали живой коридор, по которому эти люди двигались; сам Президент отвел у входа в сторону гирлянду отцветающей



гиппокампии и пропустил в патио сперва императора, маленького, но прямого, как палка, лысеющего, но отпустившего рыжеватые бакенбарды, затем канцлера, толстого, как знаменитая Мария-Лусия, и потного, как оконное стекло в конце сезона дождей, потом чрезвычайного и полномочного посла Российской Империи в Сальварсане, совсем не известного в политике человека, про которого ходил слух, что он лишь недавно выпущен из советской тюремно-психопатической больницы имени Влада Дракулы, отца русской школы кровобросания, не то еще какой-то знаменитости с балканской фамилией, за послом проследовал временный поверенный Сальварсана в Москве, гражданин республики Доминика и владелец ресторана «Доминик», что посреди авениды де ла Фальда, следом прошли переводчики, референты и охранники в ярко-лазурных мундирах, лишь затем Президент проскользнул в дверь и закрыл ее за собой, гирлянда гиппокампии снова перечеркнула ее наискосок, на сегодня Президент отменил все аудиенции, даже не поехал на торжественное открытие муниципально-водонасосного ведомства, во всю функционировавшего уже четвертый год, но официально еще не открывшегося, ибо до сих пор глава государства не нашел времени перерезать ленточку на парадном входе, – сотрудникам ведомства приходилось добираться в кабинеты по пожарной лестнице; после этого толпа отхлынула от ступеней Паласьо де Льюведере и стала просто сборищем на диво одинаковых мужчин немногим старше средних лет, излишне полных и вовсе не мулатов, из которых состоит сальварсанская толпа в обычный день, по виду это были скорее всего греки, но там и сям шныряли в этой толпе разносчики вареных улиток, расстегнутых пирожков с мясом броненосца, свиных ребрышек и аргентинской граппы; вместо обычных торговцев водой на площади сегодня мелькали только сестры из общины Святого Иакова Шапиро, торговавшие святой водой, на диво не пригодной для утоления жажды, но другой воды все равно было не достать, и голодные греки, привыкнув у себя на родине пить вместо воды вино, вынужденно хлебали стопками горькую граппу, выгнанную из виноградных отжимок и гребней лозы, мешая ее с якобитской водой, отчего та при большом воображении начинала напоминать вино далекого Афона, визита на который этот множественный грек, между прочим, боялся больше, чем окуривания ладаном.

Видимо, на родине, в уже упомянутом Институте кровобросания, нынешнего русского посла, коллежского советника его благородие Глеба Углова пользовали основательно, потому что крови в его лице оставалось немного; получив после перехода в статские потомственное дворянство и герб с тремя деревянными вальками на серебряном фоне, со щитодержателями в виде двух белохалатных лаборантов, Углов как будто пришел в себя, но никакими силами не удалось его отговорить от идеи подвесить к поясу вместо дипломатической шпаги старинный бельевой валец, в каком виде он вселился в особняк посредине Посольского квартала, – Россия стала уже четвертым государством, установившим дипломатические отношения с Сальварсаном в полном объеме, в качестве посольства России приказом Президента был выделен бывший личный дворец свергнутого двадцать два года назад диктатора, – дворец простоял все эти годы опечатанным и неизбежно сгнил бы, если бы не заползшие в него через

подвал стебли быстрорастущей александрины сальварсанской, эндемической насекомоядной лианы, прославленной на весь мир способностью изменять цвет лепестков в зависимости от того, какое насекомое им перед этим было поглощено, при искусственном разведении лиану чаще всего откармливали дорогими сколопендрами, отчего ее лепестки приобретали неповторимый цвет национального сальварсанского флага, цвет шаровой молнии, упоминание о каковом национальном бедствии отзывалось сладким томлением в ганглиях каждого сальварсанца, ибо в самые ближайшие недели, а то и дни, ожидался очередной молниепад, под которым снова был обречен превратиться в пепел древний город Эль Боло дель Фуэго; будучи насекомоядными, цветы александрины много лет пожирали всех возможных паразитов в покоях свергнутого узурпатора, а когда не было насекомой пищи, то довольствовались плесенью, бактериями, вирусами, благодаря чему дворец российского посольства оказался идеально прибран, воздух в нем был стерилизован и кондиционирован, требовалось только сменить мебель и штофную обивку стен, что выполнили на досуге сотрудники соседнего посольства, тайваньского, следовавшие, впрочем, своим национальным вкусам и обычаям, отчего русское посольство оказалось обставлено низкой китайской мебелью из гнутой драцены, а со стен смотрели игриво извивающиеся драконы и китайские фениксы в зарослях плакучих, словно бюджет Сальварсана до прихода к власти Президента, вавилонских ив и матерого бамбука, при созерцании которого у посла вздрагивало сердце и роились мысли о том, как славно можно было бы собрать из коленцев такого бамбука добротный валец, а потом охаживать таковым всех, кто подвернется под руку. Плети эндемически-насекомоядной лианы удалять из дворца не рискнули даже китайцы, как-никак готовый кондиционер, дезинфектор и даже дератизатор, особо крупные цветки не прочь были закусить зазевавшейся крысой, даже черной привозной, которую именуют раттус раттус, но обожравшиеся подобным образом цветки быстро темнели, предъявляли ярко-белое изображение черепа со скрещенными костями, а затем опадали, рассыпаясь хрупким и летучим прахом; приближаться к цветам разлакомившейся за два десятилетия лианы и сам посол не особенно старался, но вскоре заметил, что при его приближении цветы отворачиваются и порой из чашечек даже слышно что-то вроде брезгливого пофыркивания, ибо зачаточным образом мыслящая лиана сообщала все-таки, что жрать посла дружественно-родственной великой державы для нее, для уважаемого эндемика, не патриотично и опасно к тому же для здоровья, – прошедший полный курс дракулотерапии тип еще неизвестно какой заразы нахватался, лиана ограничивалась тем, что закусывала мерзкими на вид черными баратами, то бишь летающими тараканами, осмеливающимися нарушить неприкосновенное воздушное пространство новообразованного посольства. Но сейчас посол отсутствовал, он находился при исполнении служебных обязанностей и сопровождал своего государя, как раз вступившего в зеркальные коридоры внутренней части Паласьо де Льеведере, следуя четвертым в свите гостей и стараясь как можно меньше попадаться на глаза тому, кто следовал в свите вторым, своему канцлеру, второму человеку Российской империи, сильно

похудевшему, но все еще раблезианскому толстяку, который и в прежней жизни был его начальником, и в нынешней им оказался, хотя часть веса сбросил, без чего в сыром и жарком сальварсанском климате наступающего апреля откинул бы свои носорожьи копыта еще на аэродроме, а сейчас по крайней мере мог не быстро, но и незадышливо сопровождать своего государя в утомительной, но необходимой поездке.

Все же странное это было здание, нынешнее посольство России, особняк на углу улиц Сиды Ахмета и Авельянеды, ведь прежде это был личный особняк кровавого гада Бенито Фруктуосо Корнудо, над которым даже в анекдотах не издевались, потому что фамилия у него была такая, что впору живот со смеху надорвать, и были случаи, что кое-кто из испаноязычных иностранцев, узнав подлинное имя этого ублюдка, так и оставался на всю жизнь с грыжей, полученной от хохота, кто с пупочной, кто с паховой, а чаще всего с диафрагмальной, ведь надо же, чтобы мерзавец еще и по фамилии был роконосец; когда власть сменилась, то народ, который любит давать прозвища и любимым политикам, и не любимым, попробовал назвать нынешнего Президента Хорхе Бастардо, потому что по рождению он – как и сам этого не скрывал – был незаконнорожденным, не то что его младший брат на далеком севере, хотя как раз родной отец только и считал Президента своим единственным законным, но кличка Бастардо была скучной, как обряд розарио при увядших розах; затем какие-то подхалимы пытались дать ему кличку Хорхе Амадо, то бишь Возлюбленный, но это звучало уже совсем не по-сальварсански, ибо кто же в республике не возлюбленный, если сам Президент, Истинный Соратник Брата Народа, изволит лично любить свой народ за одно то, что тот признал в нем такового, а в самом себе – брата покойного Брата; словом, даже обитатели самой заштатной из провинции Сальварсана, горной страны Сан-Президенте, никакого прозвища за главой государства не признали. Народ Сальварсана вообще жил другими интересами, в любимой харчевне генерала Униона, когда он незаметно вошел туда в первый же день после возвращения из Утренней Земли, только и разговора было, мол, представители Боливии и Парагвая на Панамериканском сборище разболтались, какие они несчастные, потому что их страны отрезаны от моря, но их на этот раз не освистали и не ошкаркали, ибо встал представитель Сальварсана и заявил, что у него страна тоже от моря отрезана, но Сальварсан на море не претендует, все свои законные и неотъемлемые права на море он готов подарить остальным странам, не имеющим моря, тогда поднялся представитель северо-западного соседа Сальварсана, Страны Великого Адмирала, тоже оставшейся без моря, ибо свое море покойный патриарх Сакариас Альварадо, теперь известный всему миру только по страшным книжкам, отдал гринго в уплату государственных долгов; представитель сказал, что в их новой столице Сан-Габриэль-дель-Дариен только рады будут присоединиться к новому военно-политическому блоку; в харчевне начиналась оживленная дискуссия, но тут подвалила полуденная жара, все раскисли, поговорили немного о Коране, черепахах, пресвитерианском вероисповедании, женщинах, яйцах и еще о чем-то, нить разговора потерялась, члены конгресса пошли коротать жаркие часы в харчевню «Под девятью

троюродными сестрами», в которую сейчас как раз заглянул бригадный генерал сальварсанской армии, тайный жрец-вудуист Марсель-Бертран Унион, – ему еще предстояло нынче поздно вечером настоящее радение кандомбле, на нем природных сальварсанцев не бывает, зато валят валом иностранцы, для которых вся оперетта единственно и затевается. Одно было плохо в жаркие часы, то, что ту же харчевню облюбовали также рыночные подонки, ниже которых среди сальварсанцев не стоял никто, даже убогие извращенцы, лишенные права выходить на улицу раньше десяти вечера и после восьми утра, – здесь ошивались броненосцекрады, мастера тайного и гнусного ремесла, за которое еще по древнеримскому обычаю положено заколотить редьку в задницу, именно это со всеми с ними уже не раз проделывалось, и оттого в воздухе харчевни, помимо запаха острой фританги и приторных, тающих в руках лепешек рападуры, висел неистребимый запах редьки.

Мало что известно было в Сальварсане о личности старого генерала Униона, кто-то вспоминал, что его вроде бы видели приехавшим из Бостона в Англию, на земли, расположенные к югу от Твида, не то его просто видели в бостоновом костюме, лихо саженками переплывающим Твид, не то он однажды заявился напрямик в Бостон в твидовом костюме, не то вообще ничего такого не было, в Штатах, кажется, генерал сроду не бывал, в Британию ездил нехотя, а щеголял исключительно батистовым френчем с галунами, – кто его знает, тайны папалоа на то и тайны, чтобы оставаться неизвестными даже самим жрецам, – однако вот заглянул же генерал в свою любимую харчевню, памятуя, что чем больше человек помнит любимое место и любимую вещь, чем больше о них заботится и чаще их посещает, тем они достоверней и реальней, никто же не станет спорить, что харчевня, которую генерал перестал бы посещать, уже не могла бы считаться его любимой, а тогда вообще кому она нужна, тем более что Президент ее давно собирался снести, оттуда редькой воняет.

На лестнице, ведущей во внутренние покои дворца, теснились, к особому удивлению русского императора, какие-то неожиданные люди, немолодые, в белых хламидах, в широких красных шляпах, не то изгаженных голубями, не то специально обшитых белыми кляксами, все они тянули к венценосцу руки, чего-то прося на неведомом ему испанском языке, в котором слов из индейских языков каювава и гуарани было больше, чем кастильских, да еще вся эта смесь на португальский манер шипела, – никуда не денешься, тут сказывалась великая проигранная война, отхватившая от Сальварсана с востока тысячи квадратных лиг каатинги, малонаселенной зоны низкорослых кустарников и деревьев, все жители которой тем не менее и сейчас претендовали на сальварсанское подданство, – а в ожидании разрешения на постоянную сальварсанскую прописку пользовались временной, служили в республике сторожами и фонарщиками; однако люди в красных шляпах были отнюдь не просителями из каатинги, это были коренные сальварсанцы, тайные жрецы Великого Красного Духа Мускарито, именно для них российский император, недоумленный Долметчером, привез целый самолет мгновеннозамороженных красных мухоморов, российских аманита мускариа, нигде не достигающих столь благодатных свойств, как в России, ибо лишь в странах, осененных благодатью

абсолютной монархии, может явиться истинный Дух Мускарито, тогда как мексиканская, к примеру, разновидность того же гриба, к примеру, его разновидность безнадежно республиканизирована, а в самом Сальварсане аманиты деградировали до того, что их в микроскоп не рассмотришь, вот до чего довел страну диктатор-рогоносец, в чьем особняке теперь по праву разместилось посольство России, где нынче вечером император при помощи собственных поваров и при обязательном участии лично господина Доместико Долметчера давал званый ужин в честь Президента, своего двоюродного дяди, и на этот ужин по обычаю пригласили самых главных сальварсанских генералов, прежде всего убеленного сединами Марсея-Бертрана Униона, из-за чего участникам кандомбле не приходилось ожидать жреца раньше часа ночи, – и послы как Тайбея, так и Нуука тоже были приглашены на ужин, а посол Розо, то бишь столицы Доминики, оказывался на ужине без приглашения, со стороны кухни – хотел он того или нет.

Поднимаясь, император небрежно вкладывал в руку каждого из служителей Культа Великого Мускарито огромный холодный мухомор, доставая его из услужливо протянутой морозильной торбы, и глаза жрецов наливались рубиновым огнем в предвкушении пожирания священного лакомства, коим президент Романьос этих прихлебателей не очень баловал, напротив, на их неизменные попытки выклянчить у него грибочек-другой лишь малозаметным движением левого плеча приказывал вынести с поварни большую глиняную миску с пирайевым супом, а его по древнему сальварсанскому обычаю надлежало немедленно проглотить: тем вопрос попрошайничества и решался, ибо руки и рот просителя оказывались заняты; при повторном попрошайничестве выносили вторую миску, а не очень-то второй галлон рыбьего супа сожрешь, грибочка все равно не дадут, – ну, а не съешь ниспосланную Президентом ушицу, – отвернутся от тебя даже собратья-жрецы, ибо сами в том же положении; в сальварсанском, давно построенном Обществе Всеобщего Братства какие могут быть привилегии у кого бы то ни было, кроме немногих почетных граждан, из коих ни один не являлся жрецом Мускарито; впрочем, каждый блюститель Культа являлся представителем меньшинства, а о таких Президент заботился специально, иначе фиг получали бы жрецы эти мухоморчики из рук почетного гостя, это главный жрец: небезызвестный Тонто де Капироте, вымолил через Долметчера такой подарок, иначе сидеть бы им теперь на безгрибье, и лишь одного страшились жрецы: того, что после съедания гриба Великий Мускарито явится им не в красной шляпе, а в зеленой, как протухшая суринамская пипа, и придется ему по обычаю задать вопрос – «Как твое имя?», и Мускарито скажет такое, от чего до конца жизни будет мучить тебя стыд за бесцельно прожитые годы, ибо постигнешь ты по этим словам, где непременно будет упоминаться твоя бесчестная родительница, что явился тебе Великий Дух в своем антиподобии, в образе Мрачного Мусцилито, которому страшатся поклоняться даже вымирающие на высочайших отрогах Сьерра-Путаны свирепые каннибаледы, еще одно сальварсанское меньшинство, о коем сердобольный Долметчер опять-таки попросил позаботиться русского императора, прибывшего в гости к двоюродному дяде:

для пропитания каннибалоедам необходимы были как минимум каннибалы, составляющие не менее 75% от общего объема пищи в нормальном меню племени, без чего оно чахнет и теряет способность к размножению, так вот, один из прибывших самолетов был целиком загружен всеми возможными средствами для спасения погибающих; Павел привез репринтные переиздания всех пяти выпусков известного «Альманаха антропофага» с параллельным переводом на испано-сальварсанский диалект племени, в альманахе было немало ценных рецептов, которыми спасаемые больные вольны были пользоваться или нет – по собственному усмотрению; в том же самолете под общим наркозом прибыли четыре десятка выявленных министром внутренних дел Российской Империи Всеволодом Глущенко сибирских людоедов, исключительно милицейского в прошлом сословия, которых надлежало пробудить в горах на ритуальных полянах племени, а уж что там с кем и кто дальше сделает, это их дело, и все милиционеры были пробуждены посреди такой поляны, обнаружили, что их обступают какие-то человекообразные создания с обсидиановыми ножами в руках и облизываются; милиционеры, хоть и были в чем мать родила, быстро сообразили обстановку, встали стеночкой и пошли на доходяг, быстро их всех перебили, после этого воспользовались очень кстати разведенным до их пробуждения большим костром и припасенными вертелами, наскоро поджарили некоторых побежденных, прочих повесили тут же вялиться, выставили пост номер один для охраны провизии от стервятников-уруб, пировали двое суток, лишь постовые сменялись; через три дня над ними начали летать разнообразные аппараты, производившие аэрофотосъемку; эксперты в Сан-Сальварсане мигом разобрались в происшедшем, но поскольку имелся президентский приказ, ясно гласивший – «пусть съест кто кого хочет», начальству было доложено, что все в порядке, племя спасено, ибо милиционеры успешно противостояли нескольким сотням каннибалоедов, все имели спортивные категории не ниже первой, все были готовы к труду и обороне, так что в ближайшие месяцы, а может быть даже и годы, в отрогах Сьерра-Путаны голода не ожидалось; поскольку взаимопожирание входит в племенные обычаи данного президентспасаемого народного меньшинства, значит, и все гражданские права соблюдены, и все сыты, и нечего присылать наблюдателей из ОЗОН, их эти новые светлокожие каннибалоеды тоже за милую душу съедят, ибо не брезгают нынче даже и простыми чиновниками, не только тех едят, которые сами другими питаются, впрочем, так ли уж уверены ОЗОНовцы, что никого они никогда не ели, да еще вполне безнаказанно? Пусть внимательно почитают «Альманах антропофага».

Вот уже для двух сальварсанских меньшинств визит императора Павла стал каким-никаким, а спасением. Однако среди подарков России великому латиноамериканскому другу и дяде имелось еще многое; целый самолет в прилетевшем караване был наполнен учебными пособиями для сальварсанских школ, пособия были более-менее одинаковые, но зато очень дефицитные, Павел привез прекрасно обработанные и укрепленные человеческие скелеты, на них теперь имелась возможность преподавать малышам такую важную науку, как остеология, наука эта очень важна для истинного сальварсанца, слишком уж

изнеженного государственным обеспечением, слишком уж занятого размышлениями о том, на кого ставить в субботу на гальере, на петуха ли колченогого Харамильо, на скорпиона ли толстой Сильвины; скелеты были развезены по школам в городах и деревушках, но кое-что, конечно, уплыло на сторону, один особенно аккуратно упакованный скелет перевезли через границу и продали на рынке в Бразилии, в захолустном Барселусе, что на Рио-Негро, но там подвыпивший покупатель переезжал через реку и выронил скелет прямо в стремнину, она же вынесла скелет в Амазонку, где его пытались обглодать местные мелкие пирайи, на дикий бразильский манер именуемые пираньями, но не преуспели; скелет плыл и плыл мимо Манауса, Обидуса, Монти-Алегри и Порто-Сансаны, наконец, был замечен с набережной в Макапе, но его приняли за обыкновенный скелет, не ведая о том, что по Амазонке плывет чудо, сработанное умельцами Ломоносовского проспекта, которые уже давно перешли от подковывания английских блох к этому более доходному и безопасному промыслу; скелет так и уплыл в Атлантический океан, где был сожран оголодавшим китом-касаткой, каковой хищник от этого пожирания немедленно превратился в птичку колибри, улетел на юг, на островок Пакета, что напротив Рио-де-Жанейро, там уселся на ветку и стал распевать отлично отколиброванные песни, их и сейчас ездят слушать богатые кабоккло, кафузы и курибока.

Но и это было еще далеко не все, что привез с собой император. Грузовой отсек последнего самолета эскадрильи был целиком занят подарками Президенту от его родного отца, великого князя Никиты Алексеевича, заранее согласованными по дипломатическим каналам; кое от чего Президент отказался, ибо много ли найдется вещей в мире, которыми Сальварсан сам по себе не обладал бы в достаточном количестве, однако же цистерну с подброшенными мальками знаменитой русской рыбы «золотоперый подлещик» самолет привез, заранее было проверено, что подлещик прекрасно уживается с культурными видами пирайи, говорит по-человечьи и по-рыбьи одинаково хорошо, не только в короткий срок изучил испанский язык, но – и это главное – обладает большим даром убеждения; Президент лично намеревался провести с подлещиком собеседования и консультации, без посредников, потому что тоже одинаково хорошо говорил на испанском и на русском. В том же самолете прибыли и другие подарки от великого князя Никиты Алексеевича сыну; особенно ценными среди них могли считаться отборные раки из Угрюм-лужи, некоторые, не соврать вам, ну с крупную курицу, хотя в истории Нижнеблагодатского известны и более крупные экземпляры, но этих сношарь-батюшка оставлял при себе как племенных производителей; пива князь тоже прислал, домодельного, самодходчивого, лично давал инструкции, когда бабы его варили, рецепт пива этого был копейка в копейку тот же самый, что у поповен, – «нижнеблагодатское сосновое», однако князь считал пиво поповен нешибистым и квелым, потому для любимого сына велел сварить фирменное, какового направил в дар шесть сорокаведерных бочек, но шестая в самолет не влезла, ее отдали синим гвардейцам из внешней охраны сельского периметра, пиво немедленно было в караулке пущено в ход, после чего гвардейцы дружной

кучей захрапели на полу, вызвав у сторожевых Настасий единодушную брезгливую улыбку, однако Президент, когда пиво и раков доставили в Паласьо де Льюведере, изволил испить отцовского варева два полных кувшина, закусил парой весьма клешневитых раков, чем-то похожих на стервятника-уруббу, а размером в половину его же, если стервятника брать за пример не очень крупного; в ответ на вежливый вопрос Долметчера, что Президент изволит передать родителю по поводу подарков, Президент что-то тихо сказал и повел левым локтем, но поднаторевший в общении с главой государства креол понял, что пиво и вправду шибистое, за это отцу благодарность, что раки и впрямь клешневитые, за это благодарность сугубая, а в качестве ответного дара посылает Президент отцу много всякой всячины, – список ответных даров Долметчер застенографировал на манжетах, удивившись лишь одному из предметов, попавших в список, – дюжине старинных испанских аркебуз, в точности таких, с помощью каких в шестнадцатом веке завоеватели истребили племя индейцев-людоедов бороро, ну, если уточнять, то их не истребили, а выгнали в Бразилию и в горы, где ими почти сто лет лакомились тогдашние каннибалоеды, ну, а зачем великому князю, живущему в своем селе посреди первопрестольной российской столицы, каннибалобойные аркебузы – Долметчер представить не мог, но счел, что Президенту виднее, а Настасьи вообще любую вещь в хозяйстве используют, лучше уж пусть из аркебуз лупят по нарушителям границы-периметра, чем из гаубиц, что уже случилось и от чего в Москве земля тряслась, даже заводская труба на предприятии имени Макса и Морица дала трещину.

А вечером первого же дня имела место в русском посольстве грандиозная годерия, или, говоря по-русски, халява, – слово это, «ла халява», кем-то случайно брошенное, прозвучало очень по-сальварсански и тут же вошло в столичный диалект, которым последнее время кое-кто щеголял даже в Аргентине, – с этой страной Сальварсан дипломатических отношений не имел, а вопрос о том, имеет ли он с ней пограничные отношения, имел философский характер: граница Сальварсана и Аргентины представляла собою одну точку в юго-западном углу страны, ибо к границе нелепо длинного юго-западного соседа Бразилия не примыкала, там длинным клином тянулась к северу сужающаяся полоска аргентинской земли, в конце концов мизинцем дотягиваясь до Сальварсана; место это считалось таинственным, полагали, что там расположены уж заодно и рубежи пятого сальварсанского соседа, загадочной державы Тлён, но другими это оспаривалось, ибо точка, строго говоря, приходилась не на землю, а на воздушное пространство, на жерло потухшего вулкана Ягуачо, уходящее в неизмеримые глубины земной коры, – из этого жерла, по индейским поверьям, когда-то вышел весь видимый мир, и куда в один прекрасный для предусмотрительных людей день весь мир и провалится; пока что таковое тотальное проваливание не случалось, но в жерло вулкана один за другим соскальзывали принстонские альпинисты-энтомологи в поисках новых бабочек, никто их больше не видал, в Южной Америке по крайней мере; бытовала легенда, что те из них, кто безболезненно добрался до дна вулкана, немедленно находили там утопическое убежище и веки веков



выбираться назад не хотели. Вулкан не зря носил название Ягуачо, именно на его склонах водились описанные еще Святым Иаковом Шапиро оборотни-ягуары, ныне вымершие, которых не следует путать с оборотнями-пумами, в просторечии пуморотнями, существами довольно мирными, в Сальварсане давно и по большей части безвозвратно перекинувшихся в людей, ибо не из идиотов же состоит племя, чтобы прыгать по сельве, где тебя любой заблудившийся полковник Фоссетт подстрелит за здорово живешь, тогда как в человеческом виде в Сальварсане любой из пуморотней считался коренным сальварсанцем и имел равные с прочими сальварсанцами права; к тому же на заселенном почти одними пуморотнями плоскогорье Сан-Президенте всюду так неистребимо пахло кошатиной, что ни один нормальный человек по доброй воле туда не стремился, плоскогорье жило почти целиком на самообеспечении, лишь пирайевое филе доставляли с равнины караваны мулов, ну, а рояли «Бехштейн» для дочерей богатых пуморотней-плантаторов обычно сбрасывали на парашютах, ни один еще не прибыл поврежденным, только одного молодого пуморотня пришлось в Буэнос-Айресе обучить на настройщика; плантаторы выращивали знаменитую на весь мир сальварсанскую валерьянку, которой все плоскогорье пропахло до небес, забывая даже запах кошатины, плантаторы также выращивали восковую пальму, неприхотливую до того, что она была согласна давать воск на высоте до четырех тысяч метров, воском запечатывали флаконы с валерьянкой, увозимые теми самыми караванами мулов, которые доставляли на плоскогорье мороженую президентскую пирайю.

В русском посольстве тем временем всюду пила и ела на годерию, то есть по-сальварсански «на халяву», вся местная элита, не исключая и толстую Марию-Лусию, настоятельницу бардака, то есть монастыря анестезиек, толщиной соперничавшую с русским канцлером, – среди сальварсанцев даже заключались пари, кто из двоих толще, но победить в таком пари было невозможно, потому что ни настоятельница Мария-Лусия не согласилась бы встать на весы, она как-никак берегла фигуру от незаконного контроля, ни тем более канцлер, которого царь приучил беречь данные о своем весе как государственную тайну, – в посольстве оба ели и пили от пуза, канцлер туго запомнил, что раз в неделю есть можно все что угодно и сколько захочется, а Мария-Лусия столь же твердо блюла анестезийский обет, ела и пила сколько влезет все семь дней в неделю, ибо это и душе удовольствие, и страстным сальварсанцам чистое восхищение, мода на красоту в стране царила отчасти турецкая, кем-то пущенная в обиход старинная пословица, что девяносто пять процентов любит толстых женщин, а пять процентов – очень толстых, по сальварсанским понятиям была бы верна, кабы цифры в ней поменять местами, вообще можно было бы утверждать, что очень толстых женщин любят все сто процентов сальварсанцев, кабы не пуморотни с плоскогорья Сан-Президенте, где валериана не дает женщинам войти плотью в благодать; там, при выкапывании корней и сборе остальных частей растения, сборщики лучшую часть корня кладут не в корзину, а в полотняный мешочек на груди, для своих нужд, только члены племени знают, в какой день и час суток валериана истинно «готова», и есть у них поверье, что лучший корень образуется у того растения, на которое зеленым горящим

взором, сузив растянутые по вертикали зрачки, старый пуморотень посмотрит ровно в осеннее, то бишь майское полнолуние, затем такое растение следует перевязать выпавшим пуморотневым усом, лучше седым, за такую валерьянку нелегальные скупщики из штата Колорадо платят бешеные деньги, называют по-научному «берсерк чумовой», а сторонние сборщики-воры, по-сальварсански «чакальос», норовят эти корни выкопать раньше срока и опять же в Колорадо продать, но если попадаются на месте преступления, то их по старинному обычаю сбрасывают в жерло безмолвствующего вулкана Ягуачо и пусть уж они там на дне просят убежища, – только бы среди плантаций их не видел больше никто, шакалов, тоже мне, семьдесят четыре хромосомы побегучих.

В тот вечер в русском посольстве была не только жратвенная и питейная ла халява, танцы там тоже были, однако, в честь государства, которое нынче получило в полное распоряжение дворец доисторического диктатора, танцы эти были только одного вида, по-сальварсански «байлар-куклильяс», в России это называется «в присядку», танец этот хотя и завезен в Россию, но исконно сальварсанский, его еще дети испанских конкистадоров танцевали, неизвестно только, с лошади слезали при этом или нет, – однако нынче этот танец танцуют вовсе без лошади; в России, кажется, про танцы на лошадях не слышали даже, ничего, пусть туда малость наших обычаев отвезут, небось, найдутся у них и петухи, и скорпионы; впрочем, Мария-Лусия танцевать в присядку долго не хотела, покуда канцлер, которому его император приказал стальным взглядом, не подал пример первым, уж тут настоятельница не утерпела, подоткнула всю дюжину юбок и пошла выкидывать такие антраша, как на приеме у Президента сколько-то лет тому назад, когда Марсель-Бертран Унион привез ему из Лондона с аукциона какую-то серебряную монету, говорят, с портретом дедушки Президента, но кто ж этому поверит, неужто же у Президента и впрямь мог быть дедушка? Император, сказывают, тоже Марии-Лусии кивнул, в знак уважения к сальварсанским традициям, и тогда канцлер, отдышавшись, вышел в круг по новой и выдал такую лихую присядку в ритме румбы с перчиком, что присутствующие от восторга хотели стрелять в потолок, но все оружие у них отобрали на входе, кто бы им позволил стрелять в потолок, когда на втором этаже полным-полно охраны, – словом, оставалось гостям только рычать и мяукать от восторга, чем они и занимались.

Во время общего веселья Президент с императором уединились ненадолго передохнуть, Павел как раз вспомнил, что одна деталь пейзажа невдалеке от аэродрома Сан-Шапиро его удивила: это было огромное, черное, угрюмое здание без окон, длиной метров триста, высотой эдак шестьдесят, а ширины Павел не разглядел, – и Павел решил разузнать у Президента, что это за хреновина такая, да и спросил, дипломатично заменив пришедшее на ум «хреновина» более нейтральным «конструкция», и тогда Романьос, по обыкновению тихо и четко, склонив голову к левому плечу, ответил ему: «Брат мой... Всякое в жизни может случиться... Это – аппарат «искусственная печень-почки-поджелудочная-селезенка-простата-аппендикс»... Вдруг понадобится... К сожалению, современная наука, даже самая передовая, не в силах сделать этот аппарат более миниатюрным, сохраняя полную его автономность... Нет, печень

у меня совершенно здоровая, простата тоже, но мало ли что может понадобиться через сорок, пятьдесят лет, даже глава государства, брат мой, все же подвержен старению...» – и Павел подумал, что нынче же закажет Цыбакову проект такой каменной печени для себя, где-нибудь в районе бывшего проезда Шмита, ныне переименованного в Аракчеевский, там свободного места полно. А праздничный вечер с плясками и закусками под выпивку продолжался далеко за полночь, когда подул с гор еще слабый, но уже опознаваемый сальварсанский северный ветер «ультрамонтана», прямо в окно посольства влетела хоть и маленькая, хоть и с голубиное яйцо, но самая настоящая шаровая молния, которую Мария-Лусия выгнала назад одним взмахом шести своих верхних юбок; молния взорвалась на лужайке перед посольством, отличный вышел фейерверк в честь глав государств, но праздники и фейерверки сами по себе, а шаровая молния – это шаровая молния, это предвестие, это цветочки, занесенные ветром с гор, основной молниепад, от которого этот цветочек отпочковался, стечет к утру в котловину Эль Лебрильо, посредине которой вот уж которое поколение сальварсанцев мужественно строит и строит вечногорающий город Эль Боло дель Фуэго, в главном соборе которого на площади Монтанья Зорра, хранится рака с мощами Святого Иакова Шапиро, незримо наставлявшего отцов-основателей страны, столь мужественно проводивших в начале века «мышьяковые препараты» и объявивших почти погибшую республику независимой, неделимой и вовеки великой, – эти мощи на время молниепода временно переносились в президентскую часовню на президентской личной кофейной плантации «Ла палома», приказ о переносе мощей был немедленно отдан президентом по радио, и мощи были перенесены, а обреченный Эль Боло дель Фуэго уже разгорался в наплыве стекающих со Сьерра-Путаны молний, они взрывались, поджигали дома, заборы, деревья, даже мокрое, вывешенное для просушки белье девиц из местного филиала обители анестезиек, никак не ожидавших, что молниепад начнется в первый же день визита императора, не иначе, как в его честь, девицы смотрели по телевизору прямую трансляцию из посольства, глаз не могли отвести от байлар-куклильяс в исполнении Марии-Лусии и толстого канцлера, откалывавших хабанеру в присядку в честь изгнания шаровой молнии на лужайку, где та взорвалась, оставив под правой лопаткой Марии-Лусии прекрасный профильный портрет почему-то Доместико Долметчера; девицы весь вечер заключали пари о том, на какой минуте провалится пол в особняке недоброй памяти Бенито Фруктуосо Корнудо, однако девицы ничего не знали об удивительной реставрационной мощи александрины сальварсанской, плети которой, протянувшись в перекрытия особняка, не просто держали пол и закусывали мышами, они были столь прочны и надежны, что если бы нижнеблагодатские бабы в каса бывшего Корнудо растоптухи устроили, то она, александрина, и такую нагрузку выдержала бы, хотя это утверждать нельзя, растоптухи танцуют все-таки с ведром воды на голове и сразу не меньше двух дюжин баб, а тут всего-то двое плясунов, хоть и очень увесистых, но без ведер, – нет, вот на растоптухи букмекер еще мог бы принимать ставки, а здесь у тех, кто ставил на пролом пола, не было ни одного шанса.

Эль Боло дель Фуэго уже горел черным, желтым и белым пламенем, приветствуя, как все предполагали, высочайшего гостя, однако смотреть на пожар ни Президент с генералами, ни император со свитой не отбыли, хотя страсть к смотрению на пожары была у обоих, не зря их общий предок, заколотый впоследствии вилкой император, папа другого, задушенного апоплексическим шарфом, на все пожары в Петербурге скакать изволил; но на второй день визита, помимо вечерних закусок и байлар-куклильяс, на этот раз уже в Паласьо де Льюведере, был запланирован визит императора в пределы истинно сальварсанской достопримечательности; если покойный диктатор Страны Великого Адмирала завел у себя приют для свергнутых фельдмаршалов, то имеющий некоторые средства для меценатства и недовольный состоянием собственно сальварсанской изящной словесности Хорхе Романьос выстроил в далеком пригороде Сан-Сальварсана многокорпусный дом, «Каса де лауреадо» было его официальное название, или же, попроще, «Каса сентраль де лос новелистас», кое-кто называл это сооружение еще и «Каса де лос виборас», то есть «дом гадюк», но этот эвфемизм чаще всего употребляли сами обитатели писательской богадельни, собранные со всего материка, и даже из Европы, и даже не из латинских стран; чужеродцы чаще всего называли дом арабо-португальским вульгаризмом «альвиперайя», что означает, видимо, тоже что-то гадючье, но звучит непонятно, как «мил-и-уна-ночес», и тоже красиво. Дом был выстроен по специально заказанному в Аргентине и сильно переделанному в Италии проекту в форме лабиринта, куда Романьос по собственной инициативе ввел огромное количество зеркал, ибо считал заселение касы де лауреадо еще далеко не таким плотным, как хотелось бы, при этом хорошо помня каноническую мысль религии Укбара о том, как прекрасны зеркала и все другое, что способствует приросту населения; многие зеркала были укреплены друг против друга, многократно усложняя и без того запутанный лабиринт, по которому большинство писателей бродило с клубками шерстяной нити, один конец ее предварительно обмотав вокруг ножки своей кровати, однако лабиринт был столь длинен, что часто писатель, размотав весь клубок, оставался топтаться в коридоре, да и в родную кровать попасть для него тоже было непросто, не он один мотался по коридору с шерстяной нитью Ариадны, порою два десятка несчастливцев перепутывали нити в такой узел, какого ни в жисть не сумели бы наплести в сюжетных линиях романов; отчаявшись, они рвали нить, как рвут нить повествования в том случае, когда писатель окончательно не знает, что делать с лишними героями, и спасти дело может авиакатастрофа или взрыв мартеновской печи, что позволяет угробить три четверти персонажей и начинать повествование по новой, до новой катастрофы, вновь до полного запутывания, которое взыскательный читатель считает проявлением потока сумеречного сознания, – но в свою комнату писатель все равно вернуться не мог, разве что случайно, лабиринт на то и лабиринт, хотя вместо минотавров по нему бродят благожелательные медсестры со шприцами успокоительного, – писателю оставалось войти в первую попавшуюся пустующую комнату и обосноваться там, примирившись с тем, что разложенная на столе рукопись – это именно его родное детище, именно этот роман ему предстоит продолжать

вплоть до очередной необходимости выйти в коридор, а там либо путаница нитей, либо их обрыв не лишат его и новообетенного жилища; уже не однажды бывало так, что писатель, сменив три десятка комнат, все-таки попадал в ту, с которой начал свое странствие по лауреатскому дому, и там обнаруживал рукопись романа, начатого им много лет назад, с тех пор дописанного десятками разных других сочинителей, перечитывал рукопись, ну, а дальше все зависело от характера писателя, одни садились строчить продолжение, уверенно изгибая повествование к начальному сюжету, из-за чего творение явно приобретало гностический характер, уподобляясь Верховному Змею, традиционно изволяющему поглощать свой собственный хвост; другие, более решительные, наскоро сочиняли книге какой-никакой эпилог, вкладывали рукопись в пакет пневматической почты и доверяли ее государственному издательству, тискавшему пробные экземпляры книги и рассылающему их в другие страны; однако в испанских странах спросом пользовалась только продукция одного южного новеллиста, ничего не сочинявшего такого, что превышало бы десять страниц, и потому в любой комнате успевающего начать и кончить очередной рассказ, – спрос находила также и продукция скитавшегося за этим новеллистом европейца, писавшего лишь об одном, о том, как старец-новеллист ходит по коридорам лауреатского дома, пишет свои рассказы и дурно влияет на окружающих, соблазняя их грехом парадоксальной афористичности, в творчестве европейца старец-новеллист неизменно представлял суровым, злым, энциклопедически образованным злодеем, норвящим вместо обеда сжевать чужую рукопись, тогда как, быть может, именно в этой рукописи было таинственно зашифровано неведомое имя какого-нибудь верховного божества хеттов или мидян, как бывает порою такое имя зашифровано в пиктограммах шкуры леопарда, особенно если его долго не кормили и из-под его шкуры палимпсестом проступают еще более таинственные письма ребер, напоминающие старославянскую глаголицу, мелко нашинкованную кривыми мечами триста лет хозяйничавших на Руси родичей Чингис-хана, отчего глаголица, минуя святой труд болгарских мастеров зонтичного дела, святых Кирилла и Мефодия, становится похожа не на столь родное каждому индоевропейцу письмо деванагари, а на битые черепки кавказских азбук; рукописи этого европейца были всегда обширны, притом создавал он их только сам: даже отправляясь по естественной нужде в коридорное странствие, рукопись он брал с собой и не зависел от того, что найдет на очередном письменном столе, его роман «Семя крапивы» расходился огромными тиражами на всех культурных – и не очень – языках, принося автору бешеные деньги, но писатель в них не нуждался, ибо полагал, что в жизни имеют ценность только лошади, шампанские вина и женщины, поэтому все гонорары шли на счет заведения Марии-Лусии, а уж она заботилась, чтобы под окном у писателя всегда дежурила на лошади верхом девица с ящиком шампанского и приставной лестницей на тот случай, если европеец позвонит в колокольчик, дальше все ясно, кроме того, что писатель, выпив бутылку-другую, остальное забывал в той же комнате, спеша не оторваться от блуждающего новеллиста; следующий владелец этого жилья, если не находился еще в полном маразме, имел

возможность отвлечься от литературы до той поры, пока «Спуманте» не выгоняло счастливец в коридор на поиски сортира, а дорога обратно среди бесконечно двоящихся зеркал и перепутанных шерстяных нитей бывала безвозвратно утрачена, – сам же европеец считал, что должен работать и работать день и ночь, святой отец, ну разве же неправильно он поступал, иначе зачем бы вы отпустили ему грех непосещения собора Святого Иакова Сальварсанского, попробовали бы не отпустить, мы-то с вами знаем, что случается со священнослужителями, которые осмеливаются ковырять внутренние дела любимого первого друга и родственника, – показал, что нашел достойным, а потом предложил царю погулять в окрестностях, или принять ванну из распаренных целебных листьев, или посетить местный филиал анестезийской обители, или выпить настоя трав с повидлом из маримонды, но хозяйственный Павел отказался от всего этого и поинтересовался, государство ли содержит эту лабиринтообразную касу сентраль де лос новелистас, российский бюджет, к примеру, такой роскоши позволить себе не может, и не писательские ли гонорары идут на финансирование этой касы, неужто они так велики, а если именно так велики, то откуда столько великих писателей удалось набрать глубокоуважаемому дяде, но его президентское величество изволили ответить, что нет, ни бюджет, ни гонорары тягости такого заведения не потянули бы, однако давно уже разработан вариант фьючерсного финансирования этого дома, этих слов император не понял, и тогда Президент терпеливо, покачивая левым плечом, разъяснил непонятливому и еще неопытному в государственных делах племяннику, что фьючерсным финансированием на языке гринго, с которыми он, Романьос, пообщался в жизни больше, чем того хотел бы, называется продажа чего-то еще не произведенного заранее, что это не имеет в данном случае никакого отношения к писательскому труду, потому что в Северном полушарии гораздо выше ценятся произведения латиноамериканской живописи и скульптуры; и повел племянника в стоящую на отлете от писательской касы меркадерию, где бодрые старушки неопределенного возраста, темнокожие и приветливые, высыпали наружу встречать высоких гостей, протягивая им кружки с гуанаковым молоком, грозди бананов, куски жареной козлятины и пачки американских сигарет, восторженно лопоча что-то на своем каювава-гуарани, в котором даже Президент понимал одно слово из трех, но понимать ему тут было нечего, он интересовался лишь, не посетило ли хоть одну обительницу меркадерии вдохновение; старушки смутились и сообщили, что нет, что увы, что пока не посетило, но подождите, мой Президент, вот может быть на следующей неделе, бабушка Сульма три дня назад хваталась за кисть, но, правда, размешала ею варево для своего кота Маркеса, и бабушка Хосефина Аурора тоже кисть из руки не выпускает, но, увы, обратную сторону кисти она держит во рту вместо соски, но это ничего, ничего, – и старушки стали незаметно исчезать по кельям, а Президент объяснил племяннику, что именно здесь бьет ключом источник благосостояния писательской касы, ибо пример прославленной на весь мир художницы, бабушки Мозес, вполне достоин сальварсанского подражания: памятуя, что великая Мозес до семидесяти двух лет и красок-то с кистями не

видала, а потом тридцать лет только и делала, что холсты почище Гогена стряпала, да и бабушка Хименес за свою похабную работу «Се обезьяна» немало урвала, так вот, и сальварсанских бабушек сюда свозят со всей страны, тут для каждой мастерская заранее оборудована, и как посетит старушку вдохновение, так она пишет, пишет, за ее картины, уже наперед все проданные, платят столько, что на всю писательскую касу хватает, и еще на бензин остается. Павел спросил, много ли бабушек уже рисует, Президент ответил плечом, что пока ни одна, но вот картины заранее все уже раскуплены, в Лондоне гарантии с аукциона нарасхват идут, всех бабушек там феминистками числят, а что картин пока нет, так ведь будут, в некоторых музеях векселя в рамочках вешают, зрители млеют, читая: «Здесь будет висеть первый и лучший из шедевров Дельмиры Ферреа», – словом, деньги идут, а уж когда вдохновение грянет, это наверху решают – Господь там, а если кто в него не верит, так Верховное Существо, в него даже Робеспьер, не к ночи будь помянут, и то верил. Ночь и в самом деле наступала тропически быстро, но раздался рокот мотора, и прямо на шоссе, по которому высокие гости прибыли из Сан-Сальварсана в касу меркадеррию, опустился истребитель с шаровой молнией на фюзеляже и с зелеными крыльями, из него вылетел запыхавшийся генерал Марсель-Бертран Унион, без полагаящегося по этикету вступления доложил Президенту, что, во-первых, Эль Боло дель Фуэго уже наполовину сгорел, и если гости хотят увидеть настоящий пожар, то нужно лететь немедленно, потому что к утру от города останется одна зола, во-вторых, на относительно небольшой высоте над горящим городом замечен дириозавр, это толкуется местным населением двояко, одна половина народа считает это ужасным знаком, предвещающим ужасающий пятигранный яйцепад, по сравнению с которым обычный шаровой молниепад не опасней партии в сальварсанский волчок, но другая половина населения считает появление дириозавра прекрасной приметой, предвещающей наступление в стране такого расцвета, по сравнению с которым даже повседневное нахождение в переспевших гуавах золотых монет чеканки бразильской принцессы Изабеллы покажется сравнительно будничным явлением, – самолет вполне готов отвезти в Эль Боло дель Фуэго Президента, императора и еще четверых, которых выберут высочайшие особы; Президент выбрал генерала Униона, назначив его первым пилотом истребителя и повысив в звании до генерала нации, император выбрал канцлера, которого пришлось считать за двоих, последним же в самолет поместился чрезвычайный и полномочный посол Глеб Углов; самолет немедленно стартовал и помчался в густую северо-западную темень, затем приземлился на голую скалу, с которой вели вниз неровные ступеньки, в корытообразную котловину, где разгорался здоровенный пожар, постепенно превращая цветущий университетский город в жалкое пожарище. Президент спускался медленно, он это зрелище уже трижды видел, он в Сальварсане много чего навидался, к примеру, в писательской касе ему вручили новое творение автора «Семени крапивы», на этот раз европеец сочинил свободное продолжение «Анны Карениной», и Президент не сомневался, что новая книга не хуже созданного тем же автором в прошлом году свободного продолжения

«Войны и мира», автор обеих книг утверждал, что читает Толстого в оригинале, но Романьос сказал ему на русском языке сперва одну фразу, потом другую, писатель их не понял, не имело никакого значения, что у Толстого этих выражений нет, ясно, что автор по-русски читать и хотел бы, но не мог, – Президент же мог, но не хотел, так пусть европеец идет в свою каску и пишет дальше, а город внизу, там, куда вела лестница, город горел так, что даже на скалах было жарко.

С почти отвесного склона Сьерра-Путаны ползли в котловину яркие шары, иные с горошину, иные десять метров в диаметре, это завораживало, это вселяло в душу почтение и трепет, не один герой, впервые видя эту картину, прямо на месте от ужаса и обделался, но ни единый член свиты Президента и императора, – не говоря, конечно, о них самих, – конечно, не обделался: горит, ну и пусть себе горит, хотя красиво так ложатся на город молнии, танцуют, разматываясь, как чалма безумного дервиша из Бангалора, зажигая все, что может гореть и оставляя на коже стоящих поблизости людей то узор, то надпись на неизвестном языке, то горный пейзаж, то портрет Президента, то портрет императора в манере Бердслея, но танец молний длился уже давно, а вот за каким лешим ошивается над котловиной всем известный дириозавр, даже близко знакомый с чудовищем Шелковников не мог с ним связаться, мешали электрические разряды, чем больше молний текло по склону, тем более низкие круги описывал дириозавр, в очередной заход он проплыл буквально в десяти футах от лестницы, с которой император и Президент созерцали стихийное бедствие; но тогда из-за их спин выступил чрезвычайный и полномочный посол Российской Империи в Республике Сальварсан Глеб Углов, он сорвал чехол с длинного предмета, который носил у левого бедра вместо шпаги, это оказался старинный вологодский валеk для стирки белья, Углов поймал на конец валька шаровую молнию и, совершенно не ведая, что творит, забросил ее в разверстную пасть летающего чудовища. Павел даже не успел спихнуть посла с лестницы, хотя вообще-то это следовало сделать за самовольный хоккей с огнем, но ящер вновь приблизился, и Углов вновь запулил шайбу прямо в дириозаврову пасть, и вновь ящер вернулся, явно прося третью порцию, и получил ее, а потом сам накинулся на лавину молний и стал набивать ими свои защечные мешки, так продолжался час, второй, третий, потом поток молний стал иссякать, пожары в городе сделали свое дело, Эль Боло дель Фуэго все-таки сгорел окончательно, и в наступающем рассвете все смогли увидеть, как четырехсотметровый ящер, раздувшийся от принятого защечно горячительного, грузно поднялся на излюбленную им высоту в три километра и взял курс на северо-восток, в воздушные просторы Карибского моря, намереваясь пересечь Атлантический океан, достичь Бискайского залива и родного, на весь мир прославленного устрицами городка под названием Аркашон, лечь поверх тамошней прибрежной достопримечательности, известной как «Пилатова дюна», и там проглотить все, нахвтанное в защечные мешки, – именно это и случилось на следующий день, дюна была безвозвратно раздавлена, а посредине оплавленной вмятины сидел жизнерадостный, хотя и смертельно усталый майор военно-трансформационных сил США, наконец-то, путем поглощения сальварсанской дистиллированной



плазмы сорта «Шаровая молния», вновь приобретший человеческий облик; майор намеревался немедленно направиться в Париж, в издательство «Галлимар», и заключить договор на издание сенсационной книги мемуаров «Как я был разными вещами», целиком надиктованной им на кассетный мозгофон в бытность дириозавром, – пока что Рампалю не приходило в голову, что мемуары он сочинил по-английски, а отнюдь не каждый день «Галлимар» горит желанием издавать книги американских шпионов, да еще по-английски сочиненные.

Смотреть на черное пожарище Эль Боло дель Фуэго поутру было неинтересно, зато предстоял еще визит на президентскую кофейную плантацию, катание на катамаране по озеру Санта-Катарина, осмотр музея хрениров, бал в тайваньском посольстве, запуск первого российско-сальварсанского телевизионного спутника, посещение дипломатического ресторана «Доминик», торжественное открытие муниципально-водонасосного ведомства, того, на котором все ленточку никак на дверях четвертый год разрезать было некому, бал в гренландском посольстве, подписание договора о вечной дружбе и бескорыстном сотрудничестве, запуск в озеро Санта-Катарина золотоперых подлещиков и дрессированных одним из гренландских принцев стерлядей, и еще многое другое, о чем невозможно рассказать на страницах одной всего-то главы, которую в романе осаждает враждебное по стилю реалистически-реальное окружение, – но все это состоялось, и тысячи врагов Сальварсана и России долгие годы мучились коликами в желчном пузыре и прочих потрохах, глядя на то, как растет и ширится российско-сальварсанская дружба, скрепленная родственными узами монарха и Президента, как бросают в воздух свои головные уборы мулатки-анастезийки, которых удостоил если не посещения, то хотя бы мутно-голубого, ласкового взгляда этот настоящий мужчина из далекой северной страны, – а уж они-то, мой генерал, они-то знают толк в мужиках!

Десять дней официального визита пролетели как один, назначенное на них солнечное затмение было отменено, дабы не омрачать радости от встречи с высоким гостем, – а затем все десять лайнеров снова выстроились на аэродроме Сан-Шапиро. Грузовые отсеки их отнюдь не были пусты; Павел увозил домой сотню копий с любимой картины Президента, висящей в его кабинете, с «Портрета священнослужителя»: Павел, мельком глянув на него у Президента, с уважением спросил: «Шишкин?», а Романьос уточнил: «Тициан», копии были изготовлены и отгружены в Россию; вместе с императором в Россию отбывал и г-н Дионисиос Порфириос в количестве одного человека, для обследования России на предмет оборотневых ресурсов страны и вербовки их в целях борьбы с засильем гринго; ждали также и еще одного путешественника, ибо на пятый день визита императора весь Сальварсан потрясла новость о чуде, явленном на плоскогорье Сан-Президенте: старая-старая восковая пальма изогнулась над юным настройщиком роялей, указала на него одним из своих листьев и скрипучим голосом благословила на путешествие в Россию, а зачем – это он там разберется сам; гость опаздывал, но из-за него отлет отменять бы никто не стал, – целый самолет загрузили отборным рисом с президентской плантации, этот

рис лучше всех иных годился для художественной резьбы, а Павел собирался возродить в стране отцовское искусство, – и многое другое еще везли из Сальварсана в Россию императорские лайнеры. Павел из иллюминатора смотрел на огромное черное здание, на то, как обсели его стервятники-уруб и долбят клювами, но его размышления заглушил рев моторов, десять лайнеров все как один взмыли в голубой океан и направились в родимые свои далекие дали, – и в этот миг на бетонную площадку сан-шапирского аэродрома выбежал сухощавый человек, явный горец, он пытался догнать хотя бы последний самолет и не успевал, тогда подпрыгнул в воздух, перекувырнулся, и вот уже по бетонной полосе вослед лайнеру мчался крупный, матерый самец пумы, но и он едва поспевал за самолетом, о дальнейшем в народе ходили слухи разные, то ли пуморотня смело с бетонки воздушной струей, то ли испепелило президентским взглядом, то ли он успел ухватиться за складывающееся шасси и все-таки влезть в самолет, верной была последняя теория, поэтому ей не верил никто, но все помнили, как из-за изгороди для провожающих генерал Марсель-Бертран Унион взял хищника на прицел своего американского автомата «М-16», а Президент спокойно опустил ствол генеральской «волыны» жестом, из которого явствовало, что ни уроженцы провинции Сан-Президенте, ни обычные пумы, ни покидающие страну гости Верного Соратника Брата Народа в настоящий момент главу республики Сальварсан совершенно не волнуют.

## авел II Пригоршня власти Часть 10

*Евгений Витковский*

Х

Каковы гости, таков и пир.

Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.

Позади Мары была тьма, впереди тоже мрак. Помнится, для начала Мара хватил стакан Шато-Марго, а потом еще такой же – водки. Потом было полстакана неизвестно чего, очень липкого, пахло персиком, а потом опять Шато-Марго. Голова у Мары болела, но в основном потому, что потолок подземного хода оказался очень низким, Мара постоянно ударялся затылком, хоть и двигался на четвереньках. Временами он ложился на сырой пол, прижимал портфель к животу, нашаривал среди всяких повседневно необходимых вещей – баллончика с кислородом, шприца для промывания и прочего – бутылку «Абсолюта-Цитрон», взятую со стола на маршальской полукруглой веранде, и делал мощный глоток. Бутылка была литровая, но подземный ход тоже длинный, и Мара сомневался, что до конца тоннеля выпивки хватит. А еще больше сомневался, что в этот тоннель вообще стоило лезть, хотя вот что-то повлекло же... Он смутно помнил, что туннель должен привести в ту часть усадьбы, где молодежь занимается тем самым, чего ему не показывают. Или другим чем-нибудь.

В лицо его обычно звали Марой – когда о нем вообще вспоминали, а это

случалось редко, – за глаза не иначе как «старушкой». Что на самом деле зовут его Владислав Арсениевич, вряд ли кто помнил в здешнем кругу. Круг нынче вовсю «отрывался» на даче дезертировавшего без вести маршала, которую в древлепожизненное пользование получила молодая княгиня Ледовитая, заявившая о помолвке с юным царевичем Иоанном. Плевать было княгине, что царевич десятка на полтора лет ее моложе, только сетовала, что не очень мальчик шерстист. Над этим Мара не размышлял, раз уж Милада его на пьянку пригласил, то фиг с ними, с натуралками и царевичами, Маре до боли хотелось, чтобы парагваевцы считали его «своим», а как-то не получалось.

Самого знаменитого Парагваева он видел только раз в жизни, на съёмочной площадке, в Кисловодске. Мара был научно-популярным режиссером. Имя его не гремело никогда; коллеги уважали, мягко говоря, тоже не очень. В Кисловодск он попал по неправильной наводке, ему сказали, что тут живут сколопендры, как раз из области их сексуальной жизни собирался снимать Мара очередную мелодраму. Обманутый, он стоял у чужого павильона, соображая, как скорей добраться до Феодосии, там уж точно сколопендр полно. В это время невесть откуда в павильон прошествовал сам Парагваев, делая на ходу наброски в блокноте к очередным «Ветвям персика». Кто-то из шестерок поспешил их представить друг другу, с гадким смешком добавив к фамилии Мары: «Известный... научпопник!» – «Ах, попник, – рассеянно сказал Парагваев, не протягивая руки. – Это хорошо, что попник. Это важно, что попник, это нужно. А самбо занимается?» – взгляд прославленного режиссера скользнул по хилой в ту пору, длинной фигуре Мары, ничего интересного не отметил, через мгновение Парагваев исчез в павильоне, вслед за ним – вся группа прихлебателей. Маре уже тогда было за пятьдесят, так что будь он хоть сто раз попник, в подруги Парагваеву он уже не годился. Дойдя 1,6 раза до середины жизненной дороги, нынче он ясно осознал, что он и вправду попник, а фильмы про сколопендр снимал подсознательно, защищая угнетенных. Но к активным полным подвигам он уже, увы, лет десять как был неспособен. Оставалась широкая дорога пассивного научпопничества, не худший жребий, но больно распространенный – а тут еще и годы, годы... Будущий Мара попытался рвануть в павильон, но двухметровый юноша, видать, не пренебрегающий борьбой самбо, загородил дорогу.

Вместо того, чтобы лететь к сколопендрам, Мара убрался в Москву: там он надеялся хоть немного наверстать упущенные годы, хоть чуть-чуть отхватить от своего природного назначения. Денег он с ненавистью взял у жены из тумбочки, заодно взял и дюжину серебряных ложечек работы ювелирно мастерской Ивана Хлебникова, Поставщика Двора Его Императорского Величества, и стал искать ходы в нужные ему круги. Проникнуть он мог только в один такой круг – только о нем он и знал, – а была это вечно пустующая московская квартира опять-таки Парагваева, которой заправляла «старая, увядшая, но еще сохранившая свой аромат хризантема» – Милада Половецкий. Мара выкрасил волосы в черный цвет, оставил на лбу благородную седую прядь, набил портфель коньяком, принял для храбрости внутрь и завалился в гостиную близ Смоленской, в ту самую квартиру номер семьдесят три. Милада как раз

сотворил грандиозный плов с барбарисом, но народу собралось отчего-то вчетверо меньше обычного, и Маре поворот от ворот не дали: может, и поздно ему идти в подруги, да уж лучше поздно, чем... Словом, не выгнали, накормили, его же «Двином» напоили, Азнавура дали послушать, два раза по спине погладили, – неизвестно кто, на первый раз все равно приятно. Кличка женского рода прилипла сразу, при втором визите сколопендровник на нее уже отзывался. Выпивки тут и без Мары хватало, но чего Милада не переносил, так это пустых стульев за полным столом. А поскольку плов готовил он сам, Мара его ел горстями – желанное свершилось, никому не пришло бы в голову теперь гнать Мару как «не нашу» – такая она стала матерая.

На изъятые у жены деньги он купил штангу, пять комплектов гантелей разного веса, веломониторинг и учебник борьбы самбо; в секцию обучения этой борьбе его не взяли, нагрубили – «Иди, дед, отдыхай». Так что делать из себя нового Браун-Сэндбека предстояло в одиночестве. Он купил учебник культуризма и обрек себя на поглощение отвратительной смеси «Малыш», предназначенной для младенцев. Если в парагваевской гостиной он и был последним человеком, то за ее пределами числил себя одним из первых.

Мара очень гордился своим происхождением, в нем текло не меньше одной шестнадцатой благородной крови: он даже взял об этом грамоту в Дворовом Собрании. Его армянская прабабка ухитрилась попасть под небольшой погром, но ее взял-таки в жены знаменитый Седрак: такой богатый, что поставил в Нахичевани-на-Дону памятник ссыльному русскому поэту, с которым его мама – по слухам, гречанка, – дружила в Одессе при Александре Первом; ее, маму, убил по жидовскому доносу возлюбленный, но Седрак успел родиться раньше. А приемный сын Седрака, Саркис, стал человеком невероятно знаменитым после того, как усыновил собственного внука, – его дочку спутали с еврейкой при очередном погроме; так родившийся после погрома Арсен оказался по отчеству Саркисович. Вот он-то и был родовитым отцом Мары, то есть Владислава Арсениевича.

По матери Мара тоже был дитя погрома, но другого. Осенью 1914 года казаки неизвестного новочеркасского полка устроили погром в немецкой колонии Шабо под Одессой, скоро были все перебиты, но дед Игнат, когда к нему братья Эльвиры с топорами приступили, нашел способ и пошел не на три аршина в землю, а в немецкую веру и под венец. В тридцать втором Игната, чьи знатные предки изобрели способ укупорки «Цимлянского», рассказали и сослали, дочка его Эльвира Игнатьевна выскочила за родовитого Арсена, а потом родился Владислав, режиссер-попник, дитя трех погромов, о чем есть грамота... Беда лишь в том, что никто никогда родословную Мары до конца узнать не соглашался, – а в парагваевском доме никто не соглашался даже начало выслушать.

А сейчас Мара полз – вперед. Развернуться и поползти назад он не мог, накачался здорово во всех смыслах. Ползти же назад вперед ногами казалось ему дурным признаком. Он полз, понятия не имея, день на земле или ночь. При попытке выйти по житейской нужде с маршальской веранды, он перепутал дверь в лифт с соседней, она вела во тьму, и Мара полез, обуянный

фрейдистским зовом, – о последствиях не думал, но бутылку прихватил. Никто Мары не хватился, нынче на даче княгини Ледовитой шла такая гремучая помолвка, какой за все годы властвования пропавшего маршала никто не видал в страшном сне. Царь пребывал в отъезде, полетел к родственникам в Южную Америку, с ним рванул и канцлер; пользуясь моментом, Татьяна, положившая глаз на царевича Ваню, решила прибрать его к рукам. Старая напарница, Тонька, была уже на восьмом месяце и сильно попортить праздник не могла, – впрочем, она сама и превратила Таньку в княгиню Ледовитую. Притом в незамужнюю княгиню, ибо литовский летчик служил теперь в охране копенгагенского аэропорта, а с Татьяной даже не был обвенчан, да и вообще при его римско-католическом вероисповедании был в России персоной нон грата.

Княгиня обзаводилась не только женихом, но и двором. Подобрать придворных, понятно, взялся Милада Половецкий, а у него источник кадров был один – парагваевая гостиная. «Пусть подружки передохнут...» – думал он, ставя в последнем слове то одно, то другое ударение; тем временем пальцы его быстро нажимали кнопки на телефоне. Само собой, первое приглашение причиталось шалашовке Гелию, тьфу, принцессе Романову, и ейному мужику, принцу Ромео Романову. «Ваше высочество, великий князь Ромео...» Ну, Толика позвать – ясно. Анжелику – тоже. Фатаморгану – само собой. Мару... Ну, черт с ней, пусть покайфует старуха, у нее в жизни радостей никаких, жрет смесь «Малыш» и качается, а туда же, в подружки. Был бы мужчина – другое дело. Но все равно пускай приезжает...

Тоня пригласила себя сама, надоело ей в Кремле, хотелось на чистый воздух, а на Истре как раз такой. Старух с собой решила не брать, пусть отдохнут у себя, поболтают. Но Цыбаков, которого Павел оставил в Москве приглядывать за Тонькиным состоянием, одну не отпустил, вообще разрешил ехать только с ним и только в специально оборудованной машине, похожей на неудачный гибрид танка с молоковозом; Цыбаков представлял, что такое отвечать собственной головой за здоровье более чем вероятного наследника престола.

Напротив, мать принца Иоанна, Алевтина, наглухо отказалась знакомиться с будущей невесткой, она упорно отрицала факт связи с царем, хотя анализы на генном уровне давно его отцовство подтвердили. «Значит, мне его в роддоме поменяли», – отвечала она, и тут крыть было нечем, получалось, что сын императора имел отца, а без матери как-то обошелся: чего только в наш загадочный двадцатый век, однако, не случается; то, что она сама – достоверная матушка Ивана – тоже легко доказывалось, но она тыкала пальцем в одну сотую процента возможной при анализе ДНК ошибки и заявляла, что вот тут она и есть там самая одна сотая. С довольствия Алевтину не снимали, но с дальней дачи тоже не выпускали, да и не рвалась она никуда, понимала, что достанут где угодно, если будет нужна, а если сидеть тихо, авось, никому она нужна не будет. Она была права, она была не нужна даже собственному сыну, хоть и придурок сущий, а понимал, что лучше отец, признающий его сыном без права на престол, чем мать, вообще никем не признающая. А жена-княгиня – это совсем хорошо, неважно, что она старше, зато прошел у Вани психоз насчет

невинности, Танюша его от этой гадости избавила и достала для него специальные таблетки с витамином Ф, от него шерсть на всем теле хорошо растет и лоснится, если правильно ухаживать. Шерстистость в мужчинах действовала на Татьяну все так же возбуждающе. Ваня попробовал спросить: «Зачем?» – но уже очень хмельная Татьяна грубо ответила «Иди ты... в супницу!» Отвернувшись к стене и заснула, Ваня подумал и сделал то же самое. Ивана часто при дворе называли «Иван-дурак», забывая, что – согласно русским сказкам – дураку обычно достается счастье, а бывает, что и царство.

Подобрал придворных Половецкий сразу, потом заглянул в табель о дачах. По рангу княгине Ледовитой следовала дача типа маршальской, самой просторной из таковых в Подмосковье числилась дача дезертира Дуликова. Милада съездил на нее, но дальше ворот допущен не был, имперских удостоверений тут пока что не признавали, дежурный по-простому накомандовал Миладе и пригрозил открыть огонь на поражение. Милада обиделся, но поделаться ничего не мог, не было у него санкций брать дачу штурмом. Он выпросил у Сухоплещенко аудиенцию на молочном комбинате, изложил все и стал ждать судьбы.

Сухоплещенко полистал мысленную записную книжку в поисках того, кто мог бы знать тайны этой дачи, из числа живых, конечно, а он же сам и заботился, чтобы таковых оставалось поменьше. И нашел. Некогда маршал потерял жену, после чего уволил ее «легкого» повара, то есть того, который для всемирной конькобежицы легкие блюда готовил. Лет двадцать уже прошло, а ну как тот все-таки жив? Сухоплещенко оформил себе отпуск с комбината за свой счет и поехал к собранию досье на свою дачу. В наиболее давней жизни звали повара Климентий Кириллович, во времена служения маршалу – Саул Моисеевич, а после выхода на пенсию – Иван Назарович. Справочная выплюнула адрес Назарыча, Сухоплещенко позвонил от имени Инюрколлегии, решил сообщить о небольшом наследстве от южноамериканской тети Калерии Силантьевны, и старческий голос из трубки без малейшего стеснения ответил: «А, скопытилась курва. Много там?» Сухоплещенко эту тетю только что сам выдумал, не то припомнил из классики, но чтоб такая реакция была у повара?.. «Немало... – ответил он. – Но, конечно, не миллионы». Сухоплещенко взял из сейфа пачки зеленых и зеркальных, сколько в портфель влезло, и поехал на Чистые Пруды.

Назарыч оказался стариком без определенного возраста – шестьдесят? восемьдесят? – в однокомнатной квартире, выкроенной при перестройке коммуналки. Судя по тому, что русские пейзажи покрывали стены в комнате сплошным багетно-закатным ковром, старик и без тети Калерии не бедовал.

– Курва была тетка, – без предисловия произнес Назарыч, – неужто не все растранижила? Куда ехать?

– Ехать не надо, Климентий Саулович... то есть Иван Назарович, извините, спутал, – ответил отставной бригадир, давая понять, что в Инюрколлегии личное дело наследника неплохо изучили, – все наследство в свободно конвертируемой валюте, но пошлина большая, сами знаете. Я привез... кое-что, только вот хотелось бы вашего сотрудничества в одном щекотливом деле...

– Только не по вопросу рецепта Хари-Веселящейся. Если вы из всемирного общества Потери Сознания...

– Нет, я не насчет потери хари. Деньги, кстати, вот... – Сухоплещенко выложил пачку долларов и пачку кортадо. – Я по вопросу о вашей службе перед выходом на пенсию.

– Смешные были времена, вы их не помните – тогда даже царя не было. – Старик смахнул деньги со стола в сторону собеседника. Сухоплещенко понял и с пола поднял уже шесть пачек – три таких, три эдаких. – А я вот многое помню.

Сошлись на десятке пачек таких и пяти эдаких, больше у Сухоплещенко не было с собой, и старик это понял. Зато теперь в портфеле у молочного короля лежал подробный план маршальских угодий со всеми подземными хитростями, – впрочем, старик нагло вручил не оригинал, а ксерокопию, пожаловавшись, что уж больно непомерны нынче стали пошлины на наследства любимых теток.

...В маршальские ворота Милада не стучался. Он выбрался из-под клумбы позади пропускного пункта и с помощью пары гвардейцев арестовал дежурного. Тот и не думал возражать, во внутренних врагов маршал не верил и прислугу обучил: кто проник на угоды секретным путем, тот, значит, имеет право этим путем ходить, а значит, он доверенное лицо. Милада взял с собой в провожатые конюха Авдея и потопал к усадьбе.

Упавшую с пьедестала статую Фадеюшки прислуга убрала в сарай, потому как носорог ее очень покорежил, а реставрировать без маршала боялись, все у Ивистала знали, что чем меньше ты знаешь, тем дольше твоя жизнь. А носорога подняли назад, в кое-как залатанное крыло особняка, на третий этаж. Дом ждал возвращения хозяина уже восемь месяцев, ждал так, словно маршал отбыл в Москву и вернется к ужину, или завтраку, или обеду, незримые слуги были незримы, глухонемой садовник растил в теплицах цветы для летних праздников и поминок. Авдей после единственного вывода кровинушкиных жеребцов на коронацию водворил их в привычную конюшню. Даже маршальскую думку ежемесячно продолжали чистить, обрабатывали анисом, лишь не было на даче самого маршала. Почти сто человек жили здесь как прежде, как при советской власти. Хорошо жили, короче говоря. Маршалу на глаза не попадались.

И вдруг – на тебе. Припирается одутловатый тип, глаза бегают, Авдея пистолетом под ребра тычет, орлами на погонах сверкает. И объявляет, что вместо маршала будет здесь хозяйкой их сиятельство княгиня Ледовитая, собирается она тут праздновать помолвку с принцем Иваном Павловичем Романовым. Обслуга стала звонить в Москву, в психушку, им самим пообещали психушку. Обслуга обалдела: что ж, теперь и советской власти нет, при живом-то маршале?.. Милада проявил находчивость. Чуть упомянула горничная Светлана Филаретовна маршала – сразу приложил палец к губам, а потом из указательного и среднего правой руки с теми же пальцами левой сложил решетку, помахал ею в воздухе. Маршал в клеточку сразу стал никому не нужен. Да здравствует княгиня Ледовитая!

Милада заперся в кремлевском кабинете и впился в документ, купленный для него бывшим шефом у шеф-повара всемирного общества «Кришние люди». Дача пропавшего маршала! Двойные стены, подземные лабиринты, бункеры, шахты, система противоракетного упреждения, садовые танки, лоси, профильтрованная река, девять статуй муз на главной лестнице, разная

живопись, которую, судя по документам, вывез какой-то крупный советский чин из Парижа после его занятия Красной Армией в 1815 году – тут было от чего развесить слюни бедной, увядшей хризантеме Миладе Половецкому. Отчего такую жемчужину не положил к себе в карман Сухоплещенко, чем она хуже Останкинского молочного комбината? Неужто не простая эта жемчужина, а какая-нибудь кривая? Тоже неясно, кривые жемчужины – вещь еще какая ценная! Может, неладно с дачей что-нибудь? А может, Ванька-то, хоть и дурак, а царевич, шансы на престол имеет. Вот ведь счастье дураку... Себя Милада дураком не считал, он тихо смирился с хризантемной судьбой: нет счастья для того, кто не дурак. А для того, кто дурак, – есть. Впрочем, счастье и Ваньке сомнительное: как он с этой Татьяной... То есть Татьяну... Милада подумал, что вот могли бы эту работу его самого вместо Ивана заставить исполнять – и его затошнило. Он набил в защечные мешки по полдюжины незрелых плодов фейхоа, чтобы тошноту отбить, и снова углубился в тайны дачи. Куда там Парагваеву с его квартиркой, такого и в Кремле нет: где тут, спрашивается, ручные лоси?

Не видал Милада в Кремле и садовых танков. На плане дачи такой один был обозначен, хотя в действительности давно исчез. Подметил это один Авдей Васильев, конюх, ему, как шпиону, все замечать полагалось, но раз уж исчез не только танк, но и владелец дачи – отчитываться не перед кем, а новый владелец, авось, со своим танком прибудет. Чего-чего, а танки в России есть.

Царь между тем в понедельник собирался быть уже дома. Потому на всю подготовку Татьяниной помолвки имелось двое суток. Словом, только-только подруг оповестить, выпивку завезти, плов приготовить: без этого блюда праздник для Милады был бы немислим; за коронацию хоть и дали орден, а плов сделать не допустили, вот и вышла коронация не по высшему разряду. Жаль, артист умер, которого к Парагваеву обычно звали, придется старые записи слушать, а над ними царский дневной секретарь колченогую слезу лить будет. Напоить его сразу... Милада углубился в список приглашенных, помечая, кого упоить сразу по приезде, кого попозже, а кого еще до выезда из Москвы, – трезвым Милада предполагал оставить только себя, раз уж царь в отъезде. Жаркая страсть к царю заполняла все существо Милады, он никогда и никому не говорил о ней, но за огнем в глазах не уследишь, сестры-подруги мигом поняли, что вовсе не служебное рвение движет Миладой в царских делах, и язвили за Миладиной спиной. Ну, ничего, думал Милада, всажу им в желудки по первой, авось, не очень-то поязвят. Пусть скорее перепьются, пусть забудутся, тут и радость, и безопасность, обе – государственные.

В пятницу с утра из Москвы поехали микроавтобусы с выпивкой, холодильники с закуской, звуковое оборудование, цветы для невесты из Ботанического сада, а букет алых роз для жениха Милада никому не доверил, сам настриг в Кремле, все шипы щипчиками из личного несессера удалил. Хорошие розы, «Иль де Казанлык», надо бы белые, но белые ректор Военно-Кулинарной академии срезал раньше, варит из них особое варенье без сахара для канцлера. Ну, тут не погрешь. К вечеру дачу запрудили кремлевские люди, почти столько же, сколько было там своих у Ивистала. Но планы межстенных и



подземных ходов имелись только у Милады. Люди Ивистала спрятались, как при старом хозяине. Новые люди занялись обустройством завтрашнего праздника. Милада так и сказал по-пушечниковски – «обустройством». Это значило: чтоб завтра бардак был культурный.

Из людей Ивистала затребовали одного – глухонемого садовника, чтобы пьедестал бесстатуйный обсадил чем-нибудь цветущим. Садовник понимающе поклонился, к утру личный маршальский газон сиял броским сочетанием желтых нарциссов и черных тюльпанов. Праздник это или наоборот, садовник не знал, но решил, что всегда может доказать: тюльпаны совсем не черные, а темно-темно-фиолетовые, а нарциссы ну прямо канареечные. А если все-таки наоборот, так тюльпаны почти-почти черные, а нарциссы затем, чтоб их еще черней сделать. Садовник так запутался, что забыл о том, что он глухонемой, и представлял, как все докажет на словах. Но он, увы, и вправду был глухонемой.

Утром к Истре отчалила из Москвы официальная кавалькада. Татьяна с ранья была в пятой алкогольной форме, быстро набирала шестую, а жених, много пить не умевший, скучал. Он глазел в окошко ЗИПа, не замечая ни лопающихся на ветках почек, уже слившихся в молодую зелень, ни синих гвардейцев, выставленных вдоль всего пути следования, он не соотносил этого контраста синей полосы и зеленой с тем, о чем не знал, – что именно такого цвета национальное знамя цыган. Иван этого не знал и вообще нынче ничем не интересовался, так вчера Татьяна его умотала. Не до сексу ему было. Фильм бы сейчас какой-нибудь, комедию, про Ильича и Феликса, с дракулами. И болела голова.

У колченогого Толика в следующем ЗИПе голова не болела, ему на дорожку Милада сунул кассету с голосом покойного певца, и «Гонит ветер опять листья мокрые в спину...» вновь звучало «для Толика, да, для Толика...», в уголках глаз Толика стояли слезы, он понимал, что стареет, скоро выйдет в тираж, как Милада, а там, глядишь, ждет его жалкое прозябание, наподобие засидевшейся в девках Мары. Поднявшись в должности до поста дневного секретаря императора, на дальнейшее продвижение он надеяться не мог, разве что с Миладой, не дай Бог, что-нибудь случилось бы. Он, по колченовости своей, был умней других подруг и воздушных замков не строил. Строил он себе дачу в Хотькове, где собирался на старости лет, когда император новый будет, писать мемуары-разоблачения о теперешнем. Пока что Павел был уличен им только в страсти к морским конькам в аквариуме, но они и самому Толику нравились. Он дал слово, что у него на даче тоже такие будут.

Ворота усадьбы стояли нараспашку, охрана умело маскировалась и пейзажа не портила. За воротами просматривалось длинное шоссе-аллея, в конце, между жирафообразных, еще по-весеннему раздетых деревьев куда-то сворачивающая. А там, куда дорога сворачивала, что-то виднелось, отныне это были наследственные, в далекой древности пожалованные князьям Ледовитым хоромы, последняя представительница какого-то знатного рода въезжала сюда не простого шмона ради, а для официальной помолвки с великим князем Иваном Павловичем Романовым. Великим князем, кстати, царь – хоть и нехотя – но сынка утвердил. Впрочем, лишил права передачи титула по наследству, как

это уже случалось у Романовых, даже у младших, хотя они потом и брыкались. К тому же в Богородске Московской губернии отыскался сводный брат у самого царя, не без греха был покойный Федор Михайлович, царствие ему небесное, умелец-резчик по рису и знатный собаковод-спаниелист. Мамаша этого брата начисто отрицала факт сожителства с Федором Михайловичем – точь-в-точь Алевтина, и тоже с лица полная гримза, – но генные анализы твердили свое. Павел и этому Петру Федоровичу Коломыйцу пожаловал титул лично-великого князя и даже фамилию поменял на Романов-Коломиец, послал именной перстень «из желтого металла» и на том успокоился. Если уж приходилось что-то жаловать, то Павел с легким сердцем жаловал такое, что денег не стоит, а по выдаче титула получатель прочие блага обретает сам, как сумеет. Великий князь Петр Федорович работал упаковщиком на Обуховском ковровом комбинате, получив титул, он даже не сменил места работы. Лишь адреса на упакованных коврах стал надписывать другие, и вместо подписи отпечатывать жалованный царем перстень. Большого он не хотел, на жизнь ему теперь хватало, а местожительством он был и раньше доволен. Однако же к помолвке великий князь Петр Федорович своему приемному двоюродному послал десяток красных ковров с лебедями.

Этими коврами-то сейчас как раз и было выстелено шоссе у ворот бывшей Ивисталовой, ныне Ледовитой дачи. Последний ЗИП чиркнул по ним последним колесом – и унесся к усадьбе. Ворота немедленно затворились, синемундирники быстро скатали ковры, чтоб успеть их почистить к моменту торжественного выезда, когда хозяйка и жених уже помолвятся. Полтора ковра, впрочем, исчезло куда-то, но, ежели б этого не случилось, кто поверил бы, что это все происходит в России?

Столы по Миладиному приказу накрыли и в банкетном зале, для главных гостей, и во французской гостиной, для Тони и охраны, и в китайском зале, и на полукруглой веранде – там в основном для подруг. В дубовом банкетном пришлось Миладе поломать голову над тем, что делать с главным, «тронным» креслом маршала, на котором, бывало, сиживал малышом незабвенный Фадеюшка. Не сажать же Татьяну с Ванькой в это кресло вдвоем, хоть оно такое широкое, что и канцлерскую задницу могло бы вместить. Милада постановил: лишнее тут это кресло. Погрузил в фургон и отослал в Кремль; «второй главный», как вернется, сам выберет, где удобней для него. На место увезенного кресла поставили по одному из смежных гостиных, естественно, одно оказалось плетеным, китайским, а другое резным, французским. Но Милада на трезвых гостей не рассчитывал, плевать на художественности. Главное – побольше бутылок.

В этом отношении проявил неожиданную щедрость Сухоплещенко. Казалось бы, что ему, лицу статскому, до этой дачи, до помолвки, но нет: желая, видимо, сохранить близкие отношения с правящей семьей, молочный король прислал ящик марочного грузинского коньяку. Этикетки на бутылках вряд ли соответствовали содержанию, какие-то они были уж очень новые, с орлами, но даритель себе не враг, плохого не пришлет; Милада лично расставил бутылки по столу в дубовом зале. Авдей Васильев, наблюдавший за Миладой из

межстенья, пригляделся к этим бутылкам и похолодел. Тонкие горлышки, красный сургуч – все сходилось. Милада расставлял по столу бутылки из того бара, который исчез вместе с садовым танком, а значит – и с маршалом. Авдей мысленно закатил себе строгий выговор в личное дело, а также пригрозил себе популярной древнекитайской казнью через перепиливание пополам деревянной пилой. Японец-медиум давно установил, что Дуликов переселился с этого света на тот, информация была немедленно подвергнута утечке в Сан-Сальварсан, шпионом которого Авдей уж сколько лет вкалывал. Но судьбу коньяка из погребально-садового танка не проследила никакая разведка, и вот, на тебе, всплыл таковой на великокняжьей помолвке, да прямо на маршальском столе. Пошел, значит, вместо поминок коньяк на свадьбу – Шекспир, да и только. Авдей облизнул губы и побрел на конюшню: там все-таки опрятней.

Милада был рад этому дополнительному коньяку, потому что при строгой экономии, введенной обожаемым императором, выпивку пришлось бы докупать на свои, то есть лезть в масонскую кассу, а что там думают про императора масоны – насколько Милада знал, они и сами пока не решили, то ли его любить, то ли наоборот. Милада расставил бутылки и отправился в Большой Кремлевский дворец готовить плов «на татарский манер», коронный. Он был убежден, что подруги и праздника-то не ощутят, если плова не будет.

Кортеж вырулил к хоромам и замер. Гости, разминая затекшие части тела, стали выбираться из машин. Увы, многих гостей пришлось охране вынимать: дорога была длинная, мало кто в ней не остограммился, а кое-кто уже и окилограммился; этих пришлось унести в гардеробную и сразу разложить по диванам. Прочих кое-как отконвоировали к банкетным столам. Помолвляемую чету тащили вшестером, точней, Иван шел сам, пятеро старались направить куда надо стопы вырывающейся Татьяны, внезапно развеселившейся и требующей немедленно дать велосипед, она кататься хочет, а если хочет, то и будет. Миладины подруги брезгливо воротили морды от голых муз, коими была обставлена лестница, и спешили скорей к столу. Бдительный Анатолий Маркович Ивнинг по просьбе Милады следил за тем, чтобы подруг усадить покомпактней, подальше – на веранде. Заказной полукруглый ковер впервые – немедленно – был затоптан грязными ногами. Из скрытого динамика покойный артист пел про «одинокую мужчину», Анатолий Маркович почти рыдал, понимая, что музыка неправильная для помолвки, но ничего с собой поделывать не мог. Слава Богу, дальше на пленке размещалась нейтральная «Слушай сказку про Деда-Мороза», тоже не совсем уместно по сезону, ну да сойдет.

Очень трудно оказалось проэскортировать к столу гостя чрезвычайной почетности, принца и великого князя Гелия. Его супруг, великий князь Ромео, бледный и усталый, совершенно трезвый, шел без посторонней помощи, игнорируя свой неприлично розовый галстук, коим была обезображена его благородная тройка: поди не надень, это ж подарок жены. От жены его давно тошнило. Трезвым Гелия Ромео не видал много недель, но когда не на людях – это одно, а нынче пришлось дражайшую половину предьявить. Половина шел плохо, норовил погладить по щечке каждого из охранников. Не помогала даже трехдневная щетина, которую по приказу Ромео эти охранники носили, чтобы

Гелий об нее кололся. Принц-шалашовка пребывал под вечным наркозом супружеского счастья, выразившегося в неограниченной выпивке. А небритые – можно подумать, что в лагере брились лучше. Этого Ромео не учитывал, да и не мог учитывать. Но ничего, препроводили обоих великих князей к столу, на почетные места, поблизости от Татьяны, но подальше от Ивана. Милада тонко рассуждал, что Ромео сидеть все равно где, а Гелию, существу неопределеннополому, Татьяна повесится на шею не раньше, чем когда войдет в седьмую алкогольную форму, – а тогда уже не страшно.

Уже гремели вопли «горько», билась судорожными осколками старинная маршальская посуда, пустели бутылки, – колченогий Толик нашел себе место на конце стола в китайской гостиной и тихо стал закусывать, ибо всех рассадил, всех ублажил, дальше мог заниматься собой. Им самим, беднягой, давно никто не занимался. Толик жил прошлым, в воздухе на веранде за полчаса стало накурено, как у Парагваева к ночи при полном сборе, никого не видно, и жить прошлым тут было куда как уместно. По очереди уносили в гардеробную перепившихся Каролину, Анжелику, Фатаморгану, – ну и хрен с ними, думал Толик. Что ж старушку Мару-то не несут, или она вдруг на упой крепкая оказалась? Нелегко тебе жить, одинокий мужчина, особенно если ты по натуре женщина, да еще стареешь.

Ромео убедился, что супругу его унесли куда-то поспать, встал, пошел побродить, дом показался ему интересным, да и живопись ценить его дед Эдуард научил, вплоть до латышских художников Пурвита и Розенталя. А в доме княгини Ледовитой живопись была вполне музейная, да еще, к счастью, с этикетками; Дуликов взял за правило таковые привешивать, чтобы при гостях Тициана с Репиным ненароком не спутать. Ромео постоял в коридоре, полюбовался на подвиг Вильгельма Телля работы неизвестного художника Мейссонье, не смог вспомнить, в каком году советские войска занимали Швейцарию – и пошел смотреть дальше. Двери раскрывались сами, прислуга в межстенях вела себя тише мышей, впервые что-то почуялось горничным, лифтерам и кухаркам такое, что могло нарушить их раз и навсегда установленный жизненный порядок; даже тот истопник, который был надежней, чем вода горячая, чувствовал тревогу – ну как придет кто-нибудь, да кипятик изобретет? Одноногий каприз жены покойного маршала, истопник, и без того был не в лучшем положении: чтобы на глаза новым хозяевам не попался и протезом не стучал в стенах, как полтергейст, старшая горничная Светлана Филаретовна у него деревянную ногу отстегнула и спрятала. А саму старшую сейчас трясло как в хорошее землетрясение, она сквозь смотровую щель наблюдала: новая хозяйка попыталась влезть на шею статуе бога Меркурия в натуральную величину, поправляющего сандалию, сандалия обломилась... Горничная глотала сердечные капли.

Из гостиной, из банкетной залы, с веранды – отовсюду гости разбредались по дому. Решил поглазеть на местные чудеса и новый хозяин, Иван Павлович. Сунул нос во французскую гостиную, но там курить Цыбаков запретил – и вообще было больше охраны, чем гостей, хотя охрана себя не обижала, халяву подметала за милую душу. Иван ушел в анфиладу. Дача ему нравилась.

Неплохое, однако, приданое он за Танькой взял. Не везде освещение хорошее, планировка непонятная – поменять еще многое можно, пожалуй, даже нужно. Вот этот усатый, на картине, целится в яблочко на голове у мальчика: интересно, попадет? Но мужик все тянул резину и не стрелял, Ивану надоело ждать, он пошел дальше. Спустился, попал в оружейную комнату. Попробовал примерить кирасу, не влез, двуручный меч приподнять не смог, к шипастой дубине даже прикасаться побоялся. А все что поменьше – оказалось наглухо приклепано, Иван перепробовал пяток кинжалов – все попусту. Иван рассердился, не замечая, что между стендами дрыхнет в кресле синий гвардеец. Наконец, заметил, решил, что это чучело, но нос у чучела оказался теплый и сопливый, великий князь брезгливо отдернул руку и вытер о гвардейцевы брюки, заодно забрал у спящего из руки пистолет: хоть какое-то оружие из собственной коллекции на память он имеет право взять, или нет? – и пошел дальше.

Кое-кого с пира приходилось, понятно, уносить, и одним из первых – Гелия. Хоть и был он в бессознательном виде, но горлышко бутылки коллекционного «Божоле» не разжал. Так его, молодого и шевелюриста, и уложили в особой камерке при гардеробной, но он быстро продрал глаза. Бутылку открыть не смог, подлые французы такие пробки делают, что об пол не выбьешь и пальцем не проткнешь. Гелий немного покашлял, заблевал всю камерку, пришел в себя. Стало неудобно. Шатаясь, не выпуская бутылку из руки, встал и выбрался в вестибюль. Из бельэтажа гремела магнитофонная музыка, а вдоль лестницы лежали голые бабы. Натуралки. Некоторые стояли; стараясь не рухнуть, Гелий поднялся, опираясь на бабьи мраморные части, но возвращаться в банкетный зал не стал – мужика он своего не видал, что ли. Гелий побрел куда-то, туда, куда даже не могли взглянуть его разъезжающиеся глаза – никак, подлые, не фокусировались.

Добро бы разъезжались только глаза, но ведь и ноги тоже. Неловко переплеть их в двойную восьмерку, Гелий упал, но не ушибся, и долго-долго расплетал ноги, вдруг – расплел! В честь такого события нужно было выпить, но чертова бутылка никак не открывалась, хоть разбивай об стенку. Тут кто-то поднял Гелия на ноги. Гелий оглядел спасителя: откуда-то он этого парня знал, парень был из таких молодых, которые, бывает, еще и сами не знают, натуралы они или подруги. Нет, где-то Гелий его определенно видел.

Иван поддерживал Гелия какое-то время, потом убедился, что тот и сам устоит. – К тебе? Ко мне? – неожиданно спросил Гелий, бросая привычный пробный шар, а ну как парень – мужчина, и поймет правильно.

– А я и так у себя, тут все мое! – гордо ответил Иван, хорошо помнивший, что по нынешнему государеву уложению приданое с момента помолвки составляет законную собственность мужа. Но Гелия ответ расстроил. В поле зрения расфокусированных глаз появился какой-то усатый мужик на стене, он натягивал лук и метил в яблочко на голове у смазливой мальчонки, но выстрелить все никак не хотел. Гелий решил подзадорить молодого хозяина – а вдруг?.. Он водрузил к себе на голову так и не вскрытую бутылку, благодаря жестким кудрям она качалась, не падая.

– А попадешь?

Иван держал в руке изъятый у гвардейца пистолет и выстрелил от бедра. Он еще и не сообразил, что сделал, грохот вышел ужасный, отдача сильная – Иван рухнул на ковер, Гелий тоже, в другую сторону, в падении щупая голову, она была цела, но в пальцы впивались осколки. Хозяин дома оказался смелей, чем тот, с усами: выстрелил. Во мужчина!..

– Попал!.. – в восторге заорал Гелий, дернулся и замер, очень большое получилось потрясение. Вылетевшая в коридор на выстрел охрана обнаружила довольно жуткое зрелище: оба принца на полу, пятками вместе, головами врозь. Лицо Гелия заливала густая красная жидкость, он орал не своим голосом, но это был почему-то голос восторга, а не боли.

– Попал! Попал! Мужчина! – Гелий слабо молотил пятками по полу. Перепуганного Ивана убедили подняться, объяснили ему, что раскокал он выстрелом не голову двоюродного брата, а бутылку очень хорошего вина, а оно в империи, слава Богу, не последнее. Иван устроился на диване во французской гостиной, принял из рук охранника большой бокал – двумя руками держать пришлось – полный чем-то красным и крепким, и стал пить для успокоения. Преступления не случилось, стрельба принцев – не охранничьего ума дело.

Ромео на месте не было, Гелия опять унесли поспать. Больше всего шума сейчас производила хозяйка дома. Она прочно перебралась в агрессивную фазу седьмой алкогольной формы и хотела сейчас одного: кататься, кататься и еще раз кататься, – и грех не кататься, когда коридоры такие длинные. Она все требовала и требовала трехколесный велосипед, такой, как она любит, не очень чтобы большой, но и не такой, чтобы уж слишком маленький. Милада запросил дежурного на маршалских складах, поступил твердый отказ, чего-чего только не запасал маршал, а трехколесными велосипедами преступно пренебрегал. Татьяна орала, что быть того не может, она сама помнит – вот тут, в коридоре, все время стоял соседский трехколесный, чтобы все сию минуту отсюда выгребались, тут лебедятня, всех ей лебедей, того гляди, взбутетенят, – Танька вырвалась из робких объятий охраны и рванула дальше по анфиладе, искать что-нибудь трехколесное. Про Ивана она сейчас вспоминать не хотела, ей не любви хотелось, не музыки и даже не цветов, она вспомнила, что она – простая русская Танька, и какая же русская Танька не любит быстрой езды на трехколесном велосипеде?.. Про Татьяну временно забыли, тем более что Лещенко в колонках допел: «Татьяна! Помнишь дни золотые? Весны прошедшей мы не в силах вернуть!» Дальше он завел: «Студенточка! Вечерняя заря...» – это было никак не про хозяйку дома, она студенткой не была никогда даже в поддельных документах, – лишь зоркие Ивисталовы слуги сквозь стены с ужасом наблюдали ее сокрушительное передвижение по антикварным сокровищам дачи – и сквозь них. Где-то она угодила в лифт, автоматически поднялась на один этаж и помчалась по новой анфиладе, – нигде, ну нигде не было велосипеда. Ярость вливала в Татьяну новые силы, а пирующие про хозяйку временно забыли, на столы поплыли блюда с Миладиным пловом.

Ромео довольно быстро утомился лицезрением бронзовых Меркуриев и голозадых пастушек, поэтому, когда в очередной комнате на него из картины

грозно выступил слон с павильончиком на ушах, князь отпрянул и облегченно сел на что-то антикварное. Картину он узнал, это был чей-то там триумф работы венецианского художника Тьеполо, он эту картину однажды в Эрмитаже видел. «Почему она здесь?» – подумал Ромео, но на этот вопрос только покойный маршал ответил бы, – конфискуя из музеев картины и прочее, на особо заметные экспонаты он музеям делал копии. Слон как слон. Краски свежие, а публика дура, пусть на копию умиляется. Слона пришлось устроить в доме, в саду такого держать неудобно, да и не русский это слон, не шерстистый, первые же заморозки прибьют, а шерстистого, исконно русского, мамонт его название, подлые якуты у себя выморили. Покойный маршал за это Якутию особенно не любил, собирался, как власть возьмет, с ней за все сразу посчитаться. Но планы его рухнули, якуты остались при своих мамонтах и ведать не ведали, какой страшной избегли опасности.

Ромео поглядел на венецианского слона, и стало ему скучно: ехал отдохнуть, а попал на глухую пьянку, на каждого гостя два охранника и двести произведений изящного искусства, суший кабак посреди Лувра, ничего себе отдых! Ромео искал глазами выход, нашел в углу дверцу, толкнул ее и направился вниз по обнаружившейся лестнице. Пролетом ниже стоял письменный стол, горела лампа, лежали брошенные очки и была раскрыта книга. «Смело мы в бой пошли!» – прочел он на обложке, зевнул и стал спускаться дальше. Сам того не ведая, он миновал дежурный пост истопника, у которого Светлана Филаретовна нынче ногу отстегнула – чтоб не стучал, когда не надо. Ромео безнаказанно спустился еще на два пролета и уперся в бронированную дверь. Толкнул плечом – отбил его, но дверь подалась. При маршале она отворялась прикосновением пальца; теперь, видимо, застыло смазочное масло в петлях. Ромео решил войти за эту полуметровой толщины металлическую дверь, даже если за ней, как любил говаривать дядя Георгий, «откроется нечто невиданное и неслыханное по своей невиданности и неслыханности», после чего дверь эту, как все в том же анекдоте, можно будет послать «на фиг, на фиг».

Маршал никогда не запирали бункер, входила в него прибраться одна лишь старшая горничная, а другие только посмели бы. Впрочем, маршалу уже давно было не до бункера. Медиум Ямагути отследил его всего один раз, бьющегося в загробной истерике, потому что никак не мог найти маршал в загробном мире Фадеюшку, неужто, да и каким образом, Фадеюшка не попал с этого света на тот свет?.. От таких посмертных мыслей маршал был загробным образом «того» и с медиумом беседовать не стал.

Без затруднений Ромео вошел в бункер.

Бункер как бункер, не видал он, племянник, принц и великий князь, бункеров!.. Впрочем, здесь стоял допотопный кинопроектор, висел экран. Может, кино посмотреть можно. Ромео опустился в кресло и нажал единственную клавишу в подлокотнике. На экране вспыхнул белый прямоугольник с надписью «Велкам ту Кения», а потом изображение исчезло, закружились радужные спирали, и монотонный, хриплый, видимо, все-таки женский голос заговорил из-под потолка.

– Дурак ты, – начал голос, – дурак, дурак, дурак набитый. Сиди и смотри, будто

кровинушка твой в Африке с носорогами бодается. Сбежал твой кровинушка от полоумного папани на край света, а ты сдохнешь, даже рыбы есть тебя не захотят, а та, какая съест, хоть и не рыба вовсе, а запоет не своим голосом. Смотри, дурак, мечтай, дурак, будто видишь картину – ничего ты, дурак, не видишь. Думай про Нинель, никогда ты меня, дурак, не увидишь, не буду я тебе детский сад рожать, ни Азию ты не возьмешь, ни Европу, все волки, волки, волки заберут, что ты взять хочешь. Дурак ты, дурак, дурак, дурак...

Ромео с трудом очнулся и резко нажал клавишу – изображение погасло, голос исчез. Ромео понял, что угодил в гипнокресло с индивидуальным ключом и фильмом, настроенное на кого-то другого, постороннему такой фильм смотреть и слушать – головная боль чистой воды. На пленке, которую годами ежедневно смотрел и слушал маршал, не было ничего, кроме радужных кругов и голоса пророчицы, навевавшего ему личные маршальские сны по душевной просьбе со стороны сбежавшего Фадеюшки. Но Ромео таких тонкостей не знал и знать не мог, он быстро дал деру из бункера, опрометью кинулся назад в банкетные залы, где хотя и собралась пьянь всякая, но все ж таки люди, никакой чертовщины про поющую рыбу. Наконец, где Гелий? Опять перепьется, сиди потом возле него с капельницей.

Но вечно зоркий Анатолий Маркович Ивнинг заметил, что принц Гелий был унесен для протрезвления, и поставил об этом Ромео в известность. Великий князь присел на свое место, налил рюмку, выпил, успокоился. Грузинский, но ничего. Можно не волноваться. И совершенно зря, увы.

В этот миг Ромео Игоревич Романов, если бы захотел, уже имел право взять себе прежнюю фамилию – Аракелян, да и от ненужного титула отказаться, ибо уже с полчаса он был вдовцом. Об этом еще пока никто не знал, даже всезрящий истопник Ивисталова дома, – собственно, кабы не его отстегнутый протез, возможно, ничего ужасного бы не произошло. Но протез был отстегнут, беда случилась.

После памятного выстрела Светлана Филаретовна никаких ранений на принце не нашла, а что пьян в дымину, так нынче все такие, словом, пусть поспит, меньше накуролесит. Гелий был оставлен в длинной и узкой комнате позади гардероба, из тех, в которые Ивистал не заходил, ему там нечего было делать, но еще и не из таких, где кишмя кишела застойная обслуга, короче говоря, в эдаком привилегированном тамбуре. Единственное, что сейчас имелось здесь постороннего, кроме самого Гелия, – это протез надежного истопника, брошенный поперек кресла. Обморок Гелия медленно перешел в естественный сон, царский племянник расхрапелся, и сам себя храпом разбудил. Где-то в глубине сознания забормотались строчки, притом они навязчиво повторялись, подсознание скрипучим голосом доказывало принцу, что –

Ничего не выйдет у Дракулы  
против Селяниныча Микулы –

и Гелий окончательно проснулся. Ему почему-то стали вспоминаться молодые годы, давно они ему не вспоминались, и Рашель, и Влада, и Каролина, впрочем,



постарела Каролина, спилась совсем нынче, наверное. Но сейчас же эти сентиментальные воспоминания самовышиблись из него насущной потребностью опохмела. Гелий пошарил вокруг, ничего не нашел, с трудом сел. Прямо перед ним была широкая стеклянная панель, видимо, дверь стенового шкафа, а за стеклом, о счастье, сияли этикетками коньячные бутылки... «Все путем», – подумал Гелий и попробовал открыть шкаф.

Дверца, подлая, не поддавалась. Гелий поискал – чем бы ее поддеть покрепче, не нашел ничего колющего, рубящего, режущего – только вот деревяшка на кресле – неужто деревянная нога?.. Гелий ухватил протез, нежно погладил отполированное десятилетиями дерево, мысленно отмахнулся от назойливых Дракулы и Микулы, попробовал использовать истопникову ногу как рычаг. Ни черта не вышло. Придется бить стекло. Гелий ослаб и вспотел, хорошо размахнуться не мог, и, сколько он в стекло ни стучал, – оно оставалось целым, ибо вообще-то было рассчитано на прямое попадание противомонтажного снаряда. Только Гелий этого не знал. Коньяк оставался неприступен. Гелий в изнеможении сел на пол и увидел под нижней частью рамы углубление – в нем что-то поблескивало.

Гелий угрюмо ткнул железным наконечником ноги в углубление. И это было его последнее сознательное, а скорей бессознательное действие в жизни. Замок витрины был магнитом, вместе с поддельным коньяком стена повернулась на сорок пять градусов, открывая вход в шахту, где на глубине почти в полторы сотни метров дремала ракета класса «земля–земля», стационарно нацеленная на Кремль. Опиравшийся на стенку Гелий не удержал равновесия и соскользнул в пропасть. Если и промелькнула какая-то мысль в его почти прекрасной голове, то это была лишь третья строка в добавку к тем, что уже и так его измучили, он и так знал, что ничего не выйдет у Дракулы против Селяниныча Микулы, а теперь, в последнее мгновение, к двум строчкам прибавилась третья –

Да и против кузнеца Вакулы, –  
возникло чувство свободного падения, тело Гелия ничего не весило, через мгновение все его проблемы на земле были решены полностью.

Его смерть обнаружили скоро, только что Лещенко успел допеть про Миранду на уснувшем канале, как из банкетной залы по сигналу выскользнул охранник, второй, третий; Светлана Филаретовна знала, что в эту шахту нет ни лифта, ни лестницы, маршал, надо думать, пульт управления держал где-то еще, а кейс его пропал вместе с ним самим, то есть не пропал, лежит в запечатанном бункере, туда никто не знает входа, даже она сама, она сейчас принесет...

Веселья поубавилось, но до тех пор, пока принца не извлекли из шахты, мужа его в известность решили не ставить. Раскатали вертолетную лестницу, полезли в колодезь, на полдороге счетчик стал тикать так яростно, что охранник вернулся, потребовал свинцовые трусы, – в хозяйстве маршала таковых, как и трехколесных велосипедов, преступно не имелось. Без трусов никто из трезвых в шахту лезть не хотел, а пьяным подобное доверять было боязно. Засуетились, ничего не могли придумать, покуда Светлана Филаретовна не заметила торчащую в замке протезную ногу, побежала к истопнику ее пристегивать – вдруг он что знает, истопник отпер ящичек в ноге и достал оттуда пачку планов

Ивисталовой усадьбы, да и Милада прибежал со своими копиями – оказалось, что дорога в шахту все-таки есть, она проложена сквозь нижние ярусы, и все, кто отвечал за безопасность царской семьи, ринулись в туннель под сандалией одного из Меркуриев, про всех прочих временно забыли. А пьянка продолжалась, в подобной обстановке какая еще беда ни приключись – ее бы прозевали. Ее и прозевали. Да и не одну.

Мара все еще полз, уже вторую вечность подряд. Первая кончилась вместе с бутылкой «Абсолюта-Цитрон», Маре стало как-то тепло, и он в темной трубе вздремнул: кругом тихо, только что-то журчит рядом, вот его и убаюкало. От того же журчания Мара и проснулся, не понял сперва, где находится, сильно перепугался, но сообразил – и опять пополз вперед. Брюки на коленях протерлись, но портфель Мара не выпускал, – ничего-то у него, у бедного, на свете сейчас не было, никому-то он был не нужен... Мара захлебывался слезами жалости к самому себе. Стоило ломать себе жизнь, чтоб вот в такой трубе оказаться! Кто это придумал дурацкое выражение – «вылететь в трубу»? Вот выползти бы из нее сперва, а потом и вылететь не страшно...

«Ах Мара, Мара, Мара, подобие кошмара...» – бормотал режиссер, его, как и Гелия, одолели сегодня назойливые рифмы. Он их не слышал – он их не слушал, но избавиться от них тоже не мог. При очередном рывке Мара треснулся головой: туннель кончился. Над теменем веял ветерок с явным животным запахом, туннель переходил в колодец. Мара стал рыться в портфеле, бормоча под нос вместо матюга почему-то собственную фамилию. В наружном кармане отыскалось что-то твердое, на ощупь неприличное. Мара долго это щупал, потом вынул, нашел у расширения ствола кнопку, нажал ее – и предмет ожил, яростно вырываясь. Большой, сложно изогнутый имитатор для горящих дам, с полным зарядом батареи – откуда он тут? Мара знать не знал, что Милада в машине спутал портфели, вибратор был его личный. Мара погладил дергающийся предмет, чего-то не рассчитал, переключил – и получил страшный удар по зубам. Вибратор вырвался у научпопника из рук и ускакал в глухую темень туннеля – туда, откуда режиссер только что выполз. Запущенный парадонтоз давно уже избавил Мару от большинства зубов, а только что прямой наводкой бедняга был лишен еще и двух передних.

Мара встал, сплюнул кровь и зубы, полез вверх: для удобства попников, не иначе, прежний хозяин, когда строил колодец, вделал в стену широкие скобы. Нажатие на верхнюю привело в действие автоматику, крышка колодца откинулась вместе с кучей лежавшего на ней навоза. После темени подземного хода слабый свет, озарявший конюшню, показался сколопендровнику слепящим, словно прожектор. Мара подтянулся на руках – они от гантель стали очень сильными – и сел в кучу. Подземный ход с маршальской веранды вывел его напрямик на маршальскую же конюшню. Гобой, снежно-белый, хотя с темной, как полагается, кожей, стоял над яслями и меланхолично двигал челюстями. А чалый, белохвостый Воробышек удивленно глядел на явившегося из-под земли Мару.

Жеребец был красив ослепительно – не то что сколопендры! Чалых сколопендр не бывает, тем более с белыми хвостами. Впрочем, в жилище к ним Мара не

полез бы даже за толстую пачку портретов президента Франклина. Но здесь – здесь было тепло. Как-то душно даже, после бутылки «Абсолюта» со всеми предваряющими это не было странно, однако, увы, брюки расползлись в лохмотья, зубы валялись в колодце, десны кровоточили. Мару обуревали великая жалость к самому себе и похмелье – одновременно. Мара стал копаться в портфеле – вдруг еще что-нибудь ценное там есть. Ничего не нашел. А похмелье крепчало.

Мара на карачках стал подбираться к Воробышку: он предлагал себя чалому жеребцу в качестве кобылы. Жеребец попятился. Мара еще яростней пошел на жеребца той частью, которая у кобылы называлась бы крупом. Воробышек попятился, но было уже некуда. Он резко скакнул через ополоумевшего попника и лягнул его.

Мара вздрогнул, вытянулся. Лишь домашние тапочки, в которых он прополз всю трубу, тапочки, привезенные им, потому что предупредили об ответственности за княжеский паркет, слетели с его ног. Подкова Воробышка не принесла счастья Маре, череп режиссера треснул, как фарфоровый чайник. Гобой, хмуро смотревший на сцену от ясель, рванул привязь и дико заржал. Воробышек всхрапнул – и заржал следом.

Мигом вылетел из пристройки Авдей, пистолет, стреляющий транквилизатором, он разрядил в бок Воробышка раньше, чем успела бы пролиться невыпитая рюмка водки: этим седативом Авдей успокаивал собственную совесть. Когда жеребцы задремали, – Гобою тоже досталось, – Авдей принял полный стакан, спихнул Мару в люк, бросил за ним следом тапочки, открыл краны затопления подземного хода и медленно разровнял над закрытым люком навоз. Нет никакой Мары и никогда не было. И нечего в навозе копаться. В конце концов, не от первого трупа избавлялся в своей жизни сальварсанский шпион Авдей Васильев. Оба предиктора обещали ему на сегодня хлопоты с конским навозом. И хорошо, что все так легко обошлось. Он-то боялся, что у кого-то из жеребцов, а то, не дай Господи, у обоих, расстройство будет. Конюх совсем успокоился и пошел допивать бутылку. С желудками жеребцов, к счастью, обошлось нормально.

А во французской гостиной тем временем все закусывала и закусывала охрана, оберегающая от прочей шоблы наиболее драгоценного гостя – государеву подругу Тоньку и лично блюдущего как ее диету, так и прочее здоровье лейб-медика Цыбакова. Врачу давно не нравился посторонний шум, а после выстрела в коридоре он вовсе затревожился. Он решил, что самое время сейчас для будущей матери подышать чистым воздухом, нашел выход в сад и повел Антонину на прогулку. Она не сопротивлялась, новая жизнь ворочалась под ее сердцем, толкалась и требовала выхода, и ни о чем другом Тоня больше не думала, – посасывала кусочек лимона, считала часы до прилета Павлинки и дышала чистым, пайковым истринским воздухом. Татьяна помолвка – уж которая на ее памяти! – была неинтересна с самого начала. Цыбаков шел рядом с чемоданчиком лекарств и инструментов, отослав прочь охрану. Парк – он проверил – обещал полную безопасность.

А куда она гуляла, Ромео то напивался, то трезвел, Милада яростно пытался

понять, отчего все не так, как он хотел, вместо отдыха для подруг опять получилась криминуха, за которую царь может не только дать по шее, но и шкуру снять и даже из этой шкуры чучело для кунсткамеры, которую он из Питера на Новый Арбат перенести приказал, изготовить. За Антонину, к счастью, отвечал не он; Ромео имелся в поле зрения, Гелию помочь было нечем, разве что пышными похоронами – неужто под Кремлевской стеной хоронить будут?.. Милада посчитал и обнаружил, что следующим по важности из опекаемых лиц является княгиня Ледовитая, хозяйка поместья. А ее за столом отчего-то не было. Милада с тревогой собрался на ее поиски – а ну как выкрал невесту кто неположенный? – но тонким, масонским слухом уловил грохотанье в дальнем крыле здания. «Только еще с натуралкой возиться не хватало!..» – с омерзением подумал Милада, сверился с планом усадьбы и помчался на шум.

Татьяна желала велосипеда – вынь да положь. Попался ей на картине какой-то слон, оглядела – не понравился, не трехколесный. Пошла дальше, маша бутылкой. Опять попала в лифт, поднялась еще на этаж, но и тут велосипеда не оказалось. Хуже того, тут не было даже слона, как на втором этаже, тут вообще ничего, кроме гардин на окнах, не было: Танька попала в часть здания, некогда принадлежавшую Фадеюшке и его же бронзовой базуккой не так давно развороченную. Этаж восстановили, но произведения искусства комнаты пока не заполняли, дожидались возвращения маршала; обслуга помнила, какой разнос он устроил в семьдесят шестом, когда автопортрет Черчилля работы Налбандяна в гуцульской гостиной повесили, думали, для смеху, куда еще Черчилля девать, если не к гуцулам? – а маршал велел на это место повесить портрет какого-то доктора, который во Французскую великую революцию изобрел мясорубку, а Черчилля подарил английскому послу, а тот ему портрет-групповуху королевского дома, «Семь Эдуардов», что ли...

Танька возмутилась: в ее родном доме – да пустые комнаты? Выпороть прислугу солеными розгами. А может, что-нибудь есть все-таки? В третьей комнате обнаружился совершенно неповрежденный носорог. Чудесный, в натуральную величину, в натуральный вес, на колесиках – хоть и перенесший битву со статуей маршальского сына, но об этой битве Татьяне никто не докладывал. Татьяна пришла в восторг: да ведь это тот же велосипед, только другой формы, и рог у него на носу, а не там, где у других мужиков, но так даже кайфовой!

Танька почти без труда влезла на носорога, оттолкнулась подвернувшейся палкой для раздергивания штор – и покатила. Вокруг лифта шел спиралью широкий пандус, Татьяна свернула на него, и носорог, он же единорог, символ чистоты и невинности, стал набирать скорость. На втором этаже пандус сделал новый виток, носорог вместе с ним – эх, да это ж куда веселей велосипеда! В анфиладу бельэтажа Татьяна влетела в полном восторге, носорог невозмутимо и легко принял заданное направление. Танька мчалась и вновь отталкивалась, скорость не гасла. Символ невинности с княгиней на спине протаранил цепочку синих гвардейцев, искавших путь к несчастному принцу Гелию, и вылетел на парадную лестницу к девяти музам. Тут был не пандус, а натуральные ступеньки, и носорога затрясло. Танька, к этому моменту уже гордо

выпрямившаяся на спине символа невинности, не удержалась и полетела вверх тормашками – прямо в объятия девятой, лежащей посередине лестницы статуи Эрато, музы лирической поэзии. Татьяна не ушиблась, но безошибочно поняла, что попала в лапы какой-то ледяной, видать, только что искупавшейся бабы, совершенно голой и, кажется, вознамерившейся княгиню Ледовитую немедленно трахнуть, – а Танька женщин в этом деле не любила.

– Я не педерастка! – завопила Танька, отбиваясь от мраморной бабы. Танька извивалась, теряя немногие оставшиеся на ней предметы туалета, а мраморные руки нагло производили в это время умелые лесбийские захваты. Танька визжала. Набравший дополнительную скорость носорог вышиб входную дверь и выкатился из дома. Изувечив подвернувшийся Миладин ЗИП, Фадеешкин трофеем уgomонился. Гвардейцы, с интересом наблюдавшие за битвой между Танькой и Эрато, даже пари не успели заключить, как победа оказалась на стороне Таньки: она вырвалась, обломав наглой мраморной бабе обе подлые ручки. Но потом Татьяну все же уgomонили и куда-то увели. Шума вышло много. Милада вовсе расчиховался и ушел вызывать подкрепление с трассы.

Вдали от суеты на Ледовитой даче пребывали сейчас только двое гостей, или, точней, почти что трое, ибо Тонька была все ж таки на восьмом месяце. Нелегкой походкой шла она по чистой дорожке, покрытой битым красным кирпичом, а Цыбаков семеня следом. Рядом они смотрелись бы отчасти смешно, отчасти государственно-страшновато. Тоня была женщина не мелкая, а Цыбаков мужчина, мягко говоря, не крупный; кабы Тоне одежду посоответственней, да походку повеличественней, да шлейф позади, – ну, а Цыбакову бы лет сорок с плеч долой, так очаровательный, быть может, из него получился бы паж для королевы, в самый раз поручить такому ношение шлейфа. Воздух был чист, если чем он пахнул, то плохими стихами про аромат апреля. Может, в каком-нибудь Париже апрель и замечательный месяц, но в Подмоскowie это эпоха острых респираторных заболеваний, и ничем другим тут не пахнет. Сыро, и все.

Прошли вдоль нестриженных кустов, свернули к елям, очень похожим на кремлевские. Прошли вдоль елей, свернули к лиственницам. Скрипнул битый кирпич, молодая хвоя раздвинулась, и навстречу Тоне вышла кряжистая женщина с монгольским лицом, за ней еще одна, совсем молодая, сверкающая черными глазами. За первой она ступала след в след.

– Вот и я, – сказала Нинель, – вот и ты, Тоня. Помнишь меня, еще ты еду своему мужику все на пол роняла, но теперь это ничего. Забираю тебя, Тоня, нельзя тебе больше с ними. Тебе рожать, а они уже ножи точат. Хватит тебе тут, роды сама приму.

Нинель протянула руку и коснулась предплечья Тони, та стояла как статуя и глядела в глаза татарке. Цыбаков сообразил, что ему, кажется, положено воспрепятствовать происходящему, но внезапно ощутил, как немеет у него левая рука, как всю ее колют мелкие иглы. Перехватило дыхание, возникла боль, быстро скользящая из руки в грудь, прямо в середину, разгораясь за грудинной костью большим пожаром. Лучший российский специалист по искусственному инфаркту слишком хорошо знал, что означает такая боль, и

повалился лицом на дорожку.

Его нашли через полчаса с горстью битого кирпича в кулаке, прижатом к сердцу; впрочем, лекарь еще дышал. В реанимационном фургоне умелые помощники быстро облепили его капельницами и датчиками, а придворный акушер, единственный врач, которого Цыбаков взял себе в пару на этот загородный выезд, удовлетворительно кивнул, читая кардиограмму.

– Задняя стенка, не очень обширно, дальше поглядим. Помереть не должен. Цыбаков открыл глаза и одними губами произнес:

– Антонина...

Акушер понял, отдал команды, – Тоню бросились искать. Однако против того места, где нашли бывшего директора института получения искусственного инфаркта, так неосмотрительно не выведшего на компьютере свою собственную инфарктную фабулу, – иначе черта с два он бы на эту Истру поехал! – против того места забор был проломлен, сигнализация отключена. Следы трех женщин уводили к проселку, тот вливался в шоссе, собак вызывать было поздно, а с самого шоссе охрану час назад отозвали к усадьбе, – свидетелей не было. Акушер молился богу своего народа, чтобы Цыбаков не умер, если б это произошло, то виновным во всем оказался бы сам акушер, как второй Тонин врач, и страшно подумать, какие его ждали казни!..

Только ручной лось, случайно оказавшийся возле кирпичной тропинки в тот миг, когда Цыбаков рухнул, слышал бормотание Нинели, с которым татарская пророчица уводила с собой покорную Тоню:

– Не бойся, хорошая моя, не найдут нас, не найдут. Где искать будут, там нас не будет. Где не будут искать, мы туда пойдём. Сына в конце мая родишь, там это сентябрь, Алешей назвать хочешь, рожай, называй, правильно, Алексей Павлович будет, счастливый будет. Пойдем с тобой за леса и за горы, не бойся, к Уральским горам, да и то недалеко, место знаю, никто другой его не знает, святой человек будет там, сидельцев вон сколько лет по лагерям лечил, а теперь тебе служить будет, роды примет твои со мной вместе, дитенка выхаживать будет, хватит ему нелюдь пользоваться, власть нынче другая, а ему все ношу крестную нести, три века ему по-вашему грехи замаливать, он терпит, святой человек, хоть и православный по-вашему называется, ну ладно, Иса-пророк великий пророк, кто не верит в это, того в мечеть не пускают. Не бойся ты, борода у него длинная, рука крепкая, мысль ясная, хорошо будем жить. И тебя, Доня моя, не найдут эти волки, бедная ты моя, отец твой книгу написал, не отец он тебе, мать он тебе. А мальчик, что отсюда раньше убежал, он давно уже хорошо живет, жениться скоро станет, помогла я ему уйти, как могла, помогла, ничего его отец не понял... А мать у мальчика святая была, хоть на коньках бегала... Не бойся, Тоня моя, Доня моя, идем, хорошие мои, идем, идем...

Лось настороженно провожал женщин, одним глазом кося на скрюченного человечка, и ни о чем не думал. Он был тихий лось, не опасный человеку, и человека опасным тоже не считал. Дрессировщик два раза в неделю впрыскивал ему что-то успокаивающее, и даже весна не будила в бессмертной душе сохатого тревоги.

Клиффорд Саймак непременно закончил бы эту главу на том, что по стволу

промелькнула белка.

Но никакой белки не было.

## Павел II Пригоршня власти Часть 11

*Евгений Витковский*

XI

Вместо того, чтобы скромненько пользоваться тем, что я даю, они теряют всякое чувство меры.

Кристиан Пино. Клятва Леокадии

– Дабы не усугублять неграмотность, без того непомерную при нынешнем положении дел среди народа, постановить: в ближайшие с момента подписания этого указа полгода перевести английское наречие на кириллицу как в Объединенном Королевстве, так и во всех его бывших и нынешних колониях и доминионах. Поелику ныне в общепонятном алфавите живого великорусского языка используется тридцать три буквы, проследить, чтобы в будущем и английский язык более нежели тридцатью тремя буквами не пользовался. Буде же где и какой звук окажется кириллицею невыразим, оный звук в английском наречии упразднить и более не использовать...

Павел вдохновенно диктовал, расхаживая по кабинету. Этот кабинет был для него самым непривычным из всех, ибо располагался на втором ярусе личного императорского самолета. Лететь из Сан-Сальварсана до Москвы было долго, целых восемнадцать часов, считая время на дозаправку в Африке, в молодом и дружественном России государстве Нижняя Зомбия, на аэродроме, носящем имя знаменитой спортсменки Табаты Да Муллонг. Павел терять времени попусту не хотел, отоспавшись после сальварсанских торжеств, он вызвал «ночного» секретаря, многоязычного Порфирия Ивановича, – этот секретарь был специально заказан в прежнем ведомстве Шелковникова по всей форме: чтобы десять языков активно, компромат по трем линиям, исполнительность и половая полноценность. Именно полиглотство секретаря подсказало императору тему нынешней порции указов. Английский язык давно раздражал Павла, как-то очень его много вокруг. Павел с этим языком решил расправиться одним указом – нечего больше возиться.

– И впредь бы, при употреблении английского наречия на письме, либо же в печати, либо же иным способом, нежели кириллицею, а, к примеру, глаголицею, латиницею, рунами, клинописью, иероглифами, пиктограммами или как иначе, ввести штрафы, на что завести особое ведомство доглядающих. Оплату труда тем доглядателям осуществлять из средств, поступающих в казну штрафами за пользование того английского наречия неправильным манером, после удержания из оных средств подоходного, бездетного, пенсионного, акцизного и прочих налогов...

Павел замер и повел носом. За дверью наверняка появилось то самое, что он заказал час назад. А заказал Павел большой кровяной бифштекс: осточертела

ему и московская рыба, и сальварсанская, притом в любом, даже, Господи прости, Тонином приготовлении.

Тоня никому для Павла готовить не позволяла, но в Сальварсан с ним в силу своего интересного положения лететь не могла. В Сальварсане дядя Хорхе обеспечивал безопасность еще лучше, чем это умели делать в Москве, а тащить с собой отдельного повара ради единственной трапезы при обратном перелете – только дармоедов по границам катать. Ну, в дорогу «туда» Тоня кое-что дала сухим пайком, а вот «обратно» позаботиться оказалось некому. На борту самолета вообще-то был супер-повар, сам Доместико Долметчер, но тут приходилось вмешаться канцлеру: доверять гражданину чужой державы, да еще дипломату, стряпать для императора – нет, нет, это совершенно невозможно. И пришлось бедному, изрядно похудевшему Георгию Давыдовичу отправиться на кухню самому. Готовить он и умел, и в юности даже любил, но юность – она когда-а-а была, а позже как-то нужды не было у плиты стоять. Шелковников отхватил от пласта замороженной вырезки три ломтя, отбил, посолил, поджарил, первый же ломоть сам на кухне продегустировал – целиком. Второй полагался Ключю, покорно сидевшему в уголке, даже не удивившемуся, что на этот раз мясо, а не рыба. Третий ломоть канцлер гарнировал, сервировал поднос – и понес к царю.

Царь прервал диктовку указа и впился в бифштекс. О Боже, как же надоел рыбный рацион! Наконец-то мясо, мясо, мя-а-а-а-асссо-о... Канцлер дождался конца трапезы, поклонился, насколько позволила его нынешняя условная талия, забрал тарелку и пошел прочь: во время диктовки указов царю попадаться под горячую руку не стоило, это при дворе все давно знали. На лестнице, ведущей в нижний салон самолета, стоял скучающий Долметчер. Стесняясь грязной тарелки, канцлер хотел прошмыгнуть мимо, но креол бесцеремонно загородил дорогу.

– Да, филе... – задумчиво произнес он, нашел на тарелке забытое Павлом волоконце, бросил на передние зубы, быстро-быстро, по-дегустаторски, зачмокал. – Да, филе... Натуральное, очень удачно, господин канцлер, очень, и с корочкой, и с кровью... Мало кто в наше время умеет готовить морскую щуку по-доминикски. Отличные садки с барракудами у нас на Доминике! Барракуд кормят исключительно блинами с черной икрой, заливной осетриной, холодным поросенком с хреном... А на десерт бля-манже под «Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского. Впрочем, поросенка иногда дают с гречневой кашей, но это очень дорого, зато полная иллюзия говядины... Господин канцлер, да на вас лица нет! Не может быть, филе барракуды совершенно свежее!

– Да нет, это так, воздушная болезнь... Уже прошло. – Шелковников поскорей убежал в хвост самолета. Только бы не трепался проклятый креол. Нужно все это филе сбросить – лучше в ящик для отходов, пока нет взлета, – в Нижней Зомбии еще и не такое едят.

Это ж надо – выдать сырую рыбу за мясо! Рыбу икрой! Карася в порося!..

В Шереметьеве-2, где полагалось приземлиться царской эскадрилье, царила тихая истерика, ибо никто не хотел быть горевестником. Милада Половецкий угодил под стражу, его арестовал не кто иной, как дневной секретарь



императора – за преступную гулянку на княжеской даче, во время коей исчезла возлюбленная императора, Антонина. Ивнинг проявил редкую оперативность, беря следствие в свои руки: он-то прекрасно понимал, что либо он – Миладу, либо Милада – его, и не помогут никакие амурные воспоминания, тем более, что вспоминать почти нечего. Даже молочный король Сухоплещенко выразил готовность покинуть больницу – в которую залег при первом известии о беде – и, временно отставив отставку, взять на себя карательные функции, было бы кого карать. В гулянке был к тому же замешан еще и сын царя, и его почти жена, хозяйка дачи, да и смерти племянника государь вряд ли обрадуется. Но кто скажет государю? Кто скажет?

Ивнинг и другие вознесенные новой властью люди ломали над этим голову в кабинете бывшего Милады, когда дверь без стука отворилась. На пороге стоял закованный в жуткую темно-красную кожу человек с навеки остановившимся где-то в глубинах собственной души взором.

– Я сам доложу, – без предисловия сказал министр внутренних дел. – Наше упущение. Будем карать. Думаю, виновны милиционеры. Мало проводим декумаций. На этот раз проведем фронтальную, по всем лагерям. А тех, кто на свободе, – к вышке. Царю доложу я. О том, что Всеволод Викторович Глущенко безумен, слух шел давно. Однако очень тихий слух. Уже немало было случаев, когда кто-то отправлял на Петровку информацию: мол, другой кто-то в одна тысяча едреном году имел добровольное совокупление с милиционершей, – и этот другой наутро находил себя под нарами у параши. Министр вообще не занимался преступлениями, кроме тех, которые подпадали под указ: по номеру дома на Петровке – «указ от тридцать восьмого числа». Лишь те, кто вовремя слинял из милиции в императорские синие мундиры, могли пока что чувствовать себя в относительной безопасности. Ибо страшен был министр-бригадир, никто не знал, спит он, ест, пьет, да и вообще человек ли он, если круглые сутки семь дней в неделю всегда на посту, всегда борется с проклятым милицейским семенем. Ненавидели министра все – и вот на тебе, пригодился ж таки, сам, по доброй воле решил идти к царю докладывать о том, что Антонина исчезла вместе с будущим наследником престола. Молочный король, мысленно перекрестившись, исчез с экрана. Ивнинг удвоил охрану при железных дверях, за которыми держал обреченного Миладу. Всеволод Глущенко в темно-красном ЗИПе подлетел к зданию аэропорта и своим появлением вселил в присутствующих больше ужаса, чем все фильмы Хичкока вместе взятые.

По данным табло, императорская эскадрилья приземлилась без осложнений.

А Павел, даже идя к выходу из самолета, продолжал диктовать:

– Сирот же милицейских, коих в России и по сей день немало есть, отнюдь бы за грехи отцов не карать, а собирать в особые дома, где обучать бы их полезному ремеслу, отдавать бы их в зубные протезисты, сиречь дантисты...

Трап подрулил. Павел шагнул на него и тут же понял, что ноги его обнимает молодой, оборванный, рыдающий в три ручья тип. Он что-то свернутое совал Павлу в руку. «Челобитную? царю напрямую не положено, приказ на то есть», – император вспомнил, что как раз приказ еще не обустроили, – глянул, как истоиво тип стучит лбом в металл. Охранники уже взлетели по трапу, другие

вылезли из самолета и были готовы разорвать челобитчика на части, но Павел властно их остановил, принял жалобу.

– Бью тебе челом на тамбовского генерал-губернатора! – взвыл тип, осознав, что все еще жив, а жалоба принята. – Не веди казнить, православный государь, веди слово молвить! Окаянный тот Мишка Дерюжников партбилеты за мзду выдает без свидетельства о крещении!

Павел побледнел. Такое ему в страшных снах не снилось. Как это так – без свидетельства о крещении? В коммунисты?

– Может, скажешь, что у него и поста во время кандидатского стажа не блюдут? – издевательски спросил царь, надеясь, что обвинение все-таки окажется ложным. Ведь этого Дерюжникова он сам в Тамбов и назначал, ведь все-таки своего же завуча с прежней работы!..

– Истинно не блюдут! Совсем ничего святого...

Дальше Павел не слушал. В толпе встречающих очень вовремя замаячила закованная в темно-красную кожу фигура министра внутренних дел. Император кивнул ему, Всеволод немедленно взлетел по трапу, чтобы кратким, верноподанным поцелуем приложиться к лайковой перчатке государя, – тот, впрочем, перчатку вовсе не ему протягивал, он лишь указывал на ревушего белугой челобитчика.

– Расследовать. Подтвердится – наказать всех! Не подтвердится – только этого. Всеволод кивнул, челобитчика оттащили.

Министр, тем не менее, загораживал государю дорогу. Павел с удивлением глянул: не рехнулся ли часом приемный родственник, не заработался ли на ответственном посту?

– Это ты челобитчика пропустил? – отнюдь не мирно спросил царь.

Всеволод косо склонил голову, словно подставлял ее под топор.

– Государь, моя вина, сознаю. – Глущенко распрямился и в коротких словах доложил, что в результате заговора милиционеров и других масонов похищена беременная возможным наследником престола Антонина. Павел посмотрел на министра долгим, ничего не понимающим взором. Когда страшный смысл произнесенного проклятым краснокожим до него, наконец, дошел, в организме что-то сработало, выбило какой-то защитный предохранитель, и ни инсульта, ни приступа психомоторной эпилепсии не приключилось, царь всего лишь потерял сознание и рухнул на руки телохранителей.

Пришел он в себя только в личном чагравом ЗИПе, с иглой в вене и под капельницей. Двое врачей следили за чем-то там на экранах, на них было изображено очень похожее на линию горного хребта Сьерра-Путана. Павел скосил глаза и обнаружил, что краснокожий тоже рядом.

– Всех виновных... – с трудом сказал он.

– Всех – можно ли сразу, ваше величество? Среди принимавших участие в помолвке – принцы крови, великий князь Иоанн Павлович, великий князь Гелий Станиславович... Увы, погибший – возможно, при попытке помешать похищению... Великий князь Ромео Игоревич... Столбовая дворянка Татьяна Ледовитая...

– Ох, столбом ее... Ладно, всех ко мне, по одному. В Грановитую. Отвечаете

лично, ротмистр! – неожиданно закончил царь, понизив министра сразу на три звания, но аккуратно оставив его потомственным дворянином. Впрочем, если по-казачьи, то ротмистр – это есаул, значит, вовсе не такой уж вшивый чин. Дальше мысли царя поплыли – и он отключился. Всеволод почти на ходу вылетел из царского ЗИПа, прыгнул в свой темно-красный и рванул вперед – выполнять, доставлять, тащить, да и застенок при Грановитой тоже проверить, мало ли что.

Павел оклемался к вечеру. Канцлер отделался легкой головомойкой: за каким лешим летал в Сальварсан? Хотя список подлежащих летанию к дядюшке царь сочинил сам, так что выговор получился чисто формальный и устный, без занесения. Милада Половецкий был объявлен главным подозреваемым и отправлен в Спасский рavelин, что под башней, а если такого нет, – сию минуту оборудовать. Для Ивнинга царское «скотина ты, да и только» – обернулось повышением в должности, он сел в кресло Половецкого и с полным кайфом вытянул свои разномерные ноги. Краснокожего министра царь понизил в должности, из министра превратил в «исполняющего обязанности» – но и только, ибо замены не имелось. Спокойней всех чувствовал себя Сухоплещенко, лежа в спецмедчасти и каждый час по телефону соболезуя, – царю надоело, он передал отставному двурушнику, чтобы тот скорей выздоравливал, а значит – мог за шкуру свою и молочные реки пока не опасаться. Великий князь Никита Алексеевич предложил взвод отборных Настасий для любых услуг: от обычных до сыскных. Царь поблагодарил и согласился на вторые.

Дальше предстояло разобраться с младшими принцами. Ноги держали Павла плоховато. Опираясь на плечо верного иностранного арапа, то бишь Долметчера, а также на массивную трость с набалдашником в виде чего-то не вполне приличного, – другой в Кремле не отыскали, а эта была графа Орлова, – он прошел в Грановитую. Сел на неудобный трон, долго рассасывал таблетку валидола. В зале находились вернувшийся краснокожий министр, канцлер, еще кто-то, – с некоторым успокоением царь заметил, что присутствует приемный родич, светлейший князь Корягин-Таврический, коего он депешей из Сан-Сальварсана произвел в это звание из неудобных ханов Бахчисарайских, потому как кто-то из подлинных Гераев оказался чьим-то нужным другом, за которого еще кто-то попросил, – ах ты черт, память проклятая, нет сил все интриги придворные наизусть помнить. Но присутствие Корягина успокаивало, Павел заметил, что попугаевод обладал чудесной способностью утишивать скандалы, в них не вмешиваясь. Хорошо бы и канцлершу позвать, но она тоже, как выяснилось, от приключившихся событий лежала у себя в косметической клинике в реанимации. Жаль. Павел дососал валидол, разлепил веки, с трудом произнес:

– Ваньку сперва. Пусть выкладывает.

Два огромных почетно-караульных гвардейца-рынды ввели едва держащегося на ногах Ивана. За него заступаться было некому. Будущая жена со страху допилась до медвежьей болезни, мать вообще от него отказалась, а отец-то как раз и требовал отчета о том, в чем он не только не был виноват, но – по скромности природных умственных способностей – даже и не мог понять, какое

он ко всему этому имеет отношение.

– Сволочь.

Голос долетел до царевича как-то сверху, тогда Иван понял, что стоит на коленях, – то ли сами подогнулись, то ли рынды слегка пособили.

– Сволочь.

Иван что-то забормотал, хотел грянуться лбом в каменные плиты, но их застилал плотный ковер, и за плечи его придерживали, не пускали.

– Сволочь.

Внезапно Павел обрел какие-то скрытые доселе силы и превратился в живую катапульту: тяжелый орловский посох описал в воздухе короткую дугу, в конце которой неизбежно размозжил бы Ивану голову. Этого, однако, не случилось, где-то в верхней точке траектории полета посох просто исчез. Раздался победный взвизг попугая, и мощный гиацинтовый ара с посохом в клюве ринулся из-под потолка к хозяину, к князю Корягину-Таврическому. Поступил ара вообще-то неправильно, поноску возвращают тому, кто ее бросил, а не своему хозяину, или уж вовсе за ней не кидаются, – но помойно-служебные и придворно-пенсионные привычки так спутались в лазурной голове Володи, что он вручил посох именно деду Эдуарду, попечителю гиацинтовых ара всея Руси. В конце концов, если это не его добро, сам отдаст, кому надо.

Что Корягин и сделал. Слегка поклонившись, он приблизился к трону, на котором приходил в себя изрядно напуганный Павел, и вручил ему почти пудовый посох.

– Выкинуть Репина ко всем чертям из Третьяковки! – рявкнул император, хотел приказать сжечь эти поганые картины, но вспомнил, что они денег стоят, бережливость взяла верх, гнев приугас. – В запасник! И на замок! Вот. Ну что мне с тобой, дурень, делать? Ты почему один явился, думал за подлую свою бабу хлопотать?

Иван и хотел бы что-нибудь ответить, но очень боялся, что с ним сейчас случится та же болезнь, что с женой.

– Ну ладно, – вовсе притих Павел, – хрен и с тобой, и с бабой твоей. Сам ты недоросль. Баба твоя пьянь. Сим сегодняшним числом, – царь прикоснулся к плечу Ивнинга, – оформить наш монарший указ о лишении великого князя Иоанна Павловича всех прав на российское престолонаследование. Личное. Насчет его детей – то решать будет монарх, либо уж в крайнем случае Земский Собор. А Ваньку этого...

Павел долго и трудно размышлял. Губернатором куда-нибудь? Не в Тамбов же, он ведь и воровать-то пока не умеет, поди. Его как-нибудь подальше, да так, чтобы и с глаз долой, и польза государственная... А! Вспомнил. Быстро и очень тихо царь надиктовал Ивнингу еще один указ, Иван с ужасом ждал его оглашения.

– А второй наш указ узнаешь по прибытии. И чтоб оттуда ни ты, ни твоя баба в прежнюю подмосковную не смели носа показать! И вообще никуда, у тебя там два уезда... Или три? Вот и все. Прохлаждайся. То есть загорай. Все! Пшел вон!

Иван вылетел из Грановитой палаты как пушечное ядро из Царь-пушки, но тут же увяз в человеческой массе. Масса поглотила его и вытолкнула на крыльцо, а

сама вступила в Грановитую, сопровождая следующего вызванного на ковер принца, то ли виновного, то ли, наоборот, пострадавшего вдовостью Ромео. Масса – а это был Шестой Отдельный Женский батальон Зарядья-Благодатского – застряла в дверях, во все глаза пялясь на царя: многим из них он был раньше ой как близко знаком, а теперь вона какой главный стал!..

Бледный, аккуратный, с выбритыми до синевы щеками, Ромео подошел к царю, встал на одно колено и опустил голову, – где-то он читал, что если хочешь признать свою вину – подставляй шею. Павел с недоумением на эту бледную шею поглядел. «Совсем парень тронулся, – подумал он. – В деревню бы его, на отдых, а то умом ослабнет и всем другим. Он к тому же и не принц по крови, непрестолонаследный. Белый весь какой, жалко парня...» – Павел поискал глазами канцлера и деда Эдю, подозвал обоих.

– Милейшие, принц ваш родственник, если не ошибаюсь? – Дед от внука и не думал отказываться, а дядя Георгий чуял, что гнев царя иссяк на Иване и на Репине, тоже кивком признал племянника. – Давайте, пошлем его... на отдых, на лечение? В деревню, на свежий воздух?..

– Безусловно, государь. Это пойдет ему на пользу. Рыбалка, хороводы. Очень уместно. – Канцлер поддакнул, а дед кивнул.

– Так вот, – царь перевел взгляд на толпящихся у входа баб, жестом приказал рындам не застить, и рынды растворились в воздухе. – Почтенные Настасьи, прошу вас препроводить великого князя Романа к нашему августейшему дяде, великому князю Никите! Пусть отдохнет князь у вас в деревне, свежим воздухом подышит, с девками хороводы поводит, как философ Платон наказал, рыбку половит...

«Какие у него там с девками хороводы?» – только и успел мысленно откомментировать канцлер свою же глупость, вспоминая физические особенности Ромео. Но тут царь встал, давая понять, что больше он этими делами заниматься не намерен. С живыми принцами разобрался, где хоронить покойного – не его, царского, ума дело, хоть под забором с зубчиками. Тоню найти – вот и весь приказ. Дальше – дела, дела, дела... Столько всяких дел в империи – а император один, больше никак нельзя, было уж два царя при Софье, мать ее... Милославская. Кстати, куда другая Софья делась?.. Вот и приходится императору все дела делать самому, с утра до ночи новые указы секретарю диктовать. Сколько на часах? Опять куранты не подвели с вечера, ничего без присмотра оставить нельзя... Но до шести пусть еще дневной секретарь поработает, потом вызвать ночного, многоязычного, и вновь диктовать до остервенения: он заставит эту сраную империю работать мозгами, а уж заодно и ногами, и руками, тоже мне страна, сплошные золотые руки, да только растут почему-то из жопы, мать ее, родину, туда и сюда, туда и сюда, туда и сюда...

А в мире тем временем надвигались, наступали и уходили в прошлое самые различные события. Чего только не происходило!

Никакие кремлевские скандалы не могли прекратить обычного постреливания в «горячих точках» планеты. Однако сейчас стрельба разразилась в такой точке, которую обычно считали очень холодной: яростная битва разразилась аж за

восемьдесят третьим градусом северной широты. Сдерживавшийся так много лет с помощью челночной дипломатии ОЗОН, гренландско-канадский пограничный конфликт в районе пролива Робсона все же вспыхнул пламенем настоящей войны. Забытая Богом, а до недавнего времени не известная даже картографам Земля Гранта, обросшая со стороны северного берега тяжелыми шельфовыми льдами, где немногие старожилы считают, что минус тридцать по Цельсию в конце апреля – это для моря Линкольна оттепель, стала внезапно таким местом, где жарко и земле, и небу. Двадцать лет зрел здесь гнойник пограничного конфликта и наконец-то лопнул. Гренландские танковые дивизии, составленные частью из легендарных русских машин Т-72, частично из неуязвимых для ракетного оружия сальварсанских самоходок, грузно переползли почти вечный лед пролива Робсона, одолели эти две датские мили, если считать по-старому, а если по-нынешнему, то двадцать километров – и вступили на скудную почву острова Элсмир, который простодушные канадцы отчего-то не только считали своей территорией, но и вообще посмеивались над гренландскими угрозами оттягать не только древнеинуитский Элсмир, не только все так называемые острова так называемой королевы Елизаветы, но и Баффинову Землю до Гудзонова пролива включительно, – если же Канада вздумает сопротивляться, то занять ее всю до Аляски и до Ванкувера и превратить в гренландский протекторат. Канадцы посмеивались. Элсмир – подарок небольшой, та же Гренландия, только площадью в десять раз меньше, один бурый уголь, мох, белые медведи, моржи – на хрен он великой Дании? Тогда, двадцать лет назад, датчане хозяйничали в Гренландии как в родном Эльсиноре. Но едва лишь датское иго рухнуло, едва лишь стало становиться на ноги молодое и независимое государство – в ОЗОН объявился гренландский представитель – к слову, чернокожий – и заявил, что Элсмир, располагающий самыми высококачественными в мире северными сияниями – земля исконно инуитская, а значит, гренландская; что на месте канадской базы Алерт будет воздвигнут курортно-оздоровительный центр всемирного туризма – и так далее, и так далее, и все на эскимосском языке, где из фразы получается целое слово. Посмеялись канадцы в своем не то Квебеке, не то Оттаве, иди там упомни, где у них тогда столица была, и по-английски посмеялись, и по-французски, и по-украински, и на всех других языках, которые они у себя там незаконно в Канаде наплодили, – и опять забыли.

Очень зря забыли. Потому что хорошо смеется тот, оказывается, кто смеется по-инуитски. По-гренландски, на том самом языке, где все слова в одно сливаются. Никто не заметил, как легко и дружественно поплыли с юга в Гренландию сальварсанские броненосцы; как с севера поналетели в эту молодую и очень развивающуюся страну русские маршалы и понастроили себе ледяных вилл типа «избушка необыкновенная», как все громче в официальных заявлениях Годхобского – теперь уже Нуукского – правительства пресловутая база Алерт именовалась не иначе, как крепость Анигак, по имени некоего эскимосского героя, олицетворяющего Солнце, а свою собственную – бывшую американскую – базу Туле переименовали в крепость Малина, и то ли имелась в виду какая-то уютная малина, то ли, упаси Господи, гренландская героиня

Малина, олицетворяющая Луну.

В Канаде отсмеялись и вполне всерьез предложили шутки закончить, оставить границы как есть, – своих, что ли, мхов и снега мало в Гренландии, и неужели над ней полярного сияния мало? Гренландия ответила, что мало. Что пролив Робсона, отделяющий одно государство от другого, пусть и не замерзает никогда, но никакого не министра Робсона это пролив, а великого поэта Хенрика Лунда, и лед-то лед, а все ж таки вода, притом территориальная гренландская, поэтому Гренландия круглый год будет вести в нем промысел трески, устраивать заплывы, бурить дно и все прочее.

Канадцы опять посмеялись, хотя и уныло, посмеялись на французском и на английском, хотя угроза тогдашнего главы Калалит Нунат «прибить свой щит на воротах Монреаля» звучала очень зло. Канада поразмышляла и решила чуток вооружиться. Перебросила на Элсмир дивизию, хорошо обстрелянную в Африке на миротворческих операциях ОЗОН, но забыла, что с огня да в морозильник совать вообще ничего не полагается – не то что живых солдат. Оные, побегав сутки в шортах при минус пятидесяти – вместо привычных плюс сорока девяти, – потеряли не только боеспособность, но и многое другое. Солдатиков убрали, завезли кое-какую автоматическую технику, на том успокоились. А в Гренландии тем временем произошел государственный переворот, власть захватил император Витольд Первый, в Канаде решили, что новорожденная империя будет сейчас чем-нибудь раздираема – и не тут-то было. Железной рукой подавил император все попытки сепаратизма, запретил употребление английского, французского и датского языков, но разрешил пользоваться родным для каждого гренландца инуитским, а для культурности еще русским и испанским. Под покровом полярной ночи на берег пролива Хенрика Лунда вылезли отборные дивизии, а как взошло скупое полярное солнышко, так получил канадский премьер-министр ультиматум: в двадцать четыре часа освободить и Алерт, и так называемый Форт-Конге, и вообще все незаконные поселения канадцев на острове Элсмир и на расположенном к западу острове Аксель-Хейберг, а затем прибыть всем правительством в нейтральный Сальварсан, обсудить будущую границу, спорный вопрос о Баффиновой земле, ну, и подготовиться к выплате компенсаций за период незаконно-колониального владения чужой территорией. Канада к этому времени располагала десятком приличных искусственных спутников системы «Жаворонок без изюма», глянула с них на гренландскую сторону пролива Робсон, и тут ей, самому сейсмоустойчивому государству мира, стало как-то дрожко.

Пользуясь правами вечной дружбы, обратился канадский премьер-министр к президенту США лично, попросил прогноз предиктора ван Леннепа – и получил. Предиктор предлагал ничего не делать, потому что Гренландия встретится на канадской земле, после уже неизбежной имперской интервенции, с таким ужасом, что сама рада не будет. Отдавать Гренландии ни земли, ни льды предиктор не рекомендовал, потому что тогда встреча с ужасами грозила на восемьдесят третьей широте самой Канаде. Премьер-министр отер пот со лба и демонстративно на запрещенном к использованию английском языке заявил

императору, что никаких переговоров не будет. Император выслушал, попросил зятя-негра перевести, пожал плечами и нажал красную кнопку.

Сперва ушло в эфир сообщение о том, что все острова Королевы Елизаветы, ранее оккупированные Канадой, становятся законной собственностью гренландской короны и переименовываются в Большие Нарвалы, а расположенный на них Северный Магнитный Полюс переименовывается в Полюс Императора Витольда: пусть моряки и летчики во всем мире знают, что стрелки их компасов смотрят на Полюс Императора, одной из провинций в державе которого являются Большие Нарвалы Острова, со столицей в городе Большой Нарвал, в прошлом Дандас-Харбор, на острове Стерляжьем, в прошлом Девон, на берегу пролива Гарпунного, бывший Ланкастер. Потом ушло в эфир что-то уж совсем новое: радиостанция «Арнаркуагссак» возвестила о создании в изгнании правительства Республики Баффинова Земля, гражданами которой являются все восемнадцать тысяч канадских инуитов, а также те из двух тысяч нынешних жителей острова, которые проживают там оседло не менее десяти лет. Столицей Баффиновой Земли объявляется город Калалитбург, в прошлом Лейк-Харбор, на берегу пролива Аркадия Северного, в прошлом Гудзонова.

Еще гремел в эфире перечень переименованных островов и земель, проливов и полюсов, еще с трепетом ожидали слушатели, а не переименован ли Северный полюс в Южный, еще назначались сроки всенародного референдума на свежепридуманной Баффиновой Земле насчет присоединения к той или иной империи, – а танки Витольда уже форсировали пролив Хенрика Лунда, не встретив сопротивления со стороны противника, ибо две сотни канадцев, все-таки наблюдавших за грозным движением агрессора, спешно ретировались в глубину Элсмира, в горы с неприличным названием Юнайтед Стейтс, насчет которых ясно было лишь то, что с прежним названием император их стоять не оставит. Впрочем, несколько выстрелов по имперским войскам кто-то произвел, а в ответ две тысячи Витольдовых пушек дружно бабахнули; наводку им давали спутники той же системы «Жаворонок с изюмом», вовремя запущенные Гренландией с космодрома Кутузка. Солнце, едва показавшись над горизонтом, от ужаса спряталось. Охренительные красоты северного сияния, из-за которого официально затеял император войну за необитаемые острова, заполыхали над мерно ползущими дивизиями. О сопротивлении не могло быть и речи, да к тому же Квебек с его французским большинством населения стал требовать отделения от Канады, не способной защитить ни свою целостность, ни своих граждан. А тут еще всякие ершистые государства, начиная с непонятной федерации Клиппертон-и-Кергелен, официально признали Баффинову Землю. Хур Сигурдссон, затертый в Ладогое еще как минимум на месяц, тоже ее поприветствовал. В эти минуты премьер-министр Канады ощутил себя главой какой-то банановой республики, где войны и смены правительства бывают два раза в день. Не зря, видать, президент Республики Сальварсан еще утром прислал премьер-министру подарок: большую гроздь бананов с личной плантации. Министр сидел, тупо глядя на бананы, и уповал лишь на обещанное предиктором чудо.



И чудо было явлено. Под яростными сполохами северного сияния дивизии императора вышли к северному берегу Элсмира, и только-только должен был пойти в эфир указ о переименовании моря Линкольна в Моржовое, как это самое море, с древнейших времен запертое шельфовыми льдами, стало разламываться. Колоссальная трещина рассекла море, словно было оно не Моржовое, а Чермное, и предстояло по нему выйти евреям из Египта. Сперва в трещину хлынули с севера соленые воды, в которых кувыркались немногочисленные нарвалы, потом вода замерзла ровной дорожкой, и степенно, с величайшим достоинством стала подниматься по ней из глубин Ледовитого океана невероятная процессия. Во главе ее гордо шагал прославленный маэстро, дирижер Макс Аронович Шипс, именно что еврей, лично тот, который в конце прошлого лета последним ушел под льды Карского моря, направляясь в Гренландию, куда неодолимо звала коммунистическая дудочка великого князя Георгия Никитича, ныне, впрочем, произведенного Витольдом в герцоги Инкогнитанские. Полярный ветер взвыл аккордом, вступили медным звоном бьющиеся друг о друга льдины, и над пустынным берегом в исполнении природных инструментов грянул знаменитый анонимный русский марш «Тоска по родине». Сияющий, дирижирующий Шипс шел не один, четыре сотни его попутчиков преодолели весь путь по дну Ледовитого океана, они миновали и трудную котловину Нансена, и совсем невыносимую котловину Амундсена, потом встретился им хребет Ломоносова, они из чисто патриотических чувств его взяли штурмом, но из-за этого сбились с пути эдак на сорок меридиональных градусов, в результате вышли на берег не к обетованной Курузке, а возле берега острова Большой Нарвал, бывший Элсмир. Стройными рядами шагали за Шипсом: шеф-повариха ресторана «Лето», что на ВДНХ в Москве, для маскировки и теперь еще переодетая мужчиной; истопник каменец-подольской артели глухонемых нес в двух руках огромное, отпечатанное по системе Брайля Собрание сочинений Маркса; бригадирша ковровщиц из-под Ленкорани с любимым ковром-самолетом под мышкой; шагал знаменитый вор в законе Йоргос Джелалабадский, шел, точней, полз недорасстрелянный рецидивист Севастьян Шилово-Хлыстовский, – шел, точней, плыл по воздуху одной лишь несокрушимой силой своей воли член КПСС с 1885 года Еремей Металлов, шли бильярдисты и прахи, майоры и раввины, буфетчицы и медвежатники, бывшие «исполнители» приговоров НКВД и те, кому приговор был заменен четвертью века Колымы, воспитательницы детских садов и карлики, члены-корреспонденты и олигофрены, сказители народных былин о Сталине и официальные клептоманы, один член Союза писателей, – они шли, шли, шли, они наконец-то вышли со дна морского на вольный, хотя очень холодный воздух. Когда вся процессия поднялась на берег, трещина во льдах захлопнулась, а «Тоска по родине» грянула с особой силой и щемящей остротой. Уже не в силах сменить избранное направление, они шли по семьдесят восьмому меридиану западной долготы на юг, туда, где лежали Баффинова Земля, Лабрадор, река Святого Лаврентия и, наконец, обетованный штат Мэн, где готовились к встрече с единоверцами гарвардские марксисты и сочинял о них страшный роман самый богатый в мире писатель Дэвид Конунг.

«С ними – дядька их морской, а с нами – крестная сила!..» – в ужасе пробормотал император Витольд, созерцавший на экранах выход демонстрантов Шипса на берег Элсмира. Страны и земли, по которым шагает такая жуть, не нужны были экс-министру задаром, ему и гренландских ужасов хватало. Немедленно прекратила свое радиовещание станция «Арнаркуагссак», а с ней исчезла и вся самозванная Баффинова клика. Танки, соблюдая строгий порядок, дали задний ход и быстро вернулись на гренландский берег пролива, уж опять министра Робсона. Все компасы мира немедленно указали на Северный Магнитный полюс. Пролив Аркадия Северного... Нет, с любимым певцом так просто расплеваться император не мог. В эфир ушел приказ о переименовании Датского пролива, отделяющего Гренландию от Исландии, опять-таки в Аркадьев-Северный. Дивизии Т-72 и прочие чудища двинулись на юг, в обход ледника, на восток империи, ибо оккупация исконных инуитских земель жалкой кучкой бежавших из Дании милитаристов более не могла быть терпима.

Этим, понятно, события конца апреля в мире не исчерпывались. Конфликт Канады и Гренландии развертывался, в конце-то концов, где-то там во льдах; вышедшую со дна морского процессию Истинных Коммунистов-Большевиков отследили пока что лишь со спутников, настоящий скандал из-за них шел только в недрах горы Элберт, что в Скалистых горах, штат Колорадо. В Российской Империи пропала все-таки не императрица, а лишь любимая женщина царя, но мало ли у царей любимых женщин. Хур Сигурдссон со своей секвойей наконец-то вымерз из ладожских льдов, в реку Свирь между тем ствол не протискивался, упирался в дно плохо срубленными сучьями, а лишь этим путем мог Хур Дикий попасть в Онежское озеро и плыть далее вплоть до Волги, до вожделенного причала в Химках, где мореплаватель предполагал повидаться с русским императором; время паводка Хур упустил и в Неву вернуться, не теряя лица, конечно, тоже не мог. Дириозавр куда-то делся, и потому средства массовой информации в поисках очередной сенсации набрали на фантастический аукцион в Париже. Там, в салоне на Монпарнасе, генерал Марсель-Бертран Унион развернул широкую экспозицию работ великой сальварсанской художницы Мамы Дельмиры.

Прежде, так сказать, «в миру», она носила имя Дельмира Ферреа, десять лет дожидалась вдохновения в президентской меркадерии, за скромным занятием доильщицы коз, ее даже некоторое время звали «козодоихой», не верили, видимо, что вдохновение придет именно к ней, – вдруг, на исходе девятого десятка своих никем не считанных лет, стала Дельмира Ферреа Мамой Дельмирой. Однажды, окончив дойку, старуха вошла к себе в келью, где на случай вдохновения ее, понятно, ждали подрамники, грунтованные холсты, картоны, сангина, цветные карандаши и многое другое – и впала в транс. Пребывая в нем, выбрала старуха из арсенала художественных средств уголь и тремя десятками точных линий изобразила на белоснежном картоне курицу. Курица получилась отчасти бойцовая, отчасти кохинхин, однако со столь грозным взором, столь яростно шагающая на зрителя, с поднятой левой лапой, что старуха глянула своему творению в глаза и упала в обморок. На звук падения прибежали другие обитательницы меркадерии, прямо с порога поняли,

что чудо свершилось. Хоть на одну-то из обитательниц фермы вдохновение снизошло. Через несколько минут в Сан-Сальварсане ударил большой колокол на колокольне Святого Иакова Шапиро, следом и все другие колокола страны возвестили миру великую новость о сошествии Вдохновения на гениальную Дельмиру Ферреа, теперь уже известную как Мама Дельмира. Первая же из нарисованных старухой куриц была тут же доставлена президенту Хорхе Романьосу, который высоко ее оценил и распорядился поместить на почетном месте в Национальной Галерее; тем временем Мама Дельмира пришла в себя, вновь ринулась к подрамнику, вновь изобразила курицу, сходную с первою только яростью взора, а во всем сказочно иную. Старухи из соседних келий едва успевали менять картон на подрамнике. Мама Дельмира выдавала четыре-пять куриц в час, однако приставленный к ней президентский врач разрешил работать четыре часа с утра, так что лишь пятнадцать-двадцать куриц Мамы Дельмиры вылуплял в день уголь великой художницы.

Ежедневно вся вчерашняя продукция, после фиксации особо прочным лаком, уже в дорогих паспарту или рамках, поступала в Паласьо де Льюведере, где лично президент производил сортировку: меньшая, лучшая часть работ предназначалась для Национальной Галереи, остальное – для продажи в Европе с назначаемых на определенные дни ежемесячных аукционов. Цены заранее назначались очень высокие, двух одинаковых куриц нарисовать Мама Дельмира себе не позволяла, говорила, что «я вам не Пикассо»; ее курицы всегда смотрели на зрителя горящим взором, впрямую, так что взор их продолжал следить за зрителем, даже если тот пытался увернуться, а угрожающе занесенная лапа – чаще левая, иногда правая – указывала ему в морду и грозно вопрошала. Откуда-то, после первых публикаций в «Пари Матч» и «Шпигеле», появился постоянный лозунг, размещенный под любой курицей: «А чем ТЫ борешься с коммунизмом?» Мелькнула, впрочем, и надпись «А чем ТЫ борешься с антикоммунизмом?», но она не прижилась, исчезла, будто склевал ее кто. Курица Мамы Дельмиры так и утвердилась как величайшая борчиха с заразой коммунизма. Никого не смущало, что полдюжины лучших кур Романьос немедленно отправил в подарок Его Императорского Величества Эрмитажу в Санкт-Петербурге, – император Павел Второй был как-никак кандидатом в члены КПРИ – все понимали, что коммунизм коммунизму рознь, и что тот коммунизм, когда есть царь, никакой курице не враг.

Генерал Унион, расставив на Монпарнасе работы Мамы Дельмиры, сел собирать заявки на аукцион и с удовольствием констатировал, что количество будущих покупателей явно больше числа предлагаемых работ, и это при стартовой-то цене, позволявшей купить не одну курицу Мамы Дельмиры, а – при удаче – трех-четырех Дон-Кихотов Сальвадора Дали на соседнем аукционе. Большой силы оказалась президентская затея с меркадерией, золотое оказалось яичко, славные из него курочки вылупились. Деньги Сальварсану были сейчас нужны: Эль Боло дель Фуэго на этот раз выгорел особенно полностью. Аукцион назначили на начало мая. Кто ж не любит курицу в начале мая!..

Но в эти дни, увы, затрещала по швам и громко хряснула судьба всемирно известного прозаика Освальда Вроблевского. После несусветного успеха

сериала из двадцати романов «Старшие Романовы» писатель временно отложил компьютерное перо, пересчитал скопившиеся миллионы, обнаружил, что их у него тысячи и тысячи, заплатил налоги – и решил отдохнуть от всей этой царской рати, заняться большой политикой. Поначалу он успешно основал в Филадельфии Партию Белого Гетеросексуального Меньшинства и на учредительном конгрессе заявил, что метит через два года не иначе как в президенты США. Нынешний президент по этому поводу не питал никаких иллюзий, он читал бюллетени ван Леннепа и на переизбрание был обречен, хотя и нехотя со стороны народа – он лениво заявил в субботнем обращении к американскому народу, что высоко ценит мистера Вроблевского как «мастера фикшн». Наутро в офисе Вроблевского устроили погром ярко раскрашенные боевики организации индейских феминисток «Дочери Монтесумы», некоторые лидеры гетеросексуалов были изнасилованы, но к вечеру рейтинг литератора-политика от этой истории вырос. Правда, на последнем этаже его офиса ночью засел эскимос с Аляски, требуя присоединения США к Гренландской Империи, и грозил взорвать здание.

Вроблевский не придавал угрозе значения и уехал на уикэнд, а вернувшись в понедельник увидел, что подлый инуит привел-таки угрозу в исполнение, здание взорвал, и теперь гордо сидел в центре оплавленной воронки рядом с гарпунной пушкой, из каковой и обстрелял Белого Гетеросексуала. Гарпун кандидата в президенты не задел, но протаранил гитару, занесенную над головой Вроблевского: именно писателя собирался пришить боевик-камикадзе из организации «Черные гитары». Полиция нехотя вывезла и эскимоса, и гитариста, и еще десяток представителей меньшинств, покушавшихся на лидера что-то уж слишком большого меньшинства, даже одинокого и завшивленного президента Конгресса Неприсоединившихся Меньшинств. В тот же день, видимо, не глянув в святцы, Вроблевского объявила подзащитным организация под названием «Лига Охраны Лауреатов Нобелевской Премии», а с ней шутить никто не хотел, она еще недавно требовала, чтобы Нобелевку мира дали дириозавру, и в этом году ее присудили бы, да вот сам-то ящер запропал. Вроблевский такой защиты испугался – и стал искать выход.

Гетеросексуал улетел на собственном самолете сперва на Ямайку, потом уплыл, перекрасив кожу в лилово-черный цвет, на остров Большой Кайман, последовательно сменил квартиры на Арубе, Бонайре и Тобаго, потом скрылся в горах Гаити, где как раз свергли очередного законно избранного президента, – и местным вудуистам – казалось бы – не должно было показаться интересным загоревшее и дополнительно подкрашенное лицо старого поляка-креола. Однако уже на второй день в окно его маленького домика влетела граната без начинки, вместо начинки в ней лежала записка: «Янки, прочь с Гаити!» Но не успел писатель-кандидат поразмыслить, что теперь делать, как в окно влетела еще одна граната, с настоящей начинкой, и взорвалась, только чудом не причинив никому вреда. Писатель вздохнул, поскреб в затылке и сделал то единственное, что ему теперь оставалось: он перешагнул край бумажного листа и вступил на соседний, навсегда покинув третью часть романа «Павел Второй» и оказавшись в моей же дилогии «Кавель», где, как ничего об этом не прочтет

читатель, он с успехом основал своеобразное издательство «Конец света» и снова заработал миллионы, ибо ни к чему другому по изначальному замыслу приспособлен не был.

Примерно в эти же дни, в чудесное майское утро, когда взошедшее солнце возвратило волнам Центрального Средиземноморья их исконную лазурь, почти прямо на востоке, иначе говоря, непосредственно под светилом, из-за горизонта выглянул, а затем и гордо встал на открытый рейд порта Валетта, столицы независимой Мальты, несомременный, но удивительно красивый корабль. Это был парусный трехмачтовый фрегат «Павел Первый»; на флагштоке его грот-мачты развевался штандарт российского правящего дома. На кормовом флагштоке, отчасти нарушая традиции, развевался флаг русского военного флота, учрежденный еще царем-батюшкой Петром Первым, – диагональный синий крест на белом поле. Многоступенчатая белая Валетта не каждый день лицезрела стройные фрегаты под парусами, – горожане высыпали на набережные. После недолгой заминки фрегат дал салютующий залп, и на флагшток фок-мачты взлетел еще один флаг, на этот раз никому не известный, черный с косой белой полосой. Комендант порта набрал номер телефона и вытряхнул из постели декана филологического факультета в местном университете: тот если и неважно знал русский, то располагал нужными справочниками. Через несколько минут сеньор Оливер, сонно ругаясь, сообщил, что так обозначается в советской флаговой азбуке буква «Ы», нечто непередаваемое латиницей, но довольно похожее на гортанно произнесенный игрек. Уже вновь засыпая у телефона, декан добавил, что в последнем геральдическом справочнике Москва извещает, что этот флаг присвоен в качестве личного и должностного члену русской императорской семьи, великому князю Иоанну Павловичу.

Неприятное, косое, черно-белое «Ы» смотрело на Валетту, выдержавшую и осаду турецкой эскадрой в XVI веке, и тысячи бомбардировок во Второй мировой, и еще много чего. Валетта сдавалась редко, вот Наполеону разве что, но никто никакого «Ы» ей показывать никогда не смел. Затем над фрегатом один за другим взвились сигнальные флаги, в которых комендант не мог понять ничего. Он опять разбудил декана и стал диктовать по телефону: синий с косым белым крестом, желтый, красный с белым квадратом и вырезом, шахматный желто-черный, треугольный бело-синий, сине-красный, белый с прямым красным крестом, синий с желтым ромбом, треугольный желто-красный... Декан выписывал буквы – и довольно быстро просыпался, – давненько в воспетом еще Байроном смешном и прекрасном городе ничего подобного не видали. Справляясь по убогому русско-английскому словарю – другого сеньор Оливер в спешке не отыскал, – он переписывал довольно длинную фразу, брошенную с востока в лицо независимой Мальты. Фраза, предъявленная «Павлом Первым» от имени государя Павла Второго, гласила: «СДАТЬ КЛЮЧИ ГОРОДА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ» – а дальше опять проклятое «Ы», из чего следовало, что генерал-губернатором вольнолюбивой Мальты не то считает себя, не то кем-то назначен великий князь Иоанн Павлович Романов. Декан, окончательно придя в себя после вчерашних неумеренностей, скорчился

от хохота и попросил коменданта не класть трубку. Не обученный восточно-европейским наречиям, грубоватый комендант ответил по-английски, ведать не ведая, что за одно это будет скоро оштрафован: «КАТЕРОМ ВЫСЫЛАЕМ ПСИХИАТРА». Фрегат свою гирлянду флагов и не думал спускать, однако даже в простой бинокль коменданту было видно, как начинает бурлить вода в кабельтове от фрегата, как недвусмысленно высовывается из средиземноморской лазури рубка атомной подводной лодки и как она дисгармонирует своей серостью с белизной парусов фрегата, который как раз высверкнул новую гирлянду из флажков. «ЕСТЬ ВОПРОСЫ?» Желтый-синий-желтый флажок вопросительного знака издевательски смотрел на теряющего сознание коменданта.

Звонок от президента пришел раньше, чем комендант осмелился подумать вообще – что дальше делать. Выбора не было: отныне острова Мальта, Аудеш, Комино и ряд мелких, необитаемых, объявлялись Мальтийским уездом Одесской губернии Российской Империи, президент становился вице-губернатором, а всемирно известная свиноферма на крохотном острове Комино – Личной Его Императорского Высочества Великого Князя Иоанна Павловича Летней Дачей, английский язык упразднен, русский объявлен основным региональным уездным, а мальтийский – вице-основным; аэродром Святого Луки переименовывается в аэродром «Лука Радищев», стеклодувная фабрика, отливавшая синих стеклянных морских коньков для пепельниц и статуэток, национализируется в личную собственность императора, грот Калипсо на Аудеше, где Одиссей прожил семь лет, теперь охраняется законами Российской Империи и числится филиалом Эрмитажа, и т. д., и т. д. Декан стучал зубами о стакан – причем пил он из него явно не воду, – а комендант принимал меры к тому, чтобы наиболее точно и вежливо исполнить ультиматум русского царя. «Какой флаг по-русски означает «Исполнено»? – запросил комендант. Декан поискал в таблице, телефон замолчал надолго. «Сколько мне еще ждать, тараканище?» – рявкнул в трубку комендант, намекая на усы декана, одновременно радуясь, что родной мальтийский все-таки не отменен, поэтому злобное «уирдиен», то бишь опять-таки таракан, прозвучало в его устах особенно аппетитно. Но когда декан ответил – комендант чуть не потерял сознания. Над портом предстояло поднять полотнище слева белого, справа красного флага – не что иное, как национальный флаг независимой Мальты: именно он по-русски означал «ИСПОЛНЕНО» – и всего-то.

А тем временем на борту фрегата горько плакали в разных каютах великий князь и великая княгиня. Царь приказал Фотию немедленно их обвенчать – с такой спешкой, что митрополит Опоньский и Китежский Питовранов вынужден был отложить даже дело о канонизации Петра Екатеринбургского – и уматывать молодым по месту прописки, то есть прохождения государевой службы, в подмосковную же, в древнюю княжью усадьбу Ледовитое, которую невеста принесла за собой в приданое, отнюдь бы до конца века не навеваться. Вместо этого царь подарил им новое дачное место, островок Комино, точку на карте между Мальтой и Аудешем. Как-то там будет? Что там? Уютно ли? Иван подозревал, что отец опять подсунил ему какое-то свинство. Он был недалек от

истины.

В Нью-Йорке тем временем привычно задышался в круговороте мировых потрясений ОЗОН – Организации Зачем-то Освободившихся Наций. «Неизвестные зачем» тихонько убрали в дальний чулан мальтийский флаг, поднимали на флагшток гордое знамя Федерации Клиппертон-и-Кергелен, вели консультации с исландцами, которым вот-вот грозила потеря независимости (им очень завидовали), – рассматривали вопрос о нападении Канады и Гренландии на безоружных северных беженцев, триумфально топавших как раз по Баффиновой Земле, – какое счастье, хоть она-то не стала независимой! – основные же страсти буревали в подкомиссиях, особенно экологических, после того как стало известно, что гренландская дрессированная стерлядь намеренно травит угодня выпаса национальных канадских китов-нарвалов, да и намерение Демократической Аделии переименовать себя в Соединенные Штаты Антарктиды вызывало во всем мире бурю протеста, как и попытка этого государства национализировать несколько важных созвездий на небесах Южного полушария...

Зато Кремль, пройдя период потрясений, жил теперь размеренной, повседневной, отчасти даже спокойной жизнью.

Лучше всех в нем нынче чувствовал себя, надо полагать, колченогий Толик, одновременно завкадрами и управделами Кремля Анатолий Маркович Ивнинг. Его душа пела, и совсем не про «одинокую мужчину», как прежде, а про то, как виртуозно подсел он свою прежнюю подругу, Миладу, ожидавшую судьбы под следствием где-то на Балчуге. Видать, увядала хризантема, увядала, да и увяла вовсе к едрене фене, провоняла, как старец у Достоевского в известном трехсерийном кинофильме времен советской власти. На прежнем секретарском месте в приемной царя сидели посменно многоязычные старички из бывшего шелковниковского ведомства, все они имели одну и ту же биографию – прошли нацистские лагеря, пострадали при Сталине, получали пенсии как инвалиды, знали четырнадцать языков, – хотя старичков было много, но биография – одна: сочинять разные – нет ни времени, ни фантазии, еще налепишь неправильного, царь голову снимет, – ну, а принтер всегда под рукой.

В кабинете бывшего Милады Ивнинг мало что изменил, электронику не очень-то выбросишь, даже переставлять трудно, – впрочем, место для аквариума нашлось, выкинул два лишних телефакса, и вышло под окном на Чудов Монастырь в самый раз. Телефакс вообще штука устарелая, пора переходить на электронную почту. Суеверный Милада все делал с кратностью «три», слева за плечом рабочего кресла у него стояла специальная плевательница. Ивнинг ее давно выбросил, но вообще-то вместе с огромностью Миладиного звания свалились на колченогие плечи бывшего царя секретаря и новые обязанности. Из последнего телефакса на столе ползла длинная бумажная гармошка, а на ней противным шрифтом появлялись все новые и новые выдержки из зарубежных газет, из статей, из радиопередач, так или иначе связанных с Домом Старших Романовых, с их родственниками и вообще со всем, что могло представлять интерес для Кремля. Ивнинг выстригал наиболее ценные, складывал в папку, а

прочее бросал в корзину. На мечты, увы, не оставалось времени. Кремль – не место для мечтателей.

«...объявил, что является только очередной инкарнацией царевича Димитрия Иоанновича, а не его прямым потомком, как сообщалось раньше, поэтому претендовать на престол не собирается. Однако господин Пушечников хотел бы...»

«Ла Стампа», – прочел Ивнинг. В корзину. Пушечников царю давно надоел, царь сказал, что сам знает, у кого просить совета. Дальше.

«...Превращение обширных угодий поместья Ледовитое (бывш. острова Демьяна Бедного) в заповедник всеимперского значения, где чистопородные белые медведи смогут чувствовать себя...»

«Ди Цайт». Тоже в корзину, заповедник император сам же и учредил, и все про медведей знает, что ему нужно. Дальше.

«...Факт временного упразднения в России патриаршего престола, разрешение проводить католические службы в помещениях всех российских музеев религии и атеизма, за исключением расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, наконец, также введение налога на экспортируемые из России топоры в размере двухсот процентов...»

Так. Это «Оссерваторе Романо», это Ватикан – сразу в папку. Император велел пристально соблюдать интересы католиков, очень уж их много на территориях, которые сейчас временно отделены от России. Дальше.

«...Возведение новой, мемориальной Берлинской стены на месте старой должно будет обойтись Германии...»

Хотя и «Зюддойче Цайтунг», но тоже в корзину. Никому эти сентиментальные траты Германии не интересны, а русскому царю в особенности.

«...скандал, видимо, исчерпан. Помещение бывшего советского посольства, официально открытого в Валетте всего за неделю до коронации Павла Второго, передано сиротскому приюту. Императорский же, губернаторский и губернский флаги подняты над новой резиденцией великого князя, старинной крепостью Мдина в центральной части Мальты, реконструировать которую поручено величайшему архитектору нашего времени, строителю города Боливия...»

Это «Де телеграаф», это важно, пусть пройдет полностью.

«...но супруга генерал-губернатора отказалась от переоборудования древней крепости Читтаделла, и на острове Аудеш резиденцией для приема местных дворян станет известный грот Калипсо...»

Не станет – уже объявлен филиалом Эрмитажа. Ивнинг оторвал страницу, положил в папку. Дальше.

«...не будет столь поверхностен. Сопоставив положение Юпитера в Рыбах, Венеры вблизи границы VI дома, Нептуна в зените и знаке Весов, он придет к тому выводу, что именно данный человек является инспиратором всего происходящего, поскольку – хотя мотивы его действий вполне альтруистичны – он всегда готов помочь тому, кто в нем нуждается. А кто же, как не Дом Старших Романовых, заинтересован в его помощи более всех других?»

Это «Нью-Дао» – как всегда содрали, небось, у ван Леннепа. А вот и он сам: «...Действие теперь уже неизбежно должно закончиться не на Северном



полюсе, а в координатах 55° 45' с.ш. и 37° 37' в. д.»

Да, его бюллетень. И то, и другое – государю. Что там еще?

«...Граф Литта подчеркнул, что его прямой предок передал правоприменение главы ордена напрямую предку императора Павла Второго, Павлу Первому. Жители Мальты не утратили право на язык колонизаторов, зато получили монопольное право на отлов и доставку к государеву столу средиземноморских дорад – по-мальтийски они называются «лампуки», – а притязания Туниса на воображаемую квоту...»

Это «Таймс» – на всякий случай тоже в папку, про разжалованного в губернаторы Ваньку сейчас много пишут, ну и хорошо, всегда есть оговорка, что права наследования российского престола он лишен. Еще там есть что?..

«...Каким образом для одного уезда назначен генерал-губернатор? Широкие круги одесской общественности...»

К чертовой матери. Это «Дюк», брайтонский листок, все про то же да про то же. Не зря государь из своего титула «барон Брайтонский» вычеркнул и сказал, что это титул чужой. Ивнинг с сомнением, но и с надеждой подумал: не ему ли самому в итоге этот титул перепадет? Он выключил телефакс, потом снял трубку с телефона, ведущего в главный кабинет. Ответил сам царь. Это бывало только тогда, когда секретарь кого-то выпроваживал, и у самодержца оставалась свободная минутка.

– Ваше величество, – скромно сказал Анатолий Маркович, – есть сводка европейских газет на сегодня. Я пошлю?

Павел кашлянул в трубку, потом произнес предельно лениво:

– Николай Васильевич только что ушел, аквариум почистил. Такие хорошие коньки, такие спокойные. Европа... Вот что, милейший, отложите на утро. Когда русский царь смотрит в аквариум, Европа может подождать.

Гудки отбоя Анатолий Маркович слушал долго и чувствовал, как растет в нем с каждым гудком благоговение перед этим великим человеком.

## Павел II Пригоршня власти Часть 12

*Евгений Витковский*

XII

Брат, ты задаешь вопросы, которые можно задавать только масону тринадцатой степени посвящения, с геморроем и в сандалиях.

Роберт Шекли. И это называется рагу.

Несмотря на жаркий день, оба визитера, которых Эдуард Феликсович заметил из окна входящими к нему в подъезд, были одеты в темные и длинные плащи, и на головах у них было что-то не летнее. По меньшей мере одну из двух фигур он опознал, хотя не видел этого человека много лет и рад бы еще не видеть втрое дольше. Спутник опознанного был толст и напуган – он семенил такими противными шажками, что в мыслях старый лагерный лепила Корягин немедленно перешел на феню: «Шакальё».

Ведя в поводу неизвестно кого, по лестнице к светлейшему князю Корягину поднимался лично Владимир Герцевич Горобец. Дед опустил в карман именной «ГТ-Магнум» и со вздохом пошел открывать.

Гости двигались по лестнице очень долго, понятное дело, верховный масон России никогда не доверился бы такому злокозненному ящичку, как лифт. Дед осмотрел прихожую, точнее, самцов-попугаев. Рыбуня, Михася и Пушиша, как и положено, сидели на железной трубе в одинаково грустных позах, им было отчего грустить: все их дамы были очарованы новым гиацинтовым, Володей, восседавшим сейчас на левом плече Корягина. Спасала мужчин лишь моногамность породы... но сердцу не прикажешь. особенно собачьему. Дед погрозил Рыбуне пальцем, дед совсем не хотел пушкинских ужасов у себя в прихожей, а намерение клюнуть в темя хоть какого-нибудь вшивого гостя старший гиацинтовый выражал всеми девяносто восемью сантиметрами своей длины. Дочери деда отсутствовали, старшая забрала младшую на божественный Тайвань к косметологам; зятя расползлись по присутствиям; старший внук отселился по государевому указу в Зарядье-Благодатское, за противотанковые ежи, младшие болтались где-то на кремлевских угожьях. Впрочем, завтра все равно была суббота, предстояло, как обычно, ехать на птичий рынок. Чай, сидят дуры на кладках, каждая в два яйца. Правда, богатых людей нынче прибавилось. А вот чтобы хороших – так нет...

Наконец, прозвучал длинный звонок в дверь, все попугаи склонили головы влево, дед открыл. На пороге стоял Горобец, облаченный во что-то довоенное, покромом и запахом напоминающее классический лапсердак; толстый спутник масона прятал физиономию за бинтом во всю щеку и темными очками; в прежние годы первый же милиционер увел бы его в отделение для проверки, но милиционеров не стало, а синемундирная полиция такими пустяками не интересуется.

– В мире дьяволу принадлежит все... – сквозь одышку произнес Горобец. Дед ответил в соответствии с ритуалом:

– А в масонстве как-никак только половина. Проходи, Владимир Герцевич, в доме никого.

– В нашем доме! В нашем доме! В нашем доме!!! – весьма угрожающе крикнул с дедова плеча Володя. Говорил он уже довольно хорошо, почти отучил себя от привычки лаять: превращение из эс-бе в гиацинтового ару он воспринимал как повышение, и уж лучше ни на кого не гавкать. Да тут еще мода на эту противную группу, «Лайковый лай», Тимон ее, когда дома, слушает через динамики. К Тимону Володя питал определенную приязнь, все-таки приятно, что хоть один из сыновей полковника шел в карьере по линии отца, однако в музыке смыслил мало. Вот поискал бы среди эс-бе внука Витьку, послушал бы, как тот верхнее «до» берет в каждом куплете, когда воет про то, как на тройке служил ямщиком, не говоря уже о партии Жермона! Но учить музыке пес-попугай парня не собирался, у Аракеянов в гербе три звездочки-микрофона и какая-то колючая проволока – вот пусть по ним и специализируется.

Гости между тем прошли в дедову комнату. Горобец опустил в хозяйское кресло, непонимающим жестом погладил железку, об которую Володя давно

прилачился точить клюв. Из женщин поблизости сидела на яйцах одна Кунигунда, две других блаженствовали в комнате съехавшего Ромео. Но именно Кунигунда сейчас свой срок досиживала, Володя с трудом сдержался, чтобы не рыкнуть, он-то отлично знал, на чьих яйцах попугаиха сидит, он готов был взлететь на защиту, как в прежней жизни оскаливал клыки, если опасность грозила щенкам. Горобец внушал бывшему эс-бе известную брезгливость своей демонстративной неопрятностью, но веяло от масона и чем-то иным, какой-то беззащитной древностью, – так, наверное, пахнет пирамида Хеопса, огромная, допотопная: обшивку всю ободрали, мумии украли, осталась одна древняя величественность, почти без формы и вовсе без содержания.

– Что мы наделали, брат Лат? – с места в карьер обратился Горобец к деду, используя его давнее звание, так к Корягину с конца тридцатых годов никто не обращался. – Мы же все делали правильно! Ты – тесть канцлера, ты дед принца, ты сам светлейший князь, так, может быть, хотя бы объяснишь, почему все не так, как надо? Мы планировали возвести на престол советского царя, а что имеем? Русского императора, у которого титул на шести страницах, на седьмой продолжение, а в нем – территориальные претензии на полмира! Мы же все делали в полном согласии с предсказаниями, мы не стали принимать его в вольные каменщики, ну а теперь уже поздно, он никого не слушает! Может, он тебя послушает? А? Ты что, все злишься, что сидел вместо меня? Так ведь не так плохо ты и сидел, медик же, с дипломом...

– На зоне, знаешь, куда диплом засунуть лучше всего? – прервал дед Горобца, двигаясь в своем кресле влево, чтобы Володе не тесно сидеть было.

– Знаю. Но у тебя же не один диплом, ты ведь и вправду жил в лагере лучше других! Я сам тебе сало передавал, белорусское, в четыре пальца...

– Мне за мою работу и в шесть пальцев носили. Но я-то сидел в лагере, а ты что делал?

– Я... Мне нельзя было садиться! Ты прекрасно знаешь, сколько времени готовился Великий План! Из лагеря им руководить было невозможно! Кстати, а будь ты на свободе – как бы не угодить тебе в «убийцы в белых халатах»!

– Не угодил бы, мой диплом в СССР недействителен, я в лагере фельдшерские курсы кончал, иначе никто не поверил бы. Словом, я-то сидел, Владимир Герцевич, а ты работал освобожденным парторгом и воплощал свой Великий План, к которому я, заметь, не имею никакого отношения.

– Брат Лат, ты наглец. Ты дед принца, ты тесть канцлера – и это тебя не касается План? За каким чертом мы вообще придумывали все это липовое «жидомасонство»?

– Это тебе лучше знать, я терминов не изобретал, я попугаев растил. И внуков. И на Птичьем рынке стоял. И теперь на нем стою, и не могу иначе.

– Стой где хочешь! Ну... Кто-то же должен взять императора в руки!

– Пусть Георгий берет, он и канцлер, и Червонец.

Горобец горестно помотал головой.

– Он посадил императора на престол совсем не по нашему приказу, эту грязную мысль внушил ему злейший враг масонства Абрикосов! – при этом имени Горобец сплюнул, растер плевков и продолжил: – Кроме того, царя посадил на

престол не он один, тут старался еще и американский шпион из ведомства проклятой оптимизации, и собственный императорский двоюродный дядя, у которого милитаристских денег куры не клюют! Это что ж получается: русский царь – ставленник американского империализма? Ты отвечай мне, ты за попугаев не прячься, я их не боюсь!

– Очень зря не боишься. Тоже мне, «куры не клюют...» Ты что в курах понимаешь? Ты даже в петухах ничего не понимаешь, потому, что если б тебя хоть один жареный клюнул, ты бы на всю жизнь понял, что к птице уважение иметь надо: она в России, между прочим, двуглавая. Ты вообще о птицах подумал когда в жизни, нет? И про деньги мозги не пудри, я пети-мети на рынке считать лучше тебя научен. Я в уме франки в лиры перевожу, сдачу могу дать йенами. И можно не проверять! Все, кстати, своими руками зарабатываю. А от вас я что получил? Лагерь, Владимир Герцевич, лагерь. Впрочем, не надо забывать и предварительный год в Бутырках, и пересылки. Тебе счет представить?

Горобец вцепился в подлокотники.

– Ну что ты все про старые обиды? Ну хочешь, я теперь сам вместо тебя отсижу? Ну... восемь лет? А? Десять... Ну ладно, ладно, не буду... Зачем тогда было все «жидомасонство»? – Горобец обращался уже не к деду, а к замотанному спутнику, но, возможно, и вовсе ни к кому, просто его многолетнее молчание прорвалось и обратилось в свою противоположность, в недержание речи, в логорею, – по-медицински подумал Корягин. – Мы хотели, чтобы всех жидов считали масонами, пусть жидов подозревают в намерении захватить власть над миром. Сколько лет работало! А Великий Восток жидов на выстрел не подпускал, между прочим. Настоящих масонов никто не видел и не слышал, хотя в семнадцатом году, конечно, того... Ну, к пятидесятым ту беду мы расхлебали, вот-вот подбирались к власти над миром, а... а теперь что? Австралийский генерал приказал, американский шпион исполнил, а с другой стороны русский дурак предсказал, армянский дурак исполнил – все по инструкции! А что имеем? Тоже мне, подарок из Африки... Это что ж получается, русский царь им Аляску продал, Аляска отложились, так они нам за это русского царя на престол и сажают? Старороссия, говоря, никак не иначе. И такого, который никого не слушает, а все печет указы, указы, указы, уже и письмо по-английски написать нельзя?

– А ты пиши по-испански. Ты очень хорошо пишешь по-испански, – назидательно сказал дед. Володя ухватил лапой из вазы яблоко и вгрызся в него всем клювом. Пребывая во псах, он этой радости по истертости зубов давно был лишен и теперь вот, в попугаях, при любом удобном случае наверстывал. Собачьим, но и попугаячьим чутьем Володя осознавал, что Верховный Масон где сел на деда, там и слезет: древняя мудрость, лишенная содержания, утрачивала всякий смысл в гомоне Птичьего рынка, который один только, помимо внуков, и волновал сердце деда. Впрочем, некая тревога в душе Эдуарда Феликсовича росла, это Володя чувствовал и вдруг осознал, что тревога у него с дедом одна и та же, что масон в лапсердаке своей болтовней переволнует Кунигунду, или, того хуже, маленьких под скорлупками. Володя

даже грызть яблоко перестал. Дед у него недоеденное забрал, аккуратно отрезал нетронутую часть, протянул гостю:

– Брось, Владимир Герцевич, брось, все равно... Скушай лучше яблочко...

Масон не видел яблочного жеста, от которого веяло чем-то заметно более древним, чем хитрожопое всемирное масонство, – и продолжал. Взор его все более мутнел. Горобец долго ругал Веру Чибиряк, Лидию Тимашук, Льва Толстого, заодно уж и мастера Адонирама вместе с мамочкой, какого-то австралийского генерала, какого-то русского скульптора, еще романиста на химии, уже принялся обкладывать всех птиц, начиная от двуглавого орла и заканчивая гиацинтовыми попугаями, как Володя не утерпел, вышел из роли и брюзгливо прорычал на общепонятном матерном диалекте, что лапсердачнику самым настоящим образом предлагается покинуть занимаемое помещение. Масон замолк, через мгновение немного очухался.

– Ну, тогда – решено! – возгласил он, с размаху тыча спутнику в съехавшую с глаза повязку и уж заодно сшибая темные очки. – Теперь... теперь – твоя очередь, брат... брат... брат... – Верховный Масон явно не мог подобрать «денежного» имени новопосвященному брату, но, покопавшись в древней своей памяти, вдруг словно выплюнул нечто именно древнее: – Вперед, брат Куна! Исполни призвание! Удастся – будешь советским... Тьфу, светским кардиналом! За заслуги!.. Идем!..

Дед флегматично проводил непрошенных гостей и, покуда они ковыляли до первого этажа, успел заглянуть в словарь. Куной, получается, именовался женский половой орган. Деньги тут при чем? Хотя вообще-то очень даже при чем... Хотя нет. Еще одно значение – древнерусское, одна двадцать пятая часть гривны... Что? Даже выдавший разнообразные виды в длинной своей жизни дед Эдуард не поверил глазам: точно так же именовался русский СРЕБРЕНИК... Ох, и наградил старый масон братишку... Тем временем гости выползли, наконец, из подъезда, и убралась куда-то за угол. Корягин решил, что сорок лет для встречи с этим человеком – интервал минимальный. Как у него хватает наглости птичью фамилию носить? Горобец-то означает – воробей. Тоже мне воробей всея Руси...

Ненароком Корягин бросил взгляд в трюмо, увидел отражение Володи, точнее, два отражения, глядящие в разные стороны. «Хорош», – подумал дед; как-то с самой коронации Корягин не задумывался о том, откуда такой красивый прилетел. Ежу ведь ясно, что все гиацинтовые должны сами слетаться к нему. «Не продам от него ван ден Бринку ни одного, лучше царю подарю. Не в одних деньгах радость». Володя тоже глянул на себя, его цветное зрение было не хуже человеческого, особого внимания на многочисленность отражений не обратил, зато с особым удовольствием любовался лазурью: «Недурной, однако, мундирчик справил. Остаюсь в птицах».

Дед с облегчением проследил, как исчезла со двора побывавшая у него в гостях двоица. И тут же заметил другую пару, лично ему незнакомую, но такую необыкновенную, что даже очки захотелось надеть. Надел, хотя с большим трудом – об них попугаи тоже иной раз клювы точили. Дед увидел явных иностранцев, одетых по-летнему, смуглых, но очень разных. Один – стареющий, седоватый, лысоватый, полноватый, балканского, что ли, типа, с трудом

переставляющий ноги, но вряд ли от подагры, скорей так ходят при застарелом геморрое. «Дурак», – подумал дед, он с юности знал, что геморрой вообще не болезнь, он умел вылечивать любую форму – если просили. Насильно он лечил только младшего зятя, уж больно псих, геморрой от радикулита не отличит. К Аракеляну дед теперь подобрел, даже ответственным квартиросъемщиком у него числился теперь светлейший князь Корягин-Таврический.

Вторым персонажем был во дворе человек уж и вовсе неведомой расы. Он перемещался рывками, как бы все время начиная прыжок и возвращаясь назад, отчего возникало впечатление и огромной скорости, и медленного парения. Человек был молод, высок, тонок в кости, он напоминал огромную кошку, и Корягин даже подумал с опаской, уж не по птицу ли такой сюда прибежал.

Двое сделали круг по двору, словно его обнюхали, притом нюхал отнюдь не котообразный, а геморройный, и остановились как раз у дедова подъезда.

«Только мне их не хватало». Дед решил не отворять дверь ни на какие звонки.

Звонка, однако, не последовало. Парочка как вошла в подъезд, так почти сразу из него и вышла и пропала за тем же углом, что и первая. Что можно было бы сделать в подъезде за такое короткое время? Даже пописать нельзя, это Корягин знал как медик. Подбросить что-нибудь? Бомбу? На хрена? Дед почувствовал, что Володя вцепился ему в плечо и подталкивает его к дверям. Перед мысленным взором светлейшего князя возник неодолимый образ почтового ящика – что за чудо? Направленной телепатией Володя пользовался очень редко, последний раз чуть ли не тогда, когда все начальство оказалось в нетях и пришлось мотаться на бывший Калининский к Антонине. Дед ощутил, что ему очень хочется глянуть в почтовый ящик. Взял ключ и пошел, прямо с Володей на плече.

В почтовом лежала подброшенная, видимо, той самой парочкой брошюрка в полиэтилене. На простой глянцевой обложке без обозначения автора стояло крупными буквами: «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО ОБОРОТНЯ». Дед усмехнулся. В прошлый раз предлагали купить его квартиру да еще заплатить империялами. Но, поди, забавная книжка. Надо оставить.

Он не знал, каких усилий стоит Володе не порвать сейчас дедово плечо до кости: Володя понял, что кто-то из СВОИХ принес эту книгу специально для него! Теперь он сможет точно знать, что можно жрать, чего нельзя, а как такое не сожрать, чтоб тебя потом самого в деликатесную пищу отнюдь-не-оборотни не зачислили, – с последующим неприятным результатом. Володя предвкушал вечер, когда старик забудет брошюрку в кухне и отправится спать, а он, Володя, проберется, возьмет в когти – и не выпустит из лап, пока не вызубрит наизусть. Володя не считал себя практикующим оборотнем. Он хотел обратного: остаться попугаем на все отпущенные попугайные годы и лишь под старость подумать, чем, то есть кем, обернуться можно, чтоб еще пожить? Вороном? Крокодилом? Галапагосской черепахой? Гренландской акулой, зачем-то живущей пятьсот лет? А, нечего думать раньше времени, а времени того, если судить по разговорам Корягина, было у эс-пе – служебного попугая – в запасе еще лет семьдесят.

Порфириос и его молодой спутник, пуморотень Умберто из племени ягуачо,

неторопливо обходили Москву. Сколько городов уже обошел почти столетний грек, регулярно встречая некоего известного ему под разными именами Горобца, всегда создававшего вокруг себя видимость деятельности – без видимых результатов таковой, впрочем, – где только Порфириос не вынюхивал СВОИХ, объясняя им, кто они есть, в чем их жизненное призвание, как себя вести, что кушать и какой державе отныне служить. Только вот этот последний пункт нынче отвалился, ни единый Порфириос больше не состоял на службе США и не являлся американским подданным, – все тридцать тысяч Порфириосов, верней, единый тридцатитысячный Порфириос присягнул на верность президенту Хорхе Романьосу, который соглашался признать множественного оборотня весьма почетным гражданином Республики Сальварсан, – не почетным, конечно, а лишь весьма почетным, – но совершенно не нуждался в его профессиональных услугах, ему своих пуморотней-ягуачо хватало, президента бы воля, он бы давно все это кошачье племя заслал за Жужуй, – это чисто сальварсанское выражение означало вещь очень неприличную, высылку в Аргентину, но как их вышлешь, когда они урожденные?

Однако грек обходил страну за страной, искал сородичей, снабжал их руководством: как вести себя оборотню, если в кого-нибудь хочет превратиться, если он оборотень «практикующий», и на какой ему сидеть диете, если он хочет пребывать в том облике, в который уже угодил, то есть в том случае, если он оборотень «статический». Греку было совершенно безразлично, кто какой путь выберет, он лишь не хотел, чтобы однажды ничего о себе не знающий сородич сжевал в новолуние пятилепестковую сирень да потом запил ее по ошибке свежей кровью моржа – ну и превратился после этого, согласно формуле знаменитых ученых оборотней Горгулова и Меркадера, в бутылку «Ай-Даниль 1946», которую даже величайший из магов, Бустаманте, скорей выпьет, чем расколдует. Из магов не пьет Тофаре Тутуила да еще бездельник Абдрахман Альфандега пить не должен бы, мусульманин все-таки, но они за то деньги получают, чтобы завербованных спасти. Нет для оборотня большего позора, чем ненароком превратиться во что-то такое, что не само ест, а его едят или пьют. Порфириос вспоминал конфуз, когда Жан-Морис Рампаль оказался котлом с рисом, его-то спасли, ну, а что было бы с вьетконговцами, если б они этот рис съели?.. Вопрос, конечно, чисто теоретический, учитывая роль дириозавра в новейшей истории, все могло бы пойти иначе. Так или иначе, Порфириос был по-стариковски добр душой и рад хотя бы одному тому факту, что Рампаля не съели.

Московский Порфириос мало отличался от себя-прочих. Россию он видел впервые. Вербовкой его послали заниматься накануне корейской войны, но предложили ограничиться странами свободного мира. Порфириос полагал, что их тут, как и везде, очень мало, – хотя имел подозрение: не без перекида ли тут вообще все Политбюро и главный тоже. Когда-то все это было важно, а теперь – какое было дело греку Порфириосу до интересов США? Его сейчас больше интересовал молодой спутник, тот самый Умберто, который догнал самолет прямо на аэродроме Сан-Шапиро. Вести про пуморотней были нынче почти в

каждой газете, сожравшие всех каннибалоедов милиционеры в Сальварсане покусились на владения ягуачо, но с первых же дней их конфликт, деликатно именуемый в газетах «межплеменным», стал складываться явно в пользу аборигенов, на привозных людоедов Порфириосу было плевать, а вот что оборотни ненароком в этом конфликте скушают что-нибудь нехорошее – этого он очень боялся, оборотней на всей планете в десять раз меньше, чем, к примеру, исландцев. Так вон какой шум из-за этой самой Исландии подняли, а за оборотней кто заступится? Один старик Порфириос. Правда, не один, а тридцать тысяч его. Тем более помочь нужно всем, кого унюхать возможно.

Порфириоса поражало количество русских оборотней, изначально родившихся не людьми, а лишь по счастливому случаю выбравшихся в люди. А то и не выбравшихся: вот только что он подбросил свое руководство в почтовый ящик гиацинтового ара, бывшей собаке, с колоссальным, как чуял грек, потенциалом оборачиваемости. Стоило бы этому попугаю дожидаться вхождения Плутона в треугольник Мнимой Горгульи, нарвать в полночь цветущего цикория, на какой-то прежде того помочились бы семь черных котов... Да нет, он же псом родился, будет он воняющий кошками цикорий жрать, не говоря о прочих ингредиентах, которых чуть не дюжина!

Порфириос с трудом удерживал своего котообразного спутника, тот все рвался в аптеку за пузырьком-другим валерианы, утверждая, что без этого – не человек. Порфириос эту фразу пропускал мимо ушей, чуть ли не все председатели колхозов при советской власти, если не принимали стакан спирта в пять утра, тоже были не люди, это в России все знают. Ну а кончилась советская власть, пришел император, как они своими расколхозненными хозяйствами управляют? Два стакана спирта пьют залпом! Три! А вовсе не валерианку.

Но спутник был молод, неистребимо котообразен, и покормить его, хочешь не хочешь, а полагалось. Порфириос вышел к Москве-реке, повел носом, поймал такси и приказал ехать туда, где лошади скачут. Таксист понял, что к ипподрому, заломил два имперала, грек торговаться не стал, хотя водитель рассчитывал на любую половину. За хороший характер он прокатил пассажиров с ветерком по Моховой, по Тверской, по Петербургскому шоссе, развернулся через Беговую – и причалил прямо к главным воротам. И сразу рванул прочь, от соблазна подальше.

Оборотни вылезли возле бистро «Перекуси!» Торговля, по случаю буднего дня, шла не очень бойкая, даже очереди к стоявшей на раздаче Стеше не наличествовало. Стешу это не очень огорчало, бистро открывалось в семь утра, и сейчас выручка за лапшу под музыку была не лучше обычной. Стеша и Маша дежурили нынче попеременно, Тюлька без уныния мыл судки, Глаша и Фрося возились у котлов, Анфиса сидела за счетами, которые упорно не желала сменить даже на простенький калькулятор, – такая роскошь Волковым и Волчекам, что К° при Бухтееве составляли, была бы вполне по карману, но Анфиса от любых непроизводительных трат впадала в ярость, за что муж, Тимофей Волков, втихую называл ее при братьях «Мой Павел Третий»: расчетливая скупость императора прочно стала у народа притчей во языцех. Не желал считать себя за обычную К° только Тимур Волчек, он давным-давно мог



бы записать свои коронные губногармоничные «Лили Марлен», «Серенаду» и «Сиреневый туман» на пленку, да гонять через колонку негромко все это для перекусывающих лапшой и пловом, – но фанерой брезговал, казалось ему, что нет от нее у людей настоящего пищеварения. А на самом деле Тимур просто любил свою гармонику и с малыми передышками играл весь день, сидя возле раздачи на табуретке.

«Бл-лям...» – извлек он из гармоники. Один из подошедших к раздаче, толстый, немолодой, с удивлением посмотрел на Тимура. «Ага, – подумал Волчек, – неужто угадал?» Так уже бывало, лица балкано-кавказских национальностей отчего-то порою рыдали под «Чардаш» Монти, заказывали парнусы, одновременно же съедали столько лапши-плова, что музыкант опасался за здоровье меломанов. Они и денег в шапку набрасывали немало, вечером Тимур сдавал их Анфисе, и был горд тем, что дает фирме дополнительный доход.

«Бл-лям... Бл-лям... Блям... Блям-блям-блям-блям, блям-блям-блям-блям, блям-блям-блям-блям...»

Теодоракисовское «Сиртаки» обожгло греческое сердце оборотня. Какая жалость, что он сейчас один: можно бы плюнуть на возраст и геморрой, построить круг и такое под родную музыку станцевать! Впрочем, что за мысли такие? Оборотень одернул себя. Прилично ли престарелому профессионалу отплясывать перед сородичами, особенно если они другой национальности. Тоже, царь Давид нашелся. Порфириос нюхом давно понял, что на раздаче в бистро стоит лисобаба, а вся фирма – одни сплошные волкомужики, как-то нашедшие способ выбраться в люди. Ну, ладно, волкам оно проще, откусил от елки побег да прыгнул нужным образом, но где взяла лисица сердце индюшонка, убитого метеоритом? Порфириос не знал, что накануне коронации над Брянщиной небольшой метеоритный дождь как раз выпал, а Стеша пробралась в индюшатню деда Матвея – и все получилось в полном соответствии с рекомендациями Горгулова и Меркадера.

«Блям-блям-блям...»

Порфириос и Умберто ели духовитую бухтеевскую лапшу, кушанье непривычное, но сытное и для оборотней безвредное; на переоборачиваемый организм действовало оно приблизительно как фиксаж на проявляемую фотографию, укрепляло статус кво – и только. Грек мысленно составлял необходимые фразы, русский в его одинокой голове сильно путался с польским и сербским, да и с остальными славянскими, среди славян оборотней всегда бывало много; теперь они по большей части жили в США и были на хорошей работе. Тимур закончил последние такты «Сиртаки», гости яростно ели, собственно, ел один, другой слушал. Но музыку не заказывал. Тимур начал «Чардаш».

Мысли Порфириоса приняли новое направление, ему вспомнилось, как в начале пятидесятых он ходил по мосту то из Буды в Пешт, то из Пешта в Буду, и нюхал воздух. Снова оборотень одернул себя: за сентиментальными мемуарами можно позабыть и то, за чем сюда прибыл. Порфириос нащупал в кармане пачку брошюр, подошел к Тимуру и вежливо, с поклоном, протянул один экземпляр. Волчек искоса глянул на заголовок и чуть не разгрыз губную

гармонику, от чего ее спасла все еще сильная рука грека: рысаку возле ипподрома никто не удивится, но губы лошади устроены так, что в гармонику особенно не подуешь, а перебирать копытами по ладам совсем невозможно. Словом, Порфириос спас Тимура от превращения в коня.

Стеша тоже заинтересовалась брошюрой, прочла название и поняла, что уже взлетела на крышу фургона от ужаса: разгадали! Нельзя ж так вналет: «...оборотня...» Мало ли у кого какая беда и нужда. В нужник, к примеру, всем бывает надо, но никто не сует на раздачу пищевых продуктов инструкцию, как лучше всего себя в нем вести. Однако сидеть на крыше было уж вовсе неприлично, Стеша осторожно слезла и ушла в сторонку, пытаясь понять что-нибудь в диалоге слов и звуков, которыми быстро-быстро перебрасывались Тимур и толстый гость.

– Волк волоком ловко лукавый лук вылакал? – вопрошал гость.

– Лыка не вылутил, лоскутье лыковое... – растерянно отвечал Тимур, не очень понимая, что такое плетет, но подсознанием точно чувствуя, что отвечает верно.

– Лакай! – провозгласил гость, суя брошюру прямо в руки музыканта. Потом достал вторую, обратился к Стеше: – Лось в лесу ласковый! – и сунул брошюрку лисобабе. – А остальные где? – продолжил толстый на обычном русском. – Вас тут еще... восемь?

– Десять, – признался Тимур, – и женатые мы. На простых.

– Даже хорошо, что на простых, – гость покосился на Стешу, давая понять, что к простым он тоже хорошо относится, не расист какой-нибудь. Лишь тут Порфириос заметил, что его спутник, пуморотень Умберто, видать, очень уж мощно нафиксировался грибной лапшой и теперь ест глазами Стешу, даже руки протянул через столик и спину выгнул от удовольствия. «Еще бы хвост задрал, если бы... был у него сейчас хвост, впрочем, задирать ведь не обязательно именно хвост...» Грек быстро стегнул парня десятком крепких шипящих и клацающих ругательств на древнепумьем. Пуморотень отвел глаза и очень скис. Тимур тем временем жадно листал брошюру, забыв всякие приличия: сколько долгих месяцев он мечтал о таком учебнике! И мясо любое во все дни, кроме постных... Ну, они нынче в календаре обозначены... И рыбу можно любую, даже бесчешуйную, хотя вот тут ниже список исключений из правила: фугу... Что такое фугу? Не есть фугу! Что такое рудбекия? Не есть рудбекию! Горлышки бутылок, подобранных ночью на плотине в полнолуние? Да кто ж такую гадость есть решится, все горло обдерешь! Нет, вот, оказывается кушают себе на здоровье и довольны, переоборачиваются, таланту набирают...

Порфириос сунул поверх чистых судков еще десяток брошюр и позвал Умберто. Чудилось ему, что в первопрестольной Москве оборотней еще полно, только воздух понюхай да оглянись – их и увидишь. На всякий случай Порфириос понюхал воздух, но волчий запах тут перебивал все остальные, даже ипподромные. Тогда грек и вправду обернулся и увидел идущего мимо очень странного человека, странного, странного... Но нет, не оборотня. Мимо шел молодой человек с окладистой бородой, с начисто сбритыми усами. В руках он с заметным усилием тащил старую хозяйственную сумку, из нее торчала пачка небрежно завернутых, длинных предметов – так могли бы выглядеть

извивающиеся палки твердокопченной колбасы, пожалуй. Один из предметов развернулся вовсе. Порфириос с удивлением признал в нем кадуцей, крылатый жезл Меркурия, обвитый двумя змеями. Человек с сумкой двигался к переходу, грек проводил его взглядом. На другой стороне улицы, над крошечным, в два окна, магазинчиком, где еще недавно размещался пункт приемки грязного белья, сверкала надпись: «Кадуцейные товары». Порфириос успокоился: похоже, просто хозяин шел в свой магазин. Оно и правда – дела в магазине Никиты Глюка шли в последнее время все лучше и лучше. Жаль только, что жена-манекенщица все время пилила, приходилось держать магазин открытым семь дней в неделю: спрос на кадуцейные товары возрастал неуклонно.

Порфириос в мыслях потрепал по плечу временно ушедшего из реальной жизни Тимура. Тот ничего не почувствовал, но грек и не ждал ничего, даже приятно было, что сородич по уши в учебнике, пусть зубрит, потом других учить будет. «Сиртаки» из него сейчас не выжмешь. Порфириос взял затосковавшего Умберто под руку и потащил на проезжую часть, сунув империял в защиту перекусиховского бюджета, а то ушли бы клиенты, не заплатив за четыре миски лапши. Тюлька попробовал монету на зуб, понес прямо тете Анфисе в сейф. Он, как и все сотрудники фирмы, не любил, чтоб золото на виду валялось. Тюльке было еще рано в оборотни было по случаю невинности. Сцена растаяла: Стеша вернулась на раздачу, Тимур ушел в фургон зубрить формулы, гости уехали. И уж совсем незамеченным осталось то, как поднялся и потрусил прочь с газона долго прохлаждавшийся там пес с мордой лайки и телом овчарки, понявший, что музыка будет не скоро. А жаль. Губная гармоника – и ну буквально ни одной фальшивой ноты!

Наискосок от «Кадуцейных товаров», по другую сторону бульвара и дальше от центра города, виднелся сквозь кривые ветки Петровский дворец, давно никакая не Академия авиации, а простая городская дача царя, нынче, несмотря на будний день, окруженная тремя кордонами синемундирного оцепления. Если б кордон был один – это ничего не значило бы, если б два – это могло что-нибудь обозначать, а могло и нет, но три – только то, что нынче здесь будет, то ли уже есть лично, его императорское величество.

С утра Павел измотался: хотя недружественный премьер-министр и был встречен прямо на летном поле канцлером, в Кремле выходить и болтать с ним обязан был все-таки император. Сидеть два часа за переговорами, из которых только и следовало, что нефтегазовая континентальная блокада, объявленная стране гостя Павлом, не может рассматриваться как проявление доброй воли и стремления к сотрудничеству. Павел как-то не привык еще к дипломатическому языку, ему казалось, что если он перекрыл стране газовый кран, закрыл воздушное сообщение с ней, ввел зверские таможенные правила и все прочее в том же духе – то надо просто прекратить вылазки против Витольда за то, что тот всего лишь вернул себе древнюю инуитскую землю, прежде называвшуюся Исландией, удостоил ее в своей империи статуса провинции и посадил губернатором своего зятя – притом самого знатного, двоюродного дядю русского императора! О Мальтийском уезде вообще разговоров быть не может, Мальта – наша. Италия вон довольна даже, да и Франция не против. Подумаешь

– цоколь, территориальные воды... Я тут при чем? Прекращаете военные маневры против Гренландии, прекращаете газетную травлю – открою газовый крантик, даже компенсации за простой не запрошу. Не кончаете – не открою. Чего мусолить? Я же к вам на острова не лезу. А мог бы. Высмотрели в титуле насчет адмирала трех флагов? Ну и что с того, что у вашего короля такое же звание? У вас не король, а королева. А что звучит похоже – не ваше дело. А что язык ваш перевел на кириллицу – неужто не понятно, что исторический процесс необратим, вы сами – и давно! – с футов на метры перешли и с фунтов на килограммы. Трудно кириллицу учить? А газ нужен? Чего тогда языком чесать? Словом, у меня к вам претензий нет.

На том и расстались, а о чем столько времени болтали через двух переводчиков – Павел так и не понял. Какая там партия у власти, правильно ли поймут, будет ли кризис в правительстве – какое до всего этого дело русскому царю? Чего прете против исторической неизбежности, я вас спрашиваю, а я – историк! Распустите парламент, верните короля в его права, никаких баб на престоле – делов-то. Законы у вас плохие – ну изучите наш «Домострой», подправьте по себе – чем плохо? А насчет кириллицы – да что за событие такое? Оплатить вам замену шрифтов в типографиях? Могу. Не согласны? Так с Россией не разговаривают. Можно ведь и глаголицу у вас ввести – шрифт благородный, рунический. Политики...

После впустую потраченной первой половины дня царь перекусил в Академии у Аракеляна прямо с плиты; присмотра за ним теперь не было, но никто не знал, что именно он захочет съесть, а всю кухню не перетравишь, – и поехал в Петровский дворец. Вторая половина дня предвещала дела не бессмысленные, но сулила новую печаль, ибо предстояло очередное прощание. Из потерь и прощаний строится любая человеческая жизнь, а царская – в особенности. Павел провожал в дальнюю дорогу чуть ли не единственного своего друга – Джеймса Найпла.

Еще в прошлом году Временное Правительство Юконской Республики, созданной на Аляске индейцами-атапасками, эскимосами, алеутами и креолами, прислало послов ко двору императора Павла Второго. В Москву прибыли, как депутаты от Староросии, знатные креолы Иван Максутов, Михаил Кашеваров, Потап Осколков и Ефрем Квасников, били челом православному царю: како нам реорганизовать Юконию? Временная ее столица, город Ниничик на полуострове Кенай, предполагала, что русская Америка – это исконная Русь, Старороссия, и место ей – в России. Царь поговорил с послами, пригласил к обеду, а на нем объявил свой монарший совет. Во-первых, не надо рисовать всяких фантазий на географической карте: пусть имеет Юкония точные границы бывшего штата Аляска. Потому нечего ей быть Юконией, пусть остается Аляской. Но независимой. Столицу, само собой, нужно вернуть в Ново-Архангельск. Поскольку страна многонациональная, одним государственным русским языком не обойтись: нужно сохранить английский как второй, как язык межнационального общения. И всеми силами способствовать развитию литературного языка атапасков, обоих эскимосских наречий, алеутского и всех прочих, какие в обиходе жителями страны используются. Ну, английский

использовать правильным образом, то есть кириллицей, уже потом, вдогонку посоветовал. А тогда он предложил провести среди народа Аляски референдум: в самом деле им нужен республиканский строй, как у Романьоса в Сальварсане, тоже ничего плохого нет в принципе, или же, если народ себя уважает больше, то не стать ли Аляске царством? И называться, к примеру, «Американское Царство Аляска», АЦА сокращенно. Красиво же!

Креолы очень остались довольны и сказали, что вынесут на референдум три вопроса – быть ли Аляске республикой, быть ли Аляске царством, воссоединиться ли ей с Россией. От третьего Павел мягко уклонился и рекомендовал: если уж народ и вправду себя уважает – то царя избрать своего собственного. Креолы растерялись – не имелось кандидатуры, и опять запросили Павла, не присоветует ли он кого. Павел вздохнул, но подумал о государственных интересах и предложил кандидатуру Джеймса: все-таки американец, хоть и без права быть избранным американским президентом, ибо родился в деревушке на Ямайке. Ну, конечно, при условии того, что Джеймс перейдет в православие. Креолы пришли в восторг и отбыли восвояси.

На всенародном референдуме в мае Аляска деяносто четырьмя процентами голосов превратилась в монархию с царем Иоакимом Первым во главе. И вот теперь Джеймс улетал к себе домой, в Ново-Архангельск, и увозил с собой Екатерину Бахман, бывшую гражданскую супругу Павла. Ее первый брак был с одобрения обер-прокурора Святейшего Синода аннулирован как не благословленный церковью. Павел даже хотел обвенчать Джеймса и Катю в Москве, но бояре отговорили, царь – какой бы он ни был, даже нерусский – венчаться должен у себя дома, в соборе Святого Германа Аляскинского.

В прощальный путь приготовил Павел бывшей жене и ее нынешнему мужу подарок, настоящий, неожиданный, потому что только неожиданные подарки – настоящие, этому Павла обучил упрямый Сбитнев. Павел нашел вариант такого подарка. Особенно было приятно, что подарок, имея вид дорогого, по сути дела был очень экономным.

В императорских мастерских лучшие мастерицы трудились несколько недель, расшивая жемчугом подвенечное платье для будущей царицы. Лучший ювелир с Арбата изготовил жемчужную диадему, пришлось разориться на триста граммов норильской платины, ничего, слава Богу, не последняя, в бывшей шахте Октябрьская, ныне Новопавловская, еще много. А жемчугов Павел не пожалел – и ожерелье в семь ниток справил, и браслет, и серьги с подвесками до плеч, и еще кое-какую бижутерию. Не сравнить с теми скромными сережками и колечком, что подарил он Кате когда-то на свою собственную гражданскую с ней свадьбу. Но тогда он царем не был, а теперь все тот же всезнающий блазонер Сбитнев его в полной мере по науке о жемчугах просветил.

На подарки Павел пустил запас жемчуга, привезенный в двадцатых годах из Персии, когда иранцы, ополоумев после двадцать первого года от радости, что их великая держава Россия признала, совершенно не препятствовали его массовой скупке, которой со вкусом занимался дипломат Иванов-Гуревич. Что и говорить, по тем временам это было выгодное помещение капитала: на золотой советский червонец давали чуть не пригоршню круглого, а если

изогнутого, «барочного», то две пригоршни. Но Иванов дело знал, в его запасе больше половины составляли ядреные, крупные «парагоны». Павел добавил даже несколько очень дорогих юсуповских жемчужин начала века. Щедрость его была более чем практична. Государю дали справку, что даже сто лет для жемчуга – возраст чрезмерный, в сто двадцать – сто пятьдесят жемчужина умирает, ибо распадается главное ее вещество, конхиолин, а в двести лет вся эта красота из белой становится черной, чтоб потом рассыпаться пылью. Так пусть уж не пропадает красота, раз ей такое суждено, пусть идет в этом жемчуге Катя под венец. Павел даже немного огорчился, что и половина запасов Иванова-Гуревича не была израсходована. Но ничего. Теперь Павел знал, чем именно следует одаривать женщин при необходимости. И не надо особенно с этими подарками тянуть, жемчуг начинает «болеть» без предупреждения. Вот и нечего его беречь.

Вообще-то подарков улетающим нынче в Ново-Архангельск молодоженам Павел вез много. В бывшую маленькую Ситку, преступно лишенную вашингтонскими воротилами больше чем на столетие положения главного города Аляски, нужно было везти из Москвы буквально все, – город пока еще пребывал в типично американском провинциальном запустении, в нем обитало едва-едва три тысячи жителей, хотя встречать царя Иоакима, конечно, соберется больше: все службы города Баранова, бывшего Анкориджа, должны до коронации перебраться в новую столицу. Лишнего скандала с Соединенными Штатами тоже удалось избежать, хотя он и назревал, ибо с потерей Аляски Америка лишалась пятидесятой звезды на флаге – нехорошо. Павел не стал препятствовать референдуму, одновременно с аляскинским проведенному на островах Самоа, они-то как раз и превратились в пятидесятый американский штат – флаг, пусть он и республиканский, обижать не полагается. Тем более что царь на Аляске избран вовсе не русский, а свой. Царица – хоть из России, но чистокровная немка. Все при своих. США могут влиять на новое государство как хотят, если могут и если умеют. Но, думается, не умеют. Они ведь и сами-то без царя. Молодая держава, еще неопытная.

Хотя границы у АЦА выглядели как прежние границы американского штата, но по совету Павла Джеймс приказал начать набор преподавателей испанского языка для начальных школ. По мысли Романьоса и Павла, целиком одобренной необратимо обрусевшим Джеймсом, испанского и русского языков должно хватить всей планете на ближайшие столетия, ну, а там, глядишь, сольются как-нибудь.

Подарки загромоздили весь царский ЗИП. Много места занимали те, которые слал от себя и от своего села великий князь Никита Алексеевич. Сношарь Катю не знал, даже на коронации не рассмотрел, зато шпион Хаим, в пользу которого он прошлой весной, еще на Брянщине, за каким-то лешим отрекался от престола, который ему и так без надобности был и есть, – шпион Хаим вызывал у него чувства очень теплые, как и любой другой подмастерье, которого бабы хвалили. Сношарь послал в Кремль, как прознал про улет Хаима в свои палестины, вестовую Настасью: пусть возьмет с собой парень в дальнюю дорогу четверть черешневой, чтоб не скучно было, ни самому, ни бабе евонной.

Настасьи мигом смекнули, кто такой этот подмастерье, почти все они имели что вспомнить о нем, и одно только хорошее, решили свои гостинцы тоже передать. Испекли свадебный курник в два аршина, коли поперек мерить, собрали лучших яичек от пестрых курочек. Еще скинулись по денежке, меховой галстук ему купили, а невесте – бутылку «Шанель номер пять», московского, правда, разлива.

Всем этим теперь был заставлен чагравый ЗИП императора, вмещавший также и самого царя, и водителя, и четырех рынд-охранников. Корзины с орхидеями пришлось разместить в другой машине, там же в морозильной упаковке лежал десятифунтовый ромб домашнего сливочного масла, присланный Кате ее алтайской теткой, которой для приличия Павел тоже пожаловал графское, то есть графининское, достоинство. Захочет – пусть на Аляску едет, не стыдно. Император приказал, и всей Катиной родне выдали постоянные заграничные паспорта. Но никто никуда почему-то ехать не хотел. Напротив, многие из ранее уехавших просились обратно в Россию. Павел велел повременить: если уехали, то зачем? А достойны ли быть впущены обратно? Сперва всех проверить. Покуда шли проверки, никого в Россию назад не пускали.

Приведенный в порядок, утопающий в зелени Петровский дворец нравился царю. И потому, что отсюда в прошлом году начиналась его коронационная процессия, и по названию, и вообще. После отбытия четы Найплов Павел собирался именно здесь проводить субботу-воскресенье, Кремль ему надоел, а в Староконюшенном и тесно, и потомок прежнего владельца, Тадеуш Вардовский, очень уж хотел получить этот дом под жилье. На это Павел дал согласие, если миллиардер оплатит строительство линии метро до Сергиева Посада. Миллиардер соглашался – ну, тогда ладно. Метро – штука дорогая, а так – не очень-то и накладно.

Павел вылез из машины во дворе бывшей Академии. Он давно привык, что вокруг него безлюдно, охранники-рынды умели быть незаметными, кольцо оцепления было далеко, с народными массами на улицах пусть американский президент общается, русскому царю это не по чину. К чему беседовать с народом, даже если это не окажется сборище топтунов Георгия, – что всего вероятней, не увольнять же их канцлеру? – если весь мир и так знает, что русский народ в своем царе души не чает. Вот и царь того же мнения. Павел машинально нарисовал тросточкой на песке что-то вроде старинной церкви об одной главе и трех апсидах, этакий храм Покрова на Нерли, сам удивился – зачем? Стер чертеж, решительно зашагал во дворец.

В самой малой из гостиных, в той, где в ноябре перед коронацией на самодержца наводили последний лоск, уже находились провожаемые хозяева. И Джеймс и Катя были очень бледны и заметно нервничали. Джеймс нарядился в придуманный Сбитневым для Американского Царства Аляска фельдмаршальский мундир: лампасы, карманы на локтях и прочее. Павлу не нравилось – то ли генерал получился, то ли слесарь, – но Сбитнева переубедить не удавалось. Только погоны придумал старик исключительной красоты. Гербом Аляски старый блазонер сделал Мелькарта, какого-то финикийского бога, но выглядел этот бог точь-в-точь как морской конек в кремлевском

аквариуме. И в этом был смысл: именно Аляска превращалась нынче в самого крупного экспортера аквариумных морских коньков, конек означал для Аляски то же, что броненосец для Сальварсана или медведь для России. То есть не медведь, а двуглавый орел? Интересно, почему он вообще двуглавый?..

Павел посмотрел на Джеймса. Тот был все так же красив, только седины за два неполных года, прошедших с первой встречи с Павлом, немного прибавилось, в остальном это был прежний Роман Денисович, томский краевед и сношарев подмастерье, гнусный совратитель Павла и его же «молочный брат». Его официальный отказ от подданства США был опубликован в газетах, из армии его без пенсии, но и без скандала уволили еще раньше. «Жлобы, – подумал Павел. – Своему же разведчику пенсию дать пожадничали, великая держава пятьдесят звездочек...»

Катю император поцеловал в ледяную и потную руку, Джеймса сильно хлопнул по плечу и заключил в объятия, – царь обнимает другого царя, никому дела нет, даже если и просочится что. Однако обошелся без партийных лобзаний, все жесты Павел аккуратно продумал наперед. Покуда вносили и распаковывали подарки, он присел против жениха и невесты в высокое кресло с государственным гербом на спинке, расслабился. Чтоб разрядить обстановку, чуть качнул кистью левой руки. Тут же на столе материализовался армянский коньяк и небольшая закуска, точная копия того, чем угощались они, прячась на Брянщине у великого князя Никиты. Правда, под простецкой этикеткой скрывалось намного более благородное содержимое: подлинный шустовский одна тысяча девятьсот... одиннадцатого? Двенадцатого? Павел не помнил. Он и не обязан был помнить. Он знал, что тут все самое лучшее.

Император выждал, чтоб открыли бутылку, и жестом отослал лакея. Разливал по рюмкам собственноручно, давая понять, что избирает неофициальный вариант прощания.

– Так летите? – спросил он, согревая в ладони бокал.

– Летим, ваше величество, – тихо сказал Джеймс, а Катя только склонила голову. Выпили. Закусили ломтиками соленого ананаса. Сразу, по инициативе Павла, повторили. Павел подождал, чтобы тепло растеклось по жилам, понял, что нужно что-нибудь сказать, ничего не придумал умного и произнес:

– Ты насчет ананасов соленых... У тебя с Витольдом общая граница через Северный Полюс, выпиши у него специалиста, начинай сам выращивать. Теплицы он подарит, а отопление у тебя дармовое. Культура-то огородная, справишься.

Джеймс благодарно кивнул. Отопления для ананасных теплиц в Ново-Архангельске хватало, к прилету нового царя приказано было погасить вулкан Святого Лазаря, торчавший в двух шагах от аэродрома. Остаточное тепло очень даже уместно было направить на выращивание столь любимых в качестве закуски всеми северными царями и императорами соленых и квашеных ананасов.

– Ну, что же молчишь: выбрали царем, так уж у тебя и важность в глазах синее? Я платье твоей... невесте привез, полюбовались бы.

Катя и сама уже добралась до жемчужного чуда и с большим трудом пыталась



прикинуть его на себя, глядя в зеркало. Кликать фрейлин ей сейчас было неловко, а сама примерять дареное она уже отвыкла. Джеймс махнул ей – мол, потом поглядишь, возвращайся к столу. Он чувствовал, что его молчание становится не совсем приличным, и – как в омут головой, понес ахиною.

– Непременно пришло, государь, наших ананасов, с первой же засолки. Конечно, приятно, что уж тут лицемерить. Был разведчик как разведчик, а теперь вот – царь... Хотя, думается, все-таки вассальный? С другой стороны, судьба есть судьба, у вас... у нас... словом, у России... Все тут правильно знают насчет судьбы, ни на чем ее не объедешь. Я – разведчик? Я – шпион?

Сумасбродная мысль, сам не понимаю, как она мне в голову пришла. Захотела Аляска царя. Ну и ладно: есть на Аляске царь. Он отыскался. Этот царь я.

– Не волнуйся, в сумасшедший дом тебя никто не посадит, – усмехнулся Павел, оценив познания бывшего шпиона в русской литературе. – Соскучишься, поди, в Ново-Архангельске, пока что ведь столица он... так себе, не Москва. Твоя забота – сделать его достойным городом. Список переименований тебе уже подготовили, венчать будет митрополит Фока. И сразу подумай о наследнике! – с трудом добавил Павел такую болезненную, но все же необходимую, давно приготовленную фразу. Катя настолько резко покраснела, что Павел понял: кажется, на этот счет на Аляске дела пойдут легче, нежели в России. Впрочем, надо говорить не «на Аляске», а «в Аляске» – царство-государство, чай, да еще православное. На мгновение Павел пожалел, что разошелся с Катей, но вспомнил, что у него и Кати дети как-то не получались, значит, и проектируемый наследник был бы под сомнением, или, скажем округло, не годился он сам как автор проекта. Он с резкой болью подумал о Тоне и снова налил, чуть ли не по полной, себе и Джеймсу, а Кате – втрое меньше. Она поняла намек и снова покраснела.

– Тут я в дорогу закусить вам привез кое-чего, ну, и к свадьбе от села кое-что, – со слезой продолжил император, когда выпили. По чуть заметному знаку лакеи внесли орхидеи, курник и прочее, все поставили на стол – даже эмалированное ведро с яйцами, кажется, здорово удивившее Катю, однако Джеймс, хоть и не умел по шпионской своей выучке краснеть, все понял, и Павел понял, что он понял. Павел развернул укутанный во множество полотенец высокий пирог-курник, подумал – и не стал звать лакея. Настасьи осрамить не могли. Быстрым, совершенно фехтовальным движением он выхватил из рукава тонкий стилет и рассек пирог надвое. От запеченных петушиных гребешков, пополам со шляпками белых грибов, шел и сейчас легкий пар. Павел откромсал три куска, разложил по тарелкам, снова налил.

– Постарались бабы! Курник – король пирогов! Свадебный... – пробормотал Джеймс.

– Царь пирогов. Царь, – поправил Павел. – Много не съедим, ты остатки не вздумай здесь бросать, перекусите в самолете.

– А когда вылет? – спросил Джеймс. Павел так и застыл с куском в руке – ну и царь, однако.

– Когда прикажу, тогда и вылет, – наконец нашел он ответ. Джеймс окончательно не выдержал и все-таки покраснел. «Ох, не готов ты еще в цари!»

– подумал Павел, но других кандидатов на место американского государя у него не было. Павел снова налил и приготовился к демонстрации главного сюрприза.

– А теперь, ваше величество, – он впервые обратился так к бывшему разведчику, – примите наш монарший подарок. И вспомните нашу веселую деревенскую весну.

Покуда Джеймс из красного становился очень белым, а Катя, ослепленная жемчугами, окончательно отчаялась что-либо понять в мужском разговоре, отпробовала курник, констатировала, что такого ни в жисть бы испечь не сумела, даже с фрейлинами, Павел одну за другой выкладывал на стол бумаги. Сперва – две заверенных государственным нотариусом ксерокопии. Потом – еще страницу, чисто переписанную главным писарем Кремлевских канцелярий, бароном Юго-западным-Южным. Присмотрелся к лицу Джеймса, понял, что ни хрена-то владыка Аляски до конца понять не может. Тогда император вынул авторучку и размашисто, с тремя росчерками подписал третий документ – «Павел Второй» – и перебрал Джеймсу.

«Мы, Государь Павел Второй, член КПРИ, милостию Божией и миропомазанием самодержец Всероссийский: Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский и прочая, и прочая, настоящим документом торжественно навсегда отрекаемся от титулов Царя Американского, великого князя Ново-Архангельского, Иссанакского и Унимакского, Барановского и Колошского, князя Алеутского и графа Свято-Францшского, дабы передать их в вечное владение роду Иоакима Нипела, свободно избранного царя Аляски и всех прилегающих к ней земель...»

Джеймс обалдело разглядывал три документа: ксерокопию отречения от престола сношаря в его, Джеймсову пользу, ксерокопию отречения Джеймса в пользу Павла – и подлинное, собственноручное, подписанное императором отречение от всех американских титулов в пользу опять-таки Джеймса. Первые два документа, кое-как накарябанные на колене, одно на сношаревом, другое на Джеймсовом, разительно контрастировали с казенной каллиграфией третьего. Погашенный полтора года назад усилием воли коньячный дух пробудился, резко ударил в голову бывшего разведчика: тот становился не удельным владыкой, не вассальным царьком, а настоящим легитимным царем большого государства на американском континенте, сколько-то пробывшего, конечно, под игом США, даже побывшего самым большим штатом этой державы, а что бы нет, помнится, втрое больше Франции. Павел помедлил и жестом фокусника выложил на стол еще четыре документа, из коих следовало, что Американское Царство Аляска уже признали де-факто, де-юре, вообще и в принципе – четыре великих державы сверхнового времени: Российская Империя, Республика Сальварсан, Инуитская Империя Гренландия и Федерация Островов Клиппертон-и-Кергелен. От имени последней на документе, рядом с гербом-печатью в виде крылатой секвойи, расписался ее почетный президент, великий мореплаватель Хур Сигурдссон, навеки пришвартовавший свою секвойю к Острову Валаам на Ладоге. Павел глядел на окосевшего Джеймса и наслаждался взятым реваншем.

– Ново-Архангельск, кстати, стоит почти точно на широте Стокгольма. И

южней Петербурга. Виноград у тебя там, конечно, без теплиц не созревает, но он и под Москвой кислый... – ехидно добавил император, поглядывая на Катю. На нее все эти ксивы, кажется, не производили никакого впечатления. Она видела, что ее мужчины выпивают и беседуют и никакой разборки между ними не предвидится. Значит, все хорошо, и ей, как женщине, пора и честь знать. Она допила коньяк, закусила гребешком из курника и взглядом испросила у императора разрешения удалиться.

– Иди, Катя, иди. Я вас в Шереметьево провожу, и вообще... Ждите меня осенью в гости. Пригласишь, царюша? – спросил он Джеймса, увидев, что Катя встает, чтобы удалиться.

Но Джеймс был слишком тренирован, чтобы раскиснуть надолго. Если он и не мог выгнать из себя весь хмель, то мог погасить по крайней мере тот давний, который хлынул через многие километры и месяцы с Брянщины – эту часть хмеля он пересилил. И ответил с достоинством:

– Милости прошу, ваше величество, к моему скромному двору в любое время, с любой свитой, по делу или без дела! – Он встал и вдруг заговорил голосом не то диктора американского телевидения, не то хорошего мажордома, не то просто дьякона: – Здоровье его императорского величества, милостию Божией государя-императора Павла Второго!

Павел, уславший лакеев окончательно, вынужден был для этого тоста за собственное здоровье сам же коньяк и разливать: сперва в протянутый Джеймсом бокал, потом в свой. Стоя выпили. Цари остались наедине. Царь Аляски вытряс в горло последние капли.

– Славный, славный коньяк. Совсем не то, что мы в деревне пили.

– Мы и там хорошее пили, – ответил Павел. – Просто коньяк немного состарился. Ему это полезно. В отличие от нас. Поэтому важно выпить его тогда, когда он уже достаточно стар, а мы – еще не очень.

В глазах Джеймса стояли слезы, притом их, в отличие от хмеля, он никак не мог ни втянуть в себя, ни испарить. В голове у него крутились какие-то непристойно мелкие мысли: дадут ли гражданство?.. Какое гражданство должен иметь американский царь? Американское? Он его уже давно лишен. Может быть, царю Аляски надо получить аляскинское гражданство? А такое бывает? Замечательная все же закуска – квашенные ананасы, надо начинать коньяк только ими закусывать... Как все же это непривычно – быть царем. Джеймс очень посочувствовал Павлу, который в своей роли давно и прочно акклиматизировался.

Бутылка иссякла. На столе стояли еще и другие, но Павел остановил Джеймса, момент требовал чего-нибудь еще более благородного. Из-за голенища своего намеренно несовременного сапога он извлек плоскую металлическую флягу и демонстративно медленно отвинтил крышку, которая при необходимости могла служить и рюмкой, – необходимости не было, хватало и хрусталя. Сейчас, по заранее отданному приказу, прощание вступало в последнюю часть, за царями никто не следил, рынды должны были оттеснить от ближних дверей даже синемундирную охрану. Такова царская жизнь, что вся она протекает на виду у народа, но очень, очень, очень редко выпадают миги, когда свидетелей быть не

должно.

Чего там нацедил Сбитнев в эту фляжку – Павел и сам не знал. Это был не коньяк, это было что-то намного более крепкое, градусов на семьдесят, на всю гостиную запахло очень резко и приятно, но чем – никто из царей не понял. Можжевельником? Ежевикой? – Спирт, виноградный, – неуверенно сказал Джеймс, – выдержанный... Но не в дубовой бочке, нет?

– В пороховой, в пороховой, – успокоил его Павел: он начисто забыл, что врученный ему стариком напиток называется «Ерофеич», и рецепт его составляет государственную тайну, – тайну, надо полагать, скрытую даже от императора. Пилось на удивление легко, но, похоже, грозило большим бодуном в ближайшее время и крупным похмельем на утро. Павел помнил ощущения утра после коронации и вторую рюмку налить не решился. Выбрал коньяк постарше и плеснул.

– А помнишь, как ты бутылку на седьмое ноября заначивал? Славно так покирогазили... – мечтательно спросил царь Аляски.

– Теперь у меня двенадцатое ноября праздник. Плевать. Но я не заначиваю ничего, и забудь это слово. Да и мы с тобой не так чтобы прозрачку кирогазим, забудь мой родной жаргон, здесь Москва. Ты хоть понимаешь, что улетаешь на родину, в свое царство?

– Понимаю... – неуверенно ответил Джеймс: где-где он только не побывал в жизни, а вот на Аляске – никогда. И никогда не собирался. А вот теперь, значит, предстоит лететь на родную Аляску. Тьфу, в Аляску. Не маленькое, кстати, государство – в три раза больше Франции. Узнав, что избран царем Аляски, Джеймс кинулся читать о ней все, что мог достать, но книги на английском языке сейчас никому не выдавались, потому что перепечатывались кириллицей, а из того, что имелось по-русски, лучше всего читались рассказы очень забытого в Америке Джека Лондона. Джеймс проглотил том из его русского собрания сочинений и решил поставить в Ново-Архангельске памятник герою по имени Ситка Чарли, это тем более уместно, что сам Ново-Архангельск, попиравшийся пятой Вашингтона, назывался «Ситка» или «Ситха». Джеймс внимательно обследовал географическую карту и пришел в негодование: выяснилось, что граница между Аляской и Канадой была проведена не иначе как преступниками. Ибо Канаде достался прославленный Клондайк! Есть там золото или нет – неважно, но чисто исторически отрезать от Аляски верхнее течение реки Юкон вместе с Клондайком чудовищно! Еще и не повидав свою столицу, Джеймс уже ненавидел восточного соседа, Канаду. Очень жаль, что Гренландия с ней не расправилась, перепугавшись каких-то бродяг, по слухам, опять ушедших под воду в Гудзонов пролив, в двадцатых числах их выхода ждали на твердый берег. На плечи Джеймса ложилась тяжкая, царская ответственность: ему предстояло обуздать канадских агрессоров, пересмотреть несправедливую демаркацию, вернуть ставший родным по рассказам Джека Лондона Клондайк.

Снова выпили. Павел решил проверить добросовестность Настасий, вытащил из ведра темное, цвета пенки на топленом молоке, яйцо. Крутанул на скатерти, чтобы узнать – сырое или крутое. Яйцо завертелось: стало быть, крутое.

Настасьи блюли традиции, яйца для еды приносились сношарю-батюшке крутыми, для купания – сырыми. Собственно говоря, приносили обычно еще ведерко пива и раков, но пива не то сварить не успели, не то постеснялись тащить вместе с черешневой, а раки – какие ж раки в такую жару, когда до сентября, до ближайшего месяца с буквой «р», то бишь такого, когда рак в тело входит и к промыслу годен, еще ждать и ждать. Словом, все правильно бабы сделали. Павел облупил яйцо и проглотил, и Джеймс повторил все за ним, в точности повторил, даже яйцо крутил зачем-то.

Покуда цари выпивали, крутили яйца и вспоминали былые подвиги, время текло незаметно, однако же текло, а на «Шаффхаузене» Павла прозвонил таймер. Время прилета в Ново-Архангельск было подгадано довольно точно, чтобы прибыть прямо в завтрашний день. Лайнер для путешествия Павел одалживал Джеймсу свой личный, тот, на котором к дяде летал. Но никаких дозаправок в Африке не предполагалось, сесть самолет должен был прямо в Ново-Архангельске, на аэродроме Святого Лазаря, возле бывшего вулкана... Не подавить бы ненароком ананасные теплицы... Озлившийся на Канаду Джеймс разрисовал карту Западного Побережья Америки так, что владения Царства Аляска должны простираться до Форта Росс и Сан-Франциско включительно, как было установлено некогда великими россиянами, а к югу от залива, в Монтерее, речь должна звучать испанская, а какое государство будет той землей владеть – безразлично: там, где говорят по-испански, должны оглядываться не столько на Москву, сколько на Сан-Сальварсан. За свое-то государство Джеймс был вполне спокоен: привыкши всю жизнь следовать только инструкциям, он и теперь знал, что в любой миг может запросить их в Кремле и они будут если не самыми лучшими, то всегда точными, не подлежащими двум толкованиям. К примеру, Джеймс по просьбе Павла легко и безболезненно перешел в английском письме на кириллицу, теперь вез с собой в Аляску часть тиража первой английской книги, отпечатанной правильным, пушкинским способом: «Тхе Лифе анд Адвентурес оф Робинсон Црусое».

Аэродром Святого Лазаря он тоже решил переименовать просто, в честь великого прадедушки Павла и в честь величайшего из Россиян Аляски – «Александр»: именно в царствие государя Александра Благословенного Александр Баранов превратил Ново-Архангельск в столицу Русской Америки, именно в царствие Павла Второго, прямого потомка Александра, Аляска обрела независимость. От президента Сальварсана, прослышавшего о переименовании аэродрома, были завезены в Ново-Архангельск саженцы александрины, прославленной паразитоядной лианы: ими обсадили аэродром по периметру, и чистота воздуха вполне обеспечилась. Спешно строился мост, которым столица соединялась с основным континентальным массивом, оттуда в недалеком будущем планировалось проложить скоростную трассу на город Баранов, бывший Анкоридж, и дальше, к Берингову проливу. А вот что строить через него, мост, плотину или туннель, сейчас решали в Санкт-Петербурге, в Институте Северных Территорий имени Государя Павла Первого. Митрополит Фотий Питовранов был извещен, что вскоре ему предстоит освятить либо плотину, либо мост, потому что постройка много времени не займет. Фотий не

спорил.

Но таймер звонил, и Джеймс понял, что уже пора. Он налил еще раз и себе и императору, не вставая, нагнулся через стол, и тихо проговорил:

– Выпьем, государь, за то, чтобы все это сошло нам с рук.

– Что – все? – не понял Павел.

– А все. Все, все. – Джеймс чокнулся с Павлом и опрокинул бокал.

Павел подумал над оригинальным тостом, оценил, присвоил авторство и тоже выпил. К парадному подъезду подали ЗИПы. Катя вышла из дальних покоев, цари – из-за стола, все наскоро погрузились и поехали в Шереметьево-2.

Джеймс, Катя, челядь, подарки, хозяйственные мелочи, декорации для постановки мольеровского «Мнимого больного» в переводе на русский язык героя Российской Америки Александра Ротчева, – так порекомендовал отметить Джеймсу приезд в Ново-Архангельск всезнающий Сбитнев. Ну, а после венчания и коронации, конечно, – «Жизнь за царя», хотя Глинку Павел не переносил, а Джеймс вообще никакой музыки не воспринимал. Но момент обязывал.

Уже на взлетной полосе Павел поцеловал Кате руку, привстал на цыпочки и обнял Джеймса. Расставаться было горько, однако необходимо.

– При первой же возможности... – не договорил император.

– И я к тебе при первой же возможности... – так же глотая слезы, ответил Джеймс. Остальные слова так и не произнеслись.

Лайнер оторвался от земли, император отбыл в Кремль. Катя, отстегнув ремни, все-таки попросила старшую фрейлину принести жемчужное платье – хотелось рассмотреть его поближе. Но заранее проинструктированная фрейлина-креолка отказала властным жестом, какому ее могла научить лишь одна женщина на свете.

– Нет, ваше величество. Под венец вы пойдете в другом платье.

– То есть как это? – неприятно удивилась Катя.

– Именно так. Жемчуг на свадьбе – слезы. Для вас приготовлен другой наряд. Личный подарок баронессы Шелковниковой. Думаю, он вас не огорчит.

Государь Павел не осведомлен о свадебных приметах. А Елена Эдуардовна дарит вам на свадьбу другое платье. Под цвет глаз и согласно рангу.

Из подсобки вынесли что-то непостижимое. Белое подвенечное платье было расшито столь же богато, как и подаренное Павлом, но не умирающим жемчугом, а дорогими, специально подобранными изумрудами. Елена летала в Страну Великого Адмирала, благо недалеко от Парамарибо и ее гасиенды в городе Корантейн, специально была там весной с инспекцией своих курилен, борделей и косметических фабрик, где запускали линии по промышленно-массовой выделке детской присыпки. За огранкой, за пошивом платья, за изготовлением гарнитура «серьги-браслет-ожерелье-перстни» Елена проследила лично.

– Это хороший камень, – наставляла Катю фрейлина, помогая в примерке, – укрепляет сердце, устраняет горести, помогает от бессонницы... От несчастной любви тоже помогает. И тот, кто носит изумруд, застрахован от страшных снов. Последнее, подумалось Кате, очень не лишнее. Со времен алтайской беды

страшные сны у нее бывали. Она поглядывала на дверь кабинета, в котором уединился Джеймс, и надеялась, что никакой страшный сон ей больше не страшен. В таком платье вправду не стыдно будет пойти под венец в храме Святого Германа Аляскинского, в столичном городе Ново-Архангельске в великом Американском Царстве Аляска.

Джеймс убедился, что дверь кабинета заперта, и открыл бутылку.

## Павел II Пригоршня власти Часть 13

*Евгений Витковский*

XIII

Если вы будете препираться, я вас поженю.

Клайв С. Льюис. Мерзейшая мощь

В самолете бывает. В поезде. В подводной лодке. А в лифте? А? Покажите, кто еще додумался. Нет, в лифте – самое удобное. Разве что немного тесновато, если ноги длинные.

Ноги у Форбса были очень длинные; потомок австралийских каторжников даже теперь, сгорбленный годами, с удовольствием проходил ежегодное медицинское переосвидетельствование и, подслушивая мысли врачей, снова радовался своим «шести с половиной футам». Но ноги – это ничего, подогнуть можно. Зато кабинет, оборудованный в лифте, оказался потрясающе удобен. Нажав комбинацию клавиш, взмывал или опускался Форбс на любой из почти двухсот уровней института аутентизации и оптимизации, – перебросив рычаг, перемещался в горизонтальные штольни-коридоры, распахивал опечатанные в пятидесятые годы двери, словом, доставлял сам себя вместе с кабинетом в любую лабораторию, ангар, зал, спальню, куда угодно, – кроме недоступных по условиям контракта личных покоев Луиджи Бустаманте. Плавающий сквозь Элберт лифт-кабинет Форбса был теперь благословением для Форбса и проклятием для его сотрудников, даже магов. Хотя не для всех. С трудом вылеченный ирокезами Мозес Цукерман, полностью, согласно требованиям своей религии, отрекшийся от ремесла мага, только и ждал визита Форбса. Ему хотелось поплакаться, а слушать его никто, кроме генерала, в себе сил не находил. Тяжкие он вел разговоры.

У Цукермана были серьезные неприятности. Пожелай он уволиться из института Форбса – он тут же получил бы и пенсию, и виллу с резником и кошерным поваром, и что угодно, хоть птицу-тройку, даже можно бы когонибудь из второстепенных магов приставить к нему вместо сиделки. Но старый «господин раввин» хотел того единственного, чего в США ему никто обеспечить не мог. А хотел Моисей Янкелевич Цукерман малого: чтобы пустили его в Москву к сестре, хоть ненадолго, хоть на месяц, хоть на неделю, он не имел права умирать, не повидавшись с единственной сестрой. Белла Яновна числилась там, в Москве, придворной дамой, занимала неплохое положение при дворе фаворитки императора Павла Второго – Антонины, а

после исчезновения фаворитки, вовремя и где надо поплакав, на пару с подругой-полячкой заведовала теперь секретным кабинетом дегустаций при Кулинарной академии в Кремле. Гостевой вызов брату Белла Яновна давно прислала, и службы США ничего не имели против, ибо Форбс давал гарантию, что сильно залеченный Цукерман уже никаких государственных тайн не разгласит, даже если того захочет. Беда скрывалась на другом конце: император Павел лично отказал брату Беллы Яновны во въездной визе. Новое прошение в русское посольство можно было подавать только через полгода, но ван Леннеп предупредил, что Павел не пустит Цукермана в Россию раньше, чем найдет свою фаворитку, слишком болезненно в его памяти были связаны эти женщины, и вообще-то на самом деле императору о прошениях Цукермана даже не докладывают, запреты налагает канцлер, берегущий покой самодержца. «А когда царь найдет фаворитку?..» – безнадежно спрашивал Форбс предиктора. Ван Леннеп прерывал связь. Он не хотел отвечать «никогда», следуя старому принципу, принятому в его семье – «никогда не говори «никогда». Ван Леннеп знал многое такое, что совершенно не желал никому сообщать: только так ведут себя настоящие ясновидящие, если они, впрочем, не круглые олухи, а таковых со времен Кассандры, увы, известно тоже очень много.

Необнаруживаемый кабинет Форбса плыл внутри стен сектора трансформации, где сейчас возились с новорожденным слоненком, возились те самые врачи-эзэсовцы, которых теперь нечем было занять, – после провала проекта «Гамельнская дудочка». Выманенные их усилиями из России несколько сотен остолопов топтали сейчас канадскую землю, а скоро ожидалось в штате Мэн. Хуже того, появились сведения, что на южный берег Австралии вышла группа бывших обитателей Брайтон-бич, протопавших через обе Америки на юг, потом по дну морскому в Антарктиду, они пересекли ее, опять ушли под воду и теперь вот досаждали Канберре. Дудочка давно отзвучала, но брайтонцы все равно рвались на север – в Индонезию, в Индокитай – и дальше. Можно бы на них плюнуть, но ведь эти гады, совершив первое в истории пешее путешествие вокруг света по меридиану, вернутся в Штаты обитателями Книги рекордов Гиннеса!.. А эту книгу генерал очень не любил. Он сам в ней значился как организатор рекордного количества неудачных покушений на жизнь президента Республики Сальварсан Хорхе Романьоса. Удачных пока не было, иначе не открывал бы в воскресенье у себя в столице чертов президент музей антикоммунистически-куриной графики. Одну курицу ехидный Романьос прислал в подарок Форбсу-покусителю, ее согласился повесить в своем кабинете только Кремона. Неизвестно, чего посетители пугались больше – яростной курицы или вампира.

Генерал впустую злился, и даже новосконструированный кабинет-лифт, позволяющий не принимать никого и никогда, кроме тех, кого сам захочешь видеть, утешал мало. Форбс хотел видеть только свой китайский садик, отпраздновать в нем любимый праздник, девятый день девятой луны, – но до тех пор еще ждать и ждать, а Бустаманте не вылезает из плохого настроения, и никак не заставишь его вызвать цветение лотосов, он даже обычную сливу сейчас может с тоски превратить в «кареглазую Сусанну», как уже было, после



чего ни единый оборотень – даже мальтийский вампир – не соглашался переступить порог частных покоев генерала, «Сусанна» оказалась самым вредным для работников сектора трансформации видом все той же проклятой рудбекии, которой они боятся пуще пресловутой серебряной пули. Пули этой, кстати, они не боятся вовсе, они сами эту легенду сочинили в допотопные времена, когда серебро дороже золота было – они потом серебро перепродавали. Они же, помнится, в Штатах ввели серебряный стандарт вместо золотого. Но польза от них Штатам есть, безусловно есть. Вон, полный сектор слонят, поросят, медвежат, и все родились на территории США – кроме деток Рампаля – значит, имеют право быть избранными в президенты. А он, Форбс-австралиец, этого права не имеет.

Генерал поднялся над уровнем сектора трансформации и уперся в дверь с несколькими иероглифами на ней. Форбс не сразу сообразил, что случайно приехал в гости к своему единственному медиуму. Совместив дверь лифта со входом в кабинет, генерал тяжело поднялся и постучался.

– Прошу, прошу, – послышалось из-за двери. Даже голос медиума звучал так, что было ясно: этот человек живет с закрытыми глазами.

Медиум приглашал. Генерал на плохо гнущихся ногах прошел в кабинет Ямагути, восьмигранное помещение, на удивление пустое, – ни свитков на стенах, ни окон в сад, – только сам хозяин за пустым письменным столом, кресло напротив, поблизости – малый журнальный столик, а на нем всего лишь простая ваза с тремя веточками цветущей сакуры. Летом! Похоже, отношения у медиума с магами были попроще, чем у начальства. Кто в последние дни июля мог заставить цвести вишню? Бустаманте? Альфандега? Тутуила? Наверняка не Цукерман, а прочим магам такое вообще не по силам. Надо полагать, работал здесь Тофаре Тутуила. Это у него страсть к цветам. Отмечал, небось, присоединение Самоа к Соединенным Штатам? А почему к начальству не зашел? Тут Форбс вспомнил, каково теперь отыскать начальника в его странствующем кабинете, отпустил самоанцу грех непочитания начальства, и тяжело сел против японца. Японец поменял с прошлой встречи очки, завел еще более толстые стекла – зрение его, видимо, ухудшилось. Но глаза его были закрыты, конечно.

– Добрый день, Ямагути-сан.

– Добрый день, Артур-сан.

– Смею ли предположить, Ямагути-сан, что вы пребываете в добром здравии и продолжаете проводить многозначительные собеседования с высокочтимыми духами?

– Разумеется, Артур-сан. Признаться, в последнее время я пристрастился к общению именно с такими духами, которые хранят мудрость, ныне утраченную в брэнном мире. Например, сегодня я имел собеседование с духом прославленного путешественника Марко Поло.

– Не тот ли это самый венецианец, – оживился генерал, – который в тринадцатом веке был губернатором провинции Южная Цянь, однако потом почему-то возвратился в Европу?

– Именно он, именно он. Я взял на себя смелость спросить его о причинах

такого недолжного, на первый взгляд, возвращения. Выяснилось, что прославленный путешественник обладает редким во все времена даром дальней предикции. Завтрашний день или будущий год всегда оставались для него неведомы, однако о грядущих веках он и в прежние времена, и в нынешние имел и имеет самое подробное представление. Именно поэтому он возвратился в Европу. Он предвидел, что, если бы он не возвратился, то жители Европы... Как это он выразился? Я не могу воспроизвести его речь точно, мы ведь беседовали с помощью китайского письменного языка камбун...

Приблизительно он сказал, что если бы он не возвратился, то в Европе – простите, Артур-сан – до сих пор вкушали бы буйабес при помощи сабо... Точней, министроне при помощи сандалий... Ах, генерал, я не могу точно передать его слов. Короче говоря, европейцы без него, быть может, до сих пор не открыли бы Америку.

«Уж как-нибудь и без него открыли бы», – подумал Форбс, а вслух продолжил: – О, сколь интересную беседу вы имели с почтенным путешественником и предиктором! Однако все же оставить пост губернатора провинции Южная Цянь... Но, возможно, предвидя столь далекие времена, путешественник поведал вам что-либо и о нашем ближнем будущем?

– Отнюдь нет. Вы неправильно поняли меня, Артур-сан. О нашем времени почтенного покойного путешественника следовало расспрашивать семьсот лет назад. А теперь он может рассказать – и я могу снова с ним связаться, расспросить подробней, если вы проявляете интерес к данному предмету – о том, что будет через семьсот лет...

«Сам знаю, что ничего хорошего», – мысленно буркнул Форбс. Он потерял всякий интерес к венецианцу, сбежавшему из Китая времен династии Цянь, и попробовал перевести разговор на другую тему.

– Возможно, Ямагути-сан, вы имели и другие собеседования?

– О да, о да. Мне вновь удалось получить краткое свидание с духом прославленного султана Хакима...

«Подлость! Кто кого теперь недостоин?» – подумал Форбс, но японец продолжал:

– Но высокородный султан не ответил на мои вопросы. Впрочем, на последний, касавшийся того, хорошо ли функционирует возглавляемый вами, генерал, институт, султан ответил.

– Что же он сказал, Ямагути-сан?

– Он сказал: «Ослиным копытом не сделаешь лошадиного следа». Потом он хлестнул своего загробного осла и ускакал, но мысль его кажется мне очень глубокой. В особенности потому, что нынешние арабы не сохранили ее в своей памяти и заняты проставлением именно таких следов на Ближнем Востоке.

– А не случилось ли вам почерпнуть что-либо из забытой древнекитайской мудрости? – не утерпел генерал.

– Разумеется, почтенный Артур-сан. Однажды возле некоего загробного колодца я встретил одного китайца времен династии Тан. Он стоял с загробным ведром, полным загробной воды, и никуда не шел. Я спросил его: куда же он собирается отнести свое ведро. И он ответил мне словами, исполненными

глубокой мудрости: «Туда понесу ведро с водой, где мне заварят чай». На этом наша беседа закончилась, но сколь же мудрой она была, Артур-сан, вы не находите?

Генерал не находил. Что с него взять – японец. Нужно было заглянуть в ведро, быть может, этот китаец поймал в него луну!.. Однако мысль-то вполне древнекитайская, ее стоит запомнить. Нечего ведра таскать туда, где тебе и чаю-то не предложат.

– А все же, Ямагути-сан, что-нибудь о нашем времени говорят в загробном мире?

– Немного, генерал, уверяю вас, совсем немного. Высокочтимые духи рассматривают наше время как уже прошедшее через эпоху перемен и, следовательно, не особенно интересное. Один из древнерусских мудрецов, совершенно не известный в современной России, когда я спросил его, нравится ли ему, что уже в трех государствах русский язык стал главным официальным, ответил мне такими словами: «Два-то сапога пара, да три-то – не троица!» Мысль эта кажется мне очень глубокой и тем более достойной внимания, что нынешним русским неизвестна.

– Возможно ли, Ямагути-сан, что вы имели собеседование также и с нашим покойным предиктором, досточтимым мистером Уолласом?

– Отнюдь нет. Однако мне удалось встретиться с не менее авторитетным предиктором, прославленным в Древней Греции мистером Тиресием. С ним мне удалось побеседовать свободно: в силу двуполости мистера Тиресия загробные, весьма, как бы это выразиться по-английски, пуритански настроенные обитатели избегают с ним общаться, и господин Тиресий скучает.

Глубокоуважаемый господин Тиресий много говорил о таких государствах, как Америка и Россия, но, признаться, смысл его речей остался для меня совершенно непонятен.

«Пообщаешься с ван Леннепом – научишься понимать», – подумал Форбс, решив закинуть удочку последний раз:

– Возможно, какие-либо из его непонятных предсказаний все же запомнились вам, почтеннейший Ямагути-сан?

– Не уверен. Впрочем, вот: «Америка получила в процессе реставрации императорской власти в России в девять раз больше наслаждения, чем Россия, и будет его получать и вновь, и вновь, и вновь». Я этого не ощущаю, генерал. А вы?

– Речи предикторов темны, Ямагути-сан. Возможно, это что-либо и значит. Может быть, с нами произошло нечто, что почтенный Тиресий именуется наслаждением, а мы этого и не заметили? Впрочем, любезнейший Ямагути-сан, не смею вас более отвлекать.

Японец не встал и, уж само собой, не открыл глаз, но сделал какой-то жест, который вполне можно было счесть прощальным. Форбс вернулся в блуждающий кабинет, опустился на полтора этажа – чтобы уж вовсе никто к нему пробиться не мог, и вызвал на дисплей данные о том, кто такой Тиресий. Выяснилось – вправду предиктор, очень древний, был некоторое время женщиной, потом опять стал мужчиной, так что, вероятней всего, происходил

из оборотней. По какой-то легенде разрешил спор между Зевсом и Герой о том, кто получает большее наслаждение при соитии – мужчина или женщина. Заявил, что женщина испытывает наслаждение... в девять раз более сильное?.. А? Как был сволочью древнегреческой, так и теперь остался, Порфириос проклятый весь в него, небось, прямой потомок... Все только и знают, что издеваться над старым генералом. О Небо, когда же можно будет возвратиться в Китай, хотя бы в свой, домашний? Форбс открыл русский перевод книги немецкого писателя с непроизносимой фамилией, стал читать. Немецкого он не знал, но эти «Письма в древний Китай» были словно про него, про Форбса, написаны.

С полчаса генерал наслаждался филигранными, истинно конфуцианскими мыслями героя книги, однако дальше читать не смог. В этом году ему исполнилось семьдесят пять лет. А ведь перешагнув за шестьдесят девять европейских лет, человек проживает те самые десять тысяч, и еще десять тысяч, и еще пять тысяч дней, которые, по обычному китайскому счету, и составляют весь отпущенный человеку век. Он, Форбс, жил сейчас уже двадцать восьмую тысячу дней. Небо оказалось к нему благосклонно. Предикторы в древнем Китае были прямолинейны, так и говорили в лицо человеку, что вот, мол, единственное благо, на которое можете рассчитывать, – это семьдесят или восемьдесят лет жизни, а больше не будет вам ничего хорошего, экзаменов не сдадите, женитесь неудачно, наследство уплывет из рук, и так далее. Ну, если пользоваться такими мерками, то некоторые блага сверх минимума Форбс от Неба уже получил, и даже, быть может, умрет еще не завтра, во всяком случае, ван Леннеп пока не сообщал.

Если считать давным-давно полученные генеральские погоны сдачей экзамена, то можно предположить, что он сдан, не сюцай он какой-нибудь жалкий, а, скажем, гуань... второго ранга? Третьего? Был ли вообще такой чин? Впрочем, почему это его экзамен – не китайский? Макартур заметил телепат-майора еще в Корее, с тех пор для него началось возвышение, а что есть Корея, как не далекая провинция Китая? Не подумать бы такого при телепатах-корейцах. Форбс перебрал в уме кадры и с облегчением констатировал, что таких в институте, похоже, вообще нет. Есть ценный кореец Юн, безвоздушный левитатор, в отпуске каждый год по две недели на Луне торчит, зелья разные толчет. А варят их уже здесь: другой кореец, очень старый, с дочкой и с внучкой, в основном варят любовные напитки, чтоб не потерять квалификацию, а чтоб не сидеть на шее у американского налогоплательщика – выполняют мелкие частные заказы. Есть еще северокорейский шпион в секретарях у радиоактивного мага, ну, тот не только чужих мыслей не читает, он и своих не понимает.

А прочие блага? Чин-то все равно большой, как ни мерь. Наследство давно получил и все истратил на китайский антиквариат. Вот разве что женитьба не состоялась? Бывает ли вообще неженатый китаец? Разве что если монах. Генерал с полным правом мог считать себя монахом – при таком-то здоровенном горном монастыре. Значит, оснований жаловаться в принципе нет никаких. Ох... Почему же тогда, ну почему же вся работа больше чем за

тридцать лет только и привела к потере Штатами Аляски, утрате контроля над русским правительством, общему упадку масонства, возникновению Гренландской Империи, исчезновению с карты независимой Мальты, независимой Исландии, появлению метастазной Островной Федерации, дикому усилению латиноамериканского влияния во всем мире, и, наконец, превращению собственного лучшего агента в православного царя на бывшей американской земле!

История с Джеймсом была для генерала самой болезненной. Он заставил себя посмотреть на экране прямую трансляцию коронации Иоакима и Екатерины в Ново-Архангельске, выслушать все возгласы митрополита Барановского и Коцебуйского Фоки, обозреть подарки России, которые вручал бывшему Джеймсу чрезвычайный и полномочный посол, светлейший князь Братеев-Тайнинский, а потом с еще большей болью смотреть на подарки, которые подносил временный поверенный в делах республики Сальварсан Доместико Долметчер, чья аккредитация, похоже, распространялась во все концы международной кулинарной книги. О потере Аляски ван Леннеп предупреждал давным-давно, но говорил и о том, что Штаты не должны трепыхаться по этому поводу, иначе дружественной Канаде предстоит превращение в две-три гренландских провинции; потом та же ледовая держава аннексирует и Аляску тоже, построит мост через Берингов пролив... Ой, ой, лучше не продолжать.

Машинально генерал привел лифт в медленное движение, направил его куда-то вниз, не имея в виду никакой цели, и вернулся к насущным делам. По бюллетеню ван Леннепа в пятнадцать тридцать по колорадскому времени – генерал сверил часы – Форбс должен был затребовать исчерпывающее досье на южноафриканского предиктора Класа дю Тойта. Генерал набрал код – и таковое затребовал. Досье оказалось наивысшей степени секретности, поэтому даже не существовало в памяти компьютера. О’Харе придется сходить в архив самому, генерал отдал приказ. Оставалось ждать не меньше получаса. О’Хара аккуратный, но нерасторопный.

Секретарь всунул в пневматическое окошко ветхую, в каких-то советских тесемках папку. Генерал нехотя развернул ее и стал читать.

«ДЮ ТОЙТ, КЛАС. Родился 1 июня 1956 г. в Москве. Подлинное имя – Дуликов Фадей Ивисталович. Отец – Ивистал Максимович Дуликов, приемный сын мещанина г. Почепа Максима Евплатиевича Дуликова; биологический отец – Романов Никита Алексеевич, р. 1902...»

Генерал был не робкого десятка, но сейчас ему показалось, что кабинет-лифт спускается прямо в преисподнюю. Пусть незаконным образом, пусть через загулявшую в Нижнеблагодатском мамашу покойного маршала Ивистала, но южноафриканский предиктор доводился сношарю великому князю Никите Алексеевичу внуком, а императору Павлу Второму – троюродным братом! Куда смотрел сектор генеалогии? Тут Форбс осознал, что сектор генеалогии смотрел куда угодно, только не в эту папку: для всех, кроме президента, самого генерала и наплевателей вампира Кремоны, по совместительству – еще по одному – в соответствующем облике числящегося хранителем этих немногих папок с грифом «не выдавать никому, никогда и ни при каких обстоятельствах»,

– эти папки просто не существовали. С теми же, кто досье заполнял, мог бы нынче побеседовать, пожалуй, один Ямагути. Ладно, что там еще?

«...через Малави и Замбию бежал в Южно-Африканскую Республику, где получил пожизненную должность предиктора при правительстве, которое возглавлял в то время...»

Вот уж бурское правительство интересовало Форбса меньше всего. Почему же никто и никогда не вывел генерала на этого лишнего Романова? Ответ явился сам собой: у великого князя таких Романовых полная деревня, да и в соседних уездах... м-м... тоже есть. Это да, но как-никак предиктор! Вообще-то в США знали, что, кроме покойного вермонтского лесоруба и ныне здравствующего голландца, на белом свете вправду есть еще предиктор-другой, но кто ж принимал в расчет олуха Абрикосова и эту татарскую бабу, про которую известно было вполне достоверно, что она никогда и нигде не даст себя поймать? А предиктор в Южном полушарии – он-то кому нужен? У ЮАР всегда было столько своих проблем, что сования в дела Северного оттуда никто не ждал. Да ведь он – Форбс констатировал с немалым удивлением – и не суется, кажется? И никогда не совался?

«Бюллетеней предиктор Клас дю Тойт, он же Фадей Дуликов, он же Фадей Романов, не издает, отвечает лишь на вопросы определенного круга лиц, чей список утвержден лично президентом Хертцогом. Изредка дает также частные консультации по малозначительным вопросам. Холост, не пьет, изредка курит южноафриканский наркотик – даггу. Раньше занимался спортом – отливным серфингом, при котором волна относит спортсмена в море, но это запрещено ему лично Президентом. Любимое занятие: отдых в и процедуры спа по методу доктора Цыбакова. Любимая пища: пшенная каша с молоком. Любимый цвет...»

Да ну его к дьяволу, любимый цвет, если, сволочь, не пьет! Давно бы поймался, если б налил себе виски хоть на два пальца!

Тут генерал взял себя в руки. Если это досье – сверхсекретное, а очередной Романов валяется и загорает на другой стороне земного шара, притом не рыпается, в отличие от своего строптивного сводного дяди, если любимое его занятие – жрать эту непонятную кашу – чего тогда волноваться? Генерал все же не выдержал и вызвал ван Леннепа. Экран не загорался, чертов голландец опять надел колпачки на все камеры.

– Да, мистер Форбс, вы совершенно правы, когда не тревожитесь по поводу предиктора Класа дю Тойта. Он не имеет ни малейшего намерения вмешиваться в судьбу Соединенных Штатов и ни в чью судьбу вообще. Возникшее у вас желание ознакомиться с его личным делом продиктовано разумным беспокойством о судьбах нашей с вами великой приемной родины. А сейчас попрошу оставить меня в покое, если вы, генерал, полагаете, что я стою на голове, то вы в корне заблуждаетесь...

Форбс в сердцах ударил по клавише связи. Лучше, понятно, знать, чем не знать, но какого черта знать, если от этого одни волнения? Хотя, хотя, хотя... Чертов голландец ничего не делает так просто. Иди знай, что он там пропишет в бюллетене на август, июль уже на исходе, а зеленой тетрадки от предиктора все нет и нет! Дрожащей рукой вытащил Форбс из ящика стола плоскую флягу и

отхлебнул.

«ЧТО ПЬЕТЕ?» – привычно вломился в оба мозговых полушария бесценный голос.

«ВСЕ ТО ЖЕ...» – мысленно вздохнул генерал.

Генеральская фляжка неизменно содержала один и тот же скучный для Джексона кентуккский бурбон, и пьяный телепат не особенно досаждал начальству. Но Форбс заметил, что стал пить куда больше прежнего, хотя ничего китайского в кукурузном виски нет. Бурбон успокаивал нервы, и только. Объективная реальность, окружавшая генерала, столь же была ему неприятна, как вкус напитка с псевдомонархическим названием. Все, что тонуло в напитке, из него же плыло вновь в генеральскую голову и плавало в ней по кругу, будто одинокая Несси в озере Лох-Несс. Генерал знал, что его дело – стоять на страже атлантической демократии. Западной! Никакой другой в мире просто нет, ни социалистической, ни тоталитарной, ни криминальной. А тут объявляется учительница из русской провинции, которого сам же генерал и посадил на престол, и заявляет, что есть только одна демократия, абсолютная, та, что нынче на Руси. Как это он сказал в речи на прошлой неделе? «В России демократ каждый, с кем я разговариваю, и ровно на то время, покуда я разговариваю с ним». Где-то он эту мысль, конечно, украл, на то он и историк, но кому это интересно? Для всего мира теперь эта фраза – символ равенства и демократии в России. Еще хорошо, что у нынешнего президента крепкие нервы. Ну, масон все-таки. Знать бы еще, кто надоумил его послать Джеймсу поздравительную телеграмму раньше, чем это сделала Россия? Генерал поворожил тяжкими плавниками мыслей и вспомнил, что такое предсказание было у ван Леннепа еще в майском бюллетене. Вот, значит, отчего президент такой умный. И все мы такие умные. И сам я такой умный. Один ван Леннеп знает, отчего это мы все – и сразу! – такие умные. Генерал попробовал вызвать предиктора, но тот не отвечал.

Имелась еще и дополнительная головная боль, и от нее спасения не было вовсе. ОЗОН вообще-то мало интересовала генерала, но сокращение числа членов в этой неприятной организации приобрело масштабы просто угрожающие. Хрен с ними, с Мальтой, с Исландией, да и с Аляской, которая в ОЗОН никогда и не состояла. Но проклятая Федерация Клиппертон-и-Кергелен, выйдя из ОЗОН, продолжает заглатывать все новых членов. Вон, Остров Святой Елены только-только получил независимость – и без передышки стал провинцией Федерации. Даже Скалы Святого Павла, торчащие посреди Атлантического Океана, на которых населения-то никакого нет, одни птицы да яйца, так вот, эти скалы с яйцами – тоже провинция Федерации. столица – Бельмонте, население – два человека! Ветеран бревно-плотовой медицины уже слетал туда, привез кошелку яиц в подарок императору. Станюкевич числился в Федерации министром иностранных дел, гражданство тоже имел островное – Павел разрешил. Государь был на редкость терпим к Федерации. Узнав, что Хур и его секвойя плотно застряли в Ладого, приказал великому путешественнику причалить к острову Валаам, а сам остров сдал ему в аренду в обмен на эксклюзивное право издания его мемуарных книг. Потом разрешил в близлежащей Сортавале

открыть консульство Федерации, и не возражал, когда Хур назначил туда консулом того самого молодого человека, за которым еще по Санкт-Петербургу тянулось дело о ломбардном геноциде. Местные жители Сортавалы на всякий случай запретили всем своим женщинам старше сорока лет выходить на улицу иначе как в сопровождении трех вооруженных мужчин, не ровен час, на консула опять припадок старушконенавистничества накатит. Пусть лучше рыбок в Ладоге разводит, сказывают, там хорошо пинагор прижился.

Государственного языка Федерация из-за разбросанности своих территорий не завела, однако завела язык межнационального общения, русский: Хур буквально вымолил у императора право в течение девяти лет использовать его неправильным образом, то есть с помощью латиницы: ну не давались Хуру эти самые кривые буквы, и все тут. Не можешь – ладно, вот тебе девятисто девять лет форы: авось, за это время вы зубришь. Валаам стал временной столицей Федерации, между Сортавалой и Валаамом ходили ежечасные катера на подводных крыльях, на которых спешили к Хуру и от Хура фиджийцы, таитяне, огнеземельцы, тасманийцы, маврикийцы, еще черт их знает кто, даже, к ужасу Франции, уроженцы острова Ре в Бискайском заливе, – словом, все, кроме корсиканцев, коим въезд был запрещен от греха подальше. В будущую навигацию Павел обещал расширить Свирь, тогда уж и сам Хур сможет в Москву приплыть, ибо Софийская набережная против Кремля – набережная самого настоящего острова, образованного на Москва-реке Обводным каналом. Пристань государь уже приказал соорудить и водрузить над ней флаг Федерации: синее полотнище с множеством островов и секвойей посередине. Причал загородил английское посольство, но там уж и протестовать отвыкли.

Муторно было генералу. Даже не только от наплодившихся друзей России, но и от тех, кто в принципе был против Павла. Резко против императора, но заодно и против всех остальных выступил Нобелевский лауреат, писатель-скульптор Алексей Пушечников. Он издал тонкую брошюрку с полемическим заглавием «Над глупостью во лжи!» – и раздолбал, вернее, думал, что раздолбал все мыслимые общественные формации, от «рабовладельческого строя» до «абсолютной демократии», воимператорившейся нынче в России. Странно, но ни единым словом он не обидел в своем сочинении Сальварсан. А ведь числился его почетным гражданином. Уж не собрался ли хитрый древорез-камнеточек под крылышко к Святому Иакову Шапиро? Сегодня, однако, в секретной сводке новостей мелькнуло сообщение, что Императорская Академия Изящной Словестности России, бывший Союз писателей СССР, присудила Пушечникову за эту брошюру Пушкинскую премию. Генерал снова и снова колотил по рычагу, пытаясь вытащить на связь предиктора ван Леннепа. Но экран молчал, телефон безмолвствовал.

Генералу отчаянно хотелось, чтобы всего этого не было, чтобы все это оказалось сном, досужим вымыслом бульварного сочинялы. К концу фляжки он уже горячо осуждал свою ошибку, а именно реставрацию династии Бурбонов, потом спохватывался, принимался ругать грубый бурбон; водку «Романофф» он попробовал на днях, но это было рвотное. Нехорошие люди все эти Бурбоны,



Романовы, Бернадотты, Найплы, Безвредныхи и прочие короли и императоры. Генеральский лифт плыл сквозь этажи к родимой китайской квартире: лишь там, завернувшись в халат в любимом бамбуковом кресле, он сможет подремать вместе с аистом, даже, возможно, уснуть, даже увидеть сны, где Кун-цзы и Лао-цзы вступят в рай будды Амитабы, и не будут больше рвать китайскую душу тремя великими, но взаимоисключающими учениями, и где найдется, быть может, место на цветке для мотылька, задремавшего и увидевшего во сне, что он – американский генерал!..

Однако события, приведшие к отключению связи с предиктором Герритом ван Леннепом, стали разворачиваться задолго до описанной беседы генерала с медиумом, – поэтому возвращение к истокам для повествования неизбежно. Но и без того читатель давно заметил: каждое ружье, появляющееся на стене в первом действии, в третьем неизбежно будет продано с аукциона, повиснет на другой стене, – вот и готова новая декорация для другой пьесы.

Дело, конечно, не в ружье, дело, как всегда, в женщине. Речь идет о Луизе Гаспарини, единственной женщине из числа сторонниц великой княгини Александры Романовой, отказавшейся плыть на остров Буян с карательными намерениями; о простой женщине. Хотя просто женщиной Луиза была только в родной Генуе, откуда уехать пришлось года четыре тому назад, ибо из-за неловкой истории она стала женщиной вовсе не просто.

Она родилась в день, когда красные русские сделали вид, что грядущий юбилей их октябрьского переворота – большое событие, которое обязаны отмечать все и во всем мире, и запустили первый искусственный спутник. К счастью, родители ее отнюдь не были коммунистами, про отца, сволочь эдакую, она толком ничего не знала, а мать принадлежала к знаменитому клану зрителей, ну, если угодно, то уборщиков, но ведь и гидов тоже, Стальено, прославленного кладбища Кампо Санто – чуть не самого знаменитого в Италии из числа тех, что носят именно такое название. Любой член клана Гаспарини даже во время лунного затмения кого угодно готов был отвести к знаменитому надгробию разносчицы бубликов, чуть ли не нищенки, сумевшей, однако, за всю жизнь накопить денег на такое знаменитое для себя надгробие, что от него и генуэзцам-гидам тоже иной раз лира-другая перепадала. Луизу воспитывали в огромной семье прабабушки, той самой, к которой в гости однажды приехал знаменитый армянский певец и спел ей, прабабушке, специально для нее по-французски написанную песню «Ла мама». Прабабушка на Кампо Санто давно не выходила, но полдюжины ее дочек, не говоря о сыновьях, у которых тоже семьи были дай Бог каждому доброму католику, берегли покой пожилой дамы. Луиза получила имя прабабушки, по одному по этому замарашкой в доме не считалась.

Ей простили даже то, что работать она не захотела нигде, кроме как за стойкой бара: бар был в двух шагах от Кампо Санто, куда просто неприлично было не прийти, чтобы поклониться священным могилам Джакометти и Мадзини. На мужчин она смотрела как любая нормальная генуэзка: все сволочи, но свои лучше чужих. Луиза не любила почти всех иностранцев, почти всех южных итальянцев, северных тоже не особенно, генуэзцев считала получше, однако многих все-таки не любила. Замуж в двадцать один – или поздно, или рано, это

ей мать давно внушила. И поэтому, когда прямо в баре совершенно ей не знакомый, с противными тонкими усиками и мерзким южным выговором мужчина, выпив всего-то ничего, вгрызся в Луизу глазками, а потом, без паузы, сделал предложение руки и сердца, она только ухмыльнулась. Знаем мы эти предложения. Нашел что предлагать.

Южанин нехорошо сверкнул испанскими глазами, и бутылка джина в руке Луизы превратилась в огромный букет белых лилий. Луиза равнодушно отложила лилии на край стойки, взяла другую бутылку и обслужила пожилую пару. Американцы, кажется, никаких лилий не заметили, и не удивительно: пили они по восьмому разу. Южанин щелкнул пальцами, и Луиза оказалась в подвенечном платье. Американцам опять-таки было наплевать, а Луиза рассердилась: в такой униформе стоять за стойкой невыносимо. Луиза убежала переодеться. Несколько лет назад побывали в моде бабушкины ночные рубашки, потом – медицинские халаты. Но – подвенечное платье? В баре?

Не успела Луиза появиться у стойки в чем-то другом, как южанин снова щелкнул пальцами. На этот раз на девушке не оказалось вообще ничего. Ну, этим кого удивишь, в баре особенно. Луиза бросила фокуснику: «Шутка на три миллиона» – имея в виду три миллиона сильно девальвированных итальянских лир, на которые он ее нагрел, воруя одежду. Южанин хищно ухмыльнулся и прямо из рукава вытряхнул десятка два золотых монет очень старинного вида. Луиза смахнула их в кассу, подала пожилой паре две порции и задрапировалась в занавеску.

Южанин впадал в ярость. Он швырял на стойку горсти перстней и браслетов с разноцветными стекляшками, – Луиза настоящих драгоценностей тогда еще не отличала, – но фантазии проявлял мало. Вывел он из себя Луизу только тогда, когда очередная бутылка джина в ее руках превратилась в огромный флакон «Мадам Роша» – а в это время Луиза наливала американцам одиннадцатые порции, притом лила как раз эти духи! Луиза в сердцах грохнула бутылку об лоб наглого пристава, рассадилась ему бровь, хотя и не слишком. Гость в ярости ударил левым кулаком в правую ладонь – и все стало, как было. «Ты меня еще вспомнишь, вспомнишь, вспомнишь!» – выкрикнул гость с противным акцентом – и вылетел из бара. Луиза и вообще забыла бы об этом случае, но под утро, когда бар закрывался, хозяин привычно погладил ее по запястью. Тут же Луизу как током ударило: где-то под трусиками ее обхватило ледяное железо. Она мигом побежала в туалет, осмотрела себя и увидела, что прямо под трусики на нее надето какое-то диковинное приспособление, наподобие тех же трусиков, но стальное, кованое, с прорезями в нужных местах, увы, очень маленькими. Красивая оказалась штука, но, вот беда, не расстегивалась. На Луизе был наглухо запаян пояс невинности.

Через полчаса, впрочем, он исчез, но перепуганная Луиза так и не заснула в ту ночь. Она боялась возвращения жуткой игрушки и не зря боялась. При первом же, совсем случайном прикосновении мужчины к ней, пояс опять вернулся. Опять исчез через полчаса. И опять появился. И опять исчез. И опять появился. И опять...

Луиза помчалась к теще-прабабушке. Вообще-то к почти столетней Маме мало

кого пускали, но правнучка Луиза своего добила. Пояс был еще на ней, и она спешно предъявила его старухе, почти слепой, возлежавшей в лоджии в плетеном кресле.

– Ты никого не обидела, девочка? – с тревогой спросила прабабушка. – Ты не отказала ли кому-нибудь, кто очень сильно просил тебя выйти за него замуж?

– Так и было, Мама... – растерянно ответила Луиза. – Но он был такой грубый, неаполитанец, наверное, и совсем мне не понравился, я не люблю мужчин с тонкими усиками...

Старуха тяжело подняла морщинистую руку и перекрестила Луизу. Она была очень огорчена, по загрубевшим морщинам бежали слезы.

– Бедная девочка, ты обидела великого Бустаманте!

– Кто это такой, Мама? – совсем испуганно произнесла Луиза и привздержнула юбку: стальной пояс как раз испарился.

– Это... Это – великий Луиджи Бустаманте! Чему вас учат на Кампо Санто?

Мне он никогда ничего не предлагал... – старуха горестно отвернулась, но говорить продолжала: – Увы, ты не первая. Бустаманте так редко просит девушку стать его невестой! Ведь в его власти было просто приказать тебе его любить – и ты, дурочка, любила бы его, сколько бы он захотел, а потом – ничего не помнила. Такое было с Терезой... И с этой, с испанской еврейкой... Ну, неважно, ее как-то тоже звали. А если он предлагает выйти замуж – значит, он хочет, чтобы ты сама любила его! Без волшебства! Слышишь, сама! Он мог бы превратить тебя в акулу, в змею, но он всегда карает одинаково...

– Так что же будет теперь? – спросила Луиза убитым голосом и села на пол у ног старухи.

– Будет как всегда... Ни один мужчина не сможет стать твоим возлюбленным, от любого прикосновения мужчины на тебе будет появляться этот железный пояс, а в нем, сама понимаешь... Рыцари-госпитальеры утопили этот пояс в море у берегов Родоса, епископ прочел над ним все нужные проклятия – а Бустаманте снова достал его. Теперь пояс твой.

– А если... – Луиза густо покраснела.

– Даже не пытайся, – ответила многоопытная старуха. – Тогда дополнительно к поясу на тебе начнет появляться шлем с опущенным забралом... Такое было с Франческой... Забудь даже думать.

– Так что же?..

– Ничего, – вздохнула старуха, – от судьбы и от Бустаманте еще никому не удавалось уйти. Так и будешь ты в этом поясе, покуда не полюбишь Бустаманте всем сердцем.

– Но мне совсем не нравится этот Бустаманте! Он совсем не в моем вкусе!

– Бедная Nicoletta говорила буквально то же самое... Я устала, девочка. Мой последний совет: не ходи с этой бедой к святым отцам. На костре тебя, конечно, не сожгут, но поймут неправильно. – Старуха дала понять, что хотела бы вздремнуть. Луиза, убитая такими новостями, ушла к себе на шестой этаж. На лестнице нарочно дотронулась до спины младшего брата, спавшего поперек ступеней, ощутила резкий холод на бедрах – и отправилась рассматривать железное украшение и так просто, и при помощи зеркала.

Подробный очерк дальнейших бед Луизы приводить не стоит, он вызвал бы слишком глубокое сострадание у читателя, а чего Луиза терпеть не могла больше всего, так это когда ее жалели. С благословения прабабушки она взяла в баре расчет, заняла у родичей все, что они могли отдать, и покинула Геную. Она перебралась в Милан, потом в Турин, жила в Марселе, в Париже, в Руане; отовсюду приходилось уезжать, как только ее непреодолимая боязнь мужчин начинала вызывать подозрения. Слух про «девушку в железе» пошел довольно громкий, не каждый же мужчина начинает приставания с прикосновения к руке. Луиза могла бы стать лесбиянкой, даже кое-что попробовала, – нет, это было не для нее. Она решила стать феминисткой: пересекла Ла-Манш и водворилась в Лондоне под наиболее широкое из феминистских крыльев – под крыло к Александре Романовой. Вообще-то серьезные феминистки с Александрой не желали даже дела иметь: эти гнусные предательницы женского дела считали, к примеру, что три четверти женщин в правительстве – вполне достаточно. Романова к таким полумерам относилась с презрением. Луиза ей понравилась: и тем, что женщина, и тем, что итальянка, и тем, что мужики ей нужны, как зебра на дерби. Луиза получила звание руководительницы итальянской секции, офис, двухкомнатную квартиру и скромное ежемесячное содержание.

Так жить было уже легче, но именно так было жить с каждым днем все невозможней и невозможней. Луиза, научившись болтать на нормальном английском языке – а не на том, на котором болтают в генуэзских барах, – стала захаживать к гадалкам. Везде ей почему-то предсказывали семейное счастье, и она, едва расплатившись, к такой гадалке больше не захаживала. Семейное счастье с неаполитанским волшебником было для нее хуже пояса невинности, а в поясе невинности о семейном счастье даже слышать смешно.

Однажды забрела она к ветхому старцу, гадавшему исключительно по темной воде в туманной чаше. Старец долго глядел в чашу, потом вернул Луизе все деньги, по уговору заплаченные вперед, – кроме пяти фунтов «за вход», как и было указано в рекламе, – и сказал, что в Лондоне Луизе никто не поможет.

– Позвольте дать вам на прощание бесплатный совет. Обратитесь к мисс Норман. Правда, она живет в Портленде, но ваш случай таков, что в Соединенном Королевстве, пожалуй, вам вообще не к кому обратиться, кроме нее.

Портленд располагался не близко, почти в Корнуэльсе, но Луиза плюнула, одолжила у тетки Александры дурную «тойоту» – и махнула к морю, в Портленд. Адрес мисс Норман ей дал там первый же полицейский, но проводил тем же взглядом, которым провожают на плаху. Впрочем, одно дело – доехать, другое – достучаться к мисс. Та была несомненно дома, часы приемные обозначены на вывеске, но не открывала добрый час. Однако терпение Луизы было сейчас столь же незыблемо, как и пояс невинности, коего на ней сейчас, впрочем, не было. Гадалка, относительно молодая особа, все же дверь отворила, без ворчания и без объяснений – а также и без задатка – провела Луизу на второй этаж. В комнате для гадания Луизу поразила необычная даже для людей гадальной профессии птица – восседавший на подоконнике ярко-лазурный, исключительно красивый попугай.

– Non, rien de rien... – бесцеремонно заявил попугай.

– Не тревожься, и тебе перепадет. Это он боится, что ему о вашем визите жалеть придется, – сказала мисс Норман уже гостье, но попугай не унимался:

– Non, je ne regrette rien!

– Ну и правильно, что не жалеешь. И не пожалеешь. Давайте, дорогая, прямо к делу. А то этого красавца мне клиент из Люксембурга подарил, он за ним в Россию ездил... Это – гиацинтовый ара! Обожает орать по-французски все, в чем есть звук... Ну, вы слышали.

Мисс Норман достала колоду карт, даже не таро, а простых, трижды заставила Луизу ее перетасовать, а потом быстро разбросала на столе широким веером. Середина оставалась пустой, в одном верхнем углу Луиза увидела даму бубен, признала в ней себя, в другом углу увидела осточертевшего короля червей – надо полагать, Бустаманте; приготовилась рассердиться, но гадалка жестом приказала молчать. Карты говорили ей что-то иное, чем всем иным людям.

Мисс Норман явно интересовали два других короля – трефовый и пиковый. Она перенесла их в середину расклада. Карты сами по себе задергались, им было там неуютно.

– Лежать! – прикрикнула мисс Норман на королей, будто на расшалившихся щенков. Короли замерли. Мисс Норман стала водить над ними рукой с растопыренными пальцами. Трефовый король пополз влево, пиковый завертелся на месте. Гадалка удовлетворенно кивнула и сказала: – Теперь не оборачивайтесь... Протяните руку, у вас за спиной ваза с фруктами... Не оборачивайтесь, я же сказала! Возьмите первый, какой попадется, и дайте мне.

Луиза и вправду не обернулась, но просьбу гадалки выполнила – передала ей крупный, красноватый апельсин. Гадалка положила его между королями, апельсин задрожал, повернулся еще раз и очень быстро пришел в бешеное вращение. Длилось оно довольно долго, апельсин менял цвет, от него понемногу шел дым. Луиза размышляла, что ж такое на вкус – печеный апельсин. Апельсин, однако, скоро унялся, вращение прекратил, – Луиза, боясь надевать при гадалке контактные линзы, плохо видела, за линзы ее уже не раз ругали, – мол, отвлекает, – но и она могла сейчас понять, что предмет на столе – никакой не апельсин. Гадалка взяла его в руки. Это был миниатюрный глобус.

Мисс Норман несколько раз перебросила глобус-апельсин с ладони на ладонь, – может быть, он и вправду был горячим. Потом достала фруктовый ножичек и отсекла ему верхушку. Внутри это был все-таки апельсин, но гадалку интересовала наружная сторона. Карты на столе переместились сами по себе: трефовый король уполз в сторону, как явно лишний, а пиковый, ковыляя с угла на угол, переместился под червонного и там замер, будто по струнке. Гадалка надела очки: глобус был маловат и для нее.

– Сорок четвертая параллель северной широты... – пробормотала она. – Вы из Генуи?

– И я, и Колумб, – привычно отшутилась Луиза.

– Да, очень, очень верно. Кто вас надоумил приехать ко мне?

Луиза с трудом вспомнила имя специалиста по темной воде в тумане.

– Да, старик плох, очень плох, если сам не видит. Что ж, ему теперь в пору

погоду предсказывать, а не всерьез работать. Ясно же обозначено: сорок четвертая параллель, первый и второй двенадцатые дома пустые... Вы что, и вправду категорически против замужества?

– Я... – Луиза покраснела не меньше, чем в тот первый раз, в лоджии у прабабушки. – Я не хочу замуж за того, кто этого требует!

– А не надо, не надо. Но получается так, что выбор остается все-таки за вами, это сделать можно, а замуж, дорогая, пойти придется.

– Выбор? – задыхнулась Луиза.

– Да вот он, ваш выбор! – гадалка постучала по какому-то месту на апельсине.

– Придется вам, дорогая, отправиться в Портленд, а дальше добираться как сумеете, там близко.

– Я же в Портленде!

Мисс Норман посмотрела на Луизу как на полную дуру.

– В Портленд! Штат Орегон! Оттуда – рукой подать до Уилламетской долины, ближе к Каскадным горам. Там живет главный предсказатель НАТО.

Луиза из красной стала белой: тетка Александра боролась как за полный роспуск НАТО, так – одновременно – и за немедленную передачу руководства этой организации женщинам.

– А... А как я к нему попаду?

– Ваше дело. Мистер ван Леннеп вообще-то континентальный европеец, но гражданин Соединенных Штатов. Существует мнение, что он – самый сильный предсказатель мира, хотя на этот предмет есть и иные точки зрения. С вас пятьдесят фунтов, дорогая. Мне не хотелось бы брать ни пенса, но, – гадалка ткнула во что-то на столе, – если я не истрочу эти деньги на Лакса, как он того потребовал, вы же слышали, то гадание, боюсь, не сбудется.

Деньги у Луизы были, хотя не много. Она расплатилась с гадалкой и на той же ветхой «тойоте» вернулась в Лондон, где без большого нажима выпросила у мисс Романовой командировку: для установления дружеских и деловых контактов с готовыми к борьбе итальянскими женщинами Америки. Вскоре в сумочке Луизы лежал билет экономическим классом до Сиэттла, штат Вашингтон, потому что прямого рейса в Орегон не нашлось. Виза у нее была давно, такие вещи мисс Романова обеспечивала сотрудницам заблаговременно, но денег отсчитали Луизе в обрез, не по жадности, а потому, что в романовской казне вообще после явления из России бестактной родственницы поубавилось: Софьины интриги оказались вредны для престижа доброхотных давателей, они боялись давать деньги и тем, кто боролся против Романовых, и еще больше – тем, кто за них, а еще больше – просто Романовым. Тетка же, как назло, не желала отречься от своей фамилии. И вот теперь, со скудными командировочными, предстояло еще добираться из Сиэттла в Портленд. А потом еще рыскать в долине. Но терять отчаявшейся Луизе было решительно нечего.

На то, чтобы добраться за восемь тысяч километров до Портленда-в-Орегоне, известного как Город Роз, город великой женщины-фантаста Урсулы Ле Гуин, тоже безумной феминистки, у Луизы ушло меньше суток; летела она в основном с востока на запад, поэтому, за счет разницы в часовых поясах, на

берегу Тихого океана оказалась она ранним утром. Карта утверждала, что Портленд и Генуя стоят почти на одной широте, и это спасет Луизу, но по климату как-то в это не верилось. Взятая напрокат машина – тоже «тойота», но получше «романовской» – везла ее прочь от потухших вулканов столицы штата. куда-то в Уилламетскую долину, в края, заросшие хвойными лесами, где на нижних лугах полно было бородатых фермеров и коров. Направление Луиза находила каким-то девятым чувством, но оно, чувство, ведь и врать могло. Луиза выбирала из полупроселочных дорог наиболее юго-восточную и ехала в наименее обжитую часть Орегона; хоть ей, по ее положению, и не очень-то хотелось разглядывать природу всякую, но монументальная красота пребывающих в расцвете лета Каскадных гор невольно захватывала. Америка в натуре оказывалась много приятней, чем она же на экране. Это была какая-то незнакомая Америка, не прерии, не небоскребы, а напротив – хвойные леса, пшеничные поля, горы, и все коровы, коровы, коровы. Людей попадалось мало. Луиза, не стесняясь никого, вставила в глаза контактные линзы и блаженно отдыхала от железа на чреслах. Сама цель путешествия почти ускользала от ее сознания, – она вела машину туда, куда приказывало сердце.

Сердце, похоже, знало, что делало. Свернув очередной раз, Луиза наткнулась на полицейский пост, решительно не желавший пропускать ее дальше. Улыбки не подействовали, портреты президента Франклина, вложенные в водительские права, тоже. Луиза развернулась и отбыла назад, но на Кампо-Санто дети сперва научаются по кривой сматываться от полицейских, а только потом – говорить. Вот она этот пост по бездорожью и объехала, и второй тоже. На пятом пришлось бросить машину, объезда не было здесь совсем никакого, зато над живописной котловиной маячила выразительная серая стена. Должно же НАТО охранять своего главного гадалщика?

Предиктор Геррит ван Леннеп еще с утра набросил колпачки на все устройства связи и подслушивания, так он делал всегда, когда хотел немного побыть человеком «просто так». Он действительно видел и знал будущее, от этого его жизнь была нестерпимо скучна и совсем лишена неожиданностей. Впрочем, не совсем. Неожиданности он организовывал для себя сам, чтоб не помереть со скуки. Собственное будущее, как и всякий предиктор, он видел хуже, чем чье бы то ни было. Это вранье все, что предиктор видит тысячи вариантов будущего и выбирает из них наиболее вероятные, поэтому почти никогда не ошибается. Нет. Если брать жизнь одного человека, то в любой ее миг будущее для него существует всего в двух-трех вариантах, а чаще – вовсе в одном. Если, понятно, не вмешаться, но предикторы редко вмешиваются – ибо незачем. Ван Леннепу, впрочем, изредка было зачем: без этого он мог и удавиться ненароком, и про такое свое возможное будущее давно знал. И его полагалось предотвратить. Будущее стремительно проваливалось в прошлое и там костенело. Его ван Леннеп видел не хуже, чем будущее, но влиять на него не хотел, многие на этом уже потеряли все, что имели, – особенно в России. Да Бог с ним, с прошлым. Ближайшее будущее – если вот тут, и вот тут, и еще в оранжерее отключить сигнализацию – сулило кое-какие приятные сюрпризы. Не очередную орегонскую фермершу, от них светловолосый великан порядком устал, но

истинный сюрприз. Какое дело ему, ван Леннепу, до претензий Американского Царства Аляска на Орегон: до них еще полвека, и к тому же их не избежать. А вот для себя кое-что сделать можно.

Долго торчать в оранжерее не хотелось, душно, влажно, плоские персики пань тао еще не созрели, лотосы давно отцвели. Поэтому во второй раз ван Леннеп спустился туда только в начале второго пополудни и как раз успел расслышать звон разбитого стекла. Кто-то опять «проник», да еще передал орхидеи. Из орхидейного «рукава», стряхивая с себя осколки и лепестки, вышла девушка. Итальянка. Генуэзка. Ван Леннеп вцепился левой рукой себе в грудь, в то место, где находится сердце даже у предикторов. Он очень боялся потерять сознание и ни про какое будущее сейчас не думал. Он видел только девушку. Она заговорила.

– Мисс Норман из Портленда, в Англии...

– Геррит ван Леннеп, к вашим услугам. Можно Дирк, меня так называют. Но вы не мисс Норман...

Луиза сверкнула линзами.

– Я и не говорила, что я – мисс Норман. Я – мисс Луиза Гаспарини. Из Генуи, как Колумб.

– Приятно видеть вас в Америке...

– Как Колумба? – обронила гостя увесистую глупость.

Ван Леннепу полезла на язык глупость еще большая, куртуазная до тошноты, что-то вроде «Не столь Колумбу возрадовалась новооткрытая Америка, сколь...»

– но он закашлялся и тут только понял, что в оранжерее, несмотря на разбитое стекло, нечем дышать.

– Может быть, мы пройдем в холл? – а потом все же не удержался и глупость сморозил: – Лотосы уже отцвели, а плоские персики еще не созрели...

Луизу, кажется, персики не интересовали, но светловолосый парень, едва ли многим старше нее самой, производил очень сильное впечатление. Не то чтобы красавец, не то чтобы «ее тип», – но слишком уж напрашивалась параллель с противным южанином. Тот был маленький, усатый, коротко стриженный, подвижный, как ртуть – если ртуть бывает черной и потной, – и суетливый, и наглый. Этот – под два метра ростом, длинноволосый, светлокожий, неторопливый, вежливый и, кажется, очень одинокий. Немного похожих на него Луиза видала иной раз в своем баре, в Генуе, но они к ней никогда не приставали, да и пили в основном безалкогольную ерунду. Луиза эти напитки не уважала. К сожалению, именно какую-то такую пепси-коку Дирк выставил на столик, за который пригласил Луизу.

– А покрепче ничего нельзя?

– Разумеется... – ван Леннеп немедленно предъявил добрый десяток дорогих и редких бутылок, точно зная, что проклятый индеец в ближайший час не проснется, ибо до посинения упился русским джином «Мясоед», специально по его требованию доставленным в бункер. Луиза очень хорошо знала цену таким бутылкам, хозяин бара возле Кампо-Санто таких и не закупал никогда, невыгодно торговать шампанским по триста долларов бутылка. А Дирк именно такую только что откупорил, потом достал из темного шкафчика что-то



пыльное и паутинистое, только год на донышке был виден хорошо, рифленый такой – «1896». Оказалось – бутылка русского бренди «Шустов» из личных погребов русского канцлера с непроизносимой фамилией. Луиза глотнула того и другого, она видела, как осторожно движется Дирк по комнате, стараясь к ней не прикоснуться. Значит, знает. А что толку?

Чокнулись шампанским, добавили русского бренди, съели по апельсиновой дольке. Ван Леннеп пожирал Луизу глазами. Болтал ни о чем, не заботясь об ответах, часто брался за сердце. Луиза только хотела завести беседу о гадании, как предиктор сказал:

– Почему бы, собственно говоря, вам не остаться в Орегоне насовсем? Это более чем осуществимо.

Луиза покраснела. Кажется, это с ней вообще происходило слишком часто, и это ей не нравилось. Однако Дирк впрямую делал ей предложение. И она была согласна. Но как же все-таки...

– Вы согласны?

– Да-а... – Дирк протянул к ней руки через стол, и немедленный толчок холодной стали вернул девушку к действительности. – Но-о...

– Эту небольшую беду я сейчас исправлю.

Ван Леннеп ушел в кабинет, оставив Луизу терзаться догадками. Предиктор сел к пульту компьютера и аккуратно, одним пальцем, заполнил последние строки бюллетеня на август, – тот должен был через два-три часа пойти к секретным подписчикам:

«Последнее. В понедельник, второго августа сего года, учитывая огромные заслуги перед американским народом, президент Соединенных Штатов сообщит мистеру Луиджи Бустаманте о том, что ему присуждена медаль «За заслуги», звание Главного Мага штата Колорадо, а также чин генерала...»

Ван Леннеп выдумал звание «генерала магических оборонных сил», потер лоб и дописал последнюю фразу:

«Придя в хорошее настроение после получения этой новости, генерал Бустаманте простит множество своих недругов и людей, нанесших ему те или иные обиды, и снимет с них наложенные им пожизненные заклятия. В частности, он уже не сможет вспомнить, чем его обидела генуэзская барменша Луиза Гаспарини: с нее и будет начата череда добрых дел, которыми генерал отпразднует получение наград и званий».

Предиктор расписался и поставил дату. Двенадцатое ава, третье шавваля, Цолькин шестое ахау. Жаль, первое августа – воскресенье. Написанное и размноженное на принтере предсказание уже вступило в силу. Расколдовка Луизы, увы, откладывалась на послезавтра. Ждать еще пятьдесят часов – вечность для любящего сердца...

Дирк и Луиза коротали время в прогулках по пустынным анфиладам предикторской виллы, благоразумно не приближаясь друг к другу; ван Леннеп сказал, что наложенное им колдовство работает только второго числа, приблизительно в восемнадцать пятнадцать. Ночевали они, понятно, в разных спальнях. Перед сном ван Леннеп отдал охране приказ: особо следить за недопущением на территорию виллы каких бы то ни было фермерш.

В воскресенье качались на качелях, плавали в лодке по пруду, – Дирк сидел на веслах, Луиза собирала похожие на кувшинки белые цветы. Пили шампанское, ничего не ели. Смотрели какую-то мексиканскую пошлятину. Надоело, пошли жечь бенгальские огни. Дирк обнаружил умение ходить колесом: при его росте зрелище было впечатляющим. Вторую ночь опять ночевали порознь, хотя почти не спали. Предиктор все никак не мог отпустить руку, которой держался за сердце, Луиза смотрела в потолок и считала минуты. Завтракали шампанским. Обедали шампанским...

Без четверти шесть по телефаксу, в открытой сводке новостей пришло сообщение о присвоении Бустаманте медали и чинов. Дирк и Луиза уселись за чайный столик. Минуты ползли, как века.

К восемнадцати десяти по орегонскому времени чай окончательно остыл, Луиза дрожала крупной дрожью, Дирк, сам того не осознавая, взял лимон, зажал его в кулак и раздавил. Сок потек по пальцам. Наконец, стрелка указала нужное время.

– Дирк, но разве ты католик? – почти в обмороке произнесла Луиза.

– Католик, католик, – успокоил ее предиктор. Мнение мисс Норман о том, что он – самый сильный из ясновидящих земли, имело под собой большие основания и скоро получило новое, веское подтверждение.

– Католик... – еще раз, неизвестно зачем, произнес ван Леннеп, хотя это было уже всем безразлично.

## Павел II Пригоршня власти Часть 14

*Евгений Витковский*

XIV

Из этого кочета прок будет, ты его, этого кочета, береги. <...> Это настоящая птица, ласковая к курам.

Николай Лесков. Некуда

Пришлось прямо с утра обедать.

Причина простая, известно же: сон под праздник, либо под воскресенье – до обеда, а потом уж не сбудется, не жди и не бойся. А тут, прямо под календарное воскресенье, да под свой засекреченный праздник – да такой сон... Может быть, сон и сбился уже, а сношарь-то и не заметил? Нешто так не бывает?..

Приснилось под утро сношарю жуткое. Будто идут с Тверской на Красную площадь, а дальше мимо деревенской церкви Богородицы на Рву, бывшей Василия Блаженного, с брусчатки на траву, прямо в село, в Зарядье-Благодатское огромные раки. Размером не с гуся, а – страшно сказать – каждый с барана хорошего! Притом, сволочи, все вареные, и ох какие клешневитые. Идут цугом. И страшно, что неправильно идут, не пятятся, а совсем наоборот – головою, усищами вперед. Числом их восемьдесят, можно не считать. На хвосты опираются и на клешни, спины у них кверху выгнуты, потому как раки вареные, по цвету видно. А усы у них – жуть, буденные усы, даже страшней.

Тут и пробудился сношарь на одинокой своей лежанке. Немедленно по селектору заказал сытный обед из четырех блюд, чтобы Судьба, насылающая сны, не решила, что это он решил позавтракать. Словом, пришлось даже гурьевскую кашу скушать. Из Академии прислали еще какие-то яблоки «Бонапарт», сказывают, печеная антоновка с чем-то, но ее сношарь на стол не допустил: дед с Бонапартом все что надо сделал, обойдемся нашим русским десертом. В общем, пообедал сношарь плотно, так, что в обычный день под обычное воскресенье страшный сон с полным правом позабыл бы.

Но сегодня, к сожалению, воскресенье выдалось далеко не обычное. Сегодня, если уж не врать самому себе ни от имени Алексеича, ни от имени Пантелеича, был у великого князя самый что ни есть натуральный день рождения. От царя такое не скроешь, царь историк, у него в документах все обозначено. Однако Паша – деликатный, воспитанный, еще первого числа спросил, будет ли празднование и чествование, и тогда государство все расходы берет на себя. Легко Павлу такое предлагать: сношарь отлично знал, что на непредвиденные отцовские расходы президент Романьос регулярно шлет деньги, подводным телеграфом. Сношарь от празднеств отказался. Причин много, царь не стал расспрашивать. Воспитанный царь.

Число, как его не ворочай, круглое: восемьдесят. Бабы вообще-то знали, что сношарю в этом году ровно... шестьдесят восемь, рады бы, понятно, отметить. Но в конце-то концов, кто ж не знает, что ни бабы, ни сношари о своем возрасте правды не говорят. Ну, разве кто из силы вышел – тогда, конечно, дело понятное, годов себе прибавить нужно. Иные бабы так и делают, даже раньше времени. Ей, скажем, всего-то семьдесят пять, а она каждый вечер болтает, как в будущем году свои девяносто пять отпразднует. Однако великий князь ничуть себя вышедшим из силы не ощущал, а теперь, надо ж, и по профессии сменщик приспел, жаловаться вовсе не на что. Ну, а все-таки – восемьдесят! Редко кто в семье такие даты праздновал, но и то правда, – образ жизни они все вели нездоровый, дворцовый, убийственный даже.

Осоловевший от излишней утренней сытости сношарь зачем-то вспомнил того рыжего-седого пса, что ночевал у него в избе прошлой весной, когда еще село с Брянщины не съехало. Старый был пес, вряд ли все еще бегают: псиный век намного короче человеческого. Собаку ведь себе на всю жизнь не заведешь. Такая несправедливость. Мало живут собаки. Но, если честно, совсем честно, то... и люди тоже – мало.

Не надо было четвертого блюда. Хватило бы трех. А то вот какие меланхолические, расслабляющие мысли лезут в голову, на хрена они? Да и Москворецкий мост нечего жалеть. Дуры были эти бабы, когда строевым шагом на него поперли: подавай им, это значит, благодать Благодатскую. Ну, если все шагают в ногу, то известно, что бывает. Рухнул мост, конечно, и новый строить не стали, спрямили набережную, и все. А еще лучше, что государь позволил все те дурные домищи, что за речкой стояли, снести; теперь те места называются – по княжьей просьбе – Засморозинный Балчуг. Сады насадили. Горку насыпали, на Верблюд-гору похоже, хотя статью пожиже, конечно. Молодежь туда плавает, на лодках. Теперь, если на верхотуру села выйти, на бывший

«президентский корпус», то можно считать, правильный вид на юг, на восток. Ну, на запад тоже – там Кремль, снести не попросишь. Да и неплохо он со всеми дворцами смотрится, а на остальное можно не смотреть. О чем бы это таком приятном подумать?

Далеко за приятным ходить не требовалось. Предмет имелся. Предмет обитал тут же, в деревне, в специзбушке, срубленной для него бабами из наилучших дубов, какие разрешил Павел извести в Серпуховском заказнике. Бабы сами все и срубили, и на горбу до Москвы доперли, слишком важное дело, нельзя ничего посторонним доверять. Изба вышла высокая, наличники резные Настасья Ручкина сама выпилила. Прошлись морилкой, батюшка освятил, ничего не спрашивая, – ну, дальше запустили таракана, а там и ввели нового жильца в хату с должными почестями, встали в очередь. Дело-то привычное, расчет все тот же – на яйца, и Лука Пантелеич наследному своему сменщику таксу определил такую же, как себе, но запретил больше восьми часов в день работать; в перерыве чтоб молоко из-под козы пил, а по воскресеньям вообще отдыхал, и на то его слово сношарское, крепкое, княжье – молод еще, в силу не вошел, не ровен час, надорвется. Ручкина даже песню для такого события сочинила. Великий князь помнил две строки:

Наш уголок я убрала цветами,  
Поставила трехногий пулемет...

Дальше тоже красиво, но сношарь не запомнил.

Звали нового, младшего сношаря совершенно чудесно: Ромаша. Бабы с ума сходили. Деревня нынче поделилась на две бабьи половины: та, которая у Ромаши еще не была и к нему рвалась, яйца копила и очередь занимала, – и та, которая у Ромаши уже была, по новой рвалась к нему, яйца копила и очередь занимала. Лука Пантелеевич очень это одобрял, бабам дополнительно рекомендовал и пророчил, что Ромаша, как в года и в силу войдет, такие штуки изображать обучится, каких и он сам, старый мастер, никогда не вытворял. Бабы не верили, но послушаться сношаря-батюшку кто ж осмелится, и приходилось бабам убеждать себя в том, что и вправду еще на свете какие-то чудеса есть, никому еще до сих пор не выказанные.

Ромео появился на Зарядье-Благодатских угодах сразу после прилета царя из Южной Америки. Появился – словно в ссылку приехал, государь ему приказал жить в деревне, дышать чистым воздухом, пить козье молоко, водить хороводы с девками, лузгать семечки и прочая, и прочая. Словом, чего там еще в деревне делают – царь всего не помнил, его мысли от деревенских проблем тогда далеко были.

Отделался овдовевший князь по сравнению с прочими участниками великосветского свинства на Танькиной даче сравнительно легко. Надо думать, царь все же никакого особенного зла на покойного племянника не держал: за что бы? Принадлежность к сексуальному меньшинству нынче никого не интересовала, все ж таки не национальный вопрос, а ведь и тот при царе куда сразу рассосался! – ну, а какая-то мелкая судимость из времен всеми уже позабытой советской власти... Никому и ничего плохого, как теперь выяснилось, не сделал он в своей бестолковой короткой жизни. Такие, наверное,

мысли были у царя. Хотя, быть может, цари думают не то и не так, как прочие люди, но как-нибудь они это да делают? Этого они сами точно не знают, такой слух есть.

Накачали Ромео Игоревича Романова транквилизаторами, посадили в вороной ЗИП и умчали в деревню. В главную, столичную, в Зарядье-Благодатское, поселили временно в трехкомнатной избе-люкс на десятом этаже. Заставили отоспаться, трое суток при нем единственный верный врач, вызванный из Елениной косметологической реанимации, дежурил, иглоукалывал. Двое суток проторчал. Потом приступил к отоспавшемуся молодцу батюшка Викентий. Узнав, что принц крещеный, да еще по обычному православному обряду, спросил батюшка самое простое: когда тот изволил у исповеди последний раз бывать и причащаться. Ромео честно признался, что вообще никогда. Батюшка Викентий тяжело вздохнул и предложил принцу все-таки исповедаться по-людски, не формально. Выговориться, облегчить душу. Ромео немножко подумал, а потом заговорил с такой скоростью и с таким захлебом, без остановки, что батюшка и час и два только пот с чела утирал. Слезами уходили из организма вдовца и транквилизаторы, и несчастья, и еще такое, чему уйти другими путями из человеческой плоти нет никакой возможности.

К вечеру принц не только исповедался и получил все, что Российская Истинноправославная Церковь исповедующемуся дозволяет, но и стал проситься в монахи. Батюшка Викентий, принадлежа к белому духовенству, ничего по этому поводу ответить не мог, посоветовал обратиться в Святейший Синод, лучше сразу к тамошнему обер-прокурору, господину Досифею Ставраки. Ромео по слабости чувств не удержался и пробормотал уличную дразнилку, которой босяки-мальчишки провожали ЗИП обер-прокурора: «Собаки Ставраки жуют козинаки, жуют козинаки, танцуют сиртаки!..» Батюшка вздохнул и порекомендовал насчет монашества все-таки сперва обратиться к высочайшим родственникам, ибо без их ведома нынче стричь не велено, были уже попытки, и кто-то их сверху пресекал – уж не сам ли царь? Батюшка подобрал рясу и заспешил к вечерне. Собор у него был большой, но тесный, а деревня – известно какая. Отец Викентий даже сожалел, что храм никак нельзя перестроить, чтобы попросторней стало. На полпути священник встретил стадо коров, возвращавшихся с Васильевского выпаса. Пастухом в селе нанялся служить какой-то бывший знаменитый эстрадный певец; хоть и еврей, он исправно бывал у службы, и гордился, что зовут его по-библейски. На шее у передней коровы позванивал старинный валдайский колоколец. Определенно священник рисковал опоздать к службе, очень его принц задержал исповедью.

Ромео не выпустили из избы-люкс даже на утро, только невкусным молоком все поили да поили. Парень стал требовать хотя бы телефонного разговора с государем, ну, не с государем, так с дядей, не с дядей, так с отцом, нет, с отцом не надо – ну, с тем, кто здесь главный хотя бы, поговорить-то можно? Не тюрьма ж? Или тюрьма?.. А-а... Ромео глотал слезы.

Кто в деревне главный – сомнений за последние полвека никто не имел, кроме сестер-поповен, а те на Брянщине остались. Бабы скоренько дали знать

сношарю-батюшке, что тронутый князюшка желает говорить с «главным». Поставленный обо всех пикантностях княжеской биологии в известность, сношарь назначил аудиенцию на утро, а сам устроился на лежанке – думать. Ясно было, что парня лечить надо. Куда ему в монахи, телку такому? Лечить сношарь в жизни своей долгой тоже обучился, но средств главных знал два: баня с пивом да с черешневой, ну, а второе средство известное – работа, работа, работа.

«Телок» был приведен к двенадцати, весь зареванный, весь в черных кудрях, – новых кровей, таких в деревне еще не запускали. А что, может, передумает? Если он считает, что в мужика для него черт ложку меда сунул, так стало быть, надо доказать ему, что в каждой бабе – пять таких ложек, да еще мед подуховитей будет, клевер там и донник! Сношарь не сравнивал, но не сомневался – он от баб в жизни много чего наслушался. Приказал топить баню, вытащил корчагу светлого городского пива и приказал Ромео пить. Тот с ужасом поглядел на великого князя, тот выглядел на него примерно так, как для непривычного взгляда овцебык в зоопарке, и выпил кружку. На закуску сношарь персонально облупил парню яйцо. Ромео тоже не посмел отказаться. Потом долго молчали. Сношарь ни с какими мужиками разговаривать правильно не умел, а Ромео боялся подать голос. Он про женщин не думал в жизни вообще никогда, а о том, что он далеко не первый в истории, кто ошибся, возможно, в собственной сексуальной ориентации, не догадывался.

В бане, где несчастный принц приготовился к любому виду насилия над собой, была дикая, ни с чем не сравнимая жара, ибо сношарь не любил тепло на ветер пускать. Сношарь покрутил носом, и остался недоволен.

– А ну-ка при-на-под-дай! – крикнул он кому-то в щель, и невидимые руки опрокинули кадку темного пива на голую каменку. Дух пошел такой, что Ромео немедленно окосел. Сношарь взял в руки два шланга, – зачем-то были тут оборудованы еще и шланги, – и стал хлестать бедолагу то такой струей, которая ледяная, то другой, которая горячая. Ромео сидел у стены и сам не знал, в сознании он, или без него, или вообще давно умер. Длилось это все вечность и еще того много больше. Когда сношарь счел, что парень ошпарен и охлажден должным образом, то крикнул в щель:

– Га-а-товв!

В баню строем вступили шесть отборных Настасий среднетяжелого веса, целомудренно препоясанных холщовыми передниками. Они как великую драгоценность подняли Ромео на вытянутых руках и, словно тело другого шекспировского персонажа, унесли. Впрочем, недалеко, – всего лишь в менее жаркую комнату, посередине которой возвышалась личная сношарева бочка, до половины полная желтков, пожалованных вдовому парню великим князем из личной казны. Юношу сложили под углом в сорок пять градусов и, бесчувственного, усадили в бочку. Две Настасьи остались поддерживать его в сидячем положении, третья встала напротив принцовой морды с ручным вентилятором, четвертая подала братину с охлажденной черешневой, пятая аккуратно разжала парню зубы, шестая чайной ложечкой стала вливать ему питье за щеку, чтобы не подавился: так дают лекарство строптивым или

погруженным в обморок собакам. Через минуту-другую Ромео глотал сам, оклемался немного. Настасьи соблюдали меру, сношарь-батюшка строго наказал, чтобы молодой человек не сблевал ни в каком разе, а то все сначала начинать, бочку снова желтками накокивать. Яйца-то у сношаря были известно откуда, против себя Настасьи умели не действовать.

Но Ромео не сблевал, а потихоньку пил, и скоро пинтовая бутылка черешневой, первоначально влитая в братину, превратилась в воспоминание. Великий князь зашел поглядеть, лично подошел к парню, обтер ему лицо холодной тряпкой. Подворотил принцу веко. Слегка похлопал кривопалой лапой по щеке.

– Будет притворяться. Тебе тут еще два часа откисать. Черешневой ему пока хватит, – сношарь разговаривал уже с Настасьями. – А пить захочет – пива давайте. Моего. Без никаких. Потом в постель отнесете. Охрану поставьте, внутри и снаружи, сами понимаете, человеку впервой.

Сношарь пошел ополоснуться. Для себя он на сегодня яичную баню не планировал, а с четырех пополудни начинался у него обычный рабочий день.

Пива Ромео дали не скоро, он попросту проспал все два часа желткового сидения. Позже его, отхлебнувшего и уснувшего по новой, ополоснули, завернули в простыню, вшестером подняли и отнесли в подновленную избу-люкс. И тогда принц захрапел. Настасьи дивились: молодой вроде парень, а храпит, как матерой. Могутно. С парнем что-то и вправду происходило, дежурившая наиболее «внутри» Настасья до конца жизни об этом рассказывала, и повесть ее обрастала подробностями, притом не менее шести Настасий утверждали, что именно они-то и дежурили в тот знаменитый день у лежанки принца. Парень изгибался во сне, словно делал гимнастический «мостик», поворачивался два-три раза в одну-сторону, потом в другую, принимал позу раба, пытающегося разорвать цепи – ну вылитый мировой пролетариат! Под конец парень вцепился в подушку зубами и прогрыз насквозь. Отоспался только к позднему вечеру, открыл глаза, запросил пива. Настасья чуть не закричала: кареглазый Ромео смотрел на нее светло-голубыми глазами! Однако дисциплина взяла верх, пива Настасья подала ему недрогнувшей рукой.

Что было дальше – позже толком никто не мог выяснить, никто из самых дотошных и очень многочисленных историков села Зарядья-Благодатского. В общем, ту Настасью, которая сидела возле постели – не то была одна из шести эта баба, не то все шесть сразу, как утверждала поздняя школа схоластов, Ромео сгреб с силой, которой никто в хрупком горожанине предположить не мог, не спеша оприходовал и отпустил лишь тогда, когда означенная Настасья помнила из всей своей биографии лишь то, что она – Настасья, кажись, дочь, и размышляла об одном: как яиц напасть?

К тому времени, когда новая полудюжинная смена Настасий пришла к избе нового поселянина, если историки села не врут, первая шестерица была вся в состоянии к несению строевой службы не годном и ни о чем, кроме новых яичных долгов, не разговаривала. Яиц, впрочем, за услуги с них Ромаша так никогда и не востребовал, в поле его голубого взора попала новая смена, – ну, а дальше историкам верить вообще невозможно, есть мнение, что дальнейшие события носят чисто легендарный характер и восходят к известному

тринадцатому подвигу Геракла, касавшегося неподтвержденных пятидесяти девственниц. Рассказал бы кто самим бабам, что их историки девственницами обзывают, они бы тех историков в Неглинку спустили, а насчет прочего – это их личное бабье дело, потому что мозгляк был ваш Геракл.

Луке Пантелеевичу, конечно, тут же донесли. Великий князь долго и подробно выспрашивал все детали у принесенных к нему на носилках шести первых Настасий и ругал их за беспросветную бабскую глупость, ругал, ругал. А сам в душе очень радовался. Особенно князю нравилось, что новую смену караула Ромаша встретил, сидя в профессионально сношарской позе: на койке, руки в колени, локти врозь, оба глаза голубые, несосредоточенные. Князь послал с вестовой Настасьей парню корчагу лично им сваренного темного пива, мысленно соображая, скоро ли та вернется, или вообще болезную на носилках принесут.

Когда Настасий убрали, князь достал очки в довоенной проволочной оправе, вздел на нос и принялся щелкать костяшками на счетах, считать яйца в пропорции на свою недельную баню, а также на ту, в которую теперь полагалось сажать молодого Ромашу. И делить на количество пользующихся Настасий, не то на них перемножать, историкам подробный подсчет никак найти и не удалось. Цены на яйца Луку Пантелеевича давно перестали интересовать, а теперь, выходит, нужно оные выяснить, потому как не хватит селу своих ресурсов, не хватит. Докупать придется. На какие шиши? Сношарь пораскинул мозгами и постановил сдать место под стеной Кремля «посадским»: пусть пригородные жители открывают ларьки да лабазы и в ту, и в другую сторону. В Кремль можно продавать раков. Сезон скоро, а потом еще что-нибудь придумается. Из Кремля в село пусть продают что хотят, все одно дрянь бабы не купят. Ну, а на деньги за аренду в ближних селах как раз яиц и прикупить. Всем хватит. Главная, самая свербящая нужда-забота Луки Пантелеевича – где взять сношаря молодого – отпала. Таковой просто обрелся. Бабы играли в сложную компьютерную игру «Дириозавр», очень дорогую и очень популярную в Европе и в России. В Америке ее объявили антиамериканской, но анонимному автору игры хватало и европейских миллионов. Аноним был персоной замечательной. Некогда американский, а теперь вновь французский гражданин Жан-Морис Рампаль, он же дириозавр, он же полярная сова, котел с рисом и еще много кто, – вот кто создал эту замечательную игру.

Приключилось с ним вот что. Внезапно расколдованный с помощью гуманитарной помощи одного из латиноамериканских государств Рампаль, раздавив Пилатову Дюну в родном Аркашоне, жил некоторое время у родных поблизости. Свой ухудшившийся французский язык он объяснял тем, что долго жил в колониях. Вскоре кто-то из патриотически настроенной родни деликатно поправил его, что у Франции давно нет колоний, а есть заморские территории. Рампаль мгновенно сориентировался и скорбно произнес: «Увы, это были не французские колонии...» Братья Рампаля, из них двое родных, все были оборотнями, но много лет назад Порфириос, посетив Аркашон и отследив Рампаля, не рекомендовал «распечатывать» их способности, – больно уж тупые



мужики. На случайную «распечатку» шансов очень мало, с чего бы им в новолуние лопать по тринадцать аметистов темной воды, запивая молоком одноглазой черной овцы?

У Рампалья были основания опасаться, что скоро в Аркашон заявятся агенты Форбса, – встречаться с ними он желая не имел. Сложил кое-какие пожитки и уехал в то единственное место, где француза непросто найти – в Париж. Снял квартирку над кафе и вскрыл наконец-то пакет с уже давно законченными мемуарами – «Как я был разными вещами». Их на досуге, будучи дириозавром, оборотень написал по-английски. Вставил первый файл в компьютер – и долго ничего не мог понять. Вместо текста мелькали какие-то бессвязные картинки из собственной его жизни. Рампаль устал, сражаясь с компьютером, вышел в кафе, только после третьего перно грустно понял, что же именно случилось. А вот что. Выходя из облика дириозавра, возвращаясь в человеческую шкуру, Рампаль возвратил к исходному виду и текст своих мемуаров: надиктованные слова стали только воспоминаниями, и надо сказать спасибо, что вообще хоть как-то уцелели.

Рампаль месяц колдовал над всеми возможностями, кроме одной – писать заново, да еще по-английски, он не имел сил. Кроме того, ведь при желании его можно было теперь объявить дезертиром из ВС США, и вряд ли публикация книги на английском сулила заметные дивиденды. А если написать их по-французски, выйдет патриотично, но никому не интересно. Насчет своего литературного дарования Рампаль, к счастью, не обольщался. Тяжкой летней ночью он ворочался на привычно одинокой постели, слушая какой-то арабский скандал в кафе на первом этаже. Кто-то клялся, что сочинить второй раз «Тысячу и одну ночь» невозможно. А другой клялся тайными именами Аллаха, что при помощи хорошего компьютера можно написать еще две тысячи и две ночи. Спор переходил в драку, арабский – в какой-то магрибский диалект, которого Рампаль не понимал, и поэтому мысли его вернулись в прежнюю колею. Тем более что надвигалась гроза, а оборотень со времен Пилатовой Дюны стал очень чувствителен к погоде.

И гром грянул. После этого, вопреки законам природы, пронеслась молния. Пронеслась в уме Рампалья. Два великих имени – Горгулов и Меркадер – разрешали проблему Рампалья, хотя их обладатели и лежали давно в могилках. Их полустраничная формула, альфа и омега всего оборотничества, введенная в компьютер и правильно используемая игроком, позволяла создать неповторимую по увлекательности игру «СОЗДАЙ ДИРИОЗАВРА», или, попроще, – «Дириозавр». Сюжет Рампально выдумывать было не нужно, лучше собственной биографии он все равно ничего бы не сочинил.

Немалые знания в области компьютерных игр Рампаль накопил, увы, еще в женском обличье, страдая от унижения и безделья в гареме почетного поляка Артемия Хрященко. Эти знания очень теперь пригодились, но для запуска игры в производство и продажу требовался начальный капитал в пять миллионов франков – не меньше. Но Рампаль быстро сообразил, где изыскать их. Он направился в представительство Республики Доминика, где запросил связи с правительством Республики. Оказалось, что в Париже, в ресторане «Малый

Доминик», имеется возможность встретиться с неофициальным представителем правительства, г-ном Доместико Долметчером, сейчас – случайно, случайно – совершающим очередной рейс челночной дипломатии. Тот, как это с ним обычно бывало, случайно имел при себе некоторую сумму свободных денег, каковую и ссудил Рампалью безо всяких процентов, – о подобном приключении он заранее знал из бюллетеня ван Леннепа. Потому и денег немного взял из своей ресторанной кассы, выручку за месяц.

Рампаль игру соорудил. Иначе не сидели бы сейчас бабы в караулке Зарядья-Благодатского, не творили бы своего дириозавра. Непростая игра! Рампалью хватило ума и чувства самосохранения для того, чтобы не обнародовать тот факт, что в действительности правила игры имеют совсем иное, сокровенное для каждого истинного оборотня значение. Иначе собрались бы со всего мира волколаки, лисобабы, кодыяки, пуморотни, лоси-перевертни, тигролюди и все иные и разнесли бы Рампалья на клочки вместе с его игрой. Впрочем, кто знает? А если б Рампаль снова стал дириозавром? Кто бы тогда кого разнес в клочки? Ну, а битва дириозавров – это что-то для Голливуда, не иначе... Но Рампаль не разгласил значения формулы. Ему все конфликты надоели. В августе он продал последнюю часть прав на игру, выписал из Канады платиновую флейту, решив в будущем выдавать себя за родственника своего знаменитого однофамильца, и стал вести переговоры о покупке виллы в горной части Корсики. Он надеялся провести там остаток дней. Надоело, все надоело. Чтение французской классики – занятие не на одну жизнь. Рампаль валялся на диване, читал романы. Радовался каждый раз, когда роман подходил к концу, в тот же день брался за следующий. Он не знал, что подобным образом поступают и те, кто романы пишет.

А покуда Жан-Морис Рампаль читал Флобера, Настасья в Зарядье-Благодатском выстукивала на компьютере формулу Горгулова-Меркадера, император Павел Второй диктовал указ о запрете телесных наказаний для преступников старше семидесяти лет, Никита Глюк, стоя за прилавком, вдохновенно заворачивал в замшу специальный кадуцей для его высокопревосходительства действительного статского советника Бухтеева, Анфиса Волкова разбиралась с весьма либерально настроенной финансовой инспекцией – в мире чего только не происходило.

Август – время падающих звезд, вот и выпал над сибирской тайгой обильный дождь тунгусских метеоритов, нанес ущерб многим процветающим хозяйствам, особенно пострадали знаменитые тамошние индюшатники. Почему-то это привело к сокращению поголовья лис, но это – вряд ли, от метеорита лиса всегда увернется, зато бабы в тех краях объявились никому раньше не знакомые, все рыжие, справные, хитрющие, – ну, эти быстро до города подались, а дальше – ищи-свищи. А в Санкт-Петербурге имели место еще более значительные события. Один очень почтенный академик, известный тем, что в молодости по зову следователя Черноморканал копал, прослышал о том, что канцлер расформировал комиссию по охране подлинности «Слова о полку Игореве» в силу полной доказанности таковой подлинности – так вот, академик взял да и обиделся. И выступил по Санкт-петербургскому телевидению, что,

мол, не может «Слово о полку Игореве» оставаться просто подлинным, оно должно становиться более и более подлинным, неустанно, ежечасно углубляться в своей подлинности, например, ему, академику, кажется, что «Слово» написал не кто-то один, а сразу все русичи. Все, всем кагалом!

Так и брякнул на весь мир. Мир поверил, поскольку некогда был кагал в городе Итиль на реке Итиль, то бишь город Волга на реке Волга, а Волга – река истинно русская, – ну, значит и вправду – всем кагалом. Так как же можно разгонять комиссию по подлинности! Известный питерский поэт, прямой потомок несостоявшегося цареубийцы, экстраполировал и сразу опубликовал еще несколько «Слов» о других древнерусских полках, которые потерпели сокрушительное поражение – такое же, как Игорь, но в других битвах, и князья описывались тоже другие. Ежеквартальник «Древлесоветская литература» только-только вышел со статьей академика о том, что поэт все правильно говорит, и слова у него древние, как государь закрыл дискуссию и поэта вместе с академиком выслал в Голштинию. Питер вскипел, как котел, – будто это над ним тунгусские метеориты выпали. Но Россия на Питер не особо глядела – больше всего наделала в августе шума весть о том, что в Московском зоопарке имела место самая настоящая «Битва Серафимов».

Да, в Свиблове, в зоопарке именно такая и состоялась. Со всей России, даже из Японии и Непала, съезжались проповедники-ересиархи и стояли вокруг зоопарка с зажженными свечами. Никто ничего не знал толком, но все пророчествовали. Ответственный секретарь зоопарка, вальяжный Истрат Натанович Мендоса, выходил и давал разъяснения, но его никто не слушал, хоть и был он с давних пор суперзвездой, – без его присутствия ни одна тварь в зоопарке не совокуплялась, а в его присутствии, напротив, все только и делали, что неистово сношались, даже на некоторых проповедников действовало. Из-за этого у Истрата Натановича сложности бывали, вязки внеплановые и многое другое. Но только он был живым свидетелем того события, которое весь мир нынче именовал «Битвой Серафимов». На самом деле имело место вот что.

Главный проволочник зоопарка, Серафим Львович, после увольнения других Львовичей спирт разводить в поилке у свиньи-бородавочника брезговал и пил в одиночестве, в террариуме, за кобрами, – туда мало кто по доброй воле совался. Серафим Львович облюбовал это место с тех пор, как стал знаменитостью в прошлый раз, – это когда он кобру кормил, дал ей мышь, а она его в левую возьми да укуси, так он ей так правой сдачи дал, что получил укус и в правую; однако выжил. Но с тех пор, как остался Серафим Львович без собутыльников, решил он пить не просто так, а по-духовному. За девять чинов ангельских, надеясь хоть когда-нибудь своего славного имени достигнуть. Первые три стакана обычно проскальзывали мелкими пташечками: за Ангелов, Архангелов и Начала. Потом Львович малость передыхал и пил вторые три стакана: за Власти, Силы и Господства. И вот тут организм Львовича почему-то отказывал. Как только доходило у него дело до Престолов – ноги у Серафима Львовича подламывались. В который раз! Пил техник-проволочник строго по науке, закусывал; впрочем, не закусывал, а занюхивал: доставал из морозилки после каждого стакана кусочек льда и аппетитно нюхал. Но и питье со льдом не

помогало. Только раз удалось допить до Херувимов, но тут техник вырубился: никак не мог дойти он до высшего чина, до Серафимов, до себя самого, короче! В поисках себя допился Львович и на этот раз до Престолов, но дальше не смог. От обиды вышел он из террариума и побрел к тезке. Пользуясь служебным положением, проник Серафим Львович в вольер к овцебыку по кличке Серафим, встал на четвереньки и стал требовать, чтобы тот не уворачивался и объяснил, почему такая подлость, что до них, до Серафимов, дойти никак нельзя. Овцебык от приставаний сперва отнекивался, а потом встал в боевую позу и решил докучливого гостя забодать. Львович все требовал и требовал. Овцебык уже собирался совершить задуманное, но ворвался в вольер серьезно встревоженный Истрат Натанович, взявший по первой жене сальварсанскую фамилию, – ну, разнять Серафимов ему составило три секунды. Но молва, молва...

Истрата Натановича с его индуктивно-сношарской способностью даже великий князь прошлой осенью хвалил, мол, хорошо бы такого на птичню. Но Истрат Натанович не пошел, он любил свой зоопарк. И проглядел как-то, что слух о том, что в зоопарке боролись Серафимы, вырвался из-под контроля. Напрасно он объяснял проповедникам и другим бездельникам, что никакие Рувимы в зоопарке не боролись, а Рувим Львович теперь не в Архангельске, а в Германии, там его называют «Хер Рувим», как положено, но он-то ни с кем не боролся! Все – как об стенку горох, проповедники не верили. Сенсация, знамение и т. п. Истрат Натанович разозлился и ушел в террариум. Там лежал уже уволенный приказом директора Серафим Львович и сквозь стекло втолковывал кобре, некогда его покусавшей, чтобы при царе она, дрянь, позволять себе не думала. К счастью, Серафим Львович был прочно обездвижен, и два сломомойщика, задней части и передней, при нем дежурили: ждали протрезвления бывшего проволочника. Истрат Натанович бегло поклонился портрету государя при входе в террариум, над клеткой с василисками, и удалился по делам, прочь из повествования.

Да и вообще много чего на свете происходило, но, конечно, гораздо меньше, чем в прежние годы, просто не сравнить. Как явился во главе России царь, так и планета поспокойней вращаться стала, ничего на ней потрясающего временно не происходило. Подошел вечер сношарева дня рождения, прошла и ночь, и все осталось более-менее как было, словом, можно считать, не сбился страшный сон великого князя. В пятом часу утра владелец трактира «Гатчина», что на въезде в Москву со стороны Санкт-Петербургского шоссе, хотел уже свой шалман закрывать, но один столик по-прежнему оставался занят: трое военных, сидевших там, уже дважды расплачивались за многое выпитое и немного съеденное, но и не собирались уходить. Хозяин «Гатчины» оставил за себя двухметрового официанта-вышибалу и пошел в заднюю каморку хоть пару часиков поспать; к шести, он точно знал, успеет хаш, и два-три десятка уроженцев Кавказа после вчерашних возлияний припожалуют. Потом у них, конечно, дела, а вечером все, как обычно, но с утра – хаш, очень выгодный, надо сказать, супчик. Зато время с четырех до шести утра, как в приемном покое больницы им.Склифосовского, владелец «Гатчины» по опыту считал

«мертвым»: не бывает в это время посетителей, и все тут. А нынче – были.

При входе в «Гатчину» висели два портрета. Один, понятно, его величества, царствующего монарха Павла Второго, а второй, сообразно с названием заведения – далекого предка нынешнего монарха, государя Павла Первого. На первом портрете Павел, сфотографированный в три четверти, смотрел в будущее России с твердой уверенностью. На втором его прапра – и далее – дедушка делал то же самое, однако изображен был живописно, ибо ни единой прижизненной фотографии монарха по сей день не нашли. Над столиком, где обосновались военные, тоже висел портрет-олеография какого-то поручика в мундире и парике времен Павла Первого. Фамилии владелец «Гатчины» не знал, но красивый был поручик – потому был тут повешен. За столом тоже сидели поручики. Трое. Хотя люди они были разновозрастные и мундиры носили не одинаковые, но чинами были равны, так что вели себя по-простому. Больше других болтал усатый брюнет, по его несовременным погонам было ясно, что в поручиках он «засиделся» – уж не за болтовню ли? Сейчас он пытался с помощью очень простой лексики воспроизвести соловьиное пение, как слышал его когда-то под Курском: со всеми раскатами и лешевыми дудками.

– Глядь, глядь! – заливался Ржевский. – Повив, повив! Куды? Кущи, кущи! Трах-трах-трах-трах! О-о-о-о-о! Тца, тца, тца! Почти вот так, милостивые государи, почти так. Итак, еще раз за здоровье его императорского величества! – поручик нетвердо встал и выпил полный шампанский бокал водки. Официант хотел убрать со стола пустую бутылку, но Ржевский обвил его той же рукой, в которой держал пустой бокал, и заорал на весь трактир: – Рахилия! Чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь!

Официант ловко выскользнул из объятий поручика и одновременно не дал военному человеку упасть. Мягко приземленный на прежнее место, поручик обнаружил, что бокал его снова полон, посмотрел на старшего по возрасту из собутыльников и произнес:

– Алаверды к вам, Голицын!

Голицын был много старше собутыльников. Как всякий человек с больным сердцем, выглядел молодо, лет на шестьдесят, тогда как было ему за восемьдесят. Он помнил севастопольский причал и удаляющийся икарийский берег, он помнил Галлиполи, югославскую бедность, немецкий концлагерь, американских освободителей, он помнил голодноватый послевоенный Париж и бесконечное безденежное безделье в кафе на Монмартре, он помнил Америку и тридцать лет на Манхаттане, тоже пролетевшие, казалось, за одним-единственным столиком в похожем кафе, неуютное русское посольство в Вашингтоне, новый паспорт с двуглавым орлом, огни аэропорта Шереметьево-2, – вот, кажется, и все, что помнил Голицын, сидевший в пятом часу утра в трактире «Гатчина» на въезде в Москву со стороны Петербургского шоссе.

– Прав был Оболенский, – удивительно юным голосом сказал поручик. – Ни к чему нам была чужая земля. Он-то, бедняга, предвидел, что все равно придется возвращаться, что будет в России император, будет, будет. А что тут лагеря были... На Дунае они тоже были, два года под Ульмом просидел. В Баварии...

Но это несущественно. Мог бы и тут посидеть. Вот, вернулся – а тут полно родственников, даже не все сидели. Зачем, спрашивается, было уезжать?

– Алаверды! – грозно напомнил Ржевский.

Старик поразмыслил, встал и поднял рюмку.

– Здоровье его императорского величества, государя Павла Федоровича! – провозгласил Голицын единственный тост, который казался ему пригодным нынче на все случаи жизни. Пить он не мог, лишь понюхал рюмку и поставил на стол, чего собутыльники не заметили: Ржевский выпил свой бокал раньше, чем Голицын кончил говорить, а Одинцов вообще не встал и не чокнулся ни с кем. Этот сравнительно молодой, в современной форме поручик, с шести вечера пил водку как воду, пытаясь накачаться, но организм был сильнее. Быть может, и не сорок градусов было в трактирной водке, от силы тридцать, – но графине, которую Одинцов даже в мыслях не называл по имени, никогда уже не понять, как сидит он, Одинцов, в пятом часу с неизвестно какой сволочью в трактире, пьет, пьет и не может напиться. За государя он, конечно, выпил, но вставать больше не хотел – в двадцатый ведь раз, не меньше!.. Ведь никаких других тостов... Может быть, и хорошо, что никаких, за графиню Одинцов выпить бы не смог, сразу побежал бы в сортир стреляться, да и подумывал об этом, однако же стреляться в мраморном сортире ему казалось как-то не стильно. Не должно быть чисто в таком сортире, где стреляются. А как должно быть?..

– Алаверды к вам, Одинцов! – прорычал Ржевский.

Одинцов понял, что дальше отмалчиваться усатый ему не даст. Хорошо хоть, что шел пятый час утра, и фантазировать не стоило. Одинцов налил полный граненый стакан, встал и произнес, растягивая слова:

– Здоровье его императорского величества, государя-императора Павла Второго! – и махом выпил водку. Ржевский тоже выпил, задумчиво глядя на олеографию над столом. Голицын, похоже, тоже отхлебнул. За окном созрел довольно сумрачный рассвет, погода портилась.

– А вы слышали, господа, что в тюрьму для государственных преступников заточен новый узник? – снова вступил Ржевский, утерши мокрые усы. – Не куда-нибудь заточен! В Кресты! То есть... Словом, в Бутырский Централ, тот, что во Владимире, на Таганке, словом. И никто не знает, кто он такой. Маска на нем... Нет, не железная... Не золотая... Пардон, господа, никак не могу вспомнить, из какого говна у него маска!

Ржевский потерял интерес к узнику и в десятый раз стал рассказывать историю о том, какая незадача приключилась на праздновании семнадцатилетия дочери его начальника.

– И вы представляете: свечей было восемнадцать! И только она спросила, куда же вставить лишнюю свечу, полковник крикнул нам: «Гусары, молчать!» Клянусь честью, если бы не приказ, и я, и все мои гусары сказали бы ей, куда надо!..

Ржевский не удержался на ногах, упал, но встал на колени, обхватил резную, львиную лапу столика, нежно провел пальцами по шлифованному дубу и заорал дурным голосом, обращаясь к ножке: – Рахилия! Чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь!

Вышибала аккуратно поднял поручика и вновь усадил в нужное положение, затем налил ему шампанский бокал водки. Он давно уже таскал на этот столик отнюдь не сорокаградусную, а ту, с красной головкой, в которой нынче градусов пятьдесят шесть как один, – а поручикам было без разницы. Один просто не пил по соображениям здоровья и возраста, зато двое других глушили, как шестеро, не пьянея, впрочем, нисколько, – ну разве что усатый на ногах держался нетвердо, так за это из «Гатчины» никого вышибать не велено. Реклама заведения гласила, что работает трактир круглосуточно. Вот и приходилось терпеть нынче круглосуточных поручиков. Вообще-то терпеть приходилось многое, анкета у вышибалы была «не того»: двоюродный брат у него еще не так давно служил в дорожной милиции, а троюродная сестра – даже в конной. Так что на службу в «Гатчине» пенять не приходилось. Это уж не говоря о чаевых. Вышибала очень любил отчеканенный портрет императора, он означал пятнадцать рублей золотом, – не мало все-таки. А кто такой этот поручик Киже, портрет которого темнел над столиком у военных, – какая, в конце-то концов, разница. Можно и не знать. На вопрос, кто это такой, вышибала давно научился прикладывать палец к губам и говорить: «Тс-с!» Совсем как соловей в исполнении поручика Ржевского.

\* \* \*

Хмурый рассвет в очередной раз красил грязными красками и древний Кремль и прочую столицу Российской Империи, в кинотеатрах сонные механики распечатывали коробки с выходящим нынче на широкий экран премированным кинофильмом «Москва – столица Российской империи», и все знали, что осенью этот фильм получит, помимо французской незначительной, еще и главную премию государства; ее теперь присуждали в годовщину коронации. И многим, кому этот фильм смотреть не хочется, смотреть его придется. В лучшем случае дадут отгул с работы или ничего не дадут, а в худшем – придется смотреть этот фильм под угрозой расследования родословной в поисках замаскировавшихся милиционеров. В булочных ложились на прилавки еще горячие, только что из пекарни, длинные «павловские» батоны. Даже молоко на Бухтеевском комбинате в Останкинекисло для нужд Сухоплещенко не просто так, а, надо полагать, во славу его императорского величества. Даже сигареты набивались во славу его, хотя доходы от табачных акцизов на всякий случай передавались в канцелярию престарелого митрополита Фотия, в миру Геннадия Питовранова. Даже торговля импортной детской присыпкой наконец-то процветала.

Недовольных стало меньше, чем при советской власти. Зарабатывать никто никому не мешал, если, конечно, зарабатывать это совершалось с благословения и ведома как церкви, так и государевой казны. Если, короче, совершалось оно несокровенно от службы ГМ – «государевых мытарей» – очень серьезной, очень многочисленной организации. На столе императора уже которую неделю валялся указ о введении смертной казни за сокрытие доходов; как в любом цивилизованном государстве, это преступление в России теперь приравнивалось к самым тяжким. Царь, однако, с проставлением высочайшей подписи не спешил, давал возможность все новым и новым гражданам России

пойти в сознанку. Граждане валили в районные отделения ГМ толпами, ибо взятое неизвестно из какого учебника слово «проскрипции» было у всех на устах и в ушах и действие свое оказывало. Как-то никто не помнил, что государь по основной прежней профессии историк, идея проскрипций была прочно поставлена народом в вину канцлеру Шелковникову, а также – гегемонистскому империализму Канады.

...Сношарь перестал горевать, что вчера съел лишнее четвертое блюдо. Надо себя в руки брать. Восемьдесят лет – никому дела нет. А вот мне дело есть. До деревни. Потому как хоть и появился преемник по главной профессии, потому как хоть и можно в свой секретный день рождения погрузить, что сны плохие снятся, – но дело-то, дело, оно – государственное! Сделал – и с плеч... да, с плеч... словом, долой его. Сношарь решительно вернулся к делам насущным, деревенским. В задней горнице Избы Боярина Романова государевы умельцы оборудовали для князя специальную хреновину. Нажмешь кнопку – вся, как на ладони, видна, к примеру, пропускная комната на Васильевский выгон. Нажмешь другую кнопку – на экране караулка у Китай-стены. Нажмешь третью – мастерская Ромаши. Ну, там смотреть не на что, все известно, рабочее время сейчас у парня, а вот в караульню глянуть очень интересно. И нажал квадратную, цвета бывшего флага, кнопку.

В караулке, против обычного, не топталось ни единого императорского гвардейца, имелись только четыре дежурные Настасьи. Все они сидели перед экраном наподобие телевизора, со множеством кнопок внизу. Одна баба увлеченно жала на кнопки, три других за спиной ее застыли не хуже кремлевских курсантов на упраздненном ныне посту № 1 возле разобранного для перевоза в Кокушкино мавзолея. Они глядели на экран, а на нем лежала в канаве и интенсивно поросилась огромная свинья породы ландрас. Нажатие нескольких кнопок – свинья стала гориллой, бьющей себя в грудь, крупным планом идущей на зрителя. Еще одна сложная комбинация нажатий – невзрачный мужик с другим невзрачным мужиком чокнулись какой-то цветной жидкостью. Крупно мелькнула на бутылочной этикетке надпись: «КИПР». Всех Настасий передернуло, последовало новое нажатие кнопок, один из невзрачных мужиков, голый, спрыгнул с голой бабы, превратился в лебедя и вылетел в окно, держа в клюве чемоданчик. «Что за диво?» – размышлял сношарь, вместе с Настасьями следя за приключениями сменяющихся одна другую картинок. Мелькнула белая полярная сова, потом еще что-то и еще что-то, картинку засбоило и отбросило назад, но скоро Настасья-компьютерщица нашла нужную комбинацию, и во весь экран вымахнул такой знакомый, почти родной, но уже исчезнувший не только с небес, но даже из анекдотов дириозавр. Сношарь смотрел сквозь экран на другой экран и был зачарован, как ребенок: все, что он видел, было совершенно непонятно, однако казалось до боли близким, будто чью-то жизнь показывали, которая прошла совсем рядом, только считалась тайной, а теперь вот стала явной, то ли человек в сознанку пошел, то ли сам-то помер, а другой о нем роман тискает, – загадка, да и только. Настасьи чем-то были огорчены, игра зашла в тупик. выиграть ее оказалось нельзя. Сплошное расстройство.



...Правильный ветер сегодня еще не дул, но все больше напоминал тот, который нужен. Часы на Спасской башне по случаю наступления шести утра заиграли государственный гимн – «Прощание славянки». А последняя оставшаяся в караулке Настасья, окончательно отчаявшись создать правильного дирижера по формуле, набрала на дисплее слово ЧИРИМОЙЯ – что было равнозначно капитуляции.

Наступал, прости Господи, трудовой понедельник Российской Империи.

## Павел II Пригоршня власти Часть 15

*Евгений Витковский*

XV

Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира.  
Александр Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.

Софья несколько месяцев кряду грезилась наяву, и наконец погрузилась в настоящий сон, в котором сновидений нет. Можно ли назвать подобный сон летаргией – зависит от врача и, разумеется, от точки зрения. В частности – от юридической позиции. И от того, кстати, будет ли за спящим уход. А он весьма дорогой, если не знаете.

По королевским меркам русские цари давно числились близкой родней датской династии Глюксбургов: последний русский царь, законный или нет, был внуком датского короля. Его мать так и вовсе была родной сестрой короля Фредерика, чей сын Кристиан, двоюродный брат русского царя, без удовольствия, но принял тетку у себя в доме в двадцатых. Получалось так, что любая Романова, будь она хоть Софья, хоть Матрена, оказывалась родней престарелому Кнуду VII Глюксбургу. А такому ли престарелому? Всего лишь немного за восемьдесят было нынче королю. К тому же родовая вилла Марии Федоровны в десятке километров от Копенгагена, дворец Ведере, пустовала. Король посчитал на пальцах и решил: ну, сколько она проспит? Десять лет? Ну двадцать? Откажется он родственнице помочь, так только тем и войдет в историю. Король Кристиан только тем вошел, что попросил тетку на вилле не жечь электричество попусту. Король Кнуд по себе такой памяти оставить не хотел.

Принцесса Софья, как ее теперь стали называть, в стране Андерсена угодила прямоком в Спящие Красавицы, – что вызвало к ней определенные симпатии. Ее хирургически чистые комнаты в Ведере открыто называли «гробом хрустальным», притом напоминали эти слова не столько о том, что мертвому в гробе спать полагается, сколько о том, что юная Спящая Красавица, глядишь, проснется как целая русская императрица. Медиков король ей обеспечил, деньги на счет Ведере поступали регулярно, – да и много ли нужно их тому, кто в летаргии даже снов не видит? Постепенно о Софье забыли все, кроме тех, кто своим рабочим местом отвечал за ее царское здоровье. Последнее стало причиной того, что медики, за ней ухаживавшие, следили, чтобы она, прони Господи, не проснулась – сперва детей вырастить надо, потом внуков поднять, а

там уж, так и быть, пусть просыпается.

Злые языки говорили, что не зря к Софье никого не допускают: боятся, что гость ее облобызает, и пиши пропало королевство Датское. Сын короля, которого никто не звал иначе, как его королевское высочество подкаблучник, собирався в обозримом будущем превратиться в короля Олафа IV, едва ли мог вообще обзавестись потомством по ряду причин, из которых главной была нелюбовь его супруги Гертруды к мужскому полу, и менее значительной – любовь к тому же полу самого принца. В такой противоречивой ситуации проще было оставить судьбу виллы Ведере «как есть»,

Как почти все, кто застигнут летаргическим сном, Софья не старела, сердце ее делало удар в минуту, а дышала она еще реже. Здесь, в Ведере, древние боги Роделанда подступиться к ней не могли, но хватало тех призраков, которых вилла притягивала. Они не могли пробиться к ее душе, но топтались вокруг, словно филеры тридцать третьего отделения.

Сны, которых она не видела, поместили ее в своеобразный хрустальный донжон – притом определенно бандитский, как все донжоны пиратских прибежищ вроде Карстенбурга и, что греха таить, Екатеринбург. Она не видела в натуре восьмидесятиметровый собор «Иоанн Златоуст» на Магистрацкой, нынче, поди, все еще Малышева, его взорвали лет за пятнадцать до ее рождения, но, если взять какой-нибудь из донжонов на Луаре, да вытянуть вверх как «Златоуста», да поставить на Роделанд, да чтобы все было хрустальное, врачи по струночке, а посреди Софья под искусственным питанием – вот это бы все точно так и было, как если бы она видела сны о том, что творится вокруг. А что она давно в Копенгагене, что улица Малышева опять Магистрацкая, что собор уже отстроили, что давно Роделанд никто не зовет иначе, как остров Буян, – так то одна видимость.

Хрустальные дворцы архитектура сна гармонично пристраивает к воздушным замкам, а ведь именно их понастроила в последний год бодрствования царевна Софья. Впрочем, куколке, собирающейся превратиться в имаго, осуждать ли гусеницу за мечты? Когда Универсум, – если не называть эту сущность неудобным для произнесения именем, – требует платы за то, чтобы гусеница стала ослепительно красивым Князем Тьмы, самое малое, чего он сделает, это превратит ее в куколку, в Спящую Красавицу, и скажи еще спасибо, что не в Царевну Лягушку, тем более хотя бы не в Русалочку, а последнее особенно опасно, если тебя понесло в метаморфозы на датской земле.

Предикторы не заглядывают в будущее на столетия. Что понял бы молодой предиктор Тиресий в рутинной для нашего времени операции по перемене пола? Что разобрала бы в раскопках Шлимана Кассандра? Чему удивился бы древний грек Эпименид, предсказавший изгнание чумы из Афин, узнав об антибиотиках и современных средствах дезинтоксикации организма? Кстати, как раз Эпимениду однажды вздремнулось в пещере. Проснулся и вышел он из нее через полвека. Конечно, «одряхлел он во столько дней, сколько проспал лет», как пишет о том старый сплетник Диоген Лаэртский. Может, и правда: в пещере лежал, без ухода, змеи, поди, об него согревались, короче никакой гигиены, уж точно никакого хрустального дворца и внутривенного питания.

Уход нужен, уход, падренька, и все будет путем.

Обычно предиктор заглядывает в будущее до ближайшего кризиса, это самое большее лет двадцать, ну, немного дальше, – а что там потом, так не лучше ли решать проблемы по мере их поступления? Если ясно, что в ближайшие двадцать лет никакие спящие не проснутся и своим вторжением в мир его не возмутят – нечего пока о них тревожиться. Голландскому шахматисту в Штатах нынче свое настоящее впервые было куда интересней любого чужого будущего. Южноафриканский любитель отливного серфинга то ли катался в отливе на Мышегорьевском пляже под Кейптауном, то ли курил какой-то слабый наркотик, и заметных признаков жизни не подавал. Татарская пророчица, как обычно, была себе на уме. Заглядывать в будущее на тридцать лет? Хватит и тех неприятностей, что сегодня есть.

Но если древние боги острова Буяна и его призраки от камней донжона оторваться не могли, то сущности более подвижные, вроде призрака датского адмирала и старого голландского художника, иной раз к ложу царевны приходили. Призракам, в отличие от предсказателей, привычно ожидать столетиями, что они заинтересуют кого-то, и еще дольше приходится ждать, что появится кто-то, кому интересны они. Адмирал, уставший от призывов тех, кому сам был задаром не нужен, но требовались его хорошо притопленные миллионы флоринов, от людской жадности устал. В земной жизни только и выпало ему удачи, что попасть в добрый час на прием к вкусно подпившему русскому царю, получить от него фартовую филькину грамоту на балтийское каперство да полгода с успехом поработать по основной профессии. Его «Веселая невеста» по сей день лежала на дне морском между Борнхольмом и Буяном, про нее фильмы снимались, до призрачных ли кинофильмов было призраку? Даже заинтересуйся он таковыми, никогда не смог бы он совместить того скомороха с экрана, с собою, настоящим пиратом. К тому после долгих лет заключения адмиралу в замке Галль вырезали язык, а потом удавили. Теперь скучал он в медленных коридорах столетий, появление русской царевны в его замке на Роделанде было каким-никаким, а событием. Говорить он с ней он все равно не мог, хотя русский и понимал. Но даже не спи она – все равно говорить бы с ней оказалось не о чем, так что адмирал всего лишь коротал века возле спящей красавицы. Ему шел пятый век, а в таком возрасте адмиралам любые женщины кажутся красавицами.

Для старого голландского мастера станковой живописи царевна была интересна с другой стороны: она являла собою натюрморт в прямом смысле этого слова: *stilleven*, извините за выражение, очень тихая жизнь, *zeer rustig leven*.

Призрачному художнику торопиться некуда, он готов писать свои призрачные картины десятилетиями, но едва ли захочет рисовать что-то живое: для мертвого это слишком мимолетно. К тому же выстроенный грезами Софьи воздушный замок был пока что пуст, его галереи прекрасно подходили для развески произведений старой голландской живописи. Ондеркант ван Дромен хорошо знал, что изображено на изнанке любого сна. Готовя еще в земные годы имприматуру для своих холстов из свинцовых белил, муки и масла, мысленно уже приступая к рисунку, он примеривал на нее багет, а все вместе так же

мысленно размешал в проеме меж дверьми или над одной из них. Он не любил оловянную посуду Виллема Хеды, еще меньше волновали его устрицы Питера Класа, в этом смысле он был архаистом: устрицы и крабы протухнут, жалкий сплав олова, свинца и сурьмы – «пьютер» – сгинет в оловянной чуме, но вещи, изначально лишённые плоти – увековеченные лепестки тюльпанов и локоны спящих красавиц, их ничто на незримых холстах не тронет: они само по себе существуют вне времени. Он умел многие годы дожидаться цветения редкого цветка, и написать его за одну ночь, пока тот не увял, то же относилось и к женщинам. Роскошь Брейгеля Бархатного, которого не зря считал старшим братом Рубенс, вот это было по нему. В смысле стиля художник был скорее фламандцем, но во времена его земной жизни не так уж была между этими народами велика разница.

Он любил писать одновременно по две картины, поэтому выбранный им для наполнения живописью воздушный замок всегда строился из двойных галерей, где один путь вел в глубину женской души, второй – в глубину мужской. Нередко он изображал на картинах другие картины, притом уже по две на каждом холсте внутри изображения, а на тех картины множились вновь, и лишь на самом дне последних виделись горизонтальные спящие женщины в окружении цветов и хрусталя. Иной раз, впрочем, фигура могла быть и мужской. Художник знал, что обратной стороны нет у того, у чего нет лицевой, значит, если явилась в мир некая Великая Спящая, то нет сомнения, что где-то в мир явился и Великий Спящий, и однажды оба проснутся, притом скорее всего одновременно.

Лишь в самые грозные ночи проносился над виллой в грозе и мраке король Вальдемар Аттердаг со своей Дикой Охотой, но единожды поняв, что не так уж глупа эта царевна и с ним в темный чулан не побежит, лишь бросал на Ведере огненный взор, да и пропадал за горизонтом. Из числа же смертных Софью посещали только медики, но с годами и они меняли живое состояние на призрачное, заступали здесь на незримую вахту, а на зримой оставались их дети и внуки. У новых поколений заботы были те же, что и у прежних, – детей вырастить, внуков поднять, словом, будить Софью никто не спешил. А король Олаф IV и вовсе не тем был озабочен: вопрос легализации однополых браков в королевстве датском был важнее любых русских царевен.

Другому спящему, самозваному губернатору острова Буяна, экс-проктологу ижорской национальности, повезло гораздо меньше. Принять его на хранение король Кнуд отказался: формально тот оставался советским гражданином, а значит – подданным русского царя, коль скоро в России опять есть царь.

Губернатора проверили на предмет «дышит или нет», оказалось, что раз в две минуты все же дышит, значит, юридически не покойник, а дальше пусть с ним его хозяин разбирается. Морейно отвезли в Петербург, сдали с рук на руки и о нем забыли. Светлейший князь Электросильный в делах Роделанда, он же Буян, понимал даже меньше, чем в своей липовой родословной. Головной боли с угнанным крейсером ему хватало, а к тому же мысли его были все время заняты транзитной переброской через таможню в Выборге все новых и новых вагонов ароматической детской присыпки. Бандитская «крыша» в Брусничном поселке

была как раз ижорской, ижорец Морейно для тех краев был «местным», ингерманландцем, иди там знай, какие у него связи: проснется, приведет их в действие, придется делиться, а вот этого Электросильный не хотел ни в коем случае. Девать Спящего было некуда. Впрочем, в России всегда есть возможность перевесить головную боль на столицу. Теперь это была Москва, вот пусть она и разбирается.

Йорис Арвович Морейно и впрямь был ижорцем, и впрямь неплохо пожил в самозванных губернаторах острова Буяна, однако счастья ему это не принесло, он тоже от обиды впал в летаргию. Только вот не было среди его родственников особ королевских домов, принцев крови, глав международных корпораций, арабских шейхов и генеральных секретарей, даже сенаторов или членов конгресса не было, даже, прости Господи, ни одного капитана дальнего плавания и уж тем более ни одного бандита, курирующего поставки ароматическим присыпок через выборгскую таможню. И это было для него исключительно плохо, ибо лишало его права на личный дворец, королевский уход и все прочее, что обломилось его напарнице по летаргическому сну волю их величества короля Кнуда VII, когда тот низложил все-таки узаконившего однополую страсть.

Спасти Йориса его могло лишь то, что в итоге и спасло: гражданская профессия. Согласно ее специфике, открыты были ему многие тайны российского общества, которые предпочтительно было не разглашать, но одновременно и забыть о коих нельзя. Геморрой – болезнь неприятная, запущенный геморрой – еще хуже, а прочие болезни, в тех мрачных местах приключаются, лучше вовсе не перечислять, нечего людей пугать и в соблазн вводить. Может быть, современные банкиры и не наживали «орден в петлицу» (опасно), но все поголовно имели «геморрой в поясницу» (поди минуи). И не одни банкиры. С той же хворью жили генералы, во времена врачебной практики Морейно бывшие полковниками. Геморрой куда демократичней, чем господа демократы на трибунах – ему подвержены и пламенные борцы с демократией. Даже перечислять не хочется всех тех, кто ему подвержен. Он и есть главный на земле демократ.

Если в Дании прикидывали: сколько проспит «спящая красавица»: год или десять, то в Москве прикинули: ну, месяц, ну, полгода? – и отправили спать к Бурденко, потому как некогда он работал именно там, в чехарде же всемирно-исторических событий России уволить его оттуда забыли, поскольку пациент был секретный, его старались лечить без шума, и вот тут судьба его наконец-то стала напоминать судьбу Софьи: те, кто хранил его сон, вспомнили, что сперва надо детей вырастить, потом внуков поднять, а там уж так и быть, захочет, пусть просыпается, а нет, так не надо...

Национальность спящего между тем брала свое. Поскольку клинической чистотой виллы Ведере его палата никак не блистала, в дальнем потолочном углу плел паутину паук по имени Евстратий Хитин, и ворчал о том, что никто не спешит принести ему в жертву выпавшие зубы больного. Между тем никто не был виноват: зубы не выпадали. Морейно случайно лежал ногами на юг, и спящая душа, как сердцевина сосен его родины, смещаясь к югу, дремала у него

в пятках. Под койкой больного прижился некий его национальный дух воровства с непроизносимым именем. Со стороны могло показаться, что толку от него никакого, но лишь на первый взгляд. Заботясь о сохранности своего обиталища он, с трудом разбираясь в произносимых врачами названиях лекарств, воровал их по всей больнице и притаскивал в палату Морейно, в итоге медики и впрямь могли думать о том, как им лучше детей вырастить и внуков поднять.

Если Софью иной раз достаивал взгляда буйный король Вальдемар, то к Йорису приходил некто совсем несусветный, в полтора человеческих роста, то ли в шкуре медведя, то ли сам по себе шерстистый, ослепительно белый и оттого плохо видимый на фоне белых стен, такого в России и в мифах нет. Это был Большой Человек Тундры, дух неизвестно чей и неизвестно чего желающий. Из того, что по жизни Йорис был человек скорей хороший, мечтательный, только бестолочь, поэт, звездочет и вот почему-то проктолог, можно было заключить лишь то, что в таком букете нечего и пытаться что-то понять. Как и в случае с духом воровства, вреда от него не было, а может, и польза какая была, просто никто не понимал, какая.

Тем временем берега Роделанда все так же были тревожимы ветрами и течениями Балтики. Древние граниты и песчаники противостояли эрозии, насколько могли, но даже гранит за тысячелетия превращается в пыльную бурю, если грызут его ветра и волны, будто комсомольцы – гранит науки. Течения мало что выносили на эти берега. Давно истлел китель капитана Владимира Глазенапа, чей «Архимед» потонул в двух шагах от острова, сильно помоги брату прапрадеда нынешнего императора проиграть Икарийскую войну, да и сам «Архимед» валялся где-то на илистом дне, не скрывая в трюмах ничего, кроме ущемленного достоинства российской державы. Проржавели и перестали угрожать народам цистерны с биологическим оружием третьего рейха, брошенные тут в сорок пятом году, и почти никого не поразил возбудитель роделандского миозита, слабенького гибрида простуды и дизентерии. Глинистое дно Балтики, в отличие от поверхности – место мертвое, впадины на нем полны сероводорода, камбала не пожирует. К востоку от Дании в воде нет моллюсков-древоточцев, которые в соленой Атлантике съели бы дерево за десятилетие. Корабли и лодки спали бы тут веками, не тревожь их самые страшные бури и самые глупые нырятьщики; этих, правда, всегда хватало.

Море переступало урез воды и рвалось в дюны, заваливая их в бурю грудями «адамовой кости» – окаменевшего в глубинах корабельного теса. Иной раз оно выносило и что-то цельное, не разрушенное. Например – большие засмоленные бочки. Иной раз подобными предметами заваливало весь шtrand, но лишь до следующей бури, уносившей эти сомнительные дары все в те же руки богов моря, Ньёрда и Ахто. Сомнительный славянский бог моря Переплут тоже норовил урвать свою долю мимо скандинавских и финских перепонок, но у него это получалось редко и неубедительно.

Между тем легко унести назад в море лишь бочку разбитую, не о них сейчас речь. Довольно тяжела сорокаведерная дубовая бочка, в каких Россия чаще

всего солит капусту и огурцы, а Балтика – кильку, салаку, даже дорогой немецкий деликатес – угря. Понятно, что и то и другое достается крестьянину и рыбаку кровью и потом, то есть на юридическом языке – задаром. Так что, если по морю плывет бочка, и владелец не сидит на ней верхом – всё, бери, она твоя, хоть капуста в ней, хоть копченый лосось, хоть принц Гвидон. Тут – чистая лотерея.

Засмоленная бочка может плавать долго. Иной раз буря может выбросить на берег и не одну такую бочку, а несколько. Ну, не тридцать три, конечно... а, впрочем, почему не тридцать три? Даже бог Переплут их не стал бы считать, сказал бы – «Все мои».

После очередной зимней бури гений места Роделанда, древний славянский бог Витой Сват обозрел бочки, вынесенные волнами на восточный берег, и сказал в сердце своем то же самое. Богиня Порнуха, в которую воплотился нынче Перун, не смогла ему противиться, тогда бог поплевал на божественные свои сосновые ладони, и открыл первую бочку.

Напрасно бог рассчитывал на даровую закуску. Из бочки вывалился кряжистый мужик в сопревшей плащ-палатке, то ли плащ-епанче, фасона не понять, с бородой по пояс, нимало не похожий на принца Гвидона, про которого Витой Сват, впрочем, даже и не слышал. Мужик долго сопел, источал тяжелый дух, наконец, не вставая с песка завернулся в плащ-палатку и опустил капюшон. Свое спасение из бочки он определенно как сенсацию не воспринял. Бог был тертый калач, тоже удивляться не привык ничему, опять поплевал на сосновые ладони и открыл вторую бочку. Третью. Десятую. Нечего и говорить, что в каждое было одно и то же: грязный, бородатый мужик в плащ-палатке.

Бог потерял к ним интерес, удалился на жалкое капище, проткнутое палкой ветрогенератора, обиженно заснул. Порнуха на другом берегу хотела что-то съязвить, но слушать ее было некому, тогда она тоже заснула, обхватив ветрогенераторную опору. Мужики надолго замерли, потом, не вставая, начали сползаться в одну группу. Длилось это довольно долго, к полудню на берегу лежала, шевелясь и пульсируя, единая масса плащ-палаток, из которой то там, то здесь торчали черные с проседью грязные бороды: казалось, мелкие и грязные капли ртути хотят слиться в одну большую, такую же грязную, черную с проседью. Когда скупое солнце все же взобралось на верхи сосен, стало понятно, что сидит на песке острова Буяна не отряд в тридцать три богатыря, а один-единственный богатырь, только здоровенный и грязный как все тридцать три.

Понятно, что и ту бочку, что была сброшена осенью с донжона, море утаить не могло, к моменту высшего прилива, что Балтике и аршина не достигает, ее вынесло в дюны, почти туда же, куда и упала она, поскольку по определению не тонет ни в море, ни в реке, ни в проруби, ни в колодце то, чему тонуть на роду не написано. Услуги жадных древнеславянских богов уже не требовались, вскрыть бочку успешно сумел сползшийся из трех десятков бочек множественный оборотень Иероним Крюков, крепостной графа Щенкова, ста восьмидесяти семи лет, уроженец села Брусничные Поляны Старогрешенского уезда Брянской губернии, герой битвы под Салтановкой, где в составе 7-го

пехотного корпуса ген. Раевского, в количестве шестидесяти штыков проявил чудеса героизма, отражая наступление армии Наполеона. Позднее был ранен в шестьдесят левых рук, восстановил здоровье, перешел на службу в шестое отделение специального формирования оборотней его императорского величества и в числе первых вступил в прежнем количестве в Париж.

По народной легенде, именно в Салтановке некогда правил широко известный Салтан, предпринявший ряд ошибочных действий, в результате которых на Роделанде был воздвигнут замок Карстенбург, временная резиденция князя-царевича Гвидо, позднее – губернатора Йориса Морейно. Поэтому интерес Буяну у оборотня Иеронима, за истекшие десятилетия, увы, утратившего значительную часть своей живой массы, был совершенно понятен.

Из особенно тяжелой, последней бочки, столько времени битой волнами и так долго вбиравшей звездное сияние, ногой выбив дно, тяжело выступил давешний гость Ксенофонта, черный ересиарх Маркел. Всякий, кто знаком с законами плавания дубовых бочек, знает, что они редко разбиваются и почти никогда не тонут, если в них загружены живой массой гл;вы русских еретических учений и верные их последователи, множественные оборотни. Шутки шутками, но не сгоревшие в огне и не потонувшие в морской пучине вероучитель и его паства собрались на берегу острова Буяна, не под дубом, правда, а между сосен, но у разных народов и легенды разные.

Маркел был мрачен.

– Преклонил нас проклятый Прокл. Приключил проклятию приклеенному.

Пантелей лишь опустил голову.

– Не послушал чернолицый, не извел ворога. И казак не послушал! А ведь навел бы кто синекожину! Порфирию! Трясучку! И не ведать бы нам муки сея, капкара амчюк кичи! глупцы суть, глупцы. Своей пользы не видят, все всегда сам делай. – Маркел задрал бороду к небу и заговорил относительно понятным языком. – Ничего, и буянска земля обидна всем. Не вышло сейчас, потом выйдет. В девятом кругу терпят, потерпим в десятом.

Старик неожиданно легко отряхнулся и зашагал в дюны, оборотень с трудом поспешал за ним. Потеряв половину себя, он все еще пребывал в растерянности, испытывая фантомные боли во всем том себе, которого Балтика не вернула.

Подсознанием он понимал, что где-то осколки его тела и души где-то живы еще, но не мог дотянуться до них. Даже по меркам оборотня он был долгожителем; очень редкие среди них множественные особи всегда умирают медленно и порознь, но основное тело Пантелея не желало мириться ни с какой смертью.

Старик спускался во все более тесную лощину, дорога вела все ниже, наконец, перешла в стертые ступени, уходившие в полную тьму. Маркел поискал за камнем, вытащил длинный факел, выдохнул на него язык пламени. Факел послушно затлел, но света дал немного. Не оборачиваясь, ересиарх зашагал по ступеням, полностью игнорируя наличие паствы за спиной – то ли он был уверен в верности Иеронима, то ли было ему на паству плевать. Достав из кармана что-то маленькое, будто монету или две, он забормотал полную несусветину:

– Вот – флорентийский золотой дукат, бьюсь об заклад – украден из музея



прислужницей, огромной, вдовой бабой: орала, будто на болоте выпь, весь день меня на сквозняке держала, но никуда не шла. А я мастак, и шит не лыком: я немедля понял, что долг супруга – у нее в заначке, и в Пьомби не торопится она. А рядом что? Цехин такой тяжелый, и где его спроворить мог Панург? Небось, в наперстки выиграл, иль просто сменял на алебарду у жида?..

Историю про вдову слушал Иероним не менее как в тысячный раз. В длинном пути, – а Маркел был даже старше Иеронима, – довелось вероучителю побывать где-то в Сибири настоящим богачом, понятно, когда он еще посох железный не взял и не пошел пасти народы. Но чем-то история про дотошную вдову-должницу старика задела. Пришла к нему бедная вдова, попросила в долг, ясно, что без возврата, тысячу рублей. Богач тогда дурачиться любил, и сказал старухе: мол, крупных нет, а возьмешь ли, матушка, мелкими? По копейке, только такие есть. Вдова, дура не будь, сразу и согласилась. Провели ее в особый покой, мешок дали: считай. У нее же свой интерес, тяжелых сибирских монет столбик соберет в десять монеток, вот и гривенничек, им если по темечку, – дитё зашибить можно, – в мешочек отправляет. Десять гривенничков – целковый, а старухе хоть бы хны. Десять столбиков – десять целковых, не видно конца. Вечереет.

Долго ходил Маркел по коридору, в горницу с медной монетой заглядывал. Уж и день кончался, а вдова все никак вторую сотню не сочтет. Ясно, что к утру не управится. Село ему в печенках. Зашел он к вдове, и говорит: матушка, хорошая ты женщина. А только вот не согласишься ли ты у меня тысячу червонцами взять?.. Вдова губы сложила бантиком эдак милостиво, ему и говорит: мол, согласна и на червонцы. Маркел, говорили, в тот вечер целиком орлений штоф скушал на радостях. Ну, а про вдову дальше известно – обедняла. Да и Маркел из богачей вышел, и стал долги требовать со всех.

Вот о том о самом и был его монолог, и тени от факела плясали на своде, Иероним плелся следом, даже не стараясь понять речи, отдававшиеся эхом в глубинах пещеры, и близок был конец пути.

Факел пещеру осветить не мог – разве что сажень-другую пола, во все стороны простиралась темнота. Не было света и со стороны входа. Однако Маркел продолжал идти в глубину, покуда не до дошагал до нескольких каменных плит, стоявших на боку, словно кто-то стал строить домик из костяшек домино, быстро соскучился и забаву бросил. Здесь Маркел сел на каменный пол, прислонился к плите спиной. Позвенел монетами – не иначе хотел убедиться, что дукат и цехин никто не отнял.

– Спим.

Маркел натянул на глаза капюшон плащ-палатки. То же самое медленно проделал за ним Пантелей, чувствуя, как тяжелеет тело, как слипаются глаза, как хотя бы к половине его измученного тела подступает спасительный отдых. Предпоследней мыслью его было – «Только бы выспаться». Последней – «Только бы проснуться».

О мыслях самого Маркела история так ничего и не узнала. В один год на белом свете появились трое Спящих, о которых никто не знал – когда они проснутся, и сделают ли это вообще. Так было в Копенгагене, на вилле Ведере, в идеальной

чистоте, в Москве, в госпитале имени Бурденко, в чистоте несколько меньшей, и на острове Буяне, в пещере под замком Карстенбург, в такой вековой пыли и сырости, что даже вши в складках плащ-палаток завестись не рискнули бы. То, что Маркел заснул не один – не так важно. Рядом с ним отдыхала лишь часть оборотня Иеронима. Какова оказалась судьба другой части – стало известно куда позже, но, как говорят в сказках, это уже совсем, совсем другая история, может быть, и не наша даже.

Однако же и год выдался. На Буяне жизнь шла своим чередом, про подземелья и вовсе никто десятилетиями не вспоминал: сокровищ нет, давно проверено. Даже крыс нет, даже летучих мышей, – а хоть бы и были, кому какое дело. Народ на острове жил простой. А простому народу что надо? Ну, понятно, детей вырастить, внуков поднять, а там, так и быть, судить-размышлять: когда Спящий проснется.

Зато в других краях было очень много чего. Над северо-западной Америкой стоял звон свадебных колоколов – что в Орегоне, что на Аляске. Не зря северозападно-американский писатель Джек Лондон от имени персонажа Мартина Идена высказал удивительно правильную мысль о том, что в конце каждого повествования непременно должны звонить свадебные колокола. Ведь и правда! Особенно если они звонят на самом деле, и тем, кто идет под венец расписываться, это в радость.

Но мало ли где что еще по поводу чего звонит?..

...На Зарядьевской-Москворецкой набережной деревенские бабы выбрали спуск к воде и наладились там белье полоскать. С тех пор, как повелел государь Павел Федорович Москве-реке стать чистой, она чистой стала, и вполне для этой нужды годилась. Однако ж хочешь, чтобы твой труд уважали – уважай и труд других. А это значит – не моги упустить мыло, и уж совсем не моги упустить швабру там, валец или веник, уплывут к Яузе и далее. Многое приключиться может, из истории знаем, как в двенадцатом веке упустила молодая боярыня веник в реку, он поплыл до самой Оки, а в Коломне его злые люди из воды возьми да вынь: так вот и узнали там военную тайну, что выше по речке крепость секретно построена и в ней молодая боярыня есть. Так что за стиркой полагалось прислеживать внимательно.

И где на страже семь нянек, там чем бы дитя не тешилось, а только после драки кулаками бы не махало.

То мыло от напряжения умственных сил упустят, то простыню от мечты про яйца, то, что уж совсем плохо, чистит баба форменный бронежилет, да и упустит его. И хуже всего, если в воду догонять полезет. Тогда лови ее в Коломне и ставь свечку, если хотя бы там поймашь.

Именно такая беда приключилась однажды в конце лета – и с кем! С великой женщиной, с Настасьей-стравусихой! Дело, понятно, житейское: отстояла три смены на вахте, жарко на Варварской по летнему времени, спустилась бронежилет к воде простирнуть, не доглядела – и упустила. Только кинулась его спасать, а он хороший, не только бронебойный, но и водоплавающий, сальвадорский, кажется, жалко терять. Да только тут, как на грех, прошел катер его императорского величества синемундирной речной гвардии, волну высокоую

поднял. Понесло Настасью тем водоворотом, что твою скорлупку стравусиную. И проплыла она, барахтаясь, мимо его императорского величества Котельнической набережной. Проплыла мимо Истинноправославной Державствующей Церкви Новоспасского монастыря. Проплыла мимо друга Российской империи народного художника России выдающегося иудея Марка Шагала набережной. Проплыла мимо древнего и прекрасного города Воскресенска. Проплыла мимо древнего и опасного города Коломны. Приплывши в Оку, поймала шуйцею небольшую стерлядь, съела сырою, не одобрила – та сивушным маслом отдавала. А Настасья все плыла – никто ее преступно не пытался догнать и вернуть, все только и делали, что яйца пересчитывали. И проплыла она мимо Нова-города Низовския земли. Проплыла мима града Казани. Проплыла мимо града Самары. Проплыла мимо града Сызрани. Проплыла мимо... Проплыла мимо... Проплыла мимо... Проплыла мимо... Стоп. Тут завертело ее и внесло в Волгодонский канал. Пронесло через шлюзы и, долго ли, коротко, вынесло в Азовское море. И проплыла она мимо Пантикапея. И проплыла она мимо берегов Босфора. Хватит, писать надоело, смотри, читатель, по карте сам.

...И однажды донеслось из Южной Африки сообщение, что там, прямо в бухте Уолфиш-Бей возле Кейптауна, выловили неизвестную женщину в бронеспасательном жилете на собольем меху, и говорила женщина человеческим голосом, по-русски. Женщину сперва представили президенту страны, тот в ней ничего интересного не нашел, потому как была она белая, а он черный и просидел в тюрьме двадцать семь лет. Потом показали ее второму человеку в государстве, предиктору Класу дю Тойту. Тот несколько раз обошел вокруг женщины, и отчетливо на общенепонятном окружающим русском языке сказал что-то приблизительно позже переведенное как «ну надо же, что за разнузданная имела место копуляция, золотая макрель дорада!», и попросил бабу все-таки снять бронезилет. Баба так одурела от плавания от Азовского моря через Черное, Эгейское, Средиземное и прочие, что просьбу исполнила. Потом они побеседовали в садике. А через день правительственное агентство новостей принесло сообщение, что отныне предиктор Клас дю Тойт – человек женатый. Привлеченная ветром и волнами в ЮАР Настасья-Стравусиха сменила вероисповедание; как некогда сам ее нынешний знаменитый супруг, перешла в лоно Реформированной Нидерландской Церкви, наиболее влиятельной в стране, и поменяла фамилию на дю Тойт. В общем, стала она мужняя жена. Первым ее и предиктора поздравили из Орегона супруги ван Леннеп, тоже проводившие медовый месяц у себя на вилле. В правительственных кругах и США, и ЮАР только диву давались: что это, или на предикторов сезон гнездования накатило, или как? Имелся слух, что где-то в России есть невыявленная женщина-предиктор, – может, она тоже замуж вышла? Предикторов не спросишь – они друг о друге без уж очень большой взятки ничего не сообщают, а деньги на такую взятку из которого гранта выписывать? Но и спрашивать было нечего: у Нинели хватало забот с малышом, хотя молоко у Тони пропадать не собиралось, бывший лагерный лепила Федор Кузьмич, обреченный триста лет ходить по Руси и грехи замаливать, следил,

чтоб ни мастит, ни какая другая болячка молодой матери и будущему царю не угрожали. Словом, при помощи Дони, молодой девушки с лицом истой француженки и фигурой настоящей хохлушки, они вчетвером при малыше в своем тайном скиту как-то со всем справлялись, не было у них ни в чем никакого недостатка, никакой нужды, и мирские беды, и мирские соблазны до их сокровенного убежища не достигали. Знал о них на всю Россию лишь один человек, но с него Нинель наперед взяла клятву пятнадцать лет, а лучше тридцать лет молчать про их скит, и он слово держал, – а держать было тем легче, что его, такого юного мальчика, никто пока всерьез не принимал. А еще поздравления из города Новоархангельска прислали поздравления царь Иоаким и царица Екатерина.

...И другие официальные лица.

Звонили свадебные колокола на Аляске, в Орегоне, в Кейптауне.

Только в Москве они не звонили.

Такое было на свете время, какое часто бывает. Когда тот, кто не хотел спать, засыпал. Кто и умудрялся не заснуть, тот все равно клевал носом. Кто хотел проснуться – не мог. И кто и мог, так просыпался не вовремя.

Все в нашей жизни всегда не вовремя.

Вот тут бы и кончиться роману.

...А фигушки.

## Павел II Пригоршня власти Часть 16

*Евгений Витковский*

XVI

Павел Федорович представил себе бесконечный ряд мух, которые должны были бесконечно уменьшаться справа налево и стремиться к нулю. Но так как разница между двумя соседними мухами оставалась меньше какой угодно малой величины, то мухи нисколько не уменьшались и были все одинакового роста.

Саша Черный. Иероглифы

По Красной площади, по священной брусчатке, шли танки. Цугом. Точней, шел один танк, а другой, несамоходный, волокся за ним в качестве прицепа. Скрежетали гусеницы первого танка, глухо стучали траки второго, скрипели зубы главного водителя: светлейшего князя Дмитрия Владимировича Сухоплещенко, коего вновь оторвали от молочных берегов благословенного Останкина-Бухтеева. Оторвали очень неудачно, сразу после похорон национального героя Бухтеева, чье имя носил теперь комбинат, на чьей вдове Дмитрий Владимирович, сам недавно овдовевший, предполагал жениться по истечении пристойных сроков траура. Однако новоотстроенный пивзавод на Брянщине требовал присутствия владельца на освящении и дегустации; пришлось ехать, а когда надегустировался отставной бригадир и соснового, и красного английского, то приступили к нему старые девы-поповны, теперь

ставшие главными технологами на заводе, с одной-единственной просьбой: увезти из села Единственно-Благодатского, как оно теперь именовалось, – после того, как завод занял все место между Верхним и Нижним, – пьяного председателя Николая Юрьевича. Не по злобе, а потому, что пропадает человек, совсем ни к какому делу не годен, а в столице за него родичи слово перед государем замолвят, может, даже полечат пьяницу. Хотели старухи сплавить из села и деда Матвея, но тот уже был оформлен обер-снабженцем заводской охраны, без его индюшачьих окорочков никто в пивзаводской столовке обеда не мыслил. Впрочем, деда старухи еще соглашались терпеть, а Николая Юрьевича пришлось на несомоходном ходу тащить в Москву. Сухоплещенко в душе матерился, но просьбу старух пообещал честно выполнить, приказал оба танка и самого Николая Юрьевича изготовить к старту на Москву. Лишним был человеком Николай Юрьевич при благодатских пивах. Дмитрий Владимирович решил, что метиловыми прибавками уморить его можно будет позже, в Москве, чтобы не создавать плохой репутации свежим брянским напиткам, сел в танк и поехал к Москве наезженными тропами.

Было темным-темно, в сырой сентябрьской сумрачности ярко фосфоресцировала на борту танка неистребимая надпись: «ЛУКА РАДИЩЕВ». Николай Юрьевич в этом танк-баре при свете красной лампочки благополучно хлебал свой «Мясоед», заедал крутыми яйцами и чувствовал себя как дома. Вообще-то он дома и был, он в этом танке жил, а что танк поехал, так этого факта председатель бывшего колхоза не осмыслял, ну, везут себе и пусть везут. Может, на утиную охоту? Осень ведь, хоть и ранняя. Сухоплещенко чувствовал себя куда хуже. Отставной Бухтеев, демонстрируя мадам статской советнице достижения сырозаквашивания, погиб вместе с ней в сепараторе, и весь сыр в тот день пришлось захоронить с воинскими почестями; «Благодатское» пиво шло на экспорт в тридцать стран; множество различных заводов, фабрик, поместий и супермаркетов включала в себя нынче сухоплещенковская империя – и как раз поэтому беспокоили отставного бригадира немислимые в прежние годы проблемы. В России бушевала исступленная дефляция: рубль, точнее, золотой пятнадцатирублевый империал, дорожал на десятки пунктов ежедневно. Сто двадцать пять, кажется, лет прошло с тех пор, как последний раз чеканились полушки, то есть монеты достоинством в четверть копейки, а сейчас – Сухоплещенко знал твердо, из первых рук – Гознак чеканил уже монету в четверть полушки! В одну тридцать вторую копейки! В одну четырнадцатитысячную долю империала! Если в золотом рубле, как было первого сентября, все те же четыре доллара, то, получается, государь-император чеканит монету в одну сто двадцать восьмую долю американского цента! Во жлоб! Он и двести пятьдесят шестую долю не упустит! Павел Калита, да и только! Сухоплещенко благоговел перед подобным вселенским скопидомством и все-таки немного ужасался.

Сухоплещенко дотащил «Радищева» до первых противотанковых «ежей» против Ильинки, вылез, плюнул одним плевком на оба танка и пошел в караулку возле Спасских – душ принять. Хорошая душевая осталась от увезенного в Кокушкино мавзолея. Подземная. Раньше тут была турецкая баня,

с сухим паром. То есть не турецкая, а древнеримская, как устраивали в древнем Третьем Риме. При советской власти их называли почему-то финскими. Тогда Финляндию финляндизировали, превратили в промышленный придаток к своему сырью, а какая-то промышленность в бане? Желаемое за действительное все хотели выдать, бывшенькие. Истинную причину раздражения Сухоплещенко скрывал от самого себя. Он по привычке продавал пиво на экспорт, за доллары – при неуклонно растущем курсе родного российского империала. Это грозило убытками. И на бухтеевской вдове жениться не очень хотелось, он предпочел бы ее дочку. И о детях пора думать. Миллиардера всерьез заботили вопросы династической преемственности.

Куранты высоко над банькой, где сейчас парился отставной бригадир, пробили два, царь давно спал. Сны редко его посещали. Даже сегодня, во вторую годовщину смерти отца, Павел провел всего лишь обычный день, сугубо трудовой: наложил окончательный отказ в помиловании на прошение Узника Эмалированная Маска. Узник обрекался пребывать в этой маске пожизненно, приговор обжалованию не подлежит. Нечего в партию без кандидатского стажа, без строжайшего поста и покаяния всяких жуликов оформлять. Имя узника тоже забыть. Пусть историки через пятьсот лет даже докопаются до того, кто таков был этот узник, посмотреть бы на их длинные лица, когда они узнают, что всей страшной тайне грош цена. Еще Павел принял окончательное решение о чеканке разменной монеты для Мальты, невыгодно туда полушки возить, Ваньке на расходы нужно дать кое-что, а то он, гад, свою чеканить начнет монету, разбирайся потом. Издал уж заодно указ о запрещении хранения в нумизматических коллекциях монет советского периода, особенно тех, на которых изображены лица, без визы на вылет мотавшиеся в космос. Да, еще издал Павел хороший указ: учредить на Москве спортивное русское состязание, всенародный кулачный бой на кистенях. И немедленно требовать, чтобы этот спорт причислили к олимпийским видам, не отступать. Что еще было? Окончательно решил вопрос о выдаче паспортов скопцам, решил, понятно, в отрицательную сторону. Люди они богатые, могут за паспорта и побольше выложить. Так что пока отказ окончательный. Пусть, падлы, знают, как на царя батон крошить... Словом, за весь день – никаких положительных эмоций. И одиночество, одиночество.

Постелить себе Павел распорядился в неожиданном месте, в «Брусняной избе», недавно восстановленной внутри Кремлевского дворца. Спальников царь терпеть не мог – тех, которые должны бы по чину с ним в одном покое в ночное время пребывать, беречь его сон. Постельничьего, боярина-кастеляна, царь взял из греков, по рекомендации обер-прокурора Синода. Чтобы, если казнить придется, не так жалко было. Это не скупость на людей, это русская бережливость. Павлу доносили, что о его скупости в народе ходят анекдоты. Павел на это обижался и не понимал – за что эти насмешки. Благодарить бы должны. Но преследовать за анекдоты про самого себя пока не велел. Нельзя терять популярность.

Павел, засыпая, долго перебирал в уме крохотные события этого дня, дал себе слово наутро порадовать душу, подняться на Ивана Великого, погладить чудо,

привезенное с Пушечного двора, и на этой согревающей мысли уснул. Сперва не было ничего, как в первичной тьме, над которой даже Божий Дух не носился, потом кто-то что-то громко сказал, и возникло во мраке нечто. И был это телевизор. Черно-белый. Телевизор казался очень старым, конца пятидесятых годов или вроде того, не то «Луч», не то «Темп-2», он был включен, и на экране кто-то выступал. Не то во френче, не то в гимнастёрке, не то еще в чем-то советском. Речь явно шла к концу.

«Кровавые подонки скрывались от карающего меча советского правосудия с тех самых пор, когда победоносная советская армия освободила концлагерь «Баухаус» в ноябре 1944 года. И вот теперь, восемьдесят четыре года спустя, пришла для них пора держать, наконец, ответ за сотни тысяч невинных жертв, замученных в «Баухаусе». Обвиняемый Опанас Жоминюк, все эти годы скрывавший свою волчью сущность немецко-фашистского прихвостня, прятался под личиной мирного продавца ликеро-водочного ларька... Наймит и педофил Реваз Геловани, ежевечерне скрывавший свою звериную суть под маской дорогого каждому советскому сердцу образа... Нет прощения этому отребью за давностью лет, поэтому требую, да, именно требую от имени советского правосудия...»

Павел недоуменно отвел глаза от экрана и понял, что сидит в своей старой квартире, в Свердловске. Обои почти вылиняли, видать, так их никогда со смерти отца и не меняли. Откуда-то приплыла в сознание теплая, очень мелкая мыслишка: а из восьми-то тысяч отцовских, поди, уже все десять стало на книжке! Можно в очередь на «жигули» становиться! Павел посмотрел на свои руки и удивился. Жилистые руки старика, с возрастными пятнами, безвольно лежали на коленях. «Старость не радость, восемьдесят два...» – подумалось ему. Суд над пособниками нацистов, как и следовало ожидать, закончился приговором к высшей мере. В восемь предполагалось выступление генерального секретаря – так обещала программа, напечатанная в «Вечернем Свердловске». Наверное, что-то очень важное. Что-нибудь про атомные испытания и происки гегемонистов. Или про остров Даманский? Где он, этот остров, возле Кубы или нет? Но наверняка что-нибудь очень важное.

Вошла Катя. Собственно, почему эта весьма немолодая, расплывшаяся женщина – Катя, Павлу было знать неоткуда, сходства никакого. Перед собой Катя несла прихваченную сковородником тарелку; по семейной привычке стариковский ужин Романовы съедали прямо перед телевизором. На экране уже ворочал челюстью генеральный секретарь, понять его речь в последние сорок лет никто и не пытался, но телевизор не выключали, надо думать, ни в одном доме, потому как потом программа обещала заветное, любимое – про Штирлица. Уж который раз смотрел Павел, не выпуская из одной руки газету, а из другой вилку, на любимые мгновения весны. Вся его жизнь прошла вместе с этими мгновениями. День проходил за днем, ничем не отличаясь от предыдущего, теряясь в далеком прошлом, но всегда они, эти драгоценные мгновения весны, были рядом, их снова и снова крутили по телевизору.

На стене висела выцветшая фотография отца. Рядом, тоже в рамках – отцовские дипломы за резьбу по рисовому зерну. Однажды попытался Павел тоже этим

делом заняться, но даже начатую отцом «Каштанку» на одной четвертой зернышка закончить не смог. Не те мозги, не то терпение. Жаль. И на охоту ходить не научился. Так и прошла вся жизнь в преподавании средним классам школы истории народных восстаний, татарское-иго-Болотников-Разин-Пугачев-декабристы-морозовская стачка...

Телевизор перевернулся, комната куда-то поплыла в красно-лиловую тьму. Из потемок выдвинулся народный сальварсанский ансамбль, исполняющий на кавакиньо и беримбау гимн Советского Союза, сочиненный великим композитором Александровым. Потом мощный, из Большого Театра, бас-профундо пропел: «И поплыли по ма-аатушке Волге просторные джо-о-нки!..» Кавакиньо и беримбау подхватили мелодию. Голос телепрокурора продолжил: «Брак этих кровавых наймитов не может быть признан действительным, и нет им прощения: они заключили его находясь в близком родстве, в сумасшествии, по насилию, будучи однополыми, несовершеннолетними и в разводе!» Серп колхозницы фехтовально вонзился в подбрюшье рабочего, тот присел на корточки, сделал несколько упражнений и заявил: «Протатарии всех стран!.. Оробляйтесь!..» Вновь прокурорский голос потребовал: «И увеличить награждение за открытие делателей фальшивой монеты!»

Штирлиц на экране разгрыз ампулу, но взгляд Павла оторвался от экрана и скользнул на ручку кресла: его собственную, безвольную, пятнистую кисть нежно поглаживала старческая Катина рука. Павел не выдержал и открыл глаза; еще ничего не увидев, он дико заорал. Почти полностью затемненная на время государева сна «Брусаяная изба» была все же не настолько темной, чтобы не вернуть царя из кошмарного сна к действительности. Павел перестал орать, окончательно огляделся и увидел, что в трех шагах от постели стоит и трясется, как осиновый лист, жирный, небритый враг короны, давно осужденный на пожизненные целинно-каторжные работы Милада Половецкий и держит в руке длинный, фосфоресцирующий стилет.

«Государь, я должен взять вашу жизнь!» – вертелась на языке Половецкого ритуальная самурайская фраза, но пришла она ему в голову поздно, потому что японский вопль, без которого каратэк на жертву не прыгает, исходил от императора, вылетевшего нагишом из постели. Средний палец царя вонзился бывшей увядшей хризантеме в диафрагму, прошел через то, что можно бы назвать надбрюшьем, и вышел из спины Милады. Голый Павел, еще не очнувшийся от привидевшегося ему кошмара собственной советской старости, в которой ничего, никогда и нигде не случилось и случиться не могло, беспомощно шевелил окровавленной рукой за спиной проткнутого Милады, а тот, гнида жирная, все не умирал, только выронил кинжал, и Павел отдернул ногу, чтобы об отравленное лезвие не поцарапаться. А вот выдернуть руку все не мог. Милада уже качался. Павел, памятуя свой более удачный прыжок на того сумасшедшего, который в прошлом году пытался его арестовать, с ужасом думал, как бы это упасть не под труп, а на него. И на него падать тоже было противно. Руку нужно выдернуть, решил Павел, собрался с силами и волей, напрягся.

– Это не каратэ какое, – сказал труп очень высоким голосом. – Это айкидо.



Павел выдернул руку и отпрыгнул, кого-то живого и крупного сбив с ног. На это живое он с размаху уселся, а Милада рухнул в темноту. Вспыхнула люстра, ворвались рынды с бердышами.

– Савва! Чурила! – несколько спокойней, чем сам от себя ожидал, сказал окровавленный царь. – Кто допустил? Взять!

Савва, двухметровый рында из бывшего ОМОНа, взять ничего не мог, царь врезал ему босой пяткой по причинному месту. Конечно, он не проткнул стража насквозь, но в отключке рында находился полной. Однако еще более двухметровый Чурила, да и подоспевший постельничий с холопами уже раскладывали на паркете то, что осталось от Милады после царского удара. Сам царь брезгливо вытирал руку обо все, что попадалось: о кафтан Саввы, о простыню, даже о лицо и волосы павшего рынды; тот лежал без сознания, ибо так было всего выгодней. Он-то знал, что именно ему теперь достанется меньше всех: он как-никак первым бросился царя спасать, ну, а что шорохи в спальне разбудили сперва именно Чурилу, тот никому теперь не докажет. Савва знал, что именно делают с телохранителями, упустившими того, чье тело они хранили. Кажется, тело и само оказалось не хилое, тело постояло за себя само, – во, бля, царь!

Чурила и грек-постельничий уволокли тяжеловесные останки покойной хризантемы, она же «брат Куна». Царь пришел в себя и встал, без посторонней помощи отправился смывать с рук очередного покойника. Из нагрудного кармана он вытащил сунутую туда еще Тоней – Павла колынуло – пластинку с таблетками транквилизатора. Принял только одну. И не хотел особенно «плыть», и жалел эти таблетки, все надеялся пластиночку предъявить Тоне и доказать, что лекарствами не злоупотребляет. Постоял несколько минут под душем, и под холодным, и под горячим, и вновь под холодным, – и опять император стал императором. Вытащил из-под груды белья линялый, синий, староконюшенных времен спортивный «адидас» и пошел в кабинет, без захода в «Брусную избу». Покуда Фотий заново все не освятит, ноги царской там не будет. А пока что найти виновного. Надо же, года еще не прошло с коронации, а покушения так и сыплются! Вот и делай этому народу добро! Пращура Павла задушили в Михайловском замке. Кузену прапрадеда за то, что он народу волю дал, бомбой ноги оторвали. Внука его и вовсе ни за что убили, притом вместе с родичами самого Павла. Зато при отце этого внука, при Александре Третьем, хоть и был он из узурпаторов, порядок какой-никакой, а все же был. Нет, хватит миндальничать. Подать министра внутренней безопасности! Откуда, спрашивается, ночью в Кремле убийцы с кинжалами? Царь не обязан каждого тыкать пальцем, палец не казенный, поломать можно, и не царское дело – работать собственной охраной!

Бледно-сиреневый в своем мундире из красной кожи, предстал Всеволод Глущенко перед тронем царя в Грановитой палате. Царь так и остался в «адидасе», а скипетр держал как хорошую дубину.

– Это что же, мать твою... – Царь осекся. Бледный, какой-то двухмерный Всеволод смотрел не на царя – он смотрел «сквозь». На все вопросы он давным-давно давал один ответ и не видел повода, почему бы и нынешнее, пусть

неожиданное для министерства, покушение не объяснить теми же причинами, что и все прочие беды, рушащиеся на несчастную империю.

– Мало декумаций проводим, государь. Необходимо полностью, до седьмого, двенадцатого и девяносто девятого колена истребить в России все проклятое милицейское семя. Не сомневаюсь, что нынешнее покушение – результат деятельности одного из подпольно-террористических милицейских центров. Имею даже подозрение, что враги окопались в святая святых...

– Твою мать! – Павел грохнул скипетром по ручке старинного трона. – Где Георгий? – бросил он в дальний угол. Там под покатым потолком пребывал обычно никому не заметный хромой блондин Анатолий Маркович Ивнинг. Анатолий Маркович сегодня страдал бессонницей, но, по счастью, ночь нынче у него была выходная, и проводил он ее в одиночестве, в личной квартире, двумя этажами ниже князя Таврического. Однако прибыл в Кремль по первой тревоге.

– Их превосходительство, – произнес Ивнинг самым трагическим голосом, какой умел изобразить; по рангу канцлеру полагалось «высокопревосходительство», но за глаза, в безопасные моменты, он злорадно понижал того в звании, сам-то он даже до «высокородия» не дорос пока, – их превосходительство вместе с его высокопреосвященством Фотием изволили отбыть в Николаев, на верфь, для торжеств по случаю спуска на воду и освящения авианосца «Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический»...

Павел позеленел. Канцлер в отлучке, верховный митрополит в ней же, кто будет судить министра внутренних дел? Павел помнил, что сам на этот пост Всеволода и назначил. Мелькнула мысль, что Всеволод, по довольно достоверным слухам, совершенно невменяем, так можно ли судить сумасшедшего? «Мне все можно», – вспомнил Павел мысль, которую изо дня в день внушал ему старичок-блазонер, перемежавший эти рекомендации, впрочем, длинными перечнями того, чего государю нельзя. Помнится, нельзя было бегать трусцой, нельзя оставаться без охраны. А он сегодня остался. «Ну, мне тогда его и судить. Я его сотворил, я его и вы... вытворю», – Павел от волнения заикался в мыслях. Но не только в мыслях, он боялся приступа заикания и на самом деле, поэтому начал «по-готовому»: – Доселе русские владельцы не истязуемы были ни от кого, но вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не судитися с ними ни перед кем! – отбарабанил Павел любимую свою, с большим трудом заученную у Ивана Грозного, фразу. – Ты что, псих, опять мне лапшу милиционерскую на уши вешать будешь? Какие такие милиционеры этого гада наняли? Кстати, чем у него ножик был отравлен? – царь обратился к Ивнингу.

– Редкий цыганский яд, медленно действующий. Цыгане называют его «дри». Состав яда уточняется...

– Все вы тут медленно действующие... Словом, кретин, если есть что тебе в оправдание говорить, говори. Суда присяжных, – царь нервно хохотнул, – тебе не будет!

Всеволод, ничего не понимающий в происходящем, прокашлялся и заговорил как раз о том, что лишало его последней надежды на сохранение жалкой

министерской короны, да и жизни.

– Ваше императорское величество! Вновь происки мировых милиционеров оказались упущены нашей сетью контрразведки! Нет сомнения, что новая, поголовная декумация милиционеров, оставшихся нам в тяжкое наследство от прежнего режима...

Царь не выдержал, хотя, памятуя печальный опыт, скипетром швыряться не стал. Он поднялся, зябко натянул на плечи порфиру. В Грановитой было отчаянно холодно, «адидас» не грел, да и горностаи мало помогали, но хоть какая-то видимость тепла получалась, если хорошо закутаться.

– Именем Российской Империи, властью, врученной мне от Господа нашего, приговариваю бывшего министра внутренних дел Всеволода Викторовича Глушенко к лишению всех прав, конфискации имущества в пользу казны, а также к высшей мере смертной казни! К расстрелянию... милиционерами самого подлого звания!

Всеволод стал заваливаться набок, рынды подхватили его и удерживали вертикально, хотя и пребывал свергнувший министр без сознания, покуда царь отдавал приказы:

– Вызвать сюда роту милиционеров самого низкого и подлого звания!

Ивнинг спешно набирал секретный номер дежурного по городу генерала синемундирной гвардии, то бишь главного дежурного жандарма. После короткого переругивания на тему «Где их возьму?» – «Царь!» – «Царь?!» – «Царь!» – «Ах, его императорское величество...» – настала длинная пауза. В чернейших казематах, в канцеляриях наилучших равелинов и централов поднимались дела осужденных милиционеров, все они, как назло, уже давно были расстреляны, либо загнаны в недостижимые лагеря. А царь требовал – «вынь да положь». Наконец, из Выхина передали, что там в дежурке сидят двое только что задержанных на автодорожном кольце Москвы беглых из сибирского лагеря мусоров, латыш неизвестного звания и происхождения с открытым туберкулезным процессом и младший лейтенант с незалеченным триппером. Расстрелять их собирались, как обычно, без суда и следствия, на рассвете: раньше шести утра, по давнему приказу Глущенко, расстрелы накопленных за сутки милиционеров не производились. Сейчас министр, не находясь он в обмороке, оценил бы мудрость своего приказа. А может быть, и не оценил. Крыша министра давно и далеко поехала кататься, на чердаке же под этой уехавшей крышей никаких мыслей не имелось, кроме зоологической ненависти к почти истребленному милиционерскому племени. Ни одна экспертиза в мире не признала бы Всеволода Глущенко вменяемым. Но абсолютный монарх всея Руси обходился без экспертизы. Беглых милиционеров разбудили, надавали по морде и сунули в «воронок».

Чутьем старого зверя понял латыш, что везут не на пустырь, а к центру большого города. Несколько удивился, – насколько, конечно, вообще был на это способен, после четверти века лагерей и десяти месяцев пешего блуждания по России удивлялся он лишь тому, что все еще жив. А недолеченный Алеша Щаповатый не удивлялся. Он давно ничего не понимал и только повторял во всех своих мытарствах: «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Он

надеялся лишь на это, но пока что ему все время приходилось только «долго мучиться». «Воронок» мчал со скоростью нового «феррари», поэтому швыряло свежееарестованных беглецов нещадно. Латыш подремывал, а Алеша губами повторял свой «символ веры», он и вправду верил, что что-нибудь когда-нибудь непременно получится, он, как всякий чистый душой советский человек, знал, что мучиться надо, иначе никогда, никогда коммунизм не получится, а чем больше мучиться – тем больше коммунизма получится... Только бы вот не тошнило так страшно на пустой желудок, только бы, только бы... «Воронок» куда-то влетел и застыл. Имант лежал на полу, Алеша сидел рядом. С полчаса ничего не происходило.

Потом задняя дверь отворилась, длинный амбал в непонятной форме, заметно хромой, приказал выходить. Двор-колодец, в который предлагалось выйти, не оставлял самоймалейшей надежды, – в таких местах только расстреливать и хорошо. Алеша понял, что если долго мучиться, то будет расстрел, и вздохнул с облегчением. Хромец тем временем пытался поставить на ноги Иманта, и ничего из этой затеи не получалось, у старого сына латышских стрелков шла кровь горлом.

Подошли еще двое в синем, оба двухметровые. Алеше пришлось голову задирать, чтоб им в лица глянуть. Лиц он не увидел, свет прожекторов бил сверху, так что вместо лиц над шинелями и под козырьками зияли темные дыры. Одна из дыр заговорила вполне человеческим голосом.

– Револьвер держать умеешь, гнида милицейская?

Алеша растерялся. Когда-то умел. Неужто его заставят для начала застрелить друга-латыша, а только потом прикончат самого? Но судорожно кивнул.

– Прости, парень, другого нет, – сказала дыра, ее обладатель протянул Алеше старый-старый револьвер, из тех, в которых курок спускают не указательным пальцем, а большим, сзади. У гвардейцев на вооружении табельным оружием считался «толстопятов», министра же было приказано расстрелять из «подлого» оружия, – уж какое нашлось. – Семь пуль. Всадишь все вон в того – пойдешь на свободу, и... с наградой. Ну, а этого, – двухметровый указал на лежащего ничком Иманта, – оставьте. Оформим потерявшим сознание от голода... и пыток. Где мы еще одного найдем? Их днем с огнем нет, всех морда краснокожая в расход пустил. Кстати, его ведут.

ЕГО вели. Не то вели, не то несли шестеро синемундирных жандармов того самого владыку, которого еще вчера вечером имели наглость не бояться всего три-четыре человека в Империи. Его придерживали за все, за что возможно, лишь бы оставался в вертикальном положении, подпирали голову, переставляли ноги: левую, правую, левую, правую, опять левую, опять левую, запутались, но не рухнули – слишком много контролеров вело на казнь этот почти готовый труп, слишком много сердец пело от ожидания, что этот несомоходный и полоумный ужас вот-вот, сейчас-сейчас исчезнет из жизни России, и можно будет забыть, что твоя троюродная тетка была замужем за довоенным постовым с шоссе Энтузиастов, что сам ты целых три месяца простоял регулировщиком ГАИ на развилке Каширского шоссе, что жена твоя уже два доноса на тебя сочинила, только чудом не отослала, а третий, курва, пусть пишет теперь, ей же

хуже будет. Всеволод шел на казнь. Не сам, но шел.

Те, что вели Всеволода, бросились врассыпную: прожектор из-за спины Алеши ударил лучом прямо в лицо опального министра. Плоский, как Дзержинский, безвластный, как бумажный тигр, но все еще страшный, отчасти из-за красного мундира, Всеволод стоял сам, наклонившись вперед, и смотрел прямо перед собой, не мигая, ничего не видя. Алеша с дрожью поднял «велодог», хотя откуда бы ему знать название этого допотопного револьвера, призванного защищать велосипедистов от собак?

– Шило!.. – с ужасом крикнул Имант, оторвав голову от бетона. Министр что-то вспомнил, выхватил какой-то предмет из нагрудного кармана. «Не обыскали!» – пронесся сдавленный вопль Чурилы, а следом грянул выстрел. Пока что ничего не произошло. Алешина пуля, как и все, что он делал в жизни, пропала попусту, хотя потом и ходили легенды, что Глущенко отбил ее шилом. Медленно рухнул на колени Алеша, яростно нажимая псевдо-курок. Даже в стену, думается, он не сумел бы попасть – не то что в министра. А тот стоял, выставив перед собой шило, как шпагу, и был страшен. Савва обошел его сбоку, треснул тяжелым ритуальным бердышом в висок – Всеволод рухнул. Затем Савва отобрал «велодог» у Алеши, перезарядил, аккуратно, почти в упор выпустил пули в лоб лежащему. Затем вложил пустой револьвер в руку валяющемуся без сознания Алеше, утер лоб грязно-белым рукавом, размашисто перекрестился.

– Все по слову государеву!.. – пролетел гул по крохотной толпе.

– А тому палачу, который аспида казнил, дворянства бы отнюдь не даровать, а назначить его, доколе живота его будет, главным палачом над московскими палачами и звать бы только по имени, а ежели для вежества и устрашения, то звать бы его... господин Московский! – вдохновенно диктовал Павел Ивнингу, устроившемуся на стуле у двери. Сам царь, так и не сменивший ни на что «адидас», замороженно глядел в аквариум на повисшего, словно шахматная фигурка, черного конька у самого дна. – А второму палачу... Кто он такой, кстати? Тоже из Екатеринбурга?

– Нет, ваше величество, – Ивнинг сверился с записями, – он простой сын латышских стрелков, происхождение неизвестно. Отбыл четыре срока...

– Неважно, есть у него что-нибудь существенное в биографии?

– Горловая чахотка...

– А тому палачу, который казни споспешествовал, – немедленно вернулся к диктовке царь, – даровать бы покой и пенсион, поместить бы его в дом призрения латышских стрелков... Проверить, если нет такового, обзавестись... И пользоваться бы его всеми терапиями, доколе живота его будет. Министром же внутренних дел назначить... – Павел надолго замолчал. Кого? Кадров у него не было вовсе. Сухоплещенко с ночи в реанимации, канцлер, поди, ничего еще не знает, «его блаженство» и вовсе блаженствует, хрен старый. Заместителей покойный Глущенко при себе не держал, сам управлялся, придется теперь придумывать какое-нибудь слово, наподобие «разнузданной глущенковщины», чтоб не сознаваться миру, что держал министром психа. – Пост же министра внутренних дел упразднить вовсе!

– Ваше величество, вы уже изволили упразднить пост министра иностранных дел, – тихо подал голос Анатолий Маркович.

– Помню, правильно сделал. К чему разводить внутренние дела, гвардия моя тогда на что? Вот пусть их шеф всем внутренним и ведает. Даровать этому...

– Его сиятельству Башмакову-Шубину?

– Его высокопревосходительству, он не князь, еще не хватало жандарма князем делать... Даровать ему все права министра! А иностранными делами, милейший, у меня канцлер занимается, у него жена хорошая. Ни к чему паразитов плодить. Тебя, милейший, тоже окольниковым пора пожаловать. Ты не радуешься, в годовщину коронации пожалую, если ты, ха-ха, до тех пор не угодишь к господину Московскому!

Анатолий Маркович Ивнинг твердо дал себе слово никогда и ни на чем не попадаться. Даже взятки не брал. Ну, а из мелких слабостей позволил себе аквариум. Ивнинг знал, что теперь – после Всеволода – ни за что не доверится человеку без мелких слабостей. Еще ночью Ивнинг приказал сжечь, а затем затопить залы заседаний всех трех масонских лож – даже если их только две. С убитым Миладой его не связывало ничего, кроме давно исчерпанного романа. Ивнинг плохо знал историю, поэтому полагал, что скоро империя начнет называть его «Железный Хромец». Павел, историк, это предвидел и по-тихому, через Елену Эдуардовну Шелковникову, заказал для Ивнинга протез, уравнивающий в длине обе ноги Анатолия Марковича; царь собирался вручить этот протез вместе с грамотой, дарующей звание окольникового: пусть думает управделами Кремля, что это высокое звание, а ведь на самом деле означает оно лишь то, что нет у тебя, господин боярин, никакой определенной должности. Так-то, Анатолий Маркович. Буду тебя пока что терпеть. А проткнуть всегда успею, даже если это не каратэ никакое, а айкидо. Тоже хорошая борьба. Павел проверил по энциклопедии, сразу, как помылся.

Сентябрьское утро застало вымытого, причесанного, хорошо побритого, хотя и одетого по-домашнему императора врасплох своей радостной солнечной погодой, опять и опять лезла в голову мысль, что точно так же сверкало нежаркое сентябрьское солнце два года назад, в день похорон отца, Федора Михайловича. Павел подумал, что надо бы хороший портрет его заказать. Хорошему художнику. А есть сейчас в России художники? Павел понятия не имел. Не знал он и того, есть ли в империи композиторы, писатели, скульпторы, архитекторы и люди всяких других профессий, необходимых для прославления легитимной власти. Павел шел через галерею Зимнего сада, смотрел на осеннюю голубизну небес и размышлял: какая же это гадкая вещь – политика. Даже в кино не был больше двух лет, ужас! Мысль о кино привела на ум другую, о телевизоре, ну, а сон про телевизор нынче привиделся очень уж противный. «Запретить демонстрацию этих «Мгновений» к чертовой матери, кто хочет смотреть, пусть покупает видеокассету и заодно видеомэгафон, на них можно ввести монополию, очень недурной доход для казны. И пусть попробует кто-нибудь переписать что-нибудь без монопольного клейма! Того сразу к господину Московскому с конфискацией имущества, тоже в казну. Не надо эти «Мгновения» запрещать. Дедушка старообрядцам бороду оставил, но

платить повелел за нее. Ежегодно и много. Надо будет дать задание, чтобы копии фильмов про Штирлица после третьего-пятого просмотра приходили в негодность, пусть покупают чаще. Жаль, что дириозавр телебашню загробил, ничего, дядя обещал новую подарить, как только отстраивать свой выгоревший город кончит. Главную улицу он там переименовал в авениду Пабло-Сегундо... Приятно, черт возьми, – у себя дома так не побалуешься. А тем не менее заказывать отцовский портрет Маме Дельмире нельзя, она опять курицу нарисует. Вроде бы другой какой-то художник был в Сальварсане, тот, что герб нарисовал. Как его?.. Матьего Эти, вот как! Авось живой еще, пусть нарисует. Не понравится – отправить в краеведческий музей, в Екатеринбург.

Павел удалился из Зимнего сада и пошел длинными кремлевскими анфиладами, никакой особой цели не преследуя, идти ему было не к кому и некуда. Блазонера позвать, да, тот мог бы утешить, но опять будет сплошная «энigma» и непонятна. Дед Эдуард? Как-то нет повода его нынче звать, разве титул пожаловать новый?.. Знать бы свое будущее, как во всех культурных странах делают. «Что дальше? – размышлял Павел, постепенно переходя с мысленной речи на шепот, потом на разговор вслух, даже на довольно громкий. Как все одинокие люди, император привыкал беседовать сам с собой. – Ну, лично казнил членистоногого. Министра тоже казнил, слава Богу, не своими руками – ох, не царское это дело, что бы там на этот счет дедушка Петр ни заявлял. Еще назначил Москве палача. Упразднил два министерских поста. А наследника все равно нет как нет, даже в официальных документах некого обозначить «наследником престола». Не из сношаревой же деревни брать? Так, что ли, и оборвется на мне династия?..»

– Династия, ваше величество, ни в коем случае на вас не оборвется, после вашей достаточно нескорой кончины на русский престол взойдет ваш законный сын. И ему еще предстоит бороться с последствиями того, что позднее назовут византийским кризисом. И, увы, в его царствование на Руси будет раскол. – Голос, произнесший эти слова, звучал как бы ниоткуда, голос был очень молодой и чем-то знакомый. – А сегодня вечером вы посетите Большой театр и получите эстетическое удовольствие от представления балета «Жизель».

Говоривший выступил из-за угла старинной изразцовой печи. Это был мальчик лет четырнадцати, почему-то показавшийся Павлу знакомым. Но откуда мальчик здесь, в святая святых императорских апартаментов?

– Если вы меня не помните, ваше величество, – без передышки продолжил мальчик, – я младший сын генерала от кулинарии Игоря Аракеляна, Гораций Аракелян, дворянин... и предиктор. Менее чем через час официально вступлю в должность.

Павел в первую секунду не понял ничего, во вторую понял все.

– Что ж ты раньше не явился?

– Ваше величество, я – четвертый сын. Вы сказки знаете?

– Я только их и слышу целый день, – неожиданно нашелся Павел. Ему почему-то вдруг стало весело.

– Вы когда-нибудь слышали сказку, чтоб у отца было четыре сына?

Павел подумал.

– Да нет, все – двое умных, третий дурак. У твоего папы старший сын нынче... в деревне работает, средний, кажется, в разведку пошел учиться, младший тут люля-кебаб жарит... А четвертый откуда?

– А четвертый в таком деле, ваше величество, есть всегда. Но он не лезет в умные, и при этом не дурак. О нем сказок не рассказывают. Он сам обычно все знает. С сегодняшнего дня, согласно предсказаниям предикторов Класа дю Тойта, Геррита ван Леннепа и Нинели Муртазовой, я приступаю к исполнению обязанностей предиктора при вашем величестве. На то будет ваша монаршая воля, и вы менее чем через час отдадите приказ о введении меня в эту должность. Сейчас вы скажете...

– Так ты же еще в школу ходишь! – не выдержал Павел.

– ...что я еще хожу в школу, ваше величество. На это я отвечаю, что семь классов я окончил, предиктору остальные совершенно ни к чему, с чем вы совершенно согласитесь.

Павел, по-птичьему склонив голову набок, рассматривал мальчика. «Похож на тетку! – вдруг понял он. Елена Шелковникова и вправду была родной теткой Горация Аракеяна. Лучшей рекомендации, пожалуй, придумать нельзя. – Но неужто там, где есть три сына – дурака-умных, четвертый всегда настолько умный, что скрывает само свое существование?»

– Не всегда, ваше величество. Но в сказке про нас, – мальчик широко улыбнулся, – чистая правда. Сейчас вы хотите спросить меня, когда же вы встретитесь с матерью наследника. Я вынужден буду не ответить, ибо дал слово временно хранить молчание, дал его предиктору Нинели Муртазовой. Сейчас все ваше внимание будет обращено на государственные дела, сами посудите, сколько империй развалилось лишь оттого, что раньше времени заражались там беспокойством о том, кто будет править потом, а глава государства совершенно забывал, что нужно править именно сейчас. Именно СЕЙЧАС. – Мальчик выделил последнее слово таким убедительным нажимом, что отвечать ему было вообще нечего.

Павел, полюбив удивительно худенького мальчика, совсем еще подростка, отправился в рабочий кабинет.

– Может, сам за меня все и продиктуешь? – усмехнулся царь.

– Ни в коем случае, ваше величество, вы этого никогда и никому не позволите, а царствовать вам... еще долго. Могу лишь предсказать, что любым назначенным вами жалованием я буду удовлетворен.

«Еще бы не будешь!» – буркнул мысленно Павел и подумал, знает ли Гораций все его мысли, короче, умеет ли он их читать. Но промолчал. А предиктор ответил.

– Заранее хочу предупредить ваше величество, что я не телепат. Однако, исходя из будущих событий и всего накопленного опыта вашего царствования, могу сказать, что ваши мысли, поступки и слова я в силах полностью предсказать. Не будучи в силах на них повлиять, конечно, – скороговоркой добавил мальчик, и Павел успокоился.

– Земли тебе где даровать? – спросил царь.

– Где угодно, ваше величество, только не в заяблонной полосе.



– Чего?

– Это значит – южнее шестьдесят первого градуса северной широты, северней яблоки не урождаются. А я антоновку люблю. Вы ее в будущем году переименуете в «павловку», но все равно.

«Мальчик как мальчик», – подумал Павел. Вот уж чего ему не было жалко, так это яблок. Все одно пропадают. Пусть подберут ему сады антоновки, пусть отдадут самые лучшие: Павел эту кислятину не любил.

– С будущего года, ваше величество, вы очень полюбите... павловку. В моих садах под Жиздрой... Виноват, на Брынщине... словом, в Брынских лесах, вы тамошние места знаете, там у меня павловка будет удивительная, душистая и сладкая, а вовсе не кислая. Разумеется, ваше величество, все, чего я не съем, будет поступать на императорские поварни.

Павел оглядел Горация. Такой много не съест. А тогда что ж это за подарок? И, кстати, зачем антоновку переименовывать?

– Таков будет ваш высочайший каприз.

С мальчиком определенно не стоило говорить: сотая доля секунды – тоже будущее; хотя Гораций не мог прочесть того, что думал Павел сейчас, он прекрасно знал все то, о чем царь подумает вот-вот. Ну, неужто кроме яблок ничего не надо? Предиктор все ж таки...

Гораций тактично промолчал. Они вошли в прихожую-предбанник. Ивнинг вылупил глаза, он этого парня видел впервые и сразу ревниво заподозрил, что государь решил вдарить по мальчикам.

– Почтенный Анатолий Маркович, это – его сиятельство Гораций Аракелян, верховный предиктор России! Сбитнева ко мне. Оформить сразу и возведение...

– В графское... – подсказал мальчик.

– Достоинство, – продолжил царь, – и приказ о вступлении в должность предиктора. Также, в порядке исключения, граф Гораций получает тарханную грамоту о довременном совершеннолети!

Царь ушел в кабинет. Гораций задержался на пороге и тихо улыбнулся Ивнингу.

– Царь равнодушен и к лицам своего пола, и к лицам противоположного. Так будет еще... долго. А вот вас, Анатолий Маркович, уже в январе наступающего года ждет исключительная радость...

– Гораций! – позвал царь, – тоже мне, предиктор, твое время принадлежит мне!

– Вам, государь, вам и России!

Павел привычно уперся взглядом в аквариум.

– Давай рассказывай, чего мне ждать плохого.

Гораций удобно устроился в гостевом кресле. Сделано кресло было по ширине шелковниковской задницы, так что там могло поместиться три Горация.

– Залезай с ногами, – едва успел сказать царь, замечая, что мальчик опять на долю секунды опережает его мысли.

– Сегодня, ваше величество, вы должны – собственно, вы уже и так решили – отдыхать. Вы намерены миловать преступников.

– Каких еще?

– Жертв разнузданного произвола и кровавого террора, устроенного в стране

мясником Глущенко. Немедленно амнистируются обитатели милицейских лагерей...

– Слушай, иди и диктуй Ивнингу сам!

– Тогда пророчество не сбудется... А мать моя ни при чем, очень тихая женщина. Я приглашу Ивнинга, простите. Нужно будет подписать приказы, касающиеся меня, их немного. Заодно еще раз специальным приказом воспретите Мальтийскому уезду чеканку собственной монеты, у Ивана Романова даже мысли такой возникать не должно. Еще, полагаю, вы сегодня же вышлете из России народного дрессировщика Адольфа Хотинского, выступающего с ансамблем коз-баянисток, противоестественностью подобного зрелища внушающего соблазны жителям первопрестольного града.

– И вправду вышлю – черт знает что! В Москве! Козы! Услать его...

– Совершенно верно, за Жужуй, как говорят в дружественном Сальварсане. Еще вы, ваше величество, дабы отвести все дальнейшие возможности покушений, прикажете... на обнаженных Настасьях трижды опяхать Кремль.

– Прикажу! Впрочем, ты-то что понимаешь... в обнаженных Настасьях?

– Мне и понимать нечего, ваше величество, по этому делу у меня старший брат теперь знаток. Ну, а после трапезы, которую тоже могу описать, хотя питаетесь вы, государь, однообразно, вас давно отравить могли бы, к счастью, папа следит... Вы, видимо, захотите подняться на колокольню Ивана Великого.

– С тобой!

– Ваш покорный слуга, великий государь...

Павел на долгое время замолк. Разговаривать с Горацием было почти невозможно, тот все знал наперед. И поэтому, доколе дней его станет, должен быть прикован к ноге... российского трона. Раз уж сам не сбежал, как Нинель, в нети, или не нанялся к кому другому, то из России уже не уйдет. Павел припомнил, что мальчик – не только племянник Елены Шелковниковой, но и родной внук светлейшего князя Эдуарда, и на душе стало совсем спокойно. А подняться на Ивана Великого нынче будет очень приятно.

Собственно, в прежние времена Царь-колокол никогда на Иване Великом не висел. Тот колокол, что весил восемь тысяч пудов, отлитый, кажется, незаконным царем Борисом Годуновым, висел рядом с колокольней, но жалкого летнего пожара при дедушке Петре Алексеевиче ему хватило: грянулся и кончился. Потом в него все добавляли и добавляли, то незаконная царица Анна Иоанновна еще тысячу пудов, то мастера чуть ли не от себя еще три тысячи пудов, все пуды, пуды одни, а колокол так и остался битый и неисправный. При дяде-узурпаторе Николае Павловиче только и додумались, что поставить его, разбитый, на пьедестал, а сверху золоченое яблочко припаяли. Нашли чем гордиться – битым колоколом, «царь» называется. По приказу Павла всю эту металлическую рухлядь, больше двухсот тонн бронзы, свезли на Его Императорского Величества Пушечный двор и там перелили в новый. Павел в последнюю минуту узнал, что металлы на колокольное литье идут не ахти какие дорогие, семьдесят восемь частей меди на двадцать две части олова, а добавок совсем пустяк – и лично от себя еще двадцать тонн металла добавил.

Спешно провели реконструкцию Ивана Великого: под грузом такой игрушечки

рухнуть мог не только колокол, но и колоколья. В нее ввели что-то вроде длинной спицы, чуть ли не на сотню метров уходящей в землю, под землю спица, как невидимая Эйфелева башня, расщеплялась на четыре хвоста, сообщая колокольне почти абсолютную устойчивость. Автору проекта царь даровал орден Левши и звание генерала инженерных войск; колокол перевезли в Кремль и подняли на Ивана Великого в одну ночь, – с земли он почти не был виден, да и не звонил в него пока что никто: первый удар планировался в первую годовщину коронации, в ноябре. Кто звонить будет – пока что неясно, хотя чего ж неясного?

– Гораций, кто первым в Царь-колокол ударит?

Гораций сидел в гостевом кресле с ногами и беззастенчиво ел яблоки из царской вазы.

– Вы, ваше императорское величество. Дело в том, что его блаженство митрополит Опоньский и Китежский Фотий по дряхлости своей еще в октябре перестанет исполнять обязанности первоиерарха Московского, будет отправлен вами в немилость и заточен... – мальчик сосредоточился, – заточен в Пимиеву пустынь, это такой монастырь на Курской дуге. Местоблюстителю его престола, отцу Феодулу, вы такое важное дело не доверите. Мне тоже не разрешите, будете бояться всяких слухов, а еще больше того, что меня с колокольни толкнут. Кстати, две такие попытки будут, обе неудачные, так что не бойтесь.

– Тогда зачем я бояться буду?

– Все равно будете. Кстати, вами сегодня же овладеет сильнейшее искушение в него ударить, когда мы на колокольню пойдем. Но не надо, возникнет непредсказуемость случая, так называемый эффект против-Тюхэ.

«Опять блазер! Опять энигматическая голотурия!» – подумал царь, но мальчик был умный и сразу перешел на понятный язык.

– Дело в том, что судеб, вариантов будущего, не один, а два: один, как говорили древние, доверен богине Ананке: ну, это уж насчет того, что каждому человеку рано или поздно умирать полагается, – да, согласен с вами, что лучше поздно, – а второй, «судьба-случай», доверен богине Тюхэ, или Тихе, по-русски ее чаще называют Фортуной, она бывает добрая и злая, и в ней можно в общем-то выбирать, если, конечно, рядом с вами есть квалифицированный предиктор...

«От скромности не умрет...»

– Так вот, а я как раз предиктор исключительно сильный. И не волнуйтесь, вы меня не продадите, я стою значительно дороже любой цены, которую вам предложат. Нет, я не набиваю себе цену, я еще дороже стою. Перекупить меня – ни у кого денег не хватит. Мне, ваше величество, цены просто нет.

– Слушай, юный нахал, ты мне вообще хоть слово дашь вставить? Я царь все-таки!

– Говорите, ваше величество, говорите, вы мне не мешаете. Яблоки у вас замечательные.

Павел поразмышлял, полюбовался мальчиком, с хрустом поглощающим не то третью, не то четвертую антоновку из вазы, потом переложил в карманы «адидаса» штук пять или шесть. На колокольню он собирался идти в теплой порфире, там, наверху, все-таки холодно, а карманов на порфире нет.

– Ваше величество, вы совершенно правы: на колокольню мы можем подняться и до обеда, Фортуна позволяет. И совершенно правильно, что вы прикажете пришить к порфиру внутренние карманы. Да не поминайте вы мою мать по любому поводу, совсем это не русское ругательство, не к лицу вам, государь!

Павел вызвал двух рынд, порядка ради, хотя знал, что охрана теперь и без того станет весьма бдительной. Послал их проверить лестницу на колокольню – нет ли террористов и прочего. Рынды поискали, ничего не нашли, потом доложили, что стоят на страже входа в колокольню, при них – табельные бердыши; Ивнинг добавил, что вся территория Кремля освобождена. Снаружи – только охрана. «Вот моя охрана, вот предиктор мой», – подумал Павел, накинул порфиру и, не оборачиваясь, как всегда, пошел на чистый воздух. Он не сомневался, что Гораций идет следом. Это было слышно: парень так вдохновенно хрустел антоновкой, что в иные годы, не к ночи будь помянуты, разбудил бы даже полузабытого нынче кокушкинского вождя.

– А что на место мавзолея поставить? – спросил царь, делая очередную остановку, хотя идти предстояло не очень высоко: в третьем, верхнем ярусе колокол просто не помещался, место для него пришлось оборудовать в верхней части второго яруса. Но вид оттуда был все равно хороший, Павел поднимался туда, когда колокол еще не водворили на место.

– Ничего не надо, государь. Пусть траву посеют, не искушайте Фортуну. Любое, что вы постройте, потомки могут снести. А трава – что с ней сделаешь? Можно туда пустить коров пастись. Хотя, пожалуй, не будут они эту траву есть, корова – животное суеверное... Идем, государь, вы уже отдохнули.

Колокол висел на литой балке, толщиной в аршин, балка обоими концами уходила в стены. Окон, в которые отсюда можно было глянуть на Москву, для прочности оставили только три, да и то одно из них почти целиком загораживал купол церкви Иоанна Лествичника. Хороший вид открывался только на юг и юго-восток, если, конечно, Павел не ошибался в подсчете сторон света, к Москве и ее планировке он не мог привыкнуть по сей день. Павел подошел к левому окну.

С неба раздался радостный лай. В осенней лазури над Кремлем правильным треугольником летела стайка ярко-синих птиц. Это эс-бе Володя проводил тренировочный полет птенцов от всех трех попугаих, он решил сторожить небо над Кремлем и впервые за многие столетия изгнал из него многотысячную воронью стаю: не воронам было тягаться с мощными гиацинтовыми ара, особенно с такими, в груди которых билось истинно преданное человеку собачье сердце. Царь любил эту стаю, он помахал ей рукой, хотя и не понимал, что во главе стаи летит самый настоящий пес. Володя снова взлайнул и круто свернул к Боровицким воротам, стая ушла за ним.

Царь смотрел на Зарядье-Благодатское. Бывшая гостиница окончательно превратилась в деревню, ее окружали службы, коровники, конюшни, на Васильевском выпасе мирно щипали осеннюю травку коровы. Лысый пастух, бывший певец и еврей, в свое удовольствие играл на дудочке. По Варварской дороге, бывшей улице Варварке, шел прочь от Кремля человек в черном, нес что-то громоздкое. Павел стал искать бинокль, снова ругнулся про себя, потому

что забыл.

– Это отец Викентий Мощеобрященский. Козы Адольфа Хотинского на Манежной концерт давали, играли на аккордеонах, их оттуда по вашему приказу – и вообще из России – только что выгнали, нечего народ в соблазн вводить, аккордеон ставить поверх вымени. Одна коза аккордеон обронила, а батюшка подобрал и решил подальше от церкви унести. Не напрягайтесь, не вспоминайте, где вы могли видеть духовное лицо с гармонью: именно такая картина висит у вашего дяди в кабинете. Работы неизвестного художника.

– Даже тебе не известного? – ехидно спросил Павел, переводя взор на далекие купола Замоскворечья. Хоть чего-то, оказывается, предиктор не знал.

– Отчего же, я-то знаю, только лучше будет, чтобы никто больше не знал. Фортуна не любит некоторых вещей. Шуток, например. У Судьбы нет чувства юмора. Она заменяет его иронией, но ирония, сатира – государь, все-таки это низкие жанры.

– А мир спасет что? Красота?

– Нет, красота мир не спасет, это глупая выдумка. Кстати, никаких очень уж больших войн в ближайшие... годы у России не будет, вы меня об этом сейчас спросите, отвечаю заранее.

Золотое осеннее солнце тускло доставало лучиком до ободка обновленного Царь-колокола. Кремлевская зелень основательно пожелтела. Павел вспомнил, что вот тут, внизу, в начале века стоял памятник дальнему родственнику – Александру Второму. Восстановить? Да нет, дорого... На колокольне был сильный сквозняк. Павел кутался в порфиру и думал, что Горацию тоже, пожалуй, холодно. Он притянул мальчика к себе и уделил часть горностаевого тепла.

– Спасибо, ваше величество. Это вы хороший приказ решили отдать – переделать порфиру русских царей на соболью, горностаевый мех не теплый, не ноский – одна видимость, что царева одежда.

Павел подумал, что и вправду это хороший приказ. Только откуда он взялся? Тут же понял – мальчик все брал из будущего. Стоять на колокольне дальше было незачем, очень уж трудно – как и предсказывал Гораций – оказалось сдерживать соблазн ударить в Царь-колокол. Однако прежде, чем спускаться, царь задал заветный вопрос:

– А мир-то что все-таки спасет?

Гораций не замедлил с ответом:

– Чувство юмора.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

1984–1994